

A black and white portrait of a man with dark, wavy hair, wearing a dark suit jacket and a tie. He is looking slightly to the left of the camera with a thoughtful expression. The background is dark and out of focus.

*№20
сек*

ЖИЗНЬ,

подаренная дважды

Григорий Бакланов

Nov 20
6er

*Мой 20
век*

**ГРИГОРИЙ
БАКЛАНОВ**

**ЖИЗНЬ,
подаренная дважды**



ВАГРИУС

**ГРИГОРИЙ
БАКЛАНОВ**

**ЖИЗНЬ,
ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ**

МОСКВА • ВАГРИУС •
1999

УДК 882-94
ББК 84.Р7
Б 19

Дизайн серии Е. Вельчинского
Художник Н. Вельчинская

*Охраняется законом РФ
об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или
любой ее части запрещается без
письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном
порядке.*

ISBN 5-7027-0759-1

© Издательство «ВАГРИУС», 1999
© Г.Бакланов, автор, 1999

Посвящается Э. Баклановой, моей жене.
В каждой моей книге — часть ее души.



Из нынешнего дня в прошлое смотришь как в перевернутый бинокль: все такое уменьшенное, а многое и не разобрать. Но вот вижу: зима, мороз, снежная улица. Пробежала, пофыркивая паром из ноздрей, по-зимнему лохматая лошаденка, мужик в санях в сене стоит на коленях, похлестывает вожжами. А вдоль домов, больше — деревянных, идет, оглядывается на себя в стекла... Да, это я иду. Кирзовые голенища только что выданных мне сапог полощутся на ногах, шинель перетянута ремнем, и там, под ремнем, больше складок суконных, чем меня самого. Зато ушанка набекрень. Старушка в платке шла навстречу, остановилась: «Господи, и таких уже берут...» И вытерла глаза варежкой. Это для меня тогдашнего — старушка, а была она чья-то мать. И когда читаю или слышу «Родина-мать», я вижу ее, а не ту, яростную с плаката времен войны: платок головной откинут на плечи, рука с растопыренной пятерней призывно взметнулась вверх — «Родина-мать зовет!». И всегда вижу мою мать. Она не провожала нас на фронт, ни Юру, старшего, ни меня: ее уже не было на свете. Но и сейчас, когда я почти вдвое старше ее, она для меня — мама.

Ей было двадцать восемь лет, когда родился Юра. Он был похож на нее и, значит должен был быть счастливым. Я, родившийся через два года, лицом в отца, а назвали меня так же, как звали деда. В двадцать втором году, за год до моего рождения, он зачем-то поехал в Москву и там был сбит машиной, хотя машин тогда в Москве было по пальцам перечесть, а шоферам такси, как рассказывают, шили кожаные куртки как людям редкой и опасной профессии. Но повезли деда не в больницу, а прежде всего в милицию, выяснять обстоятельства, и до больницы уже не довели. Мне дали его имя, и я теперь как бы продлеваю его жизнь.

Мир был теплым, уютным и незыблемым, пока жива была мама. А как жила она, я не знаю, но, сопоставляя, могу о мно-

гом догадываться. Осталось в памяти (со слов родственников), что ее не хотели выдавать за моего будущего отца: приличная небедная семья, пятеро дочерей, сын, и вдруг — неведомо за кого. Никто в Воронеже не знал отца, он был здесь, как говорится, пришлый. И профессии у него надежной, в общем-то, не было, только хорошая голова на плечах. Но этого, сами понимаете, мало, чтобы отдать за него дочь с высшим образованием.

Как все в жизни, в этой нескончаемой цепи, протянувшейся к нам из неведомой дали и уходящей в еще более неведомое будущее, — как в ней все связано: по сути дела, решалось и то, о чем вовсе не думали — быть ли моим детям, моим внукам и внучке или не быть. В этот момент решалось. И мама решила: быть. Она вышла замуж за отца, это отдалило ее от семьи. И сегодня взрослые мои дети, внуки, внучка вряд ли улавливают эту связь времен, не догадываются, когда завязывались их жизни и что от этого зависело. Но это — по моей линии. А есть и линия моей жены. Там тоже все решало одно слово. Моя будущая теща была на шесть лет старше моего будущего тестя, и все могло не состояться: она была красавица с двумя длинными косами, а он даже ниже ее ростом. Но он стал перед ней на колени. Недавно мы говорили с Эллой, с моей женой, о нашей внучке, и жена вдруг сказала: «Как хорошо, что папа тогда стал на колени...» Мой отец никогда ни перед кем, ни перед чем на колени не способен был стать, а таких, кто не гнется, наша жизнь ломала. Потому недолго прожил он на свете, всего сорок лет, и моя мама много приняла с ним муки.

Но вот — зимний день. Мне пять или шесть лет, в доме на-топлено, от кафельной печи пышет теплом, за окном мороз, и хорошо из тепла смотреть в окно на белую от снега улицу. В легких, скользящих саночках проносятся извозчики, покрикивая: «Ей, ей!..» В простоте душевной я думал, что это они так божатся: «Ей, ей...» Но хотелось мне быть ломовым извозчиком. Летом в телегах, грохочущих по бульжнику, они едут с базара, и огромные битюги ступают впереди телег своими мохнатыми ногами. А извозчик в брезентовом фартуке сидит в телеге, свесив ноги, подергивает вожжами. Вот и я хочу так сидеть, свесив сапоги над колесом, подергивать ременными вожжами: «Нно-о!» Или зимой, когда от битюгов валит пар, повалиться боком в сено в санях. Я срочно зову маму: вот такого битюга вы мне купите, когда я вырасту... Даже во втором классе я все еще мечтал быть ломовым извозчиком, и мой одноклассник попользовался этим, за

что я, впрочем, на него не в обиде: он пообещал мне добыть настоящий конский хвост, из которого я сплету волосяной кнут, потому что какой же ломовой извозчик без такого кнута? А пока что я относил ему все, что он требовал. Особенно жаль было мне отдавать мой молоток: я еще и плотником хотел быть. Запах свежего дерева, запах стружек — я мог часами стоять и смотреть, как вьется над рубанком смолистая стружка, кольцами катится под верстак. Но делать нечего, отдал и молоток. Наконец он повел меня в проходной двор, у поленницы дров сказал, озираясь: здесь! Мы чуть не до земли раскидали чьи-то дрова. Он честно работал со мной вместе. Тут нас заметили, с криками погнались за нами, но я еще долго верил, что он действительно спрятал там конский хвост, я просто не мог ему не верить.

Мне было одиннадцать лет, когда спасали челюскинцев, пассажиров и команду затертого во льдах парохода «Челюскин». Предварительно они сняли с дрейфующей льдины полярную станцию Отто Юльевича Шмидта, и вот теперь вместе погибали: пароход тонул, они спешно выгружались на лед. Спасли их летчики. Ляпидевский, Леваневский, Водопьянов, Молоков, Каманин, Доронин, Слепнев — эти полузабытые ныне имена полярных летчиков гремели, их знали все. Для них, первых, ввели звание Героя Советского Союза. И многие мальчишки того времени мечтали стать полярными летчиками, я — в том числе. По радио пели величаво-протяжно: «Дрейфующей льдиной затертый, отважный «Челюскин» погиб...» И о спасателях — поименно: «Там был Михаил Водопья-анов, Каманин, Доронин, Слепнев...» Это — по радио, телевидения еще не было. А по дворам — на мотив блатной «Мурки»: «Здравствуй, Ляпидевский, здравствуй, Леваневский, / Здравствуй, лагерь Шмидта, и прощай, / Вы-то потопили пароход «Челюскин», / А теперь кричите — вас спасай...»

Но что бы там ни пели по дворам, это был подвиг и всенародное торжество, сравнимое разве что со встречей Юрия Гагарина. Кинохроника запечатлела, как торжествовала Москва, как чествовали героев. Случайно ли это? Не так давно прошла коллективизация, следом — голодомор, когда на Украине, на Кубани, в центральных черноземных областях вымирали целыми деревнями, селами. Сколько погибло тогда людских жизней — бог весть, вряд ли это узнается когда-либо, но считают сейчас, что вымерло от голода не менее семи миллионов человек. А хлеб между тем везли за границу, покупали станки... После всего это-

го стране нужен был праздник, небывалое торжество, которое способно было многое стереть из памяти.

Недавно я разговаривал с пожилым человеком, который в ту пору был ребенком, но ребенком одного из высокопоставленных людей, имевших прямое отношение к челюскинской эпопее. И он рассказывал, как его и еще нескольких мальчиков повезли отдыхать в Форос и как на степных станциях стучались в вагоны опухшие от голода дети, а другие уже не могли идти, в последней надежде ползли к железной дороге.

В Форосе вкусно, хорошо кормили.

Ни в детстве, ни в школьные годы я не писал стихов, хотя многие мои сверстники переболели этим, как болеют корью в определенном возрасте. Впрочем, и в дальнейшем поэзия не потерпела от меня никакого ущерба. Наверное, я инстинктивно чувствовал то, что Толстой определил словами «идет мужик за сохой и приплясывает...» Но в пятом или в четвертом классе прочел я роман Степана Злобина «Салават Юлаев», и мне тоже захотелось написать что-то подобное. И написал: «Мы сидели у дороги и ели бешбармак». Ни у какой дороги я не сидел и что такое бешбармак, понятия не имел. На этой первой фразе все благополучно закончилось на многие годы. Но даже к слову «писатель» я относился как к чуду из чудес. У отца была большая библиотека, тяжелые тома: Шекспир, Шиллер, кожаные с золотом корешки, картинки, прикрытые тонкой полупрозрачной бумагой. Разумеется, были и в Воронеже писатели, давно когда-то были: Никитин, Кольцов (про Платонова, Мандельштама, Замятина слыхом не слыхивали). Был в Воронеже даже Кольцовский сквер, и девиц, что там ошивались, называли «кольцовские», смысл этого — вполне определенный. А встретить живого писателя наяву для меня, наверное, было равносильно тому, что встретить живого Гоголя.

Французы говорят: коза щиплет траву там, где она привязана. Видимо, по этой причине дети нередко наследуют профессии отцов, даже не имея к тому большой склонности. В моей родословной, известной мне, как-то не проглядывается ни колышка, ни обрывка той привязи. Впрочем, это не значит, что их нет. А вот рассказывать я любил. В то время ходили по рукам тоненькие бумажные книжки — не книжки, так, что-то подобное: яркие глянцевые обложки, на них изображено нечто злодейское. Прочел я их несметное множество и любил рассказывать ребятам

во дворе: и то, что прочел, и то, что по ходу рассказа придумывалось. Ребята просили, собравшись, да и меня самого просто распирало. Но вот на фронте этого желания у меня не стало, разве что в долгой обороне или когда отведут в тыл и случится хорошее застолье. Свидетельство тому — фотография нашего комбата Филиппова, подаренная на память, надпись на ней, где среди прочего он упомянул: «...и твои смешные рассказы». Значит — было. Нас тогда отвели с фронта, стояли мы в деревне, в тылу: ремонтировали тракторы, то есть из одного нашего трактора и трех-четырех брошенных после немецкой оккупации на дворе бывшей МТС (машинно-тракторной станции) собирали один годный. И шла через деревню санинструктор какого-то другого полка. А у нас банька истоплена, это же на фронте раз в жизни бывает, если бывает вообще. Самогону нагнали. Она тоже попарилась, жаловалась: голова болит. Болит не болит, комбат на это не посмотрел. И заразился от нее совсем не тем, чем случается заразиться в подобных обстоятельствах: заразился он сыпным тифом — первый и последний случай за всю войну в нашем полку. Его увезли в госпиталь, и больше мы его не видели. А фотография его у меня как свидетельство. Но все-таки больше я любил на фронте не рассказывать, а слушать. Самое сокровенное рассказывали перед боем, словно почувствовал человек, что бой этот для него последний. А может, и правда почувствовал. Мне, случалось по виду, по лицу определить, что вот его нынче убьют. И сбывалось.

Отец мой, Яков Минаевич Фридман, происходил из бедной многодетной семьи, он рано ушел из дому, начав работать с двенадцати лет. Всему, что он умел и знал, он выучился сам. Но за сорок лет своей скоротечной жизни прочел несметное количество книг.

Вижу: вечер, отец ходит из угла в угол, насвистывает арию Каварадосси. Задумавшись, он всегда насвистывал эту арию. О чем он думал? Я был мал и глуп, не о чем ему было со мной разговаривать

Отец умер, когда мне было десять лет, Юре — двенадцать. Мама, зубной врач, работала на конфетной фабрике в здравпункте. Слово это звучало тогда обычно, привычно: здравпункт. Что она там получала, можно себе представить. Но нам жилось хорошо и вольно: мама целый день на работе. Она приносила с фабрики подсолнуховые семечки, очищенные от шелухи, мы ели их

горстями, угощали ребят во дворе. Приносила мутноватый кисель, им, помимо прямого назначения, хорошо было клеить танки из бумаги: тогда одолело нас повальное увлечение — играли в солдатики. Мне досталась японская армия: все хорошие армии — русская, английская, французская — были уже разобраны, и мне досталась японская. Но зато мои солдатики были меньше ростом, в них трудней было попасть из трубочки, и я выигрывал многие бои. И остался у меня в памяти с тех пор запах пеклеванного хлеба, такой только в Воронеже до войны пекли, больше нигде не встречал: круглые хлебы, верхняя корка, как обливная, разрежешь, а он ноздреватый, будто сыроватый чуть-чуть. И если вдруг с маслом да посолить...

Жили мы на Плехановской улице в шлакобетонном доме, он так и назывался: шлакобетонный. Маме от фабрики дали там комнату на втором этаже, над аркой; зимой пол в комнате был холодный, помню это хорошо, потому что на полу мы с ребятами играли в солдатики. Прежде здесь помещалась какая-то контора; когда мы въехали, пахло окурками, чернильные пятна на полу, а стены на уровне спин сидящих людей затерты до черноты. Со временем мама решилась сделать ремонт. Нанять маляра было дорого, и вдвоем с помощницей мама белила потолок, красила стены клеевой краской, выбегала на улицу вытрясать вещи, раздевая, потная, и простыла: стоял холодный ноябрь. Я вижу шею ее, худые ключицы, слышу, как она дышала. Рука мамина горячая поверх одеяла. Когда я заболел, она гладила меня по голове, по лицу, и все проходило. Мама сама поставила себе диагноз: воспаление легких. Потом — отек легких. Вот тогда впервые в жизни я молился: в темной кухне, стоя на коленях, прижавшись лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки. Мама сгорела за шесть дней. Нас взяли к себе ее сестры: Юру взяла Мария Григорьевна. У нее две дочери, младшая, Юдя, его ровесница. Меня взяла Берта Григорьевна. У нее тоже было двое детей: сын — старший, ровесник моего брата и тоже Юра, дочь — моя ровесница и тоже Юдя. В нашей когда-то многолюдной семье имена часто переходили по наследству, и сестры не случайно назвали своих дочерей одним и тем же именем: так звали их рано умершую сестру — Юдя, Юдифь. В девятнадцатом году грипп «испанка» выкосил, как считают, двадцать пять миллионов человек. Она поехала менять вещи на хлеб и заболела этим гриппом.

Я еще застал в школе старых учителей. Антаева преподавала математику, она говорила мне: «Ты по математике успевать не будешь, я учила твою маму, она тоже у меня по математике не успевала...» И действительно, контрольные работы я, как правило, списывал, чаще всего у моей одноклассницы. О ней мой рассказ «Надя» из серии невыдуманных рассказов, изменено только имя.

Спустя много лет после войны попал ко мне старинный альбом. На крепком коленкоревом переплете — тиснение: «Выпуск Воронежской Мариинской женской гимназии 1909—10 г. Фото — Ясвоинь». Виды старого Воронежа, теперь его уже нет, он был разрушен в войну, как Сталинград. Здание гимназии. Благородный директор с бородой, похожий скорее на директора банка. Учителя. Антаева среди них. А имени-отчества ее не помню. В овальных рамках — фотографии выпускниц: Никитина, Небольсина, Скрябина, Филиппова, Егорова. А вот фамилии, которые я никогда больше не встречал: Адливанкина, Сацердотова, Ободынская. И — фотография моей мамы. Такой она была в девичество, когда окончила гимназию: стоячий с белым кружевом воротничок, черный бант на затылке. А впереди — вся неведомая, непредсказуемая жизнь. И в эту неведомую жизнь, в XX век, напутствие вытиснено на обложке альбома: «Благодатна всякая буря душе молодой. Зреет и крепнет душа под грозой». Могли ли они предвидеть, какие бури грядут, что зреет? Старое доброе мирное время... Так говорили в Воронеже о том минувшем времени — до всех войн, до революции. Шкуро, Буденный. Белые, красные. Воронеж переходил из рук в руки. Когда кто-то с кем-то сражается, несчастней, беззащитней всех мирные жители, обыватели. «Белые придут — грабят, красные придут — то же самое...» Да если б только грабили. А то и жизнь выдернут вместе с потрохами, голову смахнут с плеч и не оглянутся. На войне нет хороших, кто был хорошим, озверел: такое

это зверское дело. Он курицы зарезать не может, сердце доброе, а человека убить для него ничто. Но нам, мальчишкам, все мнилось скакать, махать шашкой, Чапаев в бурке за плечами скакал перед глазами у нас. Об одном жалели: опоздали родиться, все главное уже совершено до нас. И это каким-то странным образом уживалось с тем, что я любил Чехова, Шолом-Алейхема, прочел и как будто понял «Преступление и наказание». Но самой любимой моей книгой, самой дорогой для меня был «Хаджи Мурат» Толстого: синий с серебром переплет, запах коленкора, не помню, сколько раз перечитывал ее. Книгу эту подарили мне ко дню рождения, когда еще мама была жива.

Есть у Чехова рассказ «Сирена». После заседания судьи собрались в совещательной комнате, закончить дела да и ехать домой обедать. И тут, в предвкушении, секретарь суда начинает рассказывать, что и как следует есть и чем после первой рюмки закусывать. И, побросав дела, все разъехались по домам. Вот так однажды после уроков (а учились мы во вторую смену) я испытал «силу слова». Шли мы вечером гурьбой по Воронежу, то одного проводим, потом он провожает нас, проводим другого, опять он всех провожает, и никак не можем расстаться. А мне надо домой, да и есть хочется. Тогда я начал рассказывать про блины. И произошло то же самое, что в рассказе «Сирена». Я еще удерживал, торжествуя: обождите, я недосказал!.. Разбежались все.

В нашем шестом классе «Б» был рыхлый, чем-то тяжело больной мальчик Бабичев. В этом возрасте не сочувствуют больным и слабым, образец для подражания — смелые, идеал — сильные. Когда мы гоняли мяч по полю, Бабичев стоял за воротами, издали дрыгал ногой и тоже кричал «мазила!». Если случалось вратарю пропустить мяч, Бабичева гнали от штанги, словно он приносил несчастье. И уже была в классе девочка, которая ему нравилась, она стыдилась его, избегала, чтобы над ней не смеялись тоже. И вдруг стало известно: Бабичев умер, мы все поедem хоронить его.

То, что умер именно Бабичев, никого не удивило: он и так постоянно отсутствовал. И даже фактом своей смерти как бы утверждал наше бессмертие, потому что он был не такой, как мы, он был больной и постоянно болел, а мы здоровые.

На следующий день во двор школы въехало два грузовика с красными и черными полотнищами по бортам и скамейками поперек кузова. Первым погрузился духовой оркестр. У нас в школе оркестр поголовно состоял из двоечников и второгодников. Обычно задолго до праздника их освобождали от занятий, и они, гордые своей исключительностью, сидели под лестницей и дули в трубы. И теперь, едва разместившись в грузовике, начали разноголосо и не в лад дуть в трубы и вытряхивать из мундштуков слюну. А девочки сидели на скамейках в обнимку с букетами цветов.

Почему-то мы долго не выезжали со двора, и из всех классов смотрели на нас из окон. Все учились, только мы не учились: у нас умер мальчик, мы едем его хоронить. Наконец выехали. И когда мы мчались на грузовиках по городу, нам хотелось громко петь пионерские песни, но петь было нельзя, потому что по бортам протянуты траурные полотнища и прохожие оборачивались, а на остановках сочувственно смотрели на нас из окон трамваев. Мы сидели торжественные и грустные.

Потом, растянувшись, мы медленно шли за нашим оркестром по краю неогороженного кладбища среди берез, все в белых рубашках и пионерских галстуках, как на Первомайской демонстрации. В поле было яркое солнце и дул сухой ветер, отдавая к плечу концы наших красных галстуков, красных потому, что «кровь рабочих и крестьян». В задних рядах не было слышно оркестра, только звякали медные тарелки и бухал барабан. Весь откинувшись, барабанщик с огромным барабаном на животе взмахивал колотушкой, но звук опаздывал, он раздавался, когда колотушка уже отскакивала от барабана. А я шел, волновался и шептал про себя. Классная руководительница поручила мне произнести речь, мне надо было сказать, что сегодня мы хороним нашего товарища Сережу Бабичева (оказывается, его звали Сережей), которого мы любили. Надо было сказать, что болезнь помешала ему быть активным, но он всегда, когда только мог... Я боялся забыть, перепутать слова.

Классная руководительница поставила меня рядом с собой и каждый раз, когда по списку должны были вызвать очередного оратора, она тревожно подталкивала меня вперед, наклонясь, показывала, как и куда мне взойти, как стать, к кому повернуться лицом. Наконец директор школы вызвала меня: «А сейчас от шестого «Б» класса скажет...» — и посмотрела на меня предупреждающе-строго. Из-под ног у меня осыпалась глина, и, помню, я глянул вниз, куда катились комья. А на другой стороне, на такой же свежей насыпи, стоял гроб, под который уже продеты были веревки.

Стараясь не смотреть туда, но боковым зрением все-таки видя, я говорил громким на ветру голосом, классная руководительница удовлетворенно кивала. Ждали под сосной оркестранты, сложив и поставив трубы на землю. Над нами была тень, и над ними была круглая тень, а в поле на солнце текли и текли вдаль волны хлебов. Вдруг я услышал тонкий собачий вой. За гробом стояла на коленях старая женщина в черном платке и кланялась, кланялась гробу и выла; ее подымали под руки. А в гробу, не похожий на себя, желтолицый и строгий, с чернотой под глазами, с лиловыми пятнами от шеи к ушам, лежал маленький взрослый человек в пиджаке, причесанный как на службу. Восковые руки его были сложены спокойно на твердом, торчащем вверх животе.

И тут что-то произошло со мной, я сам не знаю, как все это получилось. У меня вдруг задрожало в горле, я завсхлипы-

вал и позорно при всех расплакался, говорил и глотал слезы. Я боялся потом взглянуть на ребят, а классная руководительница сказала, что я испортил все впечатление, если б она знала, если б она только могла предположить...

Когда мы возвращались с кладбища, отец Бабичева обнял меня за плечи и вел так рядом с собой и говорил:

— Неудачный он был у нас, что сделаешь?.. Ничего теперь не сделаешь... С самого рождения знали... Все учился, старался от вас не отстать, а мы знали...

Я неловко чувствовал себя под его рукой, тяжело и горячо лежавшей на моих плечах. Старое, сощуренное его лицо будто улыбалось, будто он извинялся перед нами за что-то. Он начал рассказывать про Первую мировую войну, на которой был солдатом, про то, как во время войны был в Румынии. И умолкал, надолго забываясь, а я не решался снять с себя его руку. Перестав бояться, ребята окружили нас, он шел, выше всех ростом, ласковыми, грустными глазами смотрел на нас, ровесников его сына.

— Бедно они там живут, в Румынии... Крестьяне у них совсем бедные...

И вздыхал.

Мы набились в машины, расселись на скамейках, ждали, когда наконец тронемся, а они стояли внизу, старые оба, провожали нас от ворот кладбища, как от своих собственных ворот. И опять мы мчались по городу, все смотрели на нас, мы это видели, и нам хотелось мчаться. Нас было два полных грузовика — шестой класс «Б» и школьный оркестр, — а до Второй мировой войны и до нашей Отечественной, к которой мы все подрастали, и второгодники, и отличники, оставалось уже немного. Я и сейчас вижу эти два грузовика, мчащихся по городу, полные ребят, гордых тем, что люди смотрят, как они возвращаются с похорон. Никому не дано в начале жизни заглянуть в ее конец, и хорошо, что не дано, не надо знать свою судьбу.

Бабичев умер отдельной от всех смертью, это была первая смерть в нашем классе, а класс тогда означал больше, чем поколение, такими категориями мы еще не мыслили. Потом началась война и длилась долго, и как-то на четвертом году войны, ночью, в пыльных сапогах, в ремнях, в пилотке, со звездочками на погонах, сидел я со своими солдатами на бахче, старший над ними и очень молодой. И два румынских крестья-

нина в высоких бараньих шапках сидели с нами. Они что-то говорили и кивали своими шапками, и мы что-то говорили, и то один из них, то другой подкатывал ко мне по сухой земле арбуз, светлый ночью. Ничего мне не вспоминалось в тот момент: ни про Румынию, ни про румынских крестьян. По праву старшего я втыкал свой нож в арбуз, и он, треснув, разваливался на две сахарных половины. А за бахчой во тьме стояли наши пушки, которые мы тянули сюда по горам, где даже выючные лошади оскользались; когда ветер дул с той стороны, наносило от тракторов запах керосина.

Шел сорок четвертый год двадцатого столетия, так богатого войнами. В этом столетии я прожил уже двадцать лет. Я не знал тогда и не мог знать, что из всего нашего класса, из тех ребят, что были призваны в армию или сами пошли на фронт, мне единственному суждено было живым вернуться с войны.

Мне было четырнадцать лет, когда мне поручили снять дачу на лето. Как пришла такая мысль взрослым, не могу сказать, но мне дали деньги, чтобы я снял дачу и оставил задаток. И я поехал на поезде в Сосновку. Сосновка, Дубовка, Графская — все это под Воронежем. В Сосновке на песчаной почве росли корабельные сосны. В Дубовке — дубы. Но таких дубов, как под Задонском — нет, не раскидистых, а прямых, стройных, — таких я не видел нигде. В свое время Петр I строил здесь флот, за двести лет после него выросли новые леса, но было кому их проредить.

Самое интересное, что и хозяин дачи всерьез разговаривал со мной, показал две комнаты с террасой. «На террасе, возле конопляника...» Скольким поколениям диктовали этот пример по грамматике, и надо было не ошибиться, знать, где пишут два «р», где одно «н»... Мы обо всем договорились с хозяином, я оставил ему задаток. На станции, пока ждали поезда, мужчины стояли в очереди в буфет. Красное вино было разливное, у вина было два названия: белое и красное. Белое — водка. Я тоже стал в очередь, очень опасался, что буфетчица прогонит меня с позором. Но нет, налила мне полстакана красного вина, не прогнала. Я выпил, будто мне это дело привычное. Вино было кислое, радости я не испытал, но почувствовал себя взрослым: сделал дело и выпил как полагается.

Почему я помню, что было мне четырнадцать лет? Потому что в газетах в то время печатали сообщения о процессах, фамилии подсудимых, гневные отклики трудящихся, требовавших раздавить гадину: был 37-й год. Но это шло мимо меня. Родителей у меня не было, от такого испытания судьба уберегла их.

Вот туда, на дачу, когда все съехали осенью, а я еще остался на день-два сторожить вещи, приехал ко мне мой старший брат Юра: наверное, пожалел меня, что я тут один. И зашел у нас разговор о процессах, об этих судилищах. Разница между

нами была два года, но Юра был старше своих шестнадцати лет, он многое понимал. И попытался объяснить мне, что происходит. А я вдруг вспыхнул дозволенным гневом, гневом раба, я уже впитал это из отравленного воздуха, которым мы дышали:

— Случись война, ты на фронт не пойдешь. Такие, как ты, не идут умирать за родину.

Это — брату родному, единственному.

В Московском государственном университете, на историческом факультете, где он проучился всего один год, — мраморная доска, имена тех, кто погиб в Отечественную войну. Там его имя: Юрий Яковлевич Фридман. В мирное время его не взяли в армию, хотя после позорной финской войны хватали и калечного и увечного: кончил школу — будь добр. Но он почти не видел одним глазом, запойную страсть к чтению он унаследовал от отца и основательно испортил зрение. Началась Отечественная война, он пошел в ополчение, был командиром орудия, 75-миллиметрового французского орудия времен Первой мировой войны: ополченцев вооружали последним, что оставалось, на такую войну они шли фактически безоружными. Два или три письма получил я от него с фронта, в дальнейшем и они пропали вместе с полевой сумкой, когда меня ранило под Запорожьем, в ней я носил самое дорогое. С моим другом Димой Мансуровым мы хотели бежать к Юре на фронт, в его 975-й артполк: наш год еще не призывали. Я написал ему, спрашивал, где их искать? Он успел ответить, это было последнее его письмо, я получил его, когда Юры уже не было на свете. Он советовал нам идти в военное училище. Он видел, что происходит на фронте, не хотел, чтобы и мы попали в страшную мясорубку первых месяцев войны, оттуда он спасал меня.

Только через сорок лет после войны я узнал, как погиб мой брат. Журналист «Известий» Элла Максимова собирала сведения об ополченцах, о московских студентах. Она узнала о человеке, который был с Юрой в одном полку, написала о нем, и мы с этим человеком встретились у меня дома. 1985-й год, ему шестьдесят четыре года. Столько было бы и Юре. Они вместе выходили из окружения, октябрь месяц сорок первого года. Вброд перешли реку Угру, сосредоточились в лесу. Надо было узнать, есть ли немцы в ближней деревне. Юра, а с ним еще один ополченец, тоже студент, вызвались пойти на развед-

ку. Вот так они погибли. А остальные ночью вышли к своим. Человек, рассказавший мне это, с тех пор больше не воевал.

Немногом больше знаю я о моем двоюродном брате, о Юре Зелкинде, им обоим посвящена первая моя повесть о войне «Южнее главного удара». Он был студентом философского факультета ИФЛИ (Института философии, литературы, истории). Этот институт в свое время закончил Твардовский, многие известные люди были его выпускниками. После войны ИФЛИ был закрыт.

Юра Зелкинд носил ботинки тридцать седьмого размера. В августе 41-го года он вернулся в Воронеж: на дальних подступах к Москве они рыли окопы, противотанковые рвы... Спина его по позвоночнику, вся поясница были изъедены вшами. Семья врача. Связи в этом мире. Но он сказал: «Мама, мои товарищи идут на фронт». И мать не стала удерживать его, потом она простить себе не могла, что не удержала его, я слышал, как она однажды сказала: он женщины еще не целовал ни разу. В мае 42-го года я писал ему с Северо-Западного фронта: ваш фронт наступает, скоро и мы... А его уже не было в живых. В мае 42-го по приказу Сталина началось наше губительное наступление на Харьков, оно открыло немцам дорогу на Сталинград. Здесь, на юге, немцы сами изготовились к решающему наступлению на Волгу и на Кавказ, сосредоточили огромные силы, Жуков предупреждал об этом заранее, но Сталин, великий наш стратег, боялся нового наступления на Москву и приказал нанести здесь отвлекающий удар. И немцы, удерживая фланги, пропустили наши войска узким фронтом почти до Харькова: туда, в мешок. Когда явственно нависла угроза окружения, Хрущев звонил с фронта, еще можно было спасти положение, отойти, но Сталин не подошел к телефону, он своих решений не менял. И кольцо окружения замкнулось. Сообщали тогда, что осталось в окружении девяносто тысяч человек, но было там гораздо больше. Первый Краснознаменный стрелковый полк, в котором служил Юра, из окружения вырвался. Но их снова бросили в атаку, встречно прорывать кольцо. В атаке Юра был убит. Его однополчанин видел это и в дальнейшем рассказал матери.

И вот — совпадение: в октябре 43-го года, в ночь перед наступлением на Запорожье, сидим мы в землянке командира роты. И вдруг узнаю, что это тот самый стрелковый полк, в котором служил мой двоюродный брат, но только теперь он

называется по-другому: под Харьковом они потеряли знамя в бою, и полк был расформирован и переименован. Командир роты здесь недавно, он только что из госпиталя, но начальник штаба их батальона был тогда под Харьковом, он мог знать Юру, что-то бы рассказал. Однако на следующий день меня тяжело ранило.

Ни у одного из моих братьев, павших смертью храбрых, ни у родного, ни у двоюродного, нет могилы. Как нет могил у тысяч и тысяч, у миллионов, отдавших свою жизнь за родину. «Конец войне, да помянут живые великих мертвецов моей страны...» Не помнят, забыли, от Волги, от Москвы до самых границ и дальше остались они, непохороненные. Народ, который способен забыть тех, кому обязан жизнью своей и будущим, обречен на многие бедствия.

В этом, в 39-м, году меня на месяц отправили в Москву к младшей тетке, к Фриде Григорьевне, она была похожа лицом на мою маму. Профессия у нее была не часто встречавшаяся тогда: стенографистка. Ее приглашали на разные высокие совещания, однажды на таком совещании присутствовал Сталин. От нее я впервые услышал слова: «наркомат», «местком», но представлялось мне по звучанию слов совсем не то, что они означали.

В ту пору (я говорю о начале 30-х годов) еще живы были отец и мама, и с нами вместе, в Москве, на Донской улице, жила Фрида, молодая, незамужняя, очень я ее любил. Она вышла замуж, в тридцать восьмом году мужа ее, бухгалтера, арестовали, срок — десять лет. В огромной общей квартире в Обыденском переулке ее, жену «врага народа», сразу переселили в самую крохотную, пяти- или шестиметровую комнатку, и маленький ее сын засыпал под стук пишущей машинки, а она многие годы спала по три, по четыре часа в сутки, но все десять лет посылала мужу посылки. Любви между ними, как я понимаю, не было, но была порядочность, был долг. После войны его выпустили, а вскоре вновь забрали: всех, отбывших десятилетние срока и выживших, везли домучивать. И вновь — посылки, вновь — ночи напролет за пишущей машинкой, а во время войны, в эвакуации, зимой, не миновал ее и лесоповал. Но какой это был добрый, кроткий человек. Она же и предложила, чтобы меня прислали на месяц в Москву, мол, сирота. Это при ее-то положении. Правда, жил в Москве еще мой дядя, подомашнему — дядя Мотя: Макс Григорьевич Кантор. Он занимал какую-то ответственную должность на заводе, работал очень много. Своей семьи у него не было, а была многолетняя любовь с замужней женщиной, с Юлией Федоровной, ее муж знал об этом. Тем не менее из семьи она не уходила.

ла, не могла: была взрослая дочь, Евгения, Женя, с мужским характером и мужской по тому времени профессией — авиационный инженер-конструктор в каком-то КБ. Кстати, квартиру на Беговой улице, где они жили, дали именно ей, Жене: что-то четыре или пять комнат. Вот Женя ненавидела Макса Григорьевича, и в общем-то ее можно понять. Но не судите да не судимы будете, жизнь сложна. Женя пять раз выходила замуж, разменяла эту великолепную квартиру, разводясь с третьим мужем, а потом он же стал ее пятым мужем и вновь переехал к ней.

Юлия Федоровна была сдержанный, исключительно порядочный человек, все у нас в семье, все Мотины сестры любили ее. Помню ее уже седой, волосы на голове аккуратно уложены, белая выстроченная кофточка, высокий воротничок, черный шнурок-бантик. В 43-м году, после Северо-Западного фронта, после артиллерийского училища, ехал я на Юго-Западный фронт через Москву и одну ночь ночевал у Юлии Федоровны. И это ощущение чистоты, тишины, немятых, выглаженных для меня простыней, милое ее лицо с поседевшими бровями — долго мне это вспоминалось. А засыпая в ту ночь в чистоте и в тепле, я видел при свете луны из окна огромный до потолка и во всю стену буфет темного дуба с массивными накладными серебряными петлями.

Но это все — позже, до этого надо было целую жизнь прожить. А пока что школьником отправили меня на месяц в Москву, и я попал в страну чудес: метро, поразившая меня станция «Маяковская»; задрал голову, я стоял и смотрел на самолеты, мозаикой выложенные на потолке. Какими устарелыми, неподвижными выглядят они сегодня. Красная площадь. Сельскохозяйственная выставка. Тут видел я все, что у нас будет, а пока что выставлено в Москве. Породистые быки величиной чуть не со слона, коровы-рекордистки. А ткани какие, кожа невероятной красоты, а какие машины, станки... В Воронеже мы в четыре, в пять утра становились в очередь за дешевыми конфетами-подушечками, сахара в продаже не было, хотя Курская, Воронежская, Орловская — это те области Центрального Черноземья, где сажали сахарную свеклу. Мы выстаивали очередь за сливочным маслом, давали его в руки по 400 граммов, номер очереди писали чернильным карандашом на ладони.

Повез меня дядя и в Тушино на праздник авиации 18 августа. Тысячи людей, сидя на земле под жарким солнцем, смотрели в небо, а самолеты кружили, переворачивались, делали мертвые петли, пронеслись быстрее мысли, наполняя всех нас гордостью. И никто не подозревал, что в это время уже идут тайные переговоры с вождями фашистской Германии, решаются судьбы нас всех, стрелки часов уже переведены и целые страны разрезают по карте, как пирог. А мы такие веселые ехали с праздника.

Как-то раз дядя попросил подождать его на улице, а сам зашел в учреждение. Люди стояли у газетной витрины. Я тоже подошел. Газета «Правда». Фотография: Молотов и Риббентроп. Сталин в белом кителе. Рядом. Люди смотрели, читали сообщение молча. Молча отходили, как бы не видя друг друга. В дальнейшем, в марте 40-го года, Риббентроп скажет министру иностранных дел Италии Чиано: «Я чувствовал себя в Кремле словно среди старых партийных товарищей». Но все это и узнается, и понимать начнем много позже.

А в тот вечер, раздевшись, а я уже лег, дядя сидел на кровати, босые ноги в тапочках — на полу, свет потушен. Двумя руками взял он складку на животе и, держа ее вот так, сказал: «Думаешь, это хорошо? Нет, это совсем не хорошо...» Он не о складке на животе говорил, он говорил о приезде Риббентропа в Москву и обо всем, что с этим связано, но и это я понял много позже. И еще он сказал: «А Кагановича — ты заметил? — не пригласили на переговоры». Это я заметил. Каганович — еврей, Риббентроп — фашист, мы уже не с позиции силы, даже не на равных вели переговоры, мы подлаживались, играли по их правилам.

Дядя был человек суеверный. Уходя из дома, стоя уже в дверях, он говорил непременно: «Будьте здоровы, до свиданья, всего хорошего». И ждал, пока ему ответят: «Будь здоров, до свиданья, всего хорошего». Без этого он уйти не мог. В 41-м году было ему уже около сорока пяти, на заводе, как я говорил, он занимал солидное положение, за ним заезжала машина, в то время это значило многое. Надо полагать, была у него бронь. Но в первые дни войны он пошел в ополчение, они были в одной дивизии с моим Юрой: Юра — в артиллерийском полку, Макс — в стрелковом полку, санитар. Я не знаю, как он погиб, ничего больше не знаю о нем.

Да, был особый нравственный климат в те месяцы 41-го года, когда над страной, над всем народом нависла угроза гибели. И кто-то бежал из Москвы, а кто-то, все бросив, шел защищать ее.

После войны я случайно нашел у родственников стеклянный негатив с отколотым уголком. Отпечатал. В белых летних брюках, в белой рубашке, холеный, крупный, сложив руки на груди, Макс Григорьевич Кантор сидит на краю цементного фонтана, нога в белой парусиновой туфле — на весу, лицо загорелое, курчавые волосы с сединой...

В школе у меня было два друга: Алик Небольсин и Дима Мансуров. Димка. И вот в девятом классе, когда нас приходили настойчиво агитировать в военные училища и уговорили одного, Семькина, он пошел в училище связи, Алик вдруг узнает: можно поступить сразу на второй курс авиационного техникума. Два года учебы, и ты — техник, самостоятельный человек. И работать будем здесь же, в Воронеже, на 18-м заводе, на левом берегу реки.

Мои дядя и тетя, у которых я жил, ни в чем не отличали меня от своих детей, и двоюродная сестра, моя ровесница, не просто была мне как родная, а стала родной. И все же мне хотелось скорей быть самостоятельным. Я относительно неплохо рисовал, мог бы по клеткам рисовать портреты вождей к праздникам. Но кто доверит мальчишке такое не просто ответственное — политическое дело? Я писал плакаты на кумаче, в поликлиниках, в учреждениях давали мне разрисовывать стенгазеты, писать лозунги, делал я это легко, а вот приходиться, просить было тяжело, стыдно, вроде — побираюсь. Но, в общем, зарабатывал какую-то мелочь. Разумеется, семья не бедствовала, то, что мне удавалось заработать, в семейном бюджете не играло никакой роли, но мне самому это было важно. Вот говорю: «не бедствовали». Это — так. Но когда купили дяде шубу с каракулевым воротником, это стало в семье событием. Как раз в то время отдали или продали Китаю КВЖД — Китайско-Восточную железную дорогу. И служащие, кавежединцы, так их называли, приехали на родину, в Советский Союз, в том числе — в Воронеж. Несчастные люди, вскоре их объявят шпионами, врагами народа. Один из них продавал почти новую черную ратиновую шубу с черным каракулевым воротником. Ее купил дядя. Это было чудо, а не шуба, такого мягкого на ощупь, толстого, выделанного в елочку ратина я еще не видел,

я и слова такого не знал. На моей памяти это была самая значительная покупка в семье.

Так вот, Алик узнал, что можно поступить в авиатехникум, и мы вдвоем с ним поступили. Сразу — на второй курс, в самолето-монтажную группу. И странное дело, математика, которую я терпеть не мог в школе, стала мне интересна: и интегральные, и дифференциальные исчисления. А стипендия была семьдесят пять рублей. Что они значили? Мои первые часы, за которыми я многие сутки выстаивал очередь в магазин (хотелось наручные, с решеткой поверх стекла, такие у нас в классе носил Копытин и во время урока то и дело любовался ими, но мне достались карманные, толстые), так вот они, эти часы, стоили как раз семьдесят пять рублей. Килограмм сливочного масла (только его не продавали килограммами) стоил двадцать четыре рубля. На стипендию худо-бедно жить можно было.

С Димкой Мансуровым, хотя я уходил из школы, мы расставались не навек. Помню, пошли в баню и потом много часов ходили по Воронежу, строили планы, как будем жить дальше. И придумали вот что: я закончу авиатехникум, пойду работать на завод и буду помогать ему; пока он будет учиться в институте. Потом пойду в институт я, а он тогда будет помогать мне. Одним словом, программу разработали на много лет вперед. А до войны оставалось два года.

Воронежский авиатехникум я всегда вспоминаю с теплом в душе. Помещался он в красном кирпичном здании бывшего Благородного дворянского собрания. Учиться было интересно, давалось мне все легко, в том числе — слесарное дело. Самое первое задание — сделать чугунный утюг. Шершавая отливка, ручкой вниз зажимаешь ее в тисках и зубилом срубаешь поверхность, ту самую, которой будут гладить. Зубило — в левой руке, молоток — в правой, не тюкай потихоньку, прицеливаясь, а со всего маха бей, не глядя, как слесаря бьют: взблеснет молоток за плечом — удар, взблеснет — удар. Пока освоил это, не раз сбивал кожу на суставах, хорошо еще суставы не раздробил. Потом — напильником. Потом — пришабрить. Двадцать пять точек требовалось на квадратном сантиметре, не меньше, и гладкой, зеркальной становилась поверхность утюга. В дальнейшем делали мы плоскогубцы, кронциркули, штангенциркули, а для себя, тайно, — ножи. Отпустишь старый напильник, то есть раскалишь его на огне и дашь остынуть, металл становится мягким, удобным в обработке. Я и выгибал

их, почему-то нравились мне кривые кинжалы, обоюдоострые. Когда потом снова закалишь металл в воде или в масле, острые они становились, как бритва. Я и побрился впервые в жизни самодельным кинжалом, сбрил раньше времени пушок на щеках.

И все в авиатехникуме было хорошо, но появился у меня враг, Володька Киселев. Был он, если память мне не изменяет, лет на пять старше меня и даже, кажется, женат. Иной раз сидишь на лекции, он сзади, и затылком чувствуешь исходящую от него ненависть. Помимо всего прочего, мнил он себя артистом, оба мы — в драмкружке, близится что-то вроде соревнований, первый приз — 50 рублей. Но даже и этих пятидесяти дороже — ПЕРВЫЙ! В школе играл я однажды в пьесе Островского «Свои люди — сочтемся». Сначала меня позвали писать декорации, потом втянулся: Алик Небольсин — Подхалюзин, я — Ресположенский. Но в авиатехникуме это уже было дело принципа. Володька Киселев бледнел, когда ему говорили, что у него — талант, он — первый и первое место заранее — его, один из преподавателей репетировал с ним его роль.

Когда-то мой Юра читал в школе монолог Скупого рыцаря: в гриме, в костюме, сундуки с воображаемым золотом стояли на сцене. У меня сохранилась эта фотография. От него, от его одноклассников, я запоминал Пушкина наизусть: они, бывало, читают, а мне слышно в другой комнате, и запоминаю, как услышалось: «Так думал молодой *повесарь*, / Летя в пыли на почтовых, / Всевышней волей *Изувеса* / Наследник всех своих родных...» Кто такой *Изувес*, что означает *повесарь*? Я не понимал смысла этих слов, для меня что «повеса», что «повесарь» — никакой разницы. И не знал ничего про бога Зевса, страшно изумился, когда прочел: «Всевышней волею Зевеса...» А я уже так хорошо представил себе этого Изувеса.

Должен признаться, приходил я не только ради того, чтобы повидать Юру или послушать Пушкина: я был тайно влюблен в его одноклассницу, девочку с пепельными волосами и родинкой на щеке, в Иру Касиванову. В классе, где учились Юра и Юдя, было несколько детей обкомовских работников, все они в один день стали сиротами, не только их родителей арестовали, арестованы, как говорили, были даже шоферы. Это и ее судьба.

Вот так же точно, как «Евгения Онегина», я впервые услышал монолог Скупого рыцаря.

И вот — пустая сцена, нет ни грима, ни декораций, но полутьма обозначает подвал. Я вышел со свечой. Читаю, и внутренняя дрожь пробирает меня:

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.

«Смиренно» я произнес препротивнейшим голосом, прямо-таки проблеял. Еще и пальцем указательным подрожал, тыча себе под ноги, в пол, где «смиренно будут ждать моей награды». Но дальше, после перечисления всего, что подвластно Скупому рыцарю, шли великие слова, значение которых вряд ли я тогда понял, но все же что-то и тогда почувствовал в них: *«Я знаю мощь мою: с меня довольно / Сего сознанья...»* Моего сознанья с меня довольно. Мурашки шли у меня по лицу, когда я зажигал свечу. Зажег. Поставил на пол. Свеча упала. В зале не рассмеялись. Снова зажег. Опять свеча упала. Но не погасла. Я взял ее в руку. Рука дрожала. Дрожал огонь свечи у меня перед лицом. Я чувствовал в себе физическую немощь старика: все ему подвластно, а жизнь из него уходит. И даже голос откуда-то взялся старческий, дребезжащий. Я ушел со сцены обессиленный. Болела голова. Но первый приз был мой.

В дальнейшем пути наши с Володькой Киселевым разошлись: началась война, немцы подходили к Воронежу, авиатехникум эвакуировали в тыл, в Куйбышев, на Волгу. Я остался в Воронеже: хотелось на фронт.

Практику после второго курса мы проходили на 18-м авиационном заводе. Было лето 41-го года. Мы делали штурмовики «Ил-2». Но работать поставили меня не слесарем, а клепальщиком. В левой руке — металлический брусок: поддержка. Произносить полагалось с ударением на первом слоге: *пóддержка*. В правой — пневматический молоток. И сажаешь заклепку за заклепкой: клепали крылья самолета. Кстати, в восьмидесятых годах, то есть сорок лет спустя, увидел я в Харькове, на авиационном заводе, ту же *пóддержку* и тот же пневматический мо-

лоток, будто родных повстречал. И здесь, как мы когда-то, клепали ими в узкостях.

Самым трудным для меня в ночную смену было время между часом и двумя. Лечь бы куда-нибудь под станок и заснуть, слаще той мечты не было. И вот едешь утром трамваем с левого берега реки в город, клюешь носом. Входят женщины на остановке. Ну почему я должен уступать ей место? Она спала, а я работал. А сам уже стоишь.

И впервые на заводе жизнь вошла в противоречие с тем, что вдалбливали нам в школе. Увеличили норму, а расценки оставили прежними. По всем школьным понятиям рабочие должны были радоваться: они работают на себя, на свою страну, всем станет лучше. Это в капиталистических странах, где работают на капиталиста, рабочие недовольны, устраивают забастовки... Забастовки не было, но ходили хмурые, ворчали, высказываться вслух опасались. Для меня это было поразительное открытие. На два года, всего только на два года я был младше своего брата, но он многое понимал, я же был верующим, а верующий по природе слеп.

Но вот первые дни войны. Митинг на заводе. Директор завода Шенкман с трибуны в микрофон объявляет: с этого дня завод будет выпускать вдвое больше штурмовиков, их ждут на фронте. И — общее воодушевление, это принимают на ура.

Теперь и вспомнить стыдно, самому не верится, но мы обрадовались, когда услышали по радио: война. Люди плакали, какие лица были у людей! Даже сейчас, когда смотришь эти старые фотографии — люди под репродукторами слушают заикающуюся речь Молотова, — мороз пробирает по коже. А мы с Димкой Мансуровым, радостные, побежали в военкомат: вот оно пришло, наше время. Перед военкоматом толпился народ, пьяный цыган в хромовых сапогах с напуском стоял картинно, бил себя в грудь: «Цыгане бьют в тэрц!..» Застряла в ушах эта фраза. Мы все же пробились к какому-то воинскому начальству, сейчас нас запишут, направят, пошлют руку на прощанье... Нас прогнали. Наш год еще не призывали в армию. Может быть, там, у границ, откуда откатывался фронт, там брали наших одногодков, но Воронеж далеко от фронта. И мысли такой не могло быть, что немцы придут сюда.

Вскоре начали передавать по радио воспоминания солдат Первой мировой войны, побывавших в плену у немцев. Один, помню, жаловался: свеклу пареную приходилось есть... После почти двухлетней дружбы с фашистами трудно было перенастраивать пропаганду на другой лад. Тогда, после приезда Риббентропа в Москву, сразу исчезли с экранов антифашистские фильмы: «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок».

Решился бы Гитлер вторгнуться в Польшу, начать Вторую мировую войну, если бы мы не обеспечили ему тыл, не заключили с ним договор, по которому Западная Украина и Западная Белоруссия, Бессарабия отходили к нам, если бы, сторговавшись, не благословили его, по сути дела? Что сейчас гадать... Первого сентября, в первый после каникул день, когда мы шли в школу, на Польшу обрушились бомбы, началась Вторая мировая война. Семнадцатого вслед за немцами вторглись в Польшу мы, начался так называемый освободительный

поход. Помню, прочел в газете, как польский офицер с гранатой полз в хлебах подорвать наш танк, *«извивался, как гадина, как змея»*. Нет, мне не хотелось, чтобы подорвали наш танк, но было что-то постыдное, злорадное, нечеловеческое, как писали про этого польского офицера, которого успели застрелить. Не случайно до сих пор помню.

Был у нас ламповый приемник ЭКЛ воронежского радиозавода, его потом отобрали, когда началась война: у всех тогда отобрали приемники. А пока война шла в Европе. Вечерами горело окошко приемника, свист, треск, завывание: это чтобы мы не слышали слова правды про нашу войну с Финляндией. И громко на многих волнах раздавалась немецкая речь, немецкие победные марши. Что мы знали? Ничего мы не знали. Пропаганда наша, насквозь лживая, поддакивала Гитлеру в те дни, а люди душой были с побежденными французами, с англичанами, которых Luftwaffe бомбил еженощно на их островах, а они не сдавались, с ними мы связаны судьбой, а не с немцами, которые уже завоевали полмира. Это было народное чувство, народное понимание происходящего. Как забыть, что еще недавно добровольцы наши сражались против немецких, итальянских фашистов в Испании? И была подспудная уверенность, что войны с немцами не избежать, чего уж радоваться их победам? Не знали только, что самое тяжелое поражение мы уже потерпели: в 37-м году, когда Сталин фактически уничтожил Красную Армию. Цифры эти и факты сообщали не раз, но их надо помнить и знать, великая трагедия берет свое начало отсюда.

Из 5 маршалов арестовано и расстреляно было 3.

Из 2 армейских комиссаров (= генерал армии) арестован и расстрелян 1 (второй, Гамарник, застрелился, чтобы избежать ареста).

Из 4 командармов 1 ранга (= генерал армии) арестовано и расстреляно 3.

Из 2 флагманов флота 1 ранга (= адмирал флота) арестовано и расстреляно 2.

Из 12 командармов 2 ранга (= генерал-полковник) арестовано и расстреляно 12.

Из 2 флагманов флота 2 ранга (= адмирал) арестовано и расстреляно 2.

Из 6 флагманов 1 ранга (= вице-адмирал) арестовано и расстреляно 6.

Из 15 армейских комиссаров 2 ранга (= генерал-полковник) арестовано и расстреляно 15.

Из 67 командиров корпусов арестовано и расстреляно 60.

Из 28 корпусных комиссаров арестовано и расстреляно 25.

Из 199 командиров дивизий арестовано и расстреляно 136.

Из 397 комбригов арестовано и расстреляно 221.

Из 36 бригадных комиссаров арестовано и расстреляно 34.

В дальнейшем за четыре года войны мы не понесли таких потерь в высшем командном составе. А всего было арестовано, расстреляно, сидело в каторжных лагерях 43 тысячи офицеров и генералов, Красная Армия была обезглавлена, немцы знали это, знали, что восполнить такие потери невозможно.

С 20-го года все должности начальников штабов дивизий и выше в РККА были укомплектованы командирами, окончившими Академию Генерального штаба в царское или советское время. К 22 июня 1941 года только 7,1 процента командиров имели высшее образование.

Генерал армии С. Калинин был назначен командующим Сибирским военным округом. Он принимал дела от капитана: все строевые офицеры от майора и выше были посажены! Из четырех командующих армиями в Киевском особом военном округе двое не имели военного образования. В своих послевоенных воспоминаниях маршал С. С. Бирюзов рассказывает, как он в те самые тридцатые годы, окончив академию, получил назначение в 30-ю Иркутскую дивизию на должность начальника штаба. К его прибытию эту должность исполнял старший лейтенант. И в кабинете комдива сидел тоже старший лейтенант. Все старшие офицеры дивизии были арестованы, командование дивизией вынуждены были принять на себя командиры рот.

Трагедия 41-го года была следствием страшного разгрома Красной Армии, который учинил Сталин в 37-м, 38-м и последующих годах. И никогда не счесть нам, сколько солдатских жизней пришлось положить, сколько пролито крови, чтобы на войне наши командиры выучились воевать, стали генералами, маршалами.

Говорят, первой пулей на войне убивают правду. Вот что сообщали нам первые сводки.

«Сводка Главного Командования Красной Армии за 22.VI.1941 года.

С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки **Кальвария, Стоянув и Цехановец** (первые два в 15 км и последнее в 10 км от границы). Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника».

На следующий день уточнялось: «По уточненным данным за 22.VI. всего было сбито 76 самолетов противника, а не 65, как это указывалось в сводке Главного Командования Красной Армии за 22.VI.41 г.». И мы радовались, что уничтожено не 65, а 76 самолетов противника, что «противник отбит с большими потерями», да как же не радоваться этим почти что победным сводкам. Еще не прочитывалось, сколько героического (а в большинстве своем это останется безвестным) и какая трагедия уже обозначились между строк. Хотелось верить, верить. И откуда было знать, что уже уничтожены почти все наши самолеты, сосредоточенные на приграничных аэродромах, и это во многом определит ход первых месяцев войны. Начиная с 26 июня пойдут сводки «От Советского Информбюро». Их слушали, как слушали бы голос господ бога, если бы он раздавался из репродуктора.

Но вот появилось Луцкое направление: «На Луцком направлении в течение дня развернулось танковое сражение, в котором участвуют до 4000 танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается». Искали по карте: где ж этот Луцк? Далеко от границы... Но — радостный слух опережал события: наши разгромили немецкие танки. Теперь пойдут... И ждали, ждали, когда это появится в сводке. Мелькнуло еще раз Луцкое направление, Луцк, но как-то неопределенно, не про то, что ждут. Зато все больше места стали занимать сообщения о том, что красноармеец такой-то обнаружил группу немецких солдат. «15 солдат было уничтожено метким огнем отважного красноар-

мейца». Что «крестьяне Западных областей Украины и Белоруссии с первых дней войны проявляют высокую бдительность». Что «недалеко от села N крестьяне задержали двух подозрительных людей». Это оказались разведчики банды немецких диверсантов. «32 диверсанта были убиты, остальные захвачены в плен». Что «за последнее время в занятых Германией странах патриоты значительно усилили свою борьбу против поработителей». И — новые направления, новые города появлялись в сводках, все дальше, дальше от границы.

Вдруг — слух, пробудивший ярость, он сразу многое объяснил: изменил командующий Западным фронтом Павлов. Вместе с начальником штаба Климовских они бежали к немцам в автомобиле. Но наш танк догнал их на шоссе и расстрелял из орудия. Вот оно, оказывается, в чем дело.

Павлов был командиром танковой бригады в Испании, сражался смело, был удостоен звания Героя Советского Союза. В 40-м году его поставили командовать Западным Особым Военным Округом: на направление возможного главного удара. Именно здесь немцы сконцентрировали в дальнейшем основные силы, отсюда, прорвав фронт, развивали наступление на Москву. Почему на Западный Особый Военный Округ поставлен был Павлов? А некого больше было поставить после всех так называемых чисток, которые прошли в армии. До мая 37-го года этим округом (тогда он назывался Белорусский Военный Округ) командовал талантливейший наш полководец Уборевич. В 37-м году судим, расстрелян. Восемь полководцев проходили тогда по процессу: Тухачевский, Якир, Уборевич, Примаков, Фельдман, Корк, Эйдеман, Путна. Цвет нашего генералитета. Судей тоже было восемь: Буденный, Блюхер, Дыбенко, Белов, Каширин, Шапошников, Алкснис, Горячев. Судьи не надолго пережили тех, кого обрекали на смерть. Уцелели Буденный и Шапошников.

С 5 июня по февраль 38-го года Белорусским Военным Округом командует уже Белов, один из восьми судей, отправивших Уборевича на расстрел. Но недолгий ему был отмерен срок. С апреля 38-го года Белорусским, теперь уже Особым Военным Округом командует Ковалев. В июне 40-го года на Западный Особый Военный Округ поставлен Павлов. Значение округа, это видно даже по названиям, все время повышалось, уровень командования понижался. Павлов был и остался хорошим командиром бригады, а его поставили командовать округом, то

есть фронтом. В первые же дни войны он потерял связь, управление войсками, фактически не знал, что творится на фронте.

После стольких заверений с высоких трибун, сопровождавшихся бравыми песенными заявлениями: «И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом...», «Встретим мы по-сталински врага!..» — требовалось объяснить народу, что происходит, нужна была жертва, виновник всех бед. Десять дней или целые две недели Сталин пребывал в страхе и полнейшей прострации; один из теперешних историков нашел тому объяснение: у него болело горло... Наконец «верные соратники», сами ни живы ни мертвы, явились к нему (в первый миг он решил — пришли арестовать) и вручили брошенные бразды правления, побудили действовать. И были отозваны с фронта генерал Павлов и его начальник штаба Климовских, обоих судили и расстреляли. ИЗМЕНА! Вот слово, которое объясняло народу все. Оно уже само зрело в народе.

А мы с Димой Мансуровым тем временем спешно проходили медицинскую комиссию в летную школу. Намечался сверхускоренный выпуск, набирали курсантов. Дима был шире меня в плечах, сильнее, но по зрению я прошел комиссию за него. Возвращаемся, чувствуя себя летчиками, идем по проспекту Революции, главной улице Воронежа (бывшая Большая Дворянская), сверху вниз поглядываем на все остальные рода войск, попадавшиеся навстречу. Зашли в сад ДК. Выстрел. Бежим туда. Еще выстрел. И вот запомнилось: на песчаной дорожке корчится человек, ноги ободраны, а от головы отстала кожа, но не лохмотьями, а как половинка мяча, наполненная кровью. И там же, на дорожке, — огромная бурая туша медведя, вся сужающаяся к носу, от него — ручей крови. И милиционер с наганом в руке. Это он застрелил медведя.

Сверхускоренный выпуск летной школы не состоялся: возможно, кто-то все же сообразил, что при такой подготовке это будут не летчики, а смертники, как доверить им самолеты, которые все на счету? Однако вот еще на что можно было надеяться: в армию призывали девятнадцатилетних, но тех, кто окончил школу-десятилетку, призывали с восемнадцати лет. И я срочно экстерном начал сдавать экзамены за десятый класс, и учителя соглашались принять, все сдвинулось в жизни. Экзамен по химии принимала строгий наш директор школы Екатерина Николаевна Попова. Мы сидели на скамейке на

проспекте Революции, напротив ресторана и гостиницы «Бристоль», на другой скамейке сидел Дима Мансуров, подсказывал мне, потом к нему подсел пьяный и очень веселился.

— Ты на себя посмотри! — негодовала Екатерина Николаевна. — Нет, ты посмотри на себя и на Мансурова! Мансуров идет, я понимаю, от него прок будет. А ты что идешь?

Но аттестат мне был выдан. А в армию нас опять не взяли: нам обоим было по семнадцать лет. И вот тогда мы решили бежать в полк к моему Юре. По нашим расчетам он находился где-то в районе Смоленска. Смоленск был уже взят немцами, но разнесся слух, опять же — слух, что наши отбили город. Мы пришли на вокзал брать билеты до Смоленска. Разумеется, нам их не дали, но дежурный по вокзалу завел нас к себе в комнату, внимательно выспрашивал, откуда нам известно, что наши войска взяли Смоленск. Он тоже хотел верить.

Уже уехал в эвакуацию авиатехникум, в тыл, на Волгу. Готовили к эвакуации 18-й завод. Фронт приближался. Но впереди фронта, как хлопья сажи с пожарища, пригнало беженцев. Черные от солнца и пыли, иссохшие, они ехали в телегах под брезентовой крышей, шли пешком, кто в чем успел уйти, несли детей на руках, губы спекшиеся, а глаза... Страшно было глядеть в их глаза, они видели то, чего еще не видели мы. Впервые так явственно дохнуло войной.

Дядя мой, Давид Борисович Зелкинд, был уже призван в армию, шинель, узкие медицинские погоны на плечах: в Воронеже формировался армейский госпиталь. Он — на фронт, семья — в эвакуацию. Но оставалась надежда: под Воронежем Диминого отца назначили командиром полка связи, который тоже только еще формировался. И мы договорились так: Дима поедет к нему, попросит, чтобы нас взяли в полк, и до определенного часа сообщит мне. И он поехал, договорился, но была у него девушка, с ней и загулял он на радостях, а когда спохватился, мы уже уехали. Все это узнал от него потом, из письма. А после войны, когда Димы уже не было на свете, случайно узнал, что она вышла замуж. И далось ей это не просто: жених непременно условием ставил невинность невесты. Но нашли врача, и врач этот сумел убедить жениха, что в отдельных случаях так бывает, в медицине такие случаи описаны.

Среди ночи дядя посадил нас в проходивший через Воронеж санитарный поезд: врач, он поговорил с врачом, начальником поезда, и нас взяли. И вот — стыдный момент в моей жизни,

который, может, и хочется забыть, да помню: в один из дней пошел я по вагонам, узнать у раненых, что на фронте, как там. Полки в три яруса, сверху свесилась стриженная голова, молодой парень, может, на год, может, на два старше меня. Смотрит. Я еще улыбнулся ему доброжелательно.

— А ты почему не на фронте? — сурово спросил оттуда, сверху.

Меня стыдом, как хлыстом, стегнуло.

— Вот еду призываться.

— Призываться... Играться...

И что тут скажешь, как оправдаешься? Они — ранены, они отбыли свое, а я, здоровый парень, еду в тыл, подальше от войны.

На станции Верещагино тогдашней Молотовской области, то есть под Пермью, в глубоком тылу, выгребали из глубин России народ, спешно обучали, спешно формировали войско и гнали на фронт взамен кадровой армии, которой почти не осталось. Пройдут годы и годы, и станет известно, что в 41-м году в плен попало 3,9 миллиона советских бойцов и командиров всех рангов. К началу 42-го года в живых из них осталось 1,1 миллиона человек. Счет шел на миллионы, на сотни тысяч, а жизнь человеческая, чья-то судьба перестала что-либо значить.

И вот на вытоптанном снегу строятся роты, батальоны, станцию оглашают гудки паровозов, лязгает буферами порожняк, в домах плач, а из окрестных деревень по зимним дорогам санями, пешком спешат бабы с узелками, их уже облетела весть. Кто раньше успел, стоят плотным дышащим кольцом вокруг вокзала, вокруг площади — жены, невесты, сестры. Стоят матери и старики. А в середине плотного кольца строятся с оружием их сыновья, подвластные голосу командиров. И в такое время пробрался я к одному из командиров, попросил, чтобы меня тоже взяли с собой. Он взглянул обалделыми глазами:

— Что?!

А когда понял, про что речь, рывкнул таким офицерским голосом, что меня просто не стало.

Вскоре на станцию Верещагино прибыл вырвавшийся из окружения артиллерийский полк, вернее, то, что от него осталось. И странным было мне спокойствие этих людей: немцы

уже подходили к Москве, а им как будто и ничто. Офицеры (тогда говорили: командиры) расселились по домам, вдовушки, бабы забегали за самогонкой, довольные-довольные, помолодевшие: праздник выпал посреди войны. Чтобы понять, надо было самому побыть на фронте, а я еще там не был. Они такое испытали, такое видели, что словами не расскажешь, и каждого из них впереди ждал фронт, кому сколько там отмерено, об этом лучше не загадывать: верное солдатское правило — ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться, а выпало жить — живи, не паникуй.

Тем временем стали прибывать с заводов новые пушки и тракторы, во дворе военкомата толпились новобранцы, во всем домашнем, но уже наголо остриженные под шапками.

Я и теперь не понимаю, как пропустили меня к командиру полка, да еще в такой момент, когда у него находился представитель, приехавший из Москвы. Сильно худой от голода, в зимнем пальто, которое повисло на мне, я предстал перед ними. По прошествии многих лет могу свидетельствовать: это было жалкое зрелище. Надо полагать, командир полка видел, что ему предлагалось, но тем не менее терпеливо тихим голосом расспрашивал меня:

— Вы буссоль знаете?

Представитель из Москвы, подполковник, в расстегнутом коротком белом полушубке, каких не хватало на фронте, в туго натянутых хромовых сапогах, курил, хмурил брови, ждал. Я не знал, что такое буссоль, ни разу в жизни ее не видел.

— Стереотрубу знаете?.. Телефонный аппарат?

Я понял: меня не возьмут. Тогда я дотронулся рукой до стола, за которым сидел командир полка, и сказал, что на фронте погиб мой старший брат и я хочу на фронт. Подполковник в полушубке, сидевший все так же нога на ногу боком к столу, скосил глаза на мою руку:

— На что он тебе нужен? Мы тебе знаешь каких мужиков пришлем? Какие еще паровозного гудка не слышали.

Он был начальство и старший по званию, а я, ничего не умеющий, действительно не был нужен командиру полка. Но он коротко взглянул на меня и сказал тихим голосом (а в окружении он подымал полк в атаку на прорыв, сам шел впереди с пистолетом):

— Человек — это такой материал, из которого все можно лепить, тем более если он сам хочет.

Не знаю, содержится ли мудрость в этих словах, но они показались мне выражением высшей мудрости: в них была моя судьба. И я всю мою жизнь благодарен майору Миронову за то, что он взял меня в свой полк. Потом уж я узнал, что в полку я был самым молодым, хотя продолжалось это, конечно, недолго. Об этом и многом другом есть в моем невыдуманном рассказе «Как я потерял первенство». Он уже не раз был напечатан, когда я вдруг стал получать письма от однополчан из 387-го гаубичного полка, из нашей 34-й армии. «Читая военные произведения писателя Г. Я. Бакланова, мой друг по фронту М. А. Юдович и я обнаружили его маленький рассказик «Как я потерял первенство», из которого узнали, что Бакланов наш однополчанин», — писал из Ленинграда П. С. Ковальчук. Оказалось, создан музей полка, и там, собравшись, они читали рассказ вслух и плакали. В рассказе нет ничего, что заставляло бы плакать. Но они, пожилые люди, вспоминали себя, молодость, наш Северо-Западный фронт, голодный и мокрый.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Ночью на разбитой станции нас выгрузили из эшелона, и дальше, к фронту шли пешком. Голубая зимняя дорога, отвалы снега по бокам, ледяная луна в стьлом зимнем небе, она светила нам с вышины и двигалась вместе с нами. Скрип-звон, скрип-звон сотен сапог по смерзшемуся снегу, пар от дыхания над головами людей, над завязанными ушанками, как над шлемами заиндевелыми. Впереди тракторы проволокли за собой волокуши, треугольником сбитые скобами тяжелые бревна, они раздвинули снега, расчистили дорогу, и мы шли по ней. Валенки не выдали, там дадут, шли в сапогах, мороз за 40 градусов. Каждому дали в дорогу по ржавому сухарю и по тонкому пластику замерзшей в лед колбасы. И я грел, грел его во рту, он источал мясной вкус, уже и слюнные железы ломило, а жаль было расстаться, проглотить.

Потом говорили, что за ночь мы прошли семьдесят километров, и так это осталось в памяти. Но этого не могло быть. Нормальный шаг пехоты с полной выкладкой — винтовка, малая саперная лопатка на боку, котелок, каска, вещмешок на горбу — четыре километра в час. Мы шли быстрее: в кирзовых сапогах мороз подгонял, шли так, что спине под вещмешком становилось жарко. Один раз объявили привал. То ли это была конюшня разбитая, без крыши, то ли какой-то сарай, из его же досок развели костер. Только я разулся, выдрал примерзшую портянку из сапога, распял над огнем, вот уже пар от нее пошел — «Па-а-адем! Выходи строиться!..» А у меня портянки сырые. «Товарищ старшина!..» — «Тебя что, война ждать будет?» И до того мне обидно стало, черт с вами, думаю, вот отморожу ноги, раз так... Замотал я портянки сухим концом вовнутрь, мокрым в голенище. И снова скрип-звон, колышутся заиндевелые ушанки, пар над колонной, люди спят на ходу, глядишь, вдруг кто-то впереди пошел, пошел, заплетая ногами, рухнул в снег. За-

снул. Его поднимают. И так и не отморозил я ноги, не отмстил старшине.

Северо-Западный фронт, прозванный еще и сенозаготовительным, был не главный фронт и потому после Ленинградского был, наверное, самый голодный. Но народу здесь положили, думаю, не меньше, чем в великих сражениях. Тремя армиями (1-я, 27-я и наша 34-я) мы окружили и держали в кольце 16-ю немецкую армию. И в каждой из трех наших армий говорили так: основные бои идут не у вас, поэтому продовольствие направляют в 34-ю армию. А нам, в 34-й, говорили, что все идет в 27-ю. А в 27-й, соответственно, говорили, что в 1-ю. Когда потом мы встретились в училище из всех трех армий, смеху хватило. И злиться не на кого.

Мы то замыкали кольцо вокруг 16-й немецкой армии, то она вновь прорывала его в районе «Фанерный завод. Рамушево» — так значилось на карте. А сколько раз брали мы станцию Лычково, уже и на путях, между разбитыми составами завязывался бой, вот-вот возьмем, наша!.. Нет, опять откатились назад. А то еще так придумали наши комиссары и очень этим гордились: раздать пехотинцам маленькие красные флажки, и кто первый вбежит, ворвется с этим флажком на белоборские высоты в районе деревни Белый Бор, тому, как пелось в старой казачьей песне, «честь и слава надлежит». И бежала пехота вверх по склону, какие ребята! Еще не выгребли, еще многолюдна была Россия. И оставались лежать на снегу, срезанные пулеметным огнем. И новые маршевые роты выгружались из эшелонов в Валдае, шли пешком к фронту, спешили... В 45-м, в Берлине, тоже вот так раздавали флажки, и с ними — кто за пазухой, кто в руке — бежали на ступени рейхстага... Не оттуда ли, не с Севера ли Западного фронта пошел этот почин?

А зима 41/42 года была лютая, морозы стояли за 40 градусов, водка замерзала, командиры носили пистолеты на груди под шинелью, под полушубком: смазка тоже замерзала. Да ведь и голодные, а голодному человеку холод страшней. На отдалении целой жизни вспомнишь вот так и сам себе удивишься: как выдерживали? «Что русскому здорово, то немцу — смерть» — это придумано теми, кто в тепле сидел, оттуда, из тепла, подбадривал. На нашем Северо-Западном фронте обмороженных привозили в медсанбаты больше даже, чем раненых.

В книгах военных историков, во многих мемуарах война выглядит осмысленной, упорядоченной, она совсем не та, что в

грязи и крови шла на полях сражений. Лишний раз убедился в этом, перечитывая Лиддл Гарта, есть такой английский военный историк. Он пишет, в частности, о тех операциях, рядовым участником которых был я. И как они стройны, как они хорошо продуманы, как логично развивались. Хочется даже сказать — бескровно. А вот пишет маршал Жуков о боях под Берлином: «С 5 по 7 апреля очень активно, творчески прошли совещание и командная игра на картах и макете Берлина... Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением прожекторов. Решено было обрушить наш удар за два часа до рассвета. Сто сорок зенитных прожекторов должны были внезапно осветить позиции противника и объекты атаки. Во время подготовки операции ее участникам была показана эффективность действия прожекторов. Все единодушно высказались за их применение».

Красиво? Красиво. Стройно? Стройно.

Но в 42-м году я был рядовым участником такого наступления с прожекторами. Генерал Берзарин у Жукова под Берлином командовал 5-й Ударной армией. А ранее, на Северо-Западном фронте, он же, Берзарин, командовал нашей 34-й армией. И вот там, у нас, он впервые испытал наступление с прожекторами. Вот как это было.

В час ночи ударила «катюша», вспыхнули прожектора, ослепив деревню Ямник, где у немцев была сосредоточена артиллерия, по ней била и наша батарея. И грянул из репродукторов «Интернационал» над снежным полем. Танки (было их несколько штук, выкрашенных для маскировки в белый цвет) двинулись, пехота пошла. Но разведка наша не знала, что у немцев вырыт противотанковый ров. В мороз его не выроешь, значит, проморгали. Танки дошли до рва, тут их один за другим подожгли. Пехота залегла, минометы бьют по ней, прожектора светят, репродукторы не враз смолкли, еще победно гремели над полем: *вставай, проклятьем заклеянный...* И правда, из штабов по проводам неслись проклятья: опять пехота залегла! А сколько раненых замерзло в снегу в ту ночь... Я видел войну с поля боя. Там она, повторяю, совсем другая. Как трава по весне прорастает сквозь опавшую мертвую листву, так будущие идеи полководцев прорастали сквозь кости солдат, павших на полях сражений. Вот так она давалась, наука побеждать. Я помню

войну как страшное кровавое дело, которого не должно быть между людьми.

Северо-Западный фронт был не только голодный, он был мокрый и голодный. Вот — весна. Подпочвенные воды близко, землянку глубокую не выраешь, все хлюпает под ногой, бок, на котором заснул, сырой.

Когда после войны проходил я комиссию по инвалидности, кроме осколка в легком обнаружили, что начинался у меня туберкулез, видимо, там, на Северо-Западном фронте, но организм молодой, сам справился, заизвестковалась каверна. А в то же время, потому ли, что вся жизнь дана тебе на миг, нигде и никогда больше не видел я таких рассветов, таких закатов. Помню молодой лес, засохший в воде, деревья, как кость, стоят без коры, и над водой, над ними, мертвыми, восходит солнце. А горький дым костров, а запах махорочного дыма...

Костры горели на снегу...
Мы их сооружали быстро —
Ведро газойля из канистры,
И, как деревья, шли танкисты
Погреться, покурить в кругу;
Друг друга подперев плечами,
Никто не заводил бесед, —
У каждого свое молчанье,
Свои слова, свой в лицах свет.

Костры горели на снегу...
Настало время мне признаться:
Ни мужество, ни долг солдатский
С тех пор забыть я не могу —
На черном фронтовом снегу
Круг человеческого братства.

Это Сергей Орлов. За многих за нас сказал он эти слова: «Ни мужество, ни долг солдатский с тех пор забыть я не могу...»

А ведь я не верил, что меня убьют. Я и родным писал с фронта: «Знайте, меня не ранит, не убьет». До первого тяжелого ранения не верил. Но это было уже в сорок третьем году, после училища, на другом фронте. А здесь я едва не попал под трибунал. По глупости, разумеется, по молодости лет. В какой-то

мере об этом рассказано в повести «Навеки — девятнадцатилетние».

Дело было так: послали меня с донесением в штаб полка, в деревню Кипино. А там, на снегу, стоят вдоль улицы аэросани, моторы работают, от пропеллеров — вихрь: готовился десант в тыл к немцам. Я еще позавидовал этим ребятам. (Говорили потом, никто из этого десанта живым не вернулся.) Но я позавидовал, и любопытно мне стало, что за аэросани, никогда еще этого чуда не видел. Подошел ближе. Ка-ак рубанет меня по локтю. Я аж задохнулся от боли. Пришел в штаб, отдал пакет, а сам толком ничего рассказать не могу. Врач полка глянул: «Повезло тебе!» И правда повезло. На мне шинель была, под шинелью — ватная телогрейка, гимнастерка. Да еще рубашка теплая. И задел меня пропеллер самым кончиком. Окажись я чуть ближе, отрубило бы руку.

До утра оставили меня в штабе, всю ночь просидел на лавке, тут уж не до сна. К утру раздуло локоть, как шар. И странно вдруг переменялось ко мне отношение: то сочувствовали, а то вдруг отстранились все. И услышал шепоток среди писарей: членовредительство...

Утром повели меня в СМЕРШ, что в расшифровке означало: смерть шпионам. Впрочем, тогда, если не ошибаюсь, назывался он — особый отдел, но суть от этого не менялась. Возглавлял его в нашем полку человек по фамилии Котовский. Две гильзы снарядных на столе, два плоских фитиля чадят. И оттуда, из-за них, из глубины глянул он на меня из-подо лба, правда что из-под волчьего лба. Ох, как этот взгляд мне запомнился! Оказалось, должны были ввести к нему мародера, его он встречал этим взглядом, а ввели меня.

Сам ли на глаз определил он, что все-таки надо оставить меня жить, или что-то от командира полка слышал обо мне, знаю только, что не смог бы я оправдаться: чем точнее и правдивей рассказывал бы, как и что со мной случилось, тем больше это походило бы на ложь. А случаи членовредительства были на фронте: и через березу стреляли себе в руку, чтобы ожог не уличил, стреляли через хлеб, а то просто высунет руку из окопа и ждет, пока немец прострелит ее. Да и что одна человеческая жизнь значила, если потери на фронте составляли в среднем (а нас и считали даже не по головам, а в среднем) двадцать с лишним тысяч человек в день. И это — когда мы побеждали: в 44-м, в 45-м годах. Убитых из них — 5,2 тысячи. А в 41-м году мы

ежесуточно теряли на фронтах 24 тысячи человек, убитыми — 17 тысяч. Стоило Котовскому слово сказать, и прибавился бы к этим тысячам еще один, велика ли потеря? Мы никогда не узнаем, сколько по приговорам трибуналов, сколько без приговоров (дано же было право командирам стрелять бегущих на месте) было уничтожено, именно — уничтожено тех, кто рад был бы, если уж погибнуть, так за родину. За годы войны осуждено 994 тысячи человек: на расстрел, в штрафбаты и штрафные роты, в лагеря. Лежал в нашей палате, в госпитале, в Красном Лимане, командир взвода штрафной роты. С ними, говорил он, просто! В атаку они сами идут. Я — сзади. Чуть не то, стреляешь в спину. Вот такой простой, духовно здоровый парень, таких туда и подбирали.

Наверное, я все же под счастливой звездой родился. И светит она мне до сих пор.

В ноябре 42-го года, то есть без малого через год пребывания на фронте, отправили меня во 2-е Ленинградское артиллерийское училище, эвакуированное в Башкирию, в город Белорецк. До этого был набор в танковое училище, но командир батареи сказал: «Да ты гусеницу танка не подымеешь!» Сказал как припечатал, а был он человек упертый, не сомневался ни в уме своем, ни в правоте — всегда и на все случаи жизни. И на меня это почему-то подействовало, хотя вряд ли целый взвод, да еще под его командой, поднял бы гусеницу танка. Интересный он мужик был. Вот сойдутся в круг плясать, такое тоже случалось на батарее, он стоит, глядит свысока. И вдруг — душа взыграла — выйдет, да притопнет ногой, да руками раскинет — вот сейчас пойдет в пляс!.. На этом все и заканчивалось, больше того он не умел: обтряхнет ладонь об ладонь, мол, сплясал бы, вас поучил, да что-то неохота... В артиллерийское училище направил меня, как мне кажется, командир полка, в то время уже не майор, а полковник Миронов: он сам в прошлом это училище окончил.

Ехали мы, богато снаряженные в путь. А причина тому простая: с нами ехал старшина батареи. Вот и голодный фронт, рассказывали, были даже случаи трупоедства: вытянут ночью с поля убитого, а у него уже ляжка отрезана. Но у старшины все было. И мы при нем в дороге горя не знали. Захотел ли он стать командиром (тогда еще не ввели ни погоны, ни офицерские звания) или, что более вероятно, надоело ему на фронте, решил устроить себе передышку, не могу сказать. Но пробыл он в училище недолго. Кормили тут по тыловой норме: жив будешь, но

даже и во сне ничего грешного тебе не приснится. Концентраты, если удавалось добыть, суп какой-нибудь на свечном сале, грызли от плитки, как жмых: в животе, мол, само сварится. А если картошку пошлют перебирать, там же, в овощехранилище, как мыши, грызли ее сырую. Для чего ему такое удовольствие? Вместе с кем-то из нижних чинов, кто ведал на складе обмундированием, толкнули они на базаре несколько пар новых солдатских сапог, были пойманы и отчислены. Куда — не знаю. А родом он был из Самары, переименованной в ту пору в Куйбышев. Вот там, в Куйбышеве, гуляли мы двое суток. Родная сестра нашего старшины работала на пивном заводе, мы ведрами носили оттуда пиво, осталось в памяти, что и пельмени варили, но это не возьмусь утверждать, самому себе не верится. А уж из Куйбышева, нигде больше не задерживаясь, двинулись напрямик в училище: продукты кончились, а если какие-то деньги и были при нас, так они ровным счетом ничего не значили.

Разумеется, знать мы не знали, да большинство нашего народа не знает это и до сих пор, что там, в Куйбышеве, в 42-м году был вырыт бункер для Сталина на тот случай, если немцы придут в Москву. Обычный дом на улице, обычный вход, да и лифт с виду совершенно обычный. А внизу, на глубине тридцати четырех метров под землей, окруженные металлическими тубингами, свинцовой пятнадцатисантиметровой оболочкой да еще сплошным бетонным кольцом, стены которого наверху двухметровой, а в основании уже восьмиметровой толщины, устроено подобие кремлевского сталинского кабинета, кремлевского зала заседаний, паркетные полы, регенерация воздуха, запас воды. И ход отсюда, как рассказывают, под всей площадью аж на тот берег Волги. Теперь в бункер начали водить экскурсии.

В училище и вообще в армии не любят слабых: слабых духом, слабых телом. Взять на походе у ослабевшего непосильную для него ношу, помочь донести — понятно. А если это офицер сделал, так уж это не забудется. Только не у всякого офицера на это хватает ума, не говорю уж — сердца, не каждый рожден воспитателем, куда проще выставить солдата на позор.

Есть хрестоматийный пример: обходя ночью караулы, Наполеон увидел часового, заснувшего на посту. В его власти была жизнь и смерть этого солдата. И все начальники, все низшие и высшие, кто стоял над этим солдатом и так его воспитал, могли быть преданы позору и поруганию, понижены в чинах... Что же сделал Наполеон? Поднял ружье уснувшего часового, стал вместо него на пост и стоял до тех пор, пока тот не проснулся. И тогда отдал ему ружье. Можно представить себе, какой всплеск чувств к императору вызвал этот его поступок.

Каждому народу, каждой нации нужны герои, примеры для подражания, нужны те, кто прославил их на века. И слава себя, Франция должна славить Наполеона. Но мне ближе то, что написано об этом человеке Львом Толстым, например, в сцене, когда Наполеон объезжает поле Бородинского сражения: «И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого... Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель

его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!»

XX век, явивший миру Гитлера и Сталина, печи Освенцима, Майданека и ГУЛАГ, отодвинул Наполеона куда-то далеко-далеко в череду палачей народов, и сияет только его полководческий гений, этого у него не отнимешь.

В училище у нас не было наполеонов, а были сильно примученные жизнью в эвакуации, голодными пайками и семьями обычные смертные люди с погонами на плечах. Командир нашей батареи говорил басовито, был весь налит мужицкой силой, ходил косолапя, носками вовнутрь, отчего выглядел еще могучей. Может, придумал я про него, но казалось мне, человек этот не в ладах со своею совестью: обучать да отправлять на фронт пацанов, а самому оставаться в тылу, что-то же должно царапать совесть. Конечно, кадры, как говорится, надо ковать, да мало ли раненых, искалеченных фронтовиков, без руки, без глаза? Однажды начал комбат за что-то отчитывать меня, а я возьми да глянь ему в глаза, а через них — в душу. И он, комбат, опустил взгляд. Но тут же задрожал ноздрями, побелел: «Как стоите, курсант? Смирна-а-а!» Кто знает, может, и ошибаюсь, чужая душа — потемки. Может, поначалу и хотел он подать рапорт, чтоб отправили на фронт, но, не решившись сразу, постепенно смирился. Быт затягивал, быт унижал. И большинство обучавших нас строевых командиров и преподавателей, видимо, решили для себя эту проблему по принципу: жизнь отдам за родину, но на фронт не поеду.

Начальник училища, генерал, — высоко и далеко, видел ли я его когда-нибудь, не помню. Должен был видеть, конечно, хотя бы на построении, когда, получив офицерские погоны, проходили перед ним, чеканя шаг. А повседневную нашу жизнь более всех определял старшина. Известно, как старшины в армии обожают *интеллигенцию*. А у нас в батарее, только у нас у одних, был курсант, в прошлом — профессор химии. Может быть, и не профессор, а только доцент. Может, даже и не доцент, просто закончил химический факультет: человек с высшим образованием. Но для старшины сладостей, чтоб — *профэссор*. И вот построена батарея в две шеренги на вытоптанном снегу: «Равняйся! Смирна-а!.. Вольно». Вызывают из строя *профэссора*: «Два шага вперед!» Приказывают ему снять шинель. И этой его шинелью старшина обносит строй, обе шеренги, чтоб каждый посмотрел и убедился.

До войны, в журнале «Крокодил», прочел я, помнится, стихотворение московского милиционера:

Я стою на Арбате
И гляжу кой-куда,
О шинельке на вате
Я мечтаю всегда...

Ох, как мы все мечтали о шинельке на вате, зима в Башкирии была суровая. Но у шинели только коротенькая подкладка хлопчатобумажная, чуть ниже лопаток. И вот наш профессор догадался пришить подкладку к сукну изнутри, нащипал потихоньку ваты из тюфяка, из-под себя же самого, напихал ее под подкладку, утеплил спину и грудь. И старшина несет эту его шинель вдоль строя курсантов, в могучей вытянутой руке держит на показ, чтоб каждый мог видеть, выщипывает из-под подкладки клоки ваты и брезгливо, как мышшь за хвост, бросает эти клоки на снег: он же еще и артист неплохой. А профессор в распоясанной гимнастерке с ремнем в руке стоит понуро меж двух шеренг, посинел весь на морозе, но ничуть нам его не жаль, гогочет строй.

Да, в армии воспитывают сурово. А еще и зимы у нас долгие, это тоже надо учесть. Намерзшиеся за день в поле, голодные идем вечером строем в столовую, и об одном мечта: горячего нутро просит. Сначала от горячего дрожь прохватит, а потом тепло пойдет изнутри, пойдет разливаться по телу. И уж тогда бы — в сон, слаще сна ничего нет. «Запевай!» Какая уж тут песня! «Ззапевай!» Но и мы уперлись: знаем, долго старшина держать нас не может, распорядок жесткий. «Нна месте! Запевай!» Топчем снег на месте — в ногу, в ногу, в ногу! — но не поем. А уже слышно, другая батарея нагоняет. «Бего-ом марш!» Врываемся к столам. Хлеб, каша пролетают, как будто их и не было. Тут, в столовой, тоже холодина, пар изо рта. Ничего, что не доели, доспим. Теперь бы чаю горячего. Но кружки из желтой глины — толстостенные, в них хоть кипятком лей, пьешь едва тепленькое. И опять бодрим себя мыслью: теперь только вечерняя поверка осталась и — отбой! Но старшина не забыл, старшины ничего не забывают. Построил, двинулись. «Запевай!» Можно бы теперь, как-никак согрелись все-таки, но характер на характер пошел. «Ложись!» Три раза в тот вечер кляя он нас в снег: «Запевай!» — «Ложись!» — «Запевай!» — «Ложись!» И понял

старшина, не глуп был от роду, ничего у него с нами так не получится: фронтовики. Приказ мы выполняем, приказ есть приказ, но вольничать не дадим. И виду не показывая, подобрел.

Из нынешнего далека жаль мне иногда нашего *профессора*: не только не смог он постоять за себя, но, видимо, сломался в душе. А может, таким и был. Как-то вечером в столовой погас свет. Только успели за столы зайти, увидели — это первое, что глаза видят, — хлеб, а на тарелке лещи вяленые вместо каши. Сейчас назначим, кто будет делить, за ним во сто глаз смотреть, чтоб поровну. Вот тут-то свет и погас. И кто-то заметил, как одного леща *профессор* опустил себе за голенище. В темноте все происходило молча. Его били лещами по лицу, по рукам, которыми он заслонялся, по лицу. Когда свет зажегся, он с кровью выдергивал из щек, изо лба остья от плавников. Тоже — молча. И не было жаль его в тот момент. Гадко — да, но не жаль. Не может, не должен человек так опускаться.

А посмешищем во взводе был курсант Евтушенко. Вот стоит он с винтовкой у караульного помещения. Что первым делом должен сделать он, если кто-то появился в поле зрения? «Пароль!» Не отвечает — «Стой, стрелять буду!» Не выполнил — «Ложись!» Один курсант, стоя на часах в артпарке, положил в снег аж командира дивизиона, который попробовал не выполнить его приказ, приказ часового. Положил и выстрелом вверх вызвал начальника караула. И пока тот не прибежал с пистолетом наголо, командир дивизиона лежал в снегу, материл его на чем свет стоит. Но лежал. Не помню, был ли курсант за это поощрен, но в училище все об этом знали. И существовали две легенды, каждая из них должна была укрепить наше сознание до полного отупения.

Первая. Часовой стоял у денежного ящика. Начался пожар. Начальник караула, разводящий — все забыли о нем. Но, не получив приказа, он не покинул пост. Так и сгорел заживо.

Вторая. Не помню, чтобы кто-либо верил в нее, но рассказывали это не раз: вот он, высший пример исполнения воинского долга! Мать приехала проведать сыночка. А сыночек — на посту. Он — часовой. «Стой, кто идет!» — «Сыночек...» — «Пароль!» И, действуя по уставу, верный долгу и приказу, сын застрелил родную мать...

А я любил стоять часовым: где еще остаешься стоять вот так один на один с самим собой, со своими мыслями. В мороз так в мороз, это перетерпеть можно. Зато все небо, все звезды ясные

на тебя глядят, а ты — на них, и «ночь вином струится со штыка...» Хорошо думалось в такие ночи, о многом думалось. А ухо настроено, как у волка спящего: начальство любило это веселое занятие, подкрасться неслышно, застать врасплох. Но для таких забав был у нас бедолага курсант Евтушенко.

Вот он — часовой. Из-за угла дома — грудь вперед, твердым увалистым шагом — командир батареи. Евтушенко и рта раскрыть не успел — «Как стоишь? Как винтовку держишь, мать твою!..» И его винтовка уже в руках командира батареи, а Евтушенко — столько-то нарядов вне очереди. Утром бежим в сапогах, в нательных рубашках по морозу — утренняя пробежка, — Евтушенко ломиком скалывает желтый лед на углах казармы: «удобства» в углу двора, далеко, ночью из-под одеяла бежать туда холодно. Вот и пристраиваются незаметно к углу дома. А кто-то утром скалывает лед.

И все же чувство справедливости было. Один из наших преподавателей оттого и стал нам отвратителен, что, подлаживаясь под общее настроение, тоже выбрал себе жертвой Евтушенко. Откинется на спинку стула, вытянет ноги: «Евтуше, ну что вы нам расскажете на этот раз?..» И ждет одобрительного смеха. Но взвод в большинстве своем хмуро молчит. Найдутся, конечно, и такие, что подхихикнут. А Евтушенко хоть знает, да уже растерялся, дрожит мел в его руке. И вот интересно: у него у единственного сохранились при такой кормежке пухлые щечки, ляжки прямо-таки женские, а носик уточкой. И такой крупный пот на носу выступит — смотреть жалко. По характеру или от робости был он услужливый и, может быть, неплохой парень, к тому, кто слово скажет доброе или заступится за него, готов был приласкаться, как щенок к ноге. Но робким в армии тяжело.

Всю войну упорно ходил слух, что немцы применяют газы. У них были противогазы в цилиндрическом гофрированном футляре, он приторачивался к боку. У них все было продумано до мелочей, чтоб солдату было удобно воевать. И фляжки алюминиевые в суконном футляре, и автоматы легкие, приклад не деревянный, а складывающийся, металлический, не зря мы старались добыть себе немецкий автомат. А мы ведь войну — в это трудно поверить — начинали со стеклянными фляжками, в них разве что святую воду носить и то — бережно. Наши противогазы выдавали в холщовых сумках, холщовый ремень через плечо. На бегу съезжает эта сумка на живот и, соответственно, бьет тебя по всем местам. Но наши приспособились: противогаз вы-

кинут (может, немцы и не применяют газы, а если применять станут, так, может, не у нас, а если у нас, то когда еще...) и носили в сумке самое нужное.

Готовили и нас в училище к возможной газовой атаке. И уж тут помудрили над нами вволю. Это придумать только: мороз тридцать градусов, а мы бежим строем в противогазах, задыхаемся, топаем коваными сапогами. Резину ледяную сдираешь с лица, как кожу. Другое дело сидеть в противогазах на занятиях. На занятиях в противогазе хорошо: от дыхания лицу тепло, спишь себе, умудрялись даже спать с открытыми глазами. Жуткое зрелище: сидит за партами взвод в резиновых масках с круглыми стеклами, и от каждой маски вниз — гофрированная труба. Тому же Евтушенко кто-то из озорства прилепил слюной бумажки на стекла. Преподаватель увидел: «Курсант Евтушенко!» Тот вскочил спросонья, идет на голос, натывается на столы, белый свет перед глазами, ничего не видит.

Конечно, не про казарму это написано: «Ночной зефир струит эфир...» — и командование, по всей видимости заботясь о нас, приказывало нам спать в противогазах. Не единожды. И спали: вынешь клапан и дышишь нормально. Однако старшину обмануть дело нелегкое. Подойдет ночью старшина, пережмет трубку, а курсант спит, ничего не ведая. Часом позже он уже моет полы в коридоре.

Но сплотило нас, артиллеристов, воедино, когда прислали в училище комиссаров с фронта. После сталинского приказа о введении в армии единоначалия комиссары превратились в замполитов, и много оказалось лишних. Вот их-то и прислали учиться делу. Все они имели офицерские звания, шпалы да кубари в петлицах, по годам, как правило, старше нас, но — из пехоты. И большинство — в ботинках с обмотками. А мы, артиллеристы, и на фронте ходили в сапогах. Могло командование училища потерпеть, чтобы офицеры продолжали ходить в обмотках, а курсанты в сапогах? И нам было приказано сдать сапоги, получить ихние ношенные ботинки и начать отныне мотать обмотки километр за километром. Как вы думаете, возлюбили мы после этого прибывших к нам на голову комиссаров? Ведь это не только сапог, это нас чести лишили. И любимым занятием стало подначивать. Вот сидим во дворе училища в курилке: на врытых в землю столбиках — доски квадратом, посреди — яма для окурков. «Слыхали, товарищ лейтенант, какое у нас ЧП во взводе? Курсант, раздолбай такой, азимут потерял. А у нас их

на батарею всего два...» И видим, как у него глаза дурной кровью наливаются: «Как потерял? Как фамилия курсанта? Командиру взвода доложено?» Потерять азимут — это, проще говоря, потерять направление, которое определяют по карте и компасу, школьникам полагается это знать. Но с грамотешкой у них, как правило, было плоховато, оттого первая мысль — утеряно (а может, и присвоено?) казенное имущество!

Выпускали нас из училища в августе 43-го года. И хоть сказано у Твардовского: «Ничего, с Земли не сгонят, дальше фронта не пошлют», волновался я на экзаменах (да я ли один?), как школьник. И горд был, что сдавал все на «отлично». И устройство орудия, трактора, и как рассчитать грузоподъемность моста, винтовку разобрать-собрать с закрытыми глазами... А главное — стрельба: и с открытых, и с закрытых позиций, и по НЗР, то есть по наблюдению знаков разрывов, и полная подготовка данных по планшету... Да нет, не перечислить всего, что знал твердо, хоть ночью разбуди. И команду мог подать так, что у самого душа радовалась. Честно сказать, я до сих пор горжусь, что был строевым офицером и вроде бы неплохо воевал. Но выпустили нас из училища — первый такой выпуск — не лейтенантами, а младшими лейтенантами: как солнце на лето, война повернула к победе. Следующую звездочку на погоны я уже получал на фронте, во время Яско-Кишиневской операции.

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

В годовщину тридцатилетия Победы попросила меня «Литературная газета» дать фронтовую фотографию и что-то написать к ней. Ну какие же могли быть фотографии на фронте? И чем бы и кто бы это снимал? Фотографии и фотоаппараты появились у нас ближе к концу войны. И я дал майскую фотографию 45-го года. Война кончилась, позируем где-то за Веной. Нас — шестеро. На переднем плане, на траве, голова к голове, лежим мы двое: комбат Лучший и я. У меня с ремня свесился, концом ножен уперся в землю эсэсовский кинжал: дивизия «Мертвая голова» не раз стояла на нашем направлении. Мы двое лежим, а позади нас (на бревне, видимо) сидят: военфельдшер Токовой, командир дивизиона Чхартишвили, командир второй батареи дружок мой Сашко Беличенко и лейтенант Прищемихин, связист. Тридцать лет прошло после войны, ни о ком из них ничего я не знал, потому и дал не свою отдельную, как просили, а общую фотографию: вдруг да откликнется кто-нибудь?

Первым прислал письмо в газету Токовой. И вот что значит профессиональная память: он писал, что в октябре 43-го года он лично отправлял меня в медсанбат, точно описал мои ранения (а ведь тридцать два года минуло), но больше, мол, с тех пор мы никогда не виделись. И невдомек ему, что фотография эта, на которой мы все, и он в том числе, — 45-го года. Я уже в полк вернулся после госпиталя, война кончилась, Вена позади — «больше мы никогда не виделись...»

Капитан Чхартишвили узнал в редакции мой адрес и написал мне. Письмо было шутовское: «Лейтенант! С вами говорит к-н Чхартишвили, ком. д-на, не Чхартышвили, как вы изволили написать в «Литгазете». Чхарты — черт, а Чхарти — добрый человек. Не бойтесь, судиться я с Вами не буду. Не буду потому, что совесть моя не чиста перед Вами. Боюсь, что Вы будете судиться со мной за ту кровь, которую Вы пролили в

окопах пехоты. Помните? Я ни разу за 30 лет не забыл. Не забыл, с какой смелостью, как дерзко меня, ком. д-на, поносил всякими словами «какой-то мл. лт.» из первой линии пехоты, обвиняя во всех грехах за то, что я, скупердяй, не даю снарядов, хотя знаю, что пехота истекает кровью. А затем, в тот же день видел, как раненого Вас выносили из пехоты. Было больно и обидно, что мало давал огня, хотя за тот же день, за перерасход снарядов, я от сумасбродного комполка Комардина получил очередных 8 суток ареста».

Оказалось, все эти годы он жил в Москве, я позвонил ему, пригласил к себе, хотелось встретиться. И вот он пишет в следующем письме, точно вычислив, что с того дня прошло не тридцать, а тридцать два с половиной года: «Нет, не хочу я с Вами встретиться. Боюсь, что тот славный мальчишка, который не выходил 32,5 года из моей памяти, исчезнет. Исчезнет так же, как исчезли почти все, сотни обычных людей. Я совершенно не помню Вас ни до, ни после того дня, ибо те дни мы не были рядом. «Пядь земли» я тоже пережил, но где-то рядом. А в тот день я почувствовал непосредственно, что этот мальчишка необычен. Было очень строго с лимитом на б/п, но Вы по телефону, хотя говорили очень неласково, но заставили меня подчиниться Вам. Я, к тому времени похоронивший десятки отличных друзей, был как никогда потрясен, когда на мой КП принесли Вас раненого на плащ-палатке. А Вы улыбнулись мне, вроде бы сказали: “Комдив, вы ни при чем. Война”».

Конечно, мы все-таки встретились. И встречались потом не раз. Сын Шалвы Ноевича, Григорий Чхартишвили, сегодня один из лучших переводчиков и знатоков японской литературы. Когда ему вручали литературную премию, я, между прочим, рассказал о том, о чем Шалва Ноевич забыл: как в Австрии, за Веной, приехал он к нам на батарею, и мы пили с ним вино, хорошее было вино и хорошо пилося: война кончена, главное дело жизни сделано. И молодые мы были в ту пору.

Честно говоря, всю эту историю, как я ругал командира дивизиона, я забыл, но одну неточность в письмах вижу. Из пехоты ночью вынесли меня, но не на КП, то есть не на наблюдательный пункт командира дивизиона, до него было далеко, а погрузили в кузов полуторки, много туда раненых загрузили вповалку, и трясли по рытвинам, по снарядным воронкам, так что душа с телом расставалась, и один раненый умер в пути,

отлетела душа. А вот когда из кузова машины на плащ-палатке сгрузили меня, тут действительно стоял капитан Чхартишвили, я видел его, а уж улыбался или нет — не помню. И все это был бесконечный день 11 октября 43-го года, начался он до рассвета нашей артподготовкой, и весь день и ночью шел бой: мы наступали на Запорожье. И был это, по сути говоря, мой первый после училища бой, а должность моя — командир взвода управления. Наша батарея тяжелых 152-миллиметровых орудий стоит в полутора километрах от передовой: вырыты орудийные окопы полного профиля, ровики для снарядов, землянка для расчета, и оттуда, с закрытых позиций, они ведут огонь. А корректирует этот огонь командир взвода управления. С разведчиком и связистами, с катушками связи, телефоном продвигается он вместе с наступающей пехотой, оттуда подает команды.

Разведчика почему-то в тот раз со мной не было, только один связист. Вот пошла пехота после артподготовки, поднялась из окопов. Где перебежками, где ползком, когда огонь прижмет, а то опять в рост. И мы за ней. Катушки наши деревянные гремят на бегу, провод быстро сматывается, на каждой катушке всего по полкилометра. Первые немецкие окопы взяли с ходу. Тут вскоре одна катушка у нас кончилась, я навесил на себя телефонный аппарат, а связиста отправил на батарею за связью. Стыд гнал меня вперед: ночью сидели с командиром роты в его землянке, и вот пехота наступает, а я позади вроде бы болтаюсь зря. Кончилась вторая катушка, лежу на поле распятый, а он садит из минометов, вот, кажется, твоя мина летит, в тебя нацелилась между лопатками. И не только корректировать огонь, даже обстановку доложить не могу на батарею: пехота хоть и недалеко ушла, а мне все равно не видно, что там делается. А комбат ждет, а командир дивизиона ждет... Нашел на поле чей-то провод, зубами оборвал с него оплетку, подключился. Наши. И похоже — артиллеристы. «Слушай! — кричу, а сам от разрывов своего голоса не слышу. — У меня провод кончился... Что там впереди? Доложить на батарею...» И стыдно, пошлет он меня сейчас матом и будет прав: он — впереди, а я, выходит, спрятался и через него докладывать буду. Поверил ли он мне — не знаю, но обстановку доложил. И я доложил. Гляжу — чей-то связист бежит по полю, полами шинели метет по земле. А пулеметы секут. Разрыв! Он, как

бежал, ткнулся лицом в землю. И катушка откатилась. Немецкая, восьмисотметровая. Провод красный. Катушку эту прежде всего вижу. Подбежал я к связисту, лежа рядом, перевернул на спину. Уже и не дышит. Но катушка — моя. Подключился. Бегу. Впрыгнул в траншею. И тут как раз немцы перешли в контратаку, автоматчики, танков несколько штук: даст, даст из орудия — звон в ушах. Вот тогда я, видимо, и кричал на командира дивизиона, на Чхартишвили, страха перед начальством у меня почему-то не было, это правда. И он дал восемь снарядов.

Лет сколько-то назад корреспондент «Комсомольской правды» спросил меня: «Какой наградой вы, солдат, более всего гордитесь?» И я рассказал ему сцену из моей повести «Навки — девятнадцатилетние», как во время немецкой контратаки, когда пошли танки, офицер-артиллерист растерялся. Не мог открыть огонь. Вид чужой растерянности в бою не всегда вызывает панику, чаще, наоборот, он побуждает к действиям, и Третьяков, герой той повести, у которого кончились снаряды, выхватил у него трубку телефона и повел огонь его батареей. Технически это не сложно: есть две точки на карте — огневая позиция батареи и наблюдательный пункт, — а третья точка — цель: танки, они шли и стреляли с ходу. Но что просто на полигоне, не так просто в бою. И оказавшийся рядом в траншее пехотный сержант крикнул Третьякову: «Молодец, лейтенант!» Его тут же убило. Все это не выдуманно. Написанное про Третьякова было со мной в том бою под Запорожьем, когда кончились восемь снарядов, которые дал мне Чхартишвили, а танки шли на нас. Мы отбили атаку, но благодарный взгляд сержанта за минуту до смерти я помню и ценю его выше остальных наград.

Что правда, то правда, снаряды мы берегли. Берегли их в начале войны, когда склады со снарядами остались там, у границы, в ближнем приграничье. Под Москвой на километр фронта приходилось всего по семь орудий, и то, как правило, легких, и был момент, когда ни один снарядный завод не работал: часть взорвана или захвачена немцами, другие спешно увезены в тыл на железнодорожных платформах. Вот тогда, в отчаянный этот миг, бойцы с гранатами бросались под танки, а летчики шли на таран. В самые тяжелые дни войны больше всего отмечено таких случаев самопожертвования.

Но и в дальнейшем, когда самолетов, и снарядов, и танков было у нас больше, чем у немцев, мы все так же берегли снаряды в бою. Людей не берегли никогда.

Мы помним, что наши союзники, англичане и американцы, обязались открыть второй фронт в 42-м году, но Черчилль оттянул это на два года, ссылаясь на недостаток сил и средств, что привело бы к большим потерям. Он берег англичан, за что вряд ли его можно осуждать, но были тут, несомненно, и политические соображения: надо было не только Гитлера разгромить, но надо было, чтобы Советский Союз вышел из войны крайне ослабленным, и тогда в послевоенном мире диктовать свою волю. Что же касается недостатка средств, то вот как это выглядело на самом деле: высадка союзников в Африке (вместо открытия второго фронта), операция «Торч» («Факел»), была настолько обеспечена всеми боевыми средствами и техникой, что «первые самолеты доставили в Алжир зубо-врачебные кресла». Это я Черчилля цитирую, его шеститомник «Вторая мировая война». И в этой операции (42-й год!) одна машина, в том числе боевые машины — броневики, танки, артиллерия, — одна машина в среднем приходилась на 4,7 английского или американского солдата. А наши девочки-санитарки в это самое время должны были не только раненого вынести с поля боя, но и его винтовку, без винтовки другой раз не принимали в медсанбат, хоть помирвай.

Но вот — 44-й год, союзники высадились в Европе. Высадились в июне, однако в декабре немцы перешли в Арденнах в наступление. И Черчилль обратился к Сталину: «...я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте...»

Наше наступление планировалось, но позже. Однако Сталин ответил: «Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь...» И тем не менее заверил, что будет приказано, «не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему фронту не позже второй половины января». И наше наступление началось на десять дней раньше, чем планировалось. А это значит, не все снаряжение и боеприпасы были подвезены, а неподвезенные снаряды — это людские жизни. И мы, испытавшие на себе,

что такое преимущество противника в воздухе, понесшие тогда огромные потери, лишили себя по приказу Сталина главного своего преимущества. И история Отечественной войны, и краткая, и полная энциклопедии, и мемуары военачальников сообщают о низких туманах, о том, что авиация практически вынуждена была бездействовать, а артиллерия не могла вести прицельный огонь. Пехота жизнями своими прорывала мощные немецкие укрепления. Сколько их осталось бы жить, сколько детей их, внуков жило бы сегодня!

Но может быть, действительно положение союзников было безнадежным, не помоги мы, сбросили бы их в море, и тут уж ни с чем не приходилось считаться? Вот соотношение сил и средств, которое приводит маршал Г. К. Жуков: «...Союзники уже вскоре после открытия второго фронта превосходили противника по числу людей в 2 раза, по танкам — в 4 раза. По самолетам — в 6 раз». Да и сам Черчилль, получив заверения, пишет Сталину 9 января 1945 года, что битва на Западе «развертывается не так уж плохо. Есть все основания надеяться, что гуннов вышибут из образованного ими выступа». И далее, там же, в шеститомнике Черчилля: «Я привожу эту переписку как прекрасный образец быстроты, с которой можно было вершить дела в высших сферах союзников, а также потому, что со стороны русских и их руководителей было прекрасным поступком ускорить свое широкое наступление, несомненно, ценой тяжелых людских потерь». Вот так наш «отец народов», «великий и мудрый» берег свой уже повыбитый за войну народ. Посмотришь, бывало, гонят маршевую роту на фронт, а там — старики да подростки, худые от голода, им не то что восемнадцати, им семнадцати лет не дашь. И все это в пекло войны. А война для солдата, для офицера на поле боя и война там, в «высших сферах», — это две разных войны.

Но может быть, гоня солдат на убой, может быть, «ценой тяжелых людских потерь» наш «кормчий» стремился достичь неких высших целей и выгод, понять которые простым смертным не дано? «Я очень хотел, чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы, — пишет Черчилль. — Венгры, например, выразили намерение оказать сопротивление советскому продвижению, но они капитулировали бы перед английскими войсками, если бы последние могли подойти вовремя. Я очень хотел... захватить и оккупировать полуостров Истрию и попытаться прийти в Вену раньше русских».

И далее: «Решающие практические вопросы стратегии и политики, о которых будет идти речь... сводились к тому, что:

во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира;

во-вторых, надо немедленно создать второй фронт против ее стремительного продвижения;

в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток;

в-четвертых, главная и подлинная цель англо-американских армий — Берлин».

И вот этому способствовал наш «гений всех времен и народов». А уж сколько потом в начавшейся гонке — кто раньше возьмет Берлин — положили людей, бог весть. Писали, что наши потери — 500 тысяч. Писали — 300 тысяч. А у каждого из них, из этих тысяч, там, на поле боя, у каждого — жизнь одна, второй не будет. Помню, после войны ехал я куда-то в общем вагоне. Сидели, курили, разговаривали, мимо проводница идет. И сосед мой, молодой парень, возьми да хлопни ее по задку. «Руки-ноги тебе отшибить за это!» А он задрал обе штанины, там у него металлические протезы в ботинках. Ноги свои он оставил под Берлином.

Только генерал армии Горбатов, участник того сражения, он единственный осмелился написать в своих мемуарах, что Берлин нам вовсе и не нужно было брать.

Оперировала меня в медсанбате военврач. У нее болели зубы, она даже постанывала, когда вырезала у меня из спины осколок. Он оказался глубже, чем проникла анестезия, сестра хотела сделать еще укол, но врач сказала, что видит осколок, здесь он, близко, и продолжала резать: раненых все несли и несли, и некогда ей было ждать, пока начнет действовать заморозка.

Мне было двадцать лет, как раз месяц назад исполнилось, я был офицер, в детстве читал «Овода». Я лежал лицом вниз, сжимал зубы, а медсестра, годившаяся мне в младшие сестренки, гладила меня по голове. Она же принесла мне кружку компота из сушеной вишни, будто знала, что я больше всего люблю. А меня после операции такой озноб бил под шинелью, зуб на зуб не попадал.

Потом был полевой походный госпиталь: конюшня, пол цементный со стоками для конской мочи, и мы лежали поверх

соломы на плащ-палатках. Недолго я провоевал в этот раз, если посчитать: недели две ехал из училища, с месяц примерно готовились мы к наступлению, рыли огневые позиции, наблюдательные пункты, разведывали и пристреливали цели и — один бой. Всего один бой. Сколько же это нужно было народу на все 1418 дней, на всю войну, пока она длилась?

В этом госпитале я впервые видел, как умирает человек от столбняка. Нам из американских банок раздали сосиски, по две штуки. И так ему хотелось съесть ее, может, последнее в жизни, что ему хотелось, уже ко рту подносил, а его всего выгибало, выворачивало. Как правило, раненым, прямо на поле боя (тоже не позавидуешь санитарам), кололи сыворотку от столбняка. Может, ему не успели, не смогли, кто знает.

Из госпитальной жизни, наверное, по свойству характера вспоминается мне все больше смешное, хотя я там чуть было не отправился, как говорили тогда, в наркомзем: началось заражение крови. В палате нашей, офицерской, лежал командир стрелкового батальона капитан Гуркин (некоторые его черты есть в повести «Навеки — девятнадцатилетние» у Старыха). Исполосован он был основательно, но заживало на нем быстро. И как только стал на костыли, тут же снял с полевого счета все деньги, что у него были. Большую пачку принес в палату, положил под подушку, сам на подушку сел и начал метать карты. А порядок у нас был такой: кто выиграл, покупает на базаре семечек жареных, ряженки и либо самогонки графин, либо шампанского. В Красном Лимане шампанского было много: когда наши отступали в 41-м году, население разграбило склады, и теперь бутылку продавали по триста рублей.

В полночь зайдет сестра в нашу палату, а мы сидим с черными ноздрями: коптит керосиновая коптилка.

— Опять играете? Иду врача звать!

Забыл ее имя, хорошая была девчонка, назовем ее, ну, скажем, Лида: «Лидочка, на один резиновый сапожок тебе уже выиграли. Потерпи, выиграем на второй».

Между прочим, действительно купили ей на базаре резиновые сапоги, почему-то осталось в памяти, стоили они полторы тысячи, но не ручаюсь за точность. А Гуркину, который, как обычно, сидел на пачке денег и держал банк, я как-то сказал: сядешь на простыню. Играли в очко, а тут кроме везения нужно еще и не горячиться, виду не подавать, что у тебя на руках. А он был горяч. Однажды я снял у него банк всего на пяти оч-

ках. У меня была дама, хуже не придумаешь. Туз придет — плохо, десятка — плохо. «Дай одну». Дал он мне карту. Валет! И не колеблясь, словно у меня десятка к десятке пришла: «Себе». И стал он набирать: возьмет карту и на меня глянет, возьмет и в глаза глядит. А идет сплошная мелочь. Взял еще. Перебор! «А у тебя сколько?» — «В двух картах перебора не бывает». И чтоб совсем уж не огорчать его, сунул карты в колоду.

В общей сложности вырезали из меня два осколка. Третий навывлет прошел, а еще два остались во мне и не мешают, они — часть меня. С ними, отлежав еще и в Днепропетровском госпитале, вернулся я в свой полк. Впереди были бои на Днестре, Яско-Кишиневская операция, мы окружили там 6-ю немецкую армию и сколько-то румынских дивизий. Эта 6-я армия как бы восстала из праха, ее сформировали по приказу Гитлера взамен 6-й армии Паулюса, погибшей под Сталинградом. Ее-то мы окружили. Думать не думалось, что когда-то я буду об этом писать.

9-го сентября 44-го года стояли мы на границе Болгарии. Где-то высоко шли переговоры, нам приказано было рыть оружейные окопы. А болгарские пограничники кричали: «Братушки!» И махали приветственно, звали к себе. И первая же корчма, в которой мы сидели как братья, называлась «Великая Болгария». Этот месяц золотой болгарской осени был словно подарен нам.

И снова — эшелоны, эшелоны... Куда везут, об этом не спрашивают, командование знает. Блеснула солнцем и морем Констанца, но там — другая армия, нас везли куда-то северней. Когда на повороте дугой изгибались рельсы, был виден весь состав, спешащие за паровозом пыльные красные товарные вагоны, платформы с пушками, платформы с тракторами, вагоны, вагоны, в каждом, откатив двери, сидят, стоят солдаты, кто грудью, кто локтями оперся на поперечный брус, как стояли в дверях мчащихся вагонов солдаты прежних войн, когда нас еще не было на земле.

Позади Яско-Кишиневская операция, как отныне будут называть ее. Долгое, бесконечно долгое сидение на заднепригородных плацдармах, где воронка к воронке. Где днем все живое скрывалось под землю и столько раз немцы пытались сбросить нас с плацдармов в Днестр. А потом — стремительный прорыв

двух наших фронтов, двадцать с лишним окруженных немецких дивизий, вначале они еще пробивались к своим, а потом была ночь, малярийная бредовая ночь, когда среди трофеев, брошенных немецких пушек, снарядов, повозок, каких-то ящиков (один ящик оказался с изюмом, мы ели его горстями) бродили, как серые тени, и мы, и немцы, и никто ни в кого не стрелял, а утром, никем не охраняемые, они шли в плен — «Wo ist плен?» — я видел эти колонны, им только указывали направление, но их уже не видели те, кто остался на плацдарме, зарытый в песок: победы и награды достаются живым. И вот мы мчимся в эшелонах, что ждет впереди, знать никому не дано, война учила нас далеко вперед не загадывать, а пока жизни миг:

Мелькают под солнцем белые, словно только что побеленные стены хат, снизки красно-багрового перца сушатся на них, синие ставни раскрыты, соломенные островерхие крыши; на огородах, на рыхлой черной земле — огромные желтые тыквы; медлительные волы в ярмах на пыльных дорогах, крестьяне в высоких бараньих шапках, в соломенных шляпах — странно все это, отвыкли мы от мирного вида людей. Там, в Молдавии, пока шли бои, жители были отселены на двадцать пять километров от Днестра: брошенные дома, виноград поспевал на виноградниках, поля кукурузы, шелковица отрясалась с деревьев при каждом разрыве снаряда. Случалось, старик или подросток проберутся наломать кукурузных початков со своего поля, и то — ночью, тайком, с великой опаской. Несколько раз во двор, где мы стояли, вот так пробиралась хозяйка, проведать хозяйство, и прижилась из милости, варила на всех мамалыгу, чудные борщи. Забеременела она от командира отделения, он потом был убит в Венгрии, но, наверное, живет на свете то ли сын, то ли дочь, возможно, уже их дети живут... А здесь, в Румынии, война кончилась. Мелькнула у закрытого шлагбаума повозка странного вида — каруца, так, кажется, их здесь называют, старик в белой рубашке, в меховой жилетке держал вола за длинный рог; вдруг он снял шапку, поклонился лысой головой вслед проносящимся вагонам: судьбе нашей. А может, сам — бывший солдат? Паровозный гудок режет синий простор впереди эшелона, стучат под нами, спешат колеса, плотный сухой ветер в лицо; бесконечно можно смотреть вот так из мчащегося поезда вдаль.

В Тимишоарах, когда наш эшелон стоял, вдруг вижу, бе-

жит вдоль вагонов командир взвода Леша Краснов, машет мне издали: «Тебя зовут!» Вот так бегут, когда случилось что-то или начальство требует, а к начальству идти — сразу все грехи припоминаешь. Они есть, как не быть, за каждым что-то числится. При погрузке пушек на платформы наша батарея замешкалась, трактор на платформе никак не разворачивался, и тут как тут — командир полка, красное от ярости лицо, будто улыбающееся во весь широкий рот. Такая уж у него особенность: чем яростней накалялся, тем ощеренней улыбка. Наш капитан от одного вида этой его улыбки сразу становился маленьким, терял себя: «Слушаюсь! Слушаюсь!..» Бледный, кинулся помогать. Как раз накатывали бегом повозку, налетел с криком, схватился за ребро подпихнуть и как ожегся: из-под брезента торчала свиная нога, за ее мертвое холодное копыто и ухватился он в спешке. «Это что? Это откуда?» И на меня: «Гляди-и!..» Кто же на войне спрашивает «откуда?». Не ради порядка, а чтоб деятельность показать, кричит он и оглядывается, а меня смех разобрал, еле сдерживаюсь. В обед ему принесли котелок супа, сверху сняв пожирней, снизу зачерпнув погуще. И кусок свинины, той самой. Ел. И не интересовался откуда, но грозное «Гляди-и!» осталось, как заведенное на тебя дело, в любой момент может быть дан ему ход.

«Кто зовет, кому потребовался?» — «Девчонки!» — «Какие девчонки?» Леша подбежал, не отдышится: «Санитарный поезд стоит...»

Вместе мы нырнули под вагоны, Леша сопровождает меня. Еще эшелон. Пронырнули между колес. А уже тронулся санитарный поезд, зеленые вагоны. Белое на окнах, а на крыше, разумеется, — красные кресты, покров и защита раненых, беспомощных людей. Сколько раз на эти красные кресты, видные издали, пикировали «мессершмитты». А в дверях, на подножках, медсестры. И наши палатные тоже — Люся, Галя, Машенька, тихо постукивают под ними колеса, и проезжают они мимо. Это эвакогоспиталь № 1688 передислоцируется за фронтом, я в нем лежал. Милые вы наши девочки, как же вы догадались спросить про меня? Пушки увидали на платформах. Вот действительно чудо на войне: пушки! И мало ли артиллеристов лежало у них? Но спросили же, спросили! В сапожках по ноге, в юбках, в гимнастерках, затянутых в талии ремнями, стоят на подножках вагонов, на нижней, на средней, в тамбуре, как на фотографии, и проезжают, проезжают мимо. Какие

же вы хорошие, какие все — красавицы на наши стосковавшиеся по вас глаза. Из всех товарных вагонов, с путей, со щбенки смотрит повысыпавший военный народ, от одного их присутствия все — бравые, машут им, кричат, улыбки шире лиц. И я кричу вослед, из всего, что надо бы спросить, кричу вдруг: «Старший лейтенант, армянин, третий от двери в палате лежал... Черепное ранение... Жив?» — «Жив! — донеслось. — Домой уехал!» — «А капитан?..»

Они уже перевешиваются, держась за поручни, уже и другой вагон обогнал меня, и еще, и еще — пустые на просвет вагоны, пустые заправленные койки, быть может, для кого-то из нас. И вот последний вагон постукивает прощально. Это же надо, чтобы так совпало, так встретиться. И ни о чем спросить не успел, три месяца лежал у них, целая жизнь...

Я возвращался вдоль состава, как знаменитость: целый полк, два эшелона стоят, я один отмечен вниманием. Да чьим вниманием! Само собой подразумеваются и некие подвиги, которых не было. И Леша в отсвете негаданной славы сопровождает меня. Вместе мы впрыгнули в наш товарный вагон: Леша тоже полежал в госпиталях, есть что вспомнить. В мирное время в таких вагонах возят преимущественно неодошевленные грузы, на войне — лошадей и солдат.

Опять мелькали кукурузные поля, сады, деревеньки, а мы — мимо, мимо, только опрокинутые косо тени вагонов, вытянутый состав теней скользит под насыпью, не отставая. На станциях уже прогуливались румынские офицеры в высоких начищенных сапогах, голенища — бутылками, нарядные офицеры мирного времени. Для них война кончилась, нас она ждала впереди.

И вот, когда мы стояли с Лешей, локоть к локтю, опершись на поперечный брус, жмурясь от встречного ветра, он рассказал, что получил письмо из дому, первое за всю войну письмо, рассказывал и будто смущался выпавшего ему счастья. На такой войне счастьем не бахвалятся, как не станут хвалиться хлебом при голодном человеке. Но хлебом можно поделиться, а как поделишься счастьем, если оно выпало на одного? Родные его оставались в оккупации, ничего он не знал о них, и вот разыскали его через дальних родственников: живы. И он тоже написал им: жив.

Красивый был парень. Не какой-то особенной красотой, а тем, что отличало и выделяло человека в ту пору: ранним му-

жеством. Он и воевал хорошо. С середины войны, с тех пор как мы наступали, появились и кубанки на головах. Вот и на Леше черная кубанка придавила светлый чуб над бровью.

Эшелон наш то мчался, то полз по взорванным и наспех восстановленным путям. Леша спрыгнул, дождался теплушки своего взвода. Оттуда ему руки протягивают. А я взобрался на верхние нары, тоже думалось о своих, чужое счастье заразительно. В госпитале у нас, в том самом госпитале, который мы только что повстречали на колесах, был солдат из оккупированной местности, его мобилизовали, когда мы пришли. Повоевал он недолго, тут же и ранило, и был он, в общем, доволен. Этот солдат гадал по руке. Не раз я видел издали: стоят в уголке двое в халатах, один слушает с доверием, другой говорит ему, говорит. Я тоже решился испытать, хотя и не верил в гадания. И вот странно: совершенно точно он сказал, куда я был ранен. Рука на перевязи — это видно, но он перечислил и те раны, которые зажили, про которые он знать не мог. И я спросил его о моих братьях. По моей ладони, читая линии судьбы, он предсказал, что каждого из них ждет. А они уже оба погибли. И солдат признался, что в оккупации он кормился этим: гадал бабам, они верили и надеялись.

Я задремал под стук колес на верхних нарах, а очнулся на полу. Над нарами, в проломленной стене вагона, — дульный тормоз орудия. Мы стояли. А уже бежал народ по насыпи вдоль путей, кричали что-то. Мы тоже побежали, куда бегут все, на бегу ощупывая ушибы. Впереди, в голове состава, столкнулись паровозы двух наших эшелонов: кто-то перевел стрелку или, наоборот, забыл перевести, и с двух разных путей эшелоны устремились встречно.

Когда мы подбежали, паровозы, врезавшиеся друг в друга, стояли, все шипело, окутанное паром, а земля и насыпь, как под разлившейся лавой, горели и чадили: это раскатился жар из топок. Позже я видел, как растаскивали паровозы. Освободили пути, подогнали к каждому сзади по паровозу, потянули, они расцепились, грохнулись колесами на рельсы.

Задним числом всегда находится много умных, они знают, что следовало, что не следовало... А не следовало — и это уж точно — ставить в середину состава между платформами с пушками и тракторами легкий штабной вагон. Его и сплюснуло. Когда мы подбежали, там еще слышались стоны и капало на шпалы, на щебенку. Ничего нужного под рукой не оказалось,

вырубали топорами из-под низу, сменяя друг друга, а железо толстое. Там, в тамбуре, стояли и курили трое. И вот судьба: один из троих был Леша, его как раз вызвали зачем-то в штабной вагон. В сплюснутом тамбуре, когда к ним прорубались, слышны были стоны и капало. Но все тише, реже. Провели мимо двух железнодорожников, вели их быстро, подталкивая в спины, в шеи, на них зло оглядывались от вагонов.

И вновь наш полк двинулся дальше двумя эшелонами. Впереди каждого ждало свое, а всех вместе — бои в Венгрии, в районе озера Балатон, одни из самых кровопролитных за всю войну. Фамилия Леша была другая, но надо ли родным, если кто-то из них жив, знать, как все это было? Пал смертью храбрых. Он действительно был смелый парень, зачем-то судьбе понадобилось даровать ему последнюю радость, а письмо его, наверное, еще долго шло.

В Венгрии наш полк понес самые тяжелые потери. Мы брали и отдавали и вновь брали город Секешфехервар. И однажды я позавидовал убитым. Мела поземка, секло лицо сухим снегом, а мы шли, сгорбленные, вымотанные до бесчувствия. Да я еще и контужен был. А мертвые лежали в неубранной кукурузе — и те, что недавно убиты, и с прошлого раза, всех заматало снегом, ровняло с белой землей. И будто от сна очнувшись, я подумал, глядя на них: они лежат, им спокойно, а ты еще побегаешь, а потом будешь лежать так... Но удивительная пора — молодость: час поспал убойным сном и опять жив и жить хочется. В брошенном доме увидел я на полу большую серебряную медаль — бегун рвет ленточку грудью, приз чей-то — и нацепил эту медаль на гимнастерку. Повеселить своих разведчиков: мы в тот момент отступали к Дунаю.

Потом была Австрия, Вена, мы брали Вену. Там, в Австрии, и закончилась война. Есть у меня фотография: последний наблюдательный пункт, все мы такие воинственные позируем перед объективом, тут же и стереотруба. И командир дивизиона, тогда это был Гулин, указывает цель. А уж нет никаких целей, уже прочищены стволы орудий, смазаны и зачехлены. Двумя днями раньше отсюда, с наблюдательного пункта, я вел огонь по уходящему немецкому эшелону и попал, там что-то рвалось, а у нас тут крик стоял, как на стадионе, когда забьют гол в ворота. Все. Войне конец. Но это еще надо было осознать. Когда штабной телефонист прокричал по телефону: «Победа! Кончилась война!» — у нас даже вина не оказалось. Но

старшина погнал коней, стоя во весь рост в бричке, вместе с ней подпрыгивая на выбоинах, только за вожжи держась, привез бочку вина. И пили, и стреляли вверх из автоматов, из пистолетов, но все вроде бы чего-то главного не хватало, мы еще не понимали чего. Нам в тот победный день не хватало тех, кто не дошел, не дожил до него. И победные застолья сами собой становились поминальными. Знаем ли мы хотя бы теперь, какой ценой нам досталась победа?

Наша историческая наука столько раз переписывала историю в угоду тем, кто властвует, что и концы с концами не сведешь: кроили платье по фигуре. То Десять Сталинских Ударов, как десять заповедей, их полагалось заучивать, то Курская дуга, поскольку там был Хрущев, а то уж Малая земля начала выдвигаться в разряд главнейших, самых славных битв. Потом усиленно заговорили о партизанском движении в Карелии: какое-то отношение к нему имел Андропов. Последним из военного поколения, уж не только не воевавшим, но даже издали не видевшим фронта, как видели его предшественники, был Черненко. Однако зашелестел слух о какой-то заставе, на которой будто бы он служил, даже фотография архивная появилась в газете: сидят военные, самое заурядное, самое невыразительное лицо у него. Но поживи он еще немного, и эта дальневосточная застава заняла бы свое почетное место в истории Отечественной войны. Впрочем, и так называемое искусство, и кинематограф не отстали, дали позорнейшие образцы холуйства. А солдаты, а народ — оставались во всем этом безликой массой, фоном, на котором великие творили историю. Да вот беда, великих-то, как выясняется, и не было.

Чем дальше отходим мы от того дня, от тех, уже неподвластных нам времен, до сих пор толком не осмысленных (по-видимому, это дело грядущих поколений, которые, отринув сиюминутные страсти и соображения, уже не озабоченные тем, чтобы себя поместить в историю по той простой причине, что их тогда просто не было, осмыслят достойно, и уже в этом будут умнее нас), так вот, чем больше отдаляемся мы, тем очевидней становится, что всей этой страшной беды, войны этой — и Второй мировой, и нашей Отечественной — могло не быть. Не было фатальной неизбежности, мир не был обречен, и только-только набиравшую обороты фашистскую военную машину можно было остановить, а на ранних этапах и не так уж трудно было это сделать. Но народами правили ничтожные трусливые

политики и преступники. А еще и то вело к войне, что сознание людей XX века уже было отравлено, век выходил, вырастал из окопов Первой мировой войны, он уже вдохнул на ее полях отравляющих газов, увидел танки, увидел бомбовозы над собой, как библейское предсказание. И невозможное стало возможным, свершилось однажды, и с естественной неизбежностью следовал за этим пока незримый гриб атомного взрыва над Хиросимой, символ нашего века и символ конца света.

События легче развязать, чем остановить, и логика событий сильнее логики людей. Когда фашистские армии стояли изгибаясь у наших границ, когда весь мир по дипломатическим и иным каналам предупреждал, что война неминуема, а наша разведка сообщила заранее даже день и час вторжения в нашу страну, вот тут, поняв, быть может, что совершил, казня и уничтожая лучших, какие грядут последствия для нас, не готовых к войне, тут и начал Сталин позорно задабривать врага, которым пугал страну многие годы. И выпущено было трусливое заявление ТАСС:

«...По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всяческой почвы, а происходившая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операции на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии, связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям...»

Словно бы просили Гитлера заверить нас, успокоить, подтвердить... Тот даже не отреагировал.

Так не чудо ли спасло нас, если были захвачены врагом и Украина, и Белоруссия, и немецкие армии подошли к Москве, обложили Ленинград, а все тяжелое вооружение и склады военного снаряжения остались в приграничных районах, а большая часть авиации была уничтожена на земле в первые часы и дни, и даже винтовок, с которыми и в прошлую войну воевали, не хватало на фронте, не чудо ли? Нет, не чудо.

В истории остаются имена полководцев, а рядовым имя — легион. Они в истории безымянны. Но каждый из них имел и свое имя, и свои надежды, а идя в бой, кого-то оставлял на этой земле. И еще хуже, если на нем род обрывался. Сколько

родов оборвалось! Мы сейчас вроде бы и не чувствуем рядом с собой этих зияющих пустот: дело забывчиво, тело заплывчиво. Вот и на теле народа как бы заросли, заплыли раны... Но так не бывает. Мы потеряли невосполнимое.

Родину спас народ, вставший на ее защиту. И матери благословляли сыновей на этот бой, святой и правый. В этот час, который для малодушных казался часом гибели, возник, повторяю, совершенно особый нравственный климат. Под Москвой, у последней черты, решился исход войны. Потом были еще битвы, в которых, как считают и военные, и историки (в каждой стране — в свою пользу), вновь и вновь решался исход войны. Но решился он под Москвой, хотя война длилась еще долго. И решил исход войны — народ: и то, что уцелело от кадровой армии, и срочно сформированные части, которые бросали с ходу — в бой, с ходу — в бой, и московское ополчение, в котором погиб, быть может, цвет нашей будущей науки, если судить хотя бы по немногим известным именам уцелевших; и подоспевавшие на помощь столице сибирские дивизии, и лыжные батальоны — все, что удалось собрать, а были дни, когда Москва оставалась совершенно не прикрыта. И те, кто продолжал сражаться в окружениях, оттягивая на себя немецкие дивизии, они тоже спасли Москву.

В историю нашей родины вместе с именами Суворова, Кутузова войдет и вошло уже имя маршала Жукова. Его железная воля совершила тогда, под Москвой, то, что никто бы, кроме него, совершить не смог. Но и он в ту пору учился воевать, наше наступление под Москвой — это не стратегическая операция, подобная Сталинградской, мы больше вытесняли, выбивали немцев с их позиций, а люди воевавшие знают, скольких жизней это стоит.

И вот думаю теперь: что же все-таки было в основе нашей победы? Только ли безмерные жертвы и героизм народа? Или то, что в военном искусстве мы в конце концов превзошли врага? Или просторы нашей родины? Или оружие, которое выковали взамен утраченного, и больше и лучше того, что создавалось в Германии? И вспоминаю тот нравственный климат, все то поразительное, что открывалось в людях в ту пору.

Покойный ныне писатель Вячеслав Ковалевский там, на Северо-Западном фронте, когда наши войска входили в отбитые у немцев сожженные деревни, задавал жителям один и тот же вопрос:

«— Какой вы дадите нам совет, вот мы придем в Германию, что нам сделать с немцами за все, что они натворили у нас?

...И вот женщина торопливо, как бы боясь запоздать с ответом, просит (записываю дословно):

— Будьте добры, не трогайте ихних детей и женщин!

У меня навертываются слезы... Боже мой, что же это за народ. Где граница его долготерпения?

Женщина показала рукой на толпившихся около нее детей:

— Ведь он, окаянный, вот таких бросал в огонь! Разве они виноваты? Нет, будьте добры, детей ихних не трогайте!»

Вот эта высота духа и была основой нашей победы, не только военной победы над врагом. Но все это позднейшие, теперешние размышления, когда мы уже что-то знаем, что-то с чем-то можем сопоставить, взглянуть на события не сгоряча. А тогда, в тот день, мы просто радовались победе. Кончилась война. Да, кончилась, но все еще не верилось.

Мир для нас настал в далекой стороне. На моем кожаном офицерском ремне, на котором я многие годы правил бритву, привезенную с войны, — полустершаяся, так что едва прочесть можно, надпись: «Loosdorf». Вот в этой австрийской горной деревушке стояли мы: разведчики, связисты и я, командир взвода, старший над ними. Внизу был Дунай и замок на берегу. В одной из верхних спален замка подняли мы штору и увидели голубой Дунай, голубую его даль. Стояли и смотрели. Вот таким видели его отсюда каждое утро, когда подымался туман над водой. А в мире шла война, и в Австрии были фашисты. Но нашего приближения хозяева замка отчего-то вынести не смогли. В залах остались скатанные гигантского размера ковры, остались рыцарские доспехи, мечи, старинные пистолеты, ружья. Грешен, одно из кремневых ружей я унес из замка, любопытно было посмотреть, как оно стреляет. Мы сыпали порох на полку, и подсыпали, и кремнем щелкали — не стреляет ружье. Порох был бездымный. И вдруг грохнуло. Молодые мы были, в сущности — мальчишки еще.

Из Австрии повезли нас, всю нашу 9-ю артиллерийскую дивизию прорыва, не домой, а в Болгарию. Как везли, что было в дороге, о том рассказ еще будет.

И вновь — осень, золотое время в Болгарии. Поскольку армия не может находиться в бездействии, ей «тяжело в ученье, легко в бою» (ох, уж эта мудрость армейская!), нас, провоевав-

ших всю войну, ожидающих демобилизации, взялись учить. Вдруг среди ночи подымали по тревоге, и мы, грохоча сапогами, бежали через город на батареи, а испуганные жители города Пазарджик высовывались в окна: война?

Командир нашей бригады, в которую входило два полка, был мужчина крупный, как говорится — в теле, виски отпущены аж до мочек ушей, лицо хорошо пообедавшего человека. Но не благодушие послеобеденное на нем, а строгость: пообедали, теперь — за дела. И вот изводил он нас своими беседами. Требовалось: каждому держать раскрытый блокнот, иметь хорошо оточенный карандаш и записывать его мысли. Мыслей не было. Старались сесть подальше, рисовали в блокнотах, кто что мог. А любимым его развлечением было, как на зайцев с прожектором, охотиться на нас в темноте: осветит кусты фарми и ждет. И подымается оттуда офицер с болгаркой. Вот тут полковник наш и начинает воспитывать, долгую лекцию заведет не спеша. При ней. Но приехала к нему жена, и мы легко вздохнули. В первый же вечер повез он ее на «охоту». И от шофера вся бригада узнала, как осветил он кусты и тут жена ему говорит: «Если мы не проедем сейчас мимо, завтра я уезжаю!» И «охота» с того дня прекратилась.

А посылал полковник за женой в Одессу своего адъютанта. Ну, не с пустыми же руками посылать, отправил с ним машину барахла. Вот погуляли, рассказывал потом адъютант. Она — сама по себе. А для него — все девушки Одессы.

Однажды полковник взял меня с собой в этой роли: адъютант заболел. Почему на меня выбор пал, не знаю, но ехали мы в Софию на какое-то высокое армейское совещание. Машина «мерседес-бенц», передние сиденья отделены толстыми раздвигающимися стеклами. Я сзади сижу. Проехали километров сто. Полковник, не поворачивая головы на тугой шее: «Откуда родом, лейтенант?» — «Из Воронежа, товарищ полковник». Вот такая содержательная беседа состоялась между нами за сто двадцать или сто шестьдесят, не помню точно, километров пути.

А уже начали присылать к нам призывников 27-го года рождения. Мы уходили в горы, ставили стереотрубу, и разведчик глядел в оба, не едет ли, не идет ли начальство. А тем временем приносили на плащ-палатке виноград: ешьте, ребята. Такие они были изголодавшиеся за войну, отъедятся по крайней мере. А учить их буду уже не я, служить в армии после войны

я не собирался, мой путь — домой. Но вполне он мог оборваться здесь: меня чуть не застрелил мой товарищ Леня Лесов. Об этом — следующий рассказ. Когда он был напечатан в журнале, пришло письмо от Лени, письмо из небытия. Первое письмо через четыре с лишним десятилетия после войны. «Мне показалось, — писал он из Мариуполя, — ты этим рассказом вызываешь меня на связь. Как бывало на фронте по телефону».

Нет уже на свете Лени Лесова, он перенес два инсульта. Нет Сашко Беличенки. А недавно не стало Шалвы Чхартишвили.

Сколько помню себя, почему-то с самого детства хотелось мне бурки. Белые, фетровые, с тупыми коричневыми кожаными носами и такими же кожаными задниками. А от носка вверх и от задника вверх — узкие кожанные ремешки, прошитые по всей длине. Такие высокие, выше колен фетровые бурки, дважды отвернутые — сначала вниз, а потом опять вверх — у нас в Воронеже носили немногие, но все они как-то уверенно ставили ногу, твердо ступали по земле. Было время твердых людей. Возможно, они мне и нравились. Но хотелось мне бурки. Прошло много лет, прошла вся война, и вот уже после войны случилось так, что я надел специально по моей ноге сшитые бурки. И даже походил в них по комнате, прошелся, поглядывая себе на ноги.

Но прежде надо рассказать историю самих бурок. В Австрии, когда еще шли бои, один из моих разведчиков приволок белую фетровую полость, говорил, что нашел ее в брошенном разбитом доме, не пропадать же, мол, добру зря. Никогда я не притрагивался к чужим вещам, пусть они сто раз брошены. Еда — другое дело, на то война. Как-то уже после войны — стояли мы тогда в Болгарии — начальник связи дивизиона, стариковатый, семейный, признался мне, когда уже было крепко выпито, что есть у него маленькая такая вещица, давно он таскает ее с собой, а стоит она... И назвал баснословную цену. А утром, трезвый, просил меня никому не рассказывать. С тех пор мы не могли смотреть друг на друга: он ненавидел меня за свое унижение, за то, что я знаю.

Был еще у меня телефонист, законченный алкоголик. Перед войной получил он срок — десять лет. Оттуда, из лагерей, попал на фронт. Война столько убила, а его, по сути дела, спасла. Но после войны, когда мы из Австрии эшелонам дви-

гались по железной дороге, он исчез на какой-то станции в Румынии. Говорили, что были у него золотые монеты, часы... Не знаю. Двадцать суток, пока не пропился окончательно, догонял он свой полк, не спеша. Через двадцать суток в Болгарии его судил трибунал. Поразила меня тогда его опытность. Тихий, отчужденный, стоял он перед столом трибунала, тихим голосом говорил: гражданин прокурор, гражданин начальник... Не «товарищ» — «гражданин»; этого он по прошлому своему опыту не забыл. А мы сидели под деревьями на скамьях, на земле.

За эти двадцать суток он получил десять лет, те же десять лет, что имел перед войной, как будто на войну его отпустили, как на свободу, чтобы потом на тот же срок вернулся в лагерь. Вот — эти двое. Но больше ни про кого из моего взвода слышать не приходилось.

Правда, одно время, когда перешли границу, началось повальное увлечение: велосипеды. И те, кто умел, и такие дядьки, которые сроду велосипеда в глаза не видели, катили по дорогам на двух колесах. Не все же ногами ходить, и так сотни километров ими пройдено. И вот в шинелях, с вещмешками на горбу, с котелками, с лопаткой на боку рулят изо всех сил. И пошли жертвы: то машина в темноте без фар врезалась в колонну, то кто-то сам на машину налетел — неумелого всегда влечет. И это в конце такой войны, когда уже дом близок. Командир нашего полка полковник Комардин, человек непреклонный и в действиях скорый, приказал однажды свалить велосипеды в кучу и давил их тракторами. На том кончилась в нашем полку велосипедная эпопея.

Так вот, повторяю: еда — другое дело. И конечно, оружие.

В Вене я видел подземный склад, где по рельсам катились вагонетки, и была там целая стена ящиков одесского коньяка. На этом складе попались мне сыпучие пакетики: высыпешь в кружку с водой, зашипит, и вот готовая газированная вода. Сознаюсь, поразили они тогда мое воображение, некоторое время мы ими забавлялись.

И другой склад был в Вене. Шел бой, когда мы туда ворвались. Железные раздвигающиеся ворота, как в цеху, стеллажи по стенам, на стеллажах ящики с гранатами, пистолетами, все это в большом порядке, каждый пистолет, как бывало перед войной продавали лимоны, завернут в бумажку. Смазанные, новенькие, я разворачивал их, совал в карманы. Был я в те-

логрейке, в кожаной куртке и всюду, во все карманы насовал маленькие пистолеты «вальтер», то ли девять, то ли тринадцать штук.

Мы шли улицей, дым еще не рассеялся, щепень всюду под ногами, а на углу у двери пивной стоял хозяин, толстый австриец, держал в обеих руках кружки с пивом, по многу на пальцах. Рядом с ним женщина, русская, она тоже держала кружки, улыбалась тревожно: «Его не трогайте, он не обижал». А собственно, зачем нам трогать его? Мы сдували пену с кружек на пыльные свои сапоги, хозяин суетился, выносил еще, а улицы за две отсюда грохотало.

Вечером в дом, который мы заняли, набились летчики, прослышав про пистолеты. Они предлагали за них унты, настоящие меховые унты, я гордо не желал: не желаю — и все. Почему? Уже было выпито достаточно и потому — вот вы летчики, выше всех, а я не желаю. А на первом этаже дома еще лежали убитые.

Все пистолеты я потом раздарил, не таскать же на себе такую тяжесть. И «парабеллум», прошедший со мной полвойны, сдал, когда демобилизовался. Но офицерский пистолетик, скорей даже дамский какой-то, с перламутровой ручкой, привез в Москву. И привез большой эсэсовский кинжал; этим кинжалом с одного удара я пробивал любую железную бочку из-под горячего. По молодости лет я все никак не мог проститься с оружием, война кончилась, но непривычно было без оружия, неуверенно как-то без него. В Москве тогда, по разговорам, ша-стали банды, какая-то «Черная кошка» объявилась, я ходил в любой час по улице и проходными дворами, и не так я этой «Черной кошки» опасался, как просто приятно было ощущать в заднем кармане галифе маленький пистолет. Но за холодное оружие давали три года, за огнестрельное — пять лет, и кончилось тем, что кинжал я выбросил, только на фотографии остался он висеть у меня на поясе, а пистолет подарил.

Так вот — бурки, от которых я что-то далеко уклонился. Принес разведчик эту белую полость, и по оставшейся войне возили ее в прицепе с батарейным имуществом. А уже в Болгарии отнес я ее сапожнику сшить бурки мне и еще маленькие бурочки моему двоюродному брату, который подрос за войну: было ему пять лет, стало девять.

Сапожник попался, надо сказать, непонятливый: никак не мог взять в толк, зачем шить бурки выше колен, если потом их

отворачивают дважды? И еще сбивало это на турецкий лад покачивание головы: говорит «да», глазами, улыбкой — «да», а головой качает отрицательно. Когда же «нет», согласно кивает. Всех нас поначалу это сбивало, можно себе представить, какие недоразумения возникали, например, с девушками, с «девошками», которые «имат много морал».

Качали мы, качали головами, каждый на свой лад, но все же он вроде бы понял. А когда пришел я забирать, стоят невысокие бурки до колен, самый шик отрезал. Но все равно хороши. Принес я обе пары, маленькие поставил на кровать, на подушку, чтобы смотрели оттуда на меня и я на них смотрел, а большие надел. И прошелся. Прошелся я в новых бурках по школьному классу, где стояло теперь восемь или десять кроватей, а на одной из них сидел капитан Лесов, Леня Лесов, двухметрового роста красавец, смуглый, с опущенными висками и вьющимися черными волосами. Он сидел на кровати, выдвинув из-под нее чемодан, и, расставя ноги, искал в нем что-то, а я прошелся перед ним, проскрипел кожаными подошвами. Надо полагать, Леня обратил бы на меня внимание, на мои бурки, но как раз в тот момент он обнаружил под бельем пистолет, про который забыл, а у стрелкового оружия вообще такое свойство: стоит взять его в руку, и сразу хочется в кого-нибудь или во что-нибудь прицелиться. Он и прицелился в меня, сидя на кровати, причем был совершенно трезвый.

— Подыми пистолет, — говорю ему и прохаживаюсь, не теряя надежды обратить все же его внимание на мои бурки.

— Дурашка! Он не заряжен.

А палец уже на спусковом крючке, уже прижимает его потихоньку. Черный глазок нацелен на меня, следует за мной.

— Подыми.

В последний миг что-то все же подтолкнуло его, поднял руку с пистолетом над собой. И грохнул выстрел, посыпалась штукатурка с потолка. Леня Лесов сидел серый, на бритых щеках, как у мертвеца, проступила щетина.

— Он не заряжен был...

Так в тот раз никто и не полюбовался моими бурками, которые я впервые в жизни надел. А мог бы и остаться лежать в них.

Тут вскоре началась демобилизация, только этим и жили мы в послевоенные месяцы. Леня Лесов, до войны — студент третьего курса какого-то технического вуза, прекрасный волейбо-

лист, мечтал вернуться в институт, заканчивать учебу. Его оставили в армии. Комбат-шесть, то есть командир шестой батареи Старых, в прошлом — паровозный машинист, спал и видел себя офицером на всю дальнейшую жизнь. Его демобилизовали одним из первых.

О себе я не очень беспокоился: ограниченно годный по ранению, иными словами, не годный к строевой службе, я знал, очередь моя подойдет. Но тут командование полка осенило: я был вызван и мне, лейтенанту, предложили остаться служить на капитанской должности, то ли начальником ПФС, то ли ОВС. Словом, предложили ведать продуктами или портянками.

А все дело — случай. Как раз незадолго перед этим повел я батарею в кино. Теперь всюду и везде солдатам полагалось ходить строем, только строем, а строй этот должен был кто-то вести. Это в бою, на фронте не равняются с товарищами ни духом, ни плечами. В мирное время основа всего — строй, даже двое идут в ногу, а один солдат на улице обязан чувствовать себя в строю и так держаться.

Отвел я батарею в кино, кончился фильм, построил. Делается это так: «Третья бат-тар-рея, станови-ись!» — вытянутой рукой указываешь от себя направление строя. Подравнял, повернул: «Ша-агом марш!»

И грянули песню.

Бывает такое настроение, когда самим хочется. Вечер теплый, южный, за парком — болгарский город Пазарджик, а мы, быть может, последний раз вот так идем вместе: уже молодые прибывают служить, они сменят нас, мы разъедемся врозь после целой войны. Я и в себе почувствовал: ждут. «Запевай!» И грянули под шаг. Идут, поют. А все на нас любуются, весь город слышит, да мы и сами про себя знаем: молодцы! Другие батареи идут как неживые, а над нами — песня да посвист молодецкий. Уже палатки забелели в темноте, плац виден, а песня не допета. Я отпустил от себя строй: «Н-на месте!»

Командование полка тоже шло из кино, услышало, приблизилось. Стоят в темноте, блестят орденами. И наш командир дивизиона при начальстве тут как тут, разумеется, глядит орлом: его батарея. Ему честь. Неважненький у нас в ту пору был командир дивизиона капитан Гулин. Случалось идти с ним вблизи передовой — какое уж «вблизи», если идешь в полный рост, — обязательно зайдет так, чтобы между ним и возможной шальной пулей был ты, загораживал его собой. Все это про

него знали. Но война кончилась, он расправил крылья, орлом глядит из-под лакового козырька, исключительно — орлом.

Командование стояло молча на должном отдалении, я, хоть и не смотрел, а видел, чувствовал спиной. И батарея чувствовала. Нельзя себя уронить, с посвистом, с гиканьем оторвали песню. Повернул строй к себе лицом. Подравнял: «Сми-ирна!» А у самого звонко натянулось в душе: «Молодцы! Спасибо за песню!» И слышу басовитое позади себя: «Он, оказывается, хороший офицер...» Это начался новый счет, по меркам мирного времени.

Неисповедимыми путями движется мысль начальства. Если б не тот случай. Не песня, не покажи я себя в тот раз, хоть и в мыслях не было себя показывать, не пришла бы командованию идея поощрить меня: произвести строевого офицера в начальники обозно-вещевого снабжения. Я скромно поблагодарил за честь; я и вообще-то не собирался служить в армии после войны, тем более интендантом. Но еще с месяц меня продержали в полку, давали время подумать.

Только в декабре ранним утром ехал я по городу на извозчике. Всю ночь шло прощание с моим взводом, с офицерами дивизиона; теперь часто прощались. Взвод, полк, город — все спало в ранний час, меня укачивало на рессорах пролетки. Цокали подковы лошади по камням. На фронт уходил пешком, возвращаюсь на извозчике.

Холодное светило солнце, синее небо, лиловые в дымке холмы. И не оставалось даже мысли, что я, наверное, последний раз в жизни вижу это вокруг себя, никогда, быть может, не случится вновь увидеть Болгарию, город Пазарджик, где простояли мы целых полгода. Я возвращался домой. Как там, что дома, ничего этого я толком не представлял себе. Знал, что дом, в котором мы жили в Воронеже, разрушен, что и сам Воронеж лежит в руинах. Где-то в Москве как-то ютятся после эвакуации двоюродная моя сестра и тетя, у которой я жил с двенадцати лет. А ее старший сын Юра и мой брат Юра — оба 21-го года рождения — оба не вернулись с войны. И муж ее еще служит. От него шли письма из Германии. Я возвращался первым.

Помню, стоял в тамбуре вагона, открыв дверь наружу, словно так поезд идет быстрее, когда все мелькает в дверном проеме, и вместе с летящим ветром откусывал колбасу от целого круга. Мелькало и уносилось: виноградники, холмы, поля,

повозки на полевых дорогах, запряженные черными медлительными буйволами. Поначалу удивляло нас, как здесь пашут на буйволах: не криком погоняют, а лежит на чапиге длинный тонкий шест с гвоздем на конце или просто заостренный (знать бы тогда, что это и есть *стимул*), им и колкют буйвола в зад, стимулируют, а он все равно ступает не спеша, вытянув вперед слюнявую морду, положив себе на шею серые могучие рога. Вот из буйволиного мяса и была та колбаса, которую я откусывал с ветром пополам.

В Киеве поезда брали штурмом. Очереди у воинских касс выстраивались на много суток, к коменданту не пробиться — возвращаются фронтовики. И билет сам по себе ничего не значил, надо еще в поезд сесть. В этой толчее встретил я однополчан: они демобилизовались раньше, я догнал их. Они уже были опытные, трое, четверо — не один. Организовались, решили действовать так: подходит поезд, одного кого-нибудь впахиваем в вагон и туда ему передаем вещи. Главное — вещи передать, а с пустыми руками пробьемся.

И вот поезд замедляет ход, за каждым вагоном — толпа военных. Бегом, не отставая, сопровождают свою дверь. Но мы действовали сплоченно. Пробились к поручням, втолкнули наверх двоих, начали передавать чемоданы. Шатает толпу у дверей. Шапки, шинели, погоны. На вытянутых вверх руках проплывают вещи над головами. Вот и мой чемодан поплыл. Он приметный, скручен крест-накрест зеленым телефонным кабелем, чтоб не раскрылся. Под верхом дверного проема вижу, как встал мой чемодан торчком, качнулся и ушел в темноту. Мелькнуло на миг лицо проводника, что-то он там кричал. Ну — все. А с одним вещмешком за плечами уж как-нибудь.

Когда поезд тронулся, вагон был набит битком. Прежде всех дел закурили. Вещи теперь никуда не денутся: двери закрыты, окна и с той и с другой стороны забиты наглухо. Покурили, отдышались, начали разбирать, где чье. У одного раскрылся чемодан. Спешно сгребает в него на полу, мешая всем. И еще я пошутил некстати: мой не раскроется, мой только если за ручку взять и унести целиком. Но что-то действительно чемодана нет и нет. «Не может быть, — заверяют меня. — Никуда не денется...» И я согласен. Однако — нет. Спрашивают у меня, спрашивают друг друга: «Это какой? Зеленым телефонным кабелем перекручен?» И — радостно, будто нашел: «Так я его видел!»

Ищут всем вагоном, уже ходят смотреть на меня, уже начинают сочувствовать, а это совсем плохо. Одним неловко: он передавал, у него цело, а мой девался куда-то. Кто-то, наоборот, умным себя почувствовал: вот у него не пропало. И от этого всеобщего внимания самого себя стыдно. Ты одурочен и ты же самого себя стыдишься.

Сильней всех волнуются мои однополчане, кто стоял в дверях, принимал вещи: через их руки шло, они чувствуют себя ответственными. «Пойдем проводникам морды бить!» Купе проводников перевернули вверх дном, те охотно помогали — нет нигде. И окна не открывались. И из вагона никто не выходил. И — нет. А поезд разогнался, стучат, стучат колеса, Киев далеко позади. Одни с войны едут, другие, как шакалы, перехватывают их в пути. И такое зло жжет, сюда бы их сейчас! Не вещей мне жаль, обидно! Но и вещи — тоже, бурки один раз надел, походил по полу. Но еще больше жаль мне маленькие бурочки, брату их вез. Он — сын моей младшей тетки Фриды, она так похожа лицом на покойную мою маму — и лицом, и характером, — такая же терпеливая. Самые терпеливые те, кого жизнь много обижала ни за что, а им и постоять за себя было невозможно и за них постоять некому.

Убедился: нет чемодана, обыскали все, а продолжаешь думать, ищешь мысленно, здесь он где-то, не можешь избавиться. Вижу, как он качнулся в тамбуре на руках чьих-то, будто показал себя в последний раз, и поплыл. Знать бы, что уплывет...

Когда разобрались окончательно в вагоне и разместились, тут только и обнаружили, что нет одного нашего однополчанина, отстал в Киеве. Не смог сесть. А вещи его едут с нами. А поскольку в Москве слезал я один, а все ехали дальше, решено было поручить его вещи мне и известить коменданта на вокзале, чтобы объявляли к приходу поездов. Вот так с вещемешком за спиной и его вещами вернулся я домой с войны.

Замоскворечье. Незнакомый двор, в котором я никогда в своей жизни не был. Серый, обшитый вагонкой, даже не серый, а черный от дождей, от времени и копоти двухэтажный дом-развалюха. Угол обит ржавым железом. Снег до подоконника. В темноте сеней я потянул на себя дверь, попал в темноту, в запах керосиновой копоти. Еще на ощупь — дверь. Толкнул. Потянул на себя. От окна, от света, который она собой заслоняла, обернулась ко мне моя тетька, Берта Григорьев-

на, я не лицо ее увидел, узнал силуэт. Я стоял в шапке, в шинели, в сапогах, как мог бы стоять в двери ее сын. Если бы вернулся он, а не я. Что-то вскрикнула она, заплакала, помню только, мне нужно было согнуться, чтобы обнять ее. А вещмешок на горбу не давал закрыть дверь, уже какие-то люди, соседи толпились там, смотрели на нас. И ступить было некуда: плита, стол кухонный перед окном, топчан по стене, по другой стене — кровать, изголовьем в тот самый обитый железом угол (он промерзал насквозь), а между столом, топчаном, плитой и кроватью, как в колодце, двоим стать негде, одному из них тут же надо садиться. И я сел и первым делом начал доставать из мешка что там было: остатки продуктов, сигареты. Со всех войн всегда возвращались с подарками, а мне и подарить было нечего. Я был сейчас единственный мужчина в семье, я ехал из-за границы...

Тут я вспомнил: я же за всю эту дорогу, за все эти дни ни разу ничего не получал по продовольственному аттестату. Печенье, хлеб, сало, сахар, консервы — это же страшно много всего. Я не стал ждать, когда вернется сестренка из музыкального училища, к ее приходу я хотел все привезти.

Какая-то озябшая личность сопровождала меня через всю Москву: он подрядился на обратном пути поднести чемодан, поскольку чемодан будет тяжелым, да и города я не знал. Он тряся с похмелья, он жаждал и меня торопил. С трамвая — на троллейбус. Опять на трамвай. Прибыли. Стали в очередь. Достоялись. Но продпункты долгов своих не помнят и не возвращают никогда: не получил — не получишь. А я этот простой закон забыл. С буханкой хлеба и двумя банками консервов в чемодане — они перекатывались, в них что-то булькало — я возвращался через всю Москву. Когда дома вскрыли банку, оказались там потроха в бульоне. Но это ли потеря после всего, что унесла война.

Как-то все мчалось наспех. И через два дня вместе с сестренкой моей младшей, двоюродной, фактически — родной, мы шли в компанию встречать Новый год. Встречали его в складчину, и я, свалившийся в последний момент, нес свою долю под мышкой: бутылку шампанского и колбасу, купленные в коммерческом магазине, были тогда такие магазины, где купить можно было все, но по дорогой цене. Ее старший брат Юра и мой старший брат Юра не вернулись, нужно было время, чтобы осознать: мы, младшие, есть, живы, а их нет и это

уже — навсегда. Но я все еще чувствовал себя так, словно после боя вернулся, а не с войны, словно судьба еще не окончательно разделила нас.

В последние часы военного, победного 45-го года мы с моей младшей сестренкой шли по Москве по морозу встречать Новый год.

Полтора месяца дальнейшей моей жизни я был товароведом. Контора наша, довольно странная, относившаяся к министерству лесной и бумажной промышленности, помещалась вблизи Большого Каменного моста, внизу, в Лебяжьем переулке. Всякое учреждение должно иметь начальника, и у нас был начальник. К восьми утра, когда мы сходились, он уже сидел за столом в распахнутой шинели с желтыми, начищенными пастой латунными пуговицами, и пылала печь. Около круглой этой металлической печи, стоявшей на железном листе, собирались шоферы и грузчики и первым делом, как водится, закуривали. Шоферы были мужчины, грузчики — женщины, молодые, лет по двадцать пять, по двадцать восемь, все полные, крепкие. Тогда я еще не понимал, что полнота эта не от здоровья, а от недоедания, оттого, что много едят бесполезной, небелковой пищи. С одной из них, самой красивой и по душе хорошей, жил наш начальник, отец семейства.

Печь раскалялась быстро, уже и в гимнастерке становилось жарко сидеть, но он все так же не снимал шинели с плеч, а стену над ним украшала меховая офицерская ушанка, на которой еще виден был вмятый след от звездочки. Это были два разных человека: в шинели и без шинели. Однажды я пришел рано — сидит он в серой немаркой рубашке, сморщенный, впалогрудый, пишет что-то вкось на углу текста, резолюцию накладывает. Застыдясь себя при постороннем, он влез в шинель с подкладными плечами, облачился, преобразился — командующий сидит над картой, планирует операцию. И жаль мне стало эту грузчицу. На каком из полей войны, каким снарядом или пулей оборвало ее безымянную судьбу? Я все эти годы моих одногодков видел и тех, кто старше, а моложе нас начали появляться на фронте со второй половины войны, ближе к победе. Сколько их осталось лежать в болотах, в окопах, на подступах к каждой высотке, которые мы так трудно брали и отдавали и брали вновь. Глядя теперь на этого семьянина и на нее — а она, в залатанной на спине телогрейке, в растоптан-

ных валенках, в юбке хлопчатобумажной зимой, все равно была как королева, — я впервые увидел другую сторону войны: поколения вдов, многие из которых и женами не побывали. А жизнь идет, жить как-то надо.

Обычно перед рейсом машины стояли на морозе в переулке, заслоня кузовами свет в окнах, шоферы и грузчики курили вокруг железной печи, спешили накуриться. Отдельно от всех, за столом, начальник шелестел бумагами, писал на углах вкось.

— Та-ак, — произнес он наконец: без «так» ни одна его молитва не начиналась. — Та-ак...

И, глядя поверх шапок и голов, никого из нас как бы не различая в отдельности, выкрикивал:

— Полста двенадцатый!

Казалось ему, так авторитетней: не по имени, не по фамилии называть человека, не опускаться до этого, а — по номеру машины, к которой он приставлен. И начинался лай. Кого наряжали ехать за товаром в Тутаев, требовал, чтобы его послали в Александров, кого в Александров, кричал, что едет в Тутаев. Были тут, конечно, свои расчеты, не могло не быть, хоть я за время службы в товароведах так и не постиг этой премудрости, но больше, по-моему, просто драли глотку. Переждав время, начальник вставал, придерживая на груди борта шинели, шел к печи, нагибался, подкладывал полешко — как бы через силу и хворь, мол, глотки дерете, а полено без него и то подложить некому — и, исполнив это, возвращался на свое место, за стол, сидеть за которым было его жизненным назначением. Чем меньше человек сам по себе, тем больше в нем эта потребность возвыситься над людьми, чтобы и смотреть на него могли только с дистанции.

Любопытно было мне наблюдать мирную жизнь, от которой я отвык. Никаких определенных планов на дальнейшее у меня в ту пору еще не возникало. Война кончилась, я вернулся живой, а что с собой делать, не знал и беспокойства по этому поводу не испытывал, не поселилось оно еще во мне, не гнало, не торопило, и так хорошо я себя чувствовал в жизни, как, может быть, потом уже не чувствовал никогда. Жил я совершенно один в промерзавшей до инея шестиметровой комнате, топил плиту, что-то готовил в алюминиевой кастрюле, потом она затерялась, потом нашлась, недоеденная рисовая каша в ней посинела, алюминий проело насквозь, и мыть кастрюлю уже не требовалось.

Комната на время досталась мне в полное мое пользование: тетя уехала в Германию к мужу, он еще служил, сестру перевела жить к подруге, и если я, допустим, не возвращался домой ночевать, фанерная ставня закрывала окно изнутри и сутки, и двое. И друзей в Москве у меня еще не завелось. Иногда мы беседовали с управдомом о жизни.

Он демобилизовался раньше, ходил, как все мы, в офицерской шинели без погон. В прошлом — танкист, он смотрел на себя в новой должности, как на фронте боевые офицеры смотрят на интендантов, но для желающего и умелого должность его по тем временам открывала много возможностей, он знал это.

Шли мы обычно в палатку в конце Пятницкой улицы, где была у него знакомая продавщица газированной воды, кивали, и она, закрасив сиропом от посторонних глаз, наливала нам под прилавком по стакану водки: почему-то, не помню уже почему, продавать водку в палатке не разрешалось. Мы выпивали, закусывали конфеткой и шли, разговаривали не спеша, сажались где-нибудь на лавочке посидеть, опять шли. Хороший он был мужик и тоже не знал еще, куда себя девать. После великой войны, которая вознесла нас, многим открыла истинную их цену, хоть мы этого еще не сознавали тогда в полной мере, трудно было найти в жизни место себе, все казалось временным. Он так и не успел распорядиться собой, погиб в том же 46-м году, и погиб до обидного глупо.

В котуре домоуправления, откуда дверь открывалась прямо на улицу, была такая же, как у меня в комнате, плита, сложенная из кирпича, с двумя чугунными конфорками сверху. Поссорясь с женой, выпив крепко со зла, пошел он ночевать в домоуправление, раскалил печь и заснул, как был, в шинели, спиной во сне привалясь к плите. Выскочил оттуда, из дыма, когда все горело на нем и тлело. И кто-то от большого ума ударил по нему струей из огнетушителя. Дважды горел человек в танке и жив остался, чтобы вот так погибнуть.

На похоронах билась лбом о край гроба жена, совершенно обеспамятевшая, ноги под ней подламывались. Открыто, никого не стыдясь, в голос редела бухгалтерша — вдова, баба властная, резкая, на нее только глянуть, и уже можно сажать. Многие от нее зависели, шли к ней с подношениями немалыми. Когда грузовик трогался со двора, она спешно сунула под плоскую подушечку, под холодный его затылок, какие-то листки: молитву, переписанную от руки, как после я узнал. Вот

так оборвалась судьба. Война кончилась, но в людях все еще длилась.

Однако наш начальник, хилый с виду, заряжен был жить долго и утверждался в жизни. Обычно перед рейсом он инструктировал меня особо, поскольку был я на этой работе человек новый, как говорят у нас, и в товарах, которыми мне полагалось ведать, не понимал ровным счетом ничего: «Ты не очень, понял, не очень с ними! Ты гляди, гляди, а поглядывай!.. С ними знаешь как?.. Вот именно что!..» И почему-то при этом хмуро смотрел вслед грузчице, с которой жил. По привычке ни одну фразу он не договаривал ясно, а означать это должно было вот что: пока носят со склада и грузят тюки и ящики, мне надлежало стоять с листом бумаги и, глаз не спуская, считать, отмечать, чтобы потом все сошлось.

Девчата эти молодые, у которых вся жизнь впереди, грузили на себя прямо-таки бесстрашно. Только, бывало, спросит одна другую: «Резко тяжело?» — и несет, сомкнув за спиной руки под грузом или за угол придерживая одной рукой через плечо, вся согнувшись. И вот офицеру в недавнем прошлом стоять начальником и смотреть на них? Тут нужен был особый характер. Однажды раненная моя, бессильная рука не удержала, и перед самым кузовом машины, когда оставалось только повернуться и спиной поддать груз вверх, тяжелый ящик съехал с меня, оборвав хлястик шинели, ударился углом и раскололся. Следи я тут во сто глаз, пока собирали, я бы все равно не уследил. Но все сошлось. И всегда сходилось, хоть, видел я, девчата себя не обижают: спокойно вынув из-за пазухи тряпочку какую-нибудь или тоненькие чулки, разглядывают их на обратной дороге, советуются: ничего этого в ту пору было не купить.

Вот ехали однажды зимой за товаром, и шофер взял попутно пассажиров с грузом, это был его законный заработок. Чаще всего я тоже забирался в крытый кузов, тепло было с девчатами в веселой их толкотне, но в тот раз сидел в кабине, смотрел на зимнюю дорогу перед собой и ехал бы так, ехал хоть в Тутаев, хоть в Александров, а если во Владивосток, так еще лучше.

Я не вылезал из кабины, пока шофер договаривался: при этом разговоре свидетель ни к чему. Спустя время слышно стало, как в кузове за спиной застучали по доскам, грузили что-то. Баба в коричневой шубе суетилась около чемоданов на снегу, и стоял прямо высокий человек в офицерской шинели без

погон, курил, не вынимая папиросы изо рта. В круглое боковое зеркальце он был виден мне со спины, ветер полоскал полы его длинной шинели, закидывал назад рукава; я еще подумал: должно быть, шинель наброшена, а — мороз. Потом видел мельком, как баба под спину подсаживает его в кузов.

Мотор перегревался, в кабине тепло было лицу, я задремал. Проснулся оттого, что машина стояла, слышны были громкие голоса. На этой дороге и прежде останавливали: милиция ловила спекулянтов, ловила и отпускала, получив мзду. В таких случаях шофер сам шел договариваться, заранее нес в руке. Но что-то слишком уж долго скандальным голосом, каким скликают толпу на улице, кричала баба:

— Ты кого трясеешь? Кого трясеешь?..

Я вылез.

— Выгружай! — говорил милиционер непреклонно и указывал на дорогу. Он стоял позади машины, а в кузове баба растегиwała на рослом человеке шинель, спешила.

— Ты вот кого трясеешь, гляди!

Шинель упала с плеч, человек легко спрыгнул вниз на сильные ноги в хромовых сапогах. И стал перед милиционером: китель с тремя орденами расстегнут, красная на морозе грудь, два пустых рукава по бокам. Он шевельнул в них короткими обрубками, рукава поддернулись навстречу.

— И ты его трясеешь? А совесть у тебя осталась? — в голос разорвалась баба. И слезала вниз в коричневой своей шубе мехом наверх, как медведица лезла. — Пушай, пушай расстёгивает чемойданы, прикажи ему! А руки ему дашь?..

А тот стоял, слов не роняя, твердо стоял распахнутой грудью на ветер, на фронте он ею не чемоданы заслонял. И милиционер сдался:

— Езжай! — и рукой махнул. Руки у него были обе.

Потом мы сидели в чайной за одним столом. Километров двадцать с небольшим отъехали и зашли в чайную, мы и прежде здесь останавливались не раз. Скинув с себя шубу нагретой подкладкой наверх, баба мигом смоталась к стойке, принесла сто пятьдесят граммов водки в потном граненом стакане, это она прежде всего стукнула перед ним. Я хотел помочь ему выпить, но он сам привычно зубами за край поднял стакан, вылил в себя водку, только кадык вздрагивал на вытянутом напрягшемся горле. И поставил на место. Сидел, ждал. Один глаз его заслезился, другой, с рассеченным помаргивающим

веком и синими порошинами вокруг, глядел грозно. Как на часах при взрыве останавливается время, так в этом его глазу, в незрячем разлившемся зрачке осталось былое, грозное, и уж — до конца дней.

— С какого фронта? — подбородком снизу вверх качнул он на мою шинель.

— Третий Украинский.

— А меня... под Кенигсбергом. — Глаз смигнул несколько раз кряду.

— Пехота? — спросил я.

Он гордо расширился в груди.

— Командир батальона. Комбат!

И требовательно оглянулся. За всеми столиками кланялись тарелкам головы из воротников (полушубки, ватники здесь, как правило, не снимали, только шапки скидывали перед едой), дальше к стойке — гуще народу, пар над людьми.

— Лизка!

Зеленая вязаная кофта замелькала меж столиками. В двух руках баба несла тарелки. Одну, с борщом и ложкой в нем, поставила себе, другую — макароны и плоская котлета сверху — ему. Ни вилки, ни ложки там не было.

— Борща взять?

Он качнул головой резко.

— Неси еще! Ну!

Опять замелькала меж столиками зеленая вязаная кофта, удаляясь. Я уже доел свой борщ, ложка у меня освободилась. Я отряхнул ее.

— Если не побрезгуешь, помогу?

Он медленно покачал головой, как человек, знающий порядок и меру во всем.

— Не надо!

В нем разгибалось достоинство: хмелел, выпито было на старые дрожжи. И начал есть, губами с тарелки всасывая в себя макароны, встряхивал головой, откусывая от котлеты. Ордена его стучались о край стола, увесистей других ударялся тяжелый орден Александра Невского. Этот, младший в ряду полководческих орденов, давали не за одну смелость, представлять к нему могли за удачно проведенную операцию.

Опять вернулась баба, поставила перед ним граненый стакан, опять унеслась, привычно лезла без очереди в самую тес-

ноту. Так же — стакан в зубах — он выпил. И даже рот утереть было нечем.

— Жена? — спросил я, кивнув на ее тарелку с борщом, от которого еще шел пар.

Грозный глаз его глядел в упор, мешал он мне: все тянуло в него смотреть, а не в тот, зрячий.

Он вдруг поозирался быстро.

— Достань!

И подбородком открывал борт кителя, оттягивал нетерпеливо.

— Во внутреннем кармане, там... Залезь!

Обрубки его рук дергались в рукавах.

Я залез во внутренний карман, тоже зачем-то заозиравшись, рукой ощутил, как там, в тепле, сильными толчками бьется его сердце.

— Ну! — торопил он.

Я вынул на стол теплый его теплом бумажник.

— Раскрой! Вон фотокарточка, видишь?

За обсыпавшийся уголок я вытянул из бумаг, из справок с печатями помятую фотографию: молодая женщина обняла за плечи двух девочек, они, как зайчата, склонились с обеих сторон бантами к ее голове.

— Покажи!

Я держал фотографию перед ним, а он смотрел.

— Не вернулся я к ним. Вышел из госпиталя... пожалел их. — Обрубки его рук дернулись в рукавах. — Вожу вот барахло с ней. — Он пнул под столом чемоданы. — Вожу!.. Чуть что — меня вперед! А мне что?.. Могу заслонить.

Ноздри его расширились, из распахнутого кителя выставилась грудь. Не много оставила ему война: один зрячий глаз, когда-то грозный, а теперь пьяный, мокрый, и сильное мужское тело.

— Прячь! —дохнул он испуганно. — Быстро!

Все само собой получилось, как будто мне что-то подсказало: я сунул бумажник ему в карман, а фотографию, как была она у меня в ладони, прижал под столом к колену. И сидел так.

— Я тебе еще раз котлету с макаронами взяла, — умильно говорила его сожительница. В одной руке она держала две мелкие тарелки со вторым, другой зажала сверху стаканы, в них поплескивалась водка, по сто грамм в каждом. Поставила на стол, утерла потное лицо. — Ладно уж, и я с тобой выпью.

— Борщ остыл, пока ходила, — грубовато басил он, а голос был не свой, виноватый, испуганный, женщина почувствовала что-то, взгляделась в него, в меня.

— Опять людям показывал? Опять сам глядел? А что говорил? Что обещал? Обещал или не обещал? Порву! Ту порвала и ету порву!

И выворачивала у него из карманов на стол, что было там, лезла под китель. На них уже смотрели от других столиков, не встревал никто. По пьяному делу всякое бывает, пропилил небось деньги, а она теперь ищет по карманам. Расстегнутый — вся душа наружу, — сидел он, пока его обыскивали при людях.

Я отдал ему фотографию в туалете, куда мы пошли с ним вместе, поглубже засунул ее в бумаги. Помог справиться с остальными делами, и даже тогда не подумал, что у этой бабы, которую хотелось убить, что у нее тоже есть своя правота. А когда застегивал китель на этом рослом человеке, столкнулся с ним взглядом. Единственный его глаз смотрел неприязненно, отпихивал от себя.

Ни разу не обернувшись, он пошел, распрямив плечи, на полголовы, на голову выше многих. Нам тоже пора было ехать.

Больше я никогда его не встречал. Одни с тех пор выросли, стали взрослыми, другие давно уже успокоились. Но иногда я продлеваю судьбы, мысленно складываю их по-иному, не так, как сложила их жизнь. И вижу, нет у меня права судить даже ту бабу. Когда-то и она, девочкой, клонила голову к надежному материнскому плечу, а всей ее жизни я не знаю. Но чем дольше живу на свете, тем непостижимей для меня глубина простых этих слов: не судите, да не судимы будете.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР

И все же что-то с собой надо было делать в непривычной мирной жизни, не оставаться же навек товароведом. Я уже начал писать понемногу, скрывая это, как что-то стыдное. Честолюбивые мечты меня не одолевали, но по ночам, заслонив изнутри окно ставней, я сидел и писал, зачем-то мне это было нужно. Впрочем, первый свой рассказ я написал еще в Болгарии. Жили мы в школе, кровати стояли в бывших классах, пустого времени было много, хоть задери ноги на спинку кровати, руки под голову и смотри в потолок. Разумеется, много пили и не рюмками, а стаканами, перед обедом в офицерской столовой наливали полный стакан до краев. Однажды ни водки, ни вина не оказалось в буфете, был только ликер, густой и сладкий. Ликер так ликер, выпили его перед борщом. Болгары в корчмах только головами качали, глядя, как мы наливаем по стакану. Они пили маленькими стопочками, не спеша часами беседовали о том, что и как будет после войны.

В городе Пазарджик, где мы стояли, был кинотеатр, фильмы шли в основном американские, и в темноте при мерцающем свете экрана слышалось поцокивание языком и тяжкие вздохи: «Дрехи, дрехи...» Это в очередной сцене актриса раскрывает шкафы во всю стену и под ноги ему швыряет наряды: ничего ей не надо, она уходит от него... И летели по воздуху и падали на пол к его начищенным ботинкам — какие платья! какие шубы!.. «Дрехи, дрехи!..» В нищей по тому времени Болгарии такие наряды можно было увидеть только в мечтах да в кинотеатре. И в этом же кинотеатре я впервые увидел «Золотую лихорадку» Чаплина.

Однажды в Пазарджик приехали писатели: Илья Эренбург и Борис Полевой, как говорилось тогда — посланцы Советского Союза. На втором этаже кинотеатра был балкон, с этого балкона они обращались к болгарам, мы тоже стояли в толпе. Полевой говорил много и страстно, прижимал руки к сердцу и от

сердца простирали их к людям внизу, но его никто не знал. Эренбург с полуприкрытыми веками выглядел сонным. Он сказал несколько фраз, одну я запомнил: «Москва далеко, но она близко, она вас видит, помнит и никому в обиду не даст». Площадь перед кинотеатром взорвалась восторгом, и заплясали портреты Эренбурга над толпой.

Через девятнадцать лет Илья Эренбург, Борис Полевой с женою и я — вот такая была делегация — поедем по приглашению чешских и словацких писателей на двадцатилетие Словацкого восстания. Чехо-Словакия (так писалось до войны) была оккупирована немцами, но в Словакии режим был значительно мягче. Повсюду с огромного плаката улыбалась словацкая девушка в национальном наряде и в венке из полевых цветов, будто Словакия сама присоединилась, стала, так сказать, младшей сестрой. И тем не менее в Словакии в 44-м году вспыхнуло восстание против немцев, жестоко подавленное. Здесь Полевого знали, во время восстания он был сброшен сюда на парашюте, бывшие партизаны жали ему руку, братские объятия, ночные партизанские костры, мясо, жаренное на огне, вино, сливовица. А в Банской Быстрице, теперь уже как памятники, стояли печи, в которых отжигали известняк. В них, в пылавшие тогда печи, в огонь, немцы сбрасывали пленных партизан. Я еще заглянул сверху в жерло печи. И победа, и жизнь, и слава — все это достается тем, кто остался жив. Мертвым — память, пока живы те, кто их знал и помнит.

В один из вечеров за полночь засиделись у меня в номере гостиницы в Низких Татрах чешские и словацкие писатели, говорили о войне, о литературе, сливовицы было много, пила она хорошо. Потом чехи ушли, и словаки сказали: не верьте им, почти весь бюджет страны идет в Чехию, а словакам не достается ничего. А я уже видел в эти дни словацкие деревни, великолепные, недавно построенные дома, о которых в наших деревнях могли только мечтать. Потом поднялись и дружно ушли словаки. Но один человек остался. Весь вечер он молчал. Теперь, когда ушли и чехи, и словаки, он сказал мне: не верьте им обоим. Они вместе угнетают нас, русинов...

В Праге мы жили в гостинице «Алькрон», старую эту гостиницу любил Эренбург. Номера наши были рядом, он звал меня к себе и рассказывал, рассказывал... На фронте его статьи читали как сводки Информбюро, а ничего значительней сводок тогда не было. На улицах Праги, увидев его, и чехи, и наши туристы

останавливались, как громом пораженные, смотрели вслед, себе не веря. А он настолько привык к своей известности, что, казалось, не замечал ее. В музее, пока он стоял перед картиной, люди подходили и прямо в лицо фотографировали его, он и это как будто не видел. И вот до двух, до трех часов ночи он рассказывал мне вещи поразительные, ему не спалось, ему требовалось выговориться, возможно, в чем-то и оправдаться перед самим собой, и не только перед собой: сложная и долгая жизнь прожита, он говорил, говорил, я понимал, это надо записывать, но за день столько выпито, столько встреч, что я сидел и боролся со сном. Он был уже стар, мышцы щек ему не повиновались, от этого выражение лица не всегда совпадало с тем, что он говорит.

Каждому из нас за книги, изданные здесь, выдали гонорар. Эренбург всю свою немалую пачку денег отдал переводчице: «Что можно здесь купить женщине, которая полжизни прожила в Париже?» А я накупил подарков семье, родственникам, знакомым — тяжкое это занятие — ходить по магазинам, дома это делает жена. И вдруг, перед самым отъездом, пришли из военного издательства, где должен был выйти мой однотомник, предложили остаться еще на неделю, на две в этой же гостинице, они выплатят мне гонорар, весьма немалый, будут встречи... И я представил себе: опять ходить по магазинам, опять весь этот круг. Нет, ребята, сказал я, лучше я приеду в следующий раз, тогда и заплатите мне за книгу. Но потом был 68-й год, наши танки — в Праге... Приехал я через тридцать с лишним лет после той встречи, многих, кого я хорошо знал, не было — уехали из страны, и не было Чехословакии, были отдельно: Чехия и Словакия. И хотя паспорт у меня был Советского Союза, такой страны тоже не было.

Но в том, в 45-м победном году, когда в болгарском городе Пазарджик я стоял в толпе, золотые погоны на плечах, фуражка с лаковым козырьком (все это срочно изготавливали нам болгарские ремесленники), смотрел вверх на балкон, откуда говорили Полевой и Эренбург, мог ли все это представить, предвидеть? И рассказ свой первый я написал не потому, что мнил себя в дальнейшем писателем, а потому, что томило желание рассказать, но не станешь же рассказывать про войну тем, с кем вместе воевал. И я, выбирая время, когда никого нет в комнате, в бывшем школьном классе, написал этот рассказ. Как ни странно, он у меня сохранился: вполне беспомощный, подражатель-

ный не кому-то конкретному, а литературе вообще. Но подробности точные. Да как им не быть, точным подробностям, когда все еще так живо перед глазами.

В дальнейшем, в Москве, я отнес его Василию Гроссману. Почему Гроссману? Я читал его роман «Степан Кольчугин», меня поразил его очерк «Треблинский ад». Я узнал номер его телефона, попросил разрешения и пришел. Ходил я тогда в хромовых сапогах, в галифе, в гимнастерке, орденская планка над карманом. Почему-то думалось: вот приду, он усадит меня, начнет расспрашивать про войну... Ничего этого не случилось. Он взял рассказ, сказал, когда снова прийти. И я пришел. «Ну, что я вам скажу... Пишите. Может, получится, может — нет». Вышел я в полном недоумении, а между тем это было самое мудрое, что он мог сказать. И вот странная вещь: писателем я себя даже в отдаленном будущем не мыслил, но пошел к занятому человеку, надо мне было, чтоб он что-то сказал. Наверное, рукопись сама обладает этим свойством: кто-то должен ее прочесть.

И вновь скажу: жизнь непредсказуема, не надо ни торопить ее, ни стремиться заглянуть вперед, как заглядывают в конец книги. Пройдут годы, и мы окажемся в одном доме, и даже в одном подъезде. Но я уже не тревожил его своими рукописями. Зимой вечерами он обычно выходил пройтись: в длинной, чуть не до щиколоток, шубе, и это особенно было заметно, потому что носили тогда короткие; подняв воротник, как бы заслоняясь им, только очки поблескивали оттуда, он шел весь в своих мыслях. Однажды я попался ему навстречу: он — из дому, я — домой. «Добрый вечер». — «Добрый вечер». И, взглянув пристально, он сказал, что прочел мою повесть «Пядь земли», сказал, что это уже не наблюдение, а исследование.

Пройдут еще годы, и в числе немногих, пришедших на похороны в «Дом Ростовых» на улице Воровского (ныне, как и в прежние времена, улица Поварская), я буду выносить его гроб. Ни популярным, ни широко известным он не был. Это был один из самых глубоких, самых значительных писателей нашего времени.

Лето 46-го года. Иду я по Тверскому бульвару в сторону памятника Пушкину, он тогда еще стоял на бульваре. И вдруг читаю: «Литературный институт». Оградка симпатичная, памятник на пьедестале во дворе, кому — не знаю, липы, а в глубине —

дворянский дом в три этажа. И у входа в него толпится молодой народ, есть там и в гимнастерках, курят, разговаривают. Любопытно мне стало. Зашел. Сигареты у меня были болгарские, к ним потянулись. Курим, разговариваем, одна девица, так скажем, эмансипированная, спрашивает: «А что вы творите?» Нда-а... Но понравилось мне, что много фронтовиков поступает на первый курс. И я подал заявление, тот самый рассказ и несколько глав чего-то обширного и бесформенного, что смело называл романом (через восемнадцать лет я напишу свой первый роман «Июль 41 года»). Фронтовиков в тот год принимали легко: что, мол, с них требовать, они свои экзамены сдавали на войне.

В дальнейшей жизни я несколько лет вел в Литературном институте семинар по мастерству, мне просто было это интересно: здесь когда-то я учился. Могу сказать, с таким рассказом, с такими главами я бы не взял к себе в семинар. Поступали люди, подававшие надежды, да что-то в дальнейшем из большинства из них ничего не вышло.

Так вот меня приняли. И вернулась прерванная войной юность: зачеты, экзамены, романы — не те, что пишут, а те, что в жизни. Стипендия на первом курсе была двести двадцать рублей. Не знаю, с чем это сопоставить ныне после всех деноминаций, девальваций, после того, как деньги столько раз обесценивались и до сих пор никак не наберут силу. Но тогда карточки хлебные и продуктовые значили больше, чем деньги. И еще важно было, к какому магазину ты прикреплен. Был даже анекдот: земля круглая, почему люди с нее не падают? Потому что каждый прикреплен к магазину.

Лето 47-го года было жарким, сидим мы в актовом зале без рубашек человек пять, ну, прямо как на картине Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану», общими силами одолеваем «Введение в языкознание». И входит Александр Александрович Реформатский, он у нас вел этот предмет: «Учите? Какие молодцы! Пошли бы лучше пива холодного выпили». Сам он это дело любил, иной раз даже нос припудривал. Но и нас уговаривать не надо. В конце Тверского бульвара окнами на Пушкинскую площадь стоял бар. Теперь весь этот квартал снесен, на месте его разбит сквер, гранитные ступени, гранитные полированные чаши для цветов. А тогда не было уютней места, чем этот бар на Пушкинской площади. Подавали в нем к пиву сосиски с тушеной капустой, не нынешние, а те, настоящие,

ткнешь в нее вилкой — брызжет сок. И — вобла. Побьешь, побьешь ее о край мраморной столешницы да и сдираешь шкуру с чешуей. А в брюшке — икра. И раки здесь бывали. В дни стипендий первым делом шли в этот бар. Еще и потому здесь все такое вкусное, что ведь голодные мы были. Так вот, Реформатский сказал, и мы устремились. И на экзамене у него все подряд получили тройки. Потом ходили пересдавать. Мне эта наука тяжело давалась. Вот Реформатский в своей работе «Введение в языкознание» цитирует Фортунатова: «Далее Фортунатов рассматривает взаимодействие разного типа знаков в языке, что перекликается с его учением о форме слова, с его пониманием значения: он говорит о таких “принадлежностях звуковой стороны языка, которые сознаются (в представлении знаков языка) как изменяющие значение тех знаков, с которыми соединяются, и потому, как образующие данные знаки из других знаков, являются, следовательно, сами известного рода знаками в языке, именно знаками и так называемыми формальными значениями; неформальные значения знаков языка в их отношении к формальным значениям языка называются материальными... или так же реальными”».

Выучить можно и это, память еще свежа: выучить, запомнить, сдать и забыть. А такие у них там шли ученые споры, такие разворачивались сражения, пока гром не грянул: в газете появилась вдруг заранее гениальная сталинская работа по языкознанию, он и тут лучше всех все знал. И смолкли дискуссии, определилось мгновенно, кому жить, и дышать, и гарцевать на коне, а кто — коню под копыта.

Стоим мы в тот день во дворе института, курум на перемене, идет наш Александр Александрович, порозовевший с утра, весь сияет — очки, глаза, — бородку мягкую поглаживает, водочкой от него на расстоянии попахивает: я сегодня за товарища Сталина сто грамм выпил! Он оказался в группе победителей, ему дышать дозволялось. А шепотом передавали тайное: автор гениального сталинского творения — академик такой-то (называли известную фамилию), он написал эту работу по языкознанию, которую Сталин увенчал своим именем. И можно было представить себе, как затаился в страхе бедный академик: да если до высочайших ушей дойдет этот слух, его же в лагерную пыль сотрут.

Легче всего было сдавать экзамены профессору Шамбинаго, он читал у нас древнерусскую литературу. Все знали свод правил: говорить надо не «былины», а «старыны», говорить «только

не к Пересмяте», но самое главное на экзамене — вовремя его отвлечь. Приходил он в прорезиненном, засаленном по воротнику плаще. Надо думать, зимой он не плащ носил, но помнится он мне именно таким: сидит в плаще, поставив суковатую палку между колен, читает лекцию да вдруг спросит, обведя глазами аудиторию: «Голубки, а в каком я институте?» Он и в университете, и в педагогическом институте читал, а свою докторскую диссертацию он защитил еще в одна тысяча девятьсот пятом году. Когда в наше время зачем-то потребовалось подтвердить это документально, оказалось, и документов не уцелело после всех революций и потрясений, и живых свидетелей отыскать не просто, и платили ему как обычному преподавателю. И так же, как мы, студенты, был он прикреплен к столовой Дома литераторов, где обедали по карточкам. Он брал к этому сиротскому обеду стопку водки по коммерческой цене, и однажды обнаружилось, что ему слишком уж явно недоливают, он огорчился, как дитя, будто впервые осознал, что и на это человечество способно.

Помню, пришли мы вчетвером к нему домой сдавать экзамен. Он стар, одинок, вещи в доме стары, на книжных полках и в шкафах — старинные издания, полные собрания сочинений Тредьяковского, Сумарокова. Из Тредьяковского сразу приходит на память:

Стоит древесна,
К стене примкнута,
Звучит прелестно,
Быв пальцем ткнута.

Шамбинаго диктует вопросы, записываем, начинаем отвечать, и тут, заранее зная его реакцию, один из нас спрашивает наивно: а чей перевод «Слова о полку Игореве» лучший? Мой! А вот Югов пишет, что лучший перевод — его. Югов — дурак! И он начинает говорить о «Слове», и мы выслушиваем лекцию, да какую лекцию! И забыв, что говорил он, а не мы, он остается вполне доволен нами: давайте ваши зачетки.

На экзаменах у нас принцип был один: не важно знать, а важно сдать. Философию мы сдаем по Краткому философскому словарю, большего от нас и не требовалось, а в дальнейшем каждый все добирал сам. Но на зубок полагалось знать партийную библию «Историю ВКП(б)», все партийные съезды напере-

чет, все победы над антипартийными блоками и уклонистами: «били налево, били направо, шли прямо...» Не только мы или, скажем, физики, математики, но и будущие балерины обязаны были заучить это и помнить, хоть ночью разбуди: как же она будет вращаться на носочке без марксистско-ленинской подготовки? А преподавали все это старый большевик Ветошкин, сказать о нем нечего, еще — Шестаков, тоже светлой памяти о себе не оставил, и хорошая толстая пожилая тетка Солзирн. Ей бы, если — по душе, сидеть дома да вязать на спицах шерстяные варежки, свитера, как чудно вяжут у них в Прибалтике, но нет, жизнь распорядилась иначе: она читала нам лекции и не раз говорила, что у нее уже готова кандидатская диссертация, оставалось только «випитить главную идею и пронизать красной нитью...»

Известный ныне критик и литературовед Бенедикт Сарнов, а в то время — мальчик, поступивший в институт прямо после школы, таких только двое было на нашем курсе, вышел из библиотеки, неся многие тома «классиков марксизма-ленинизма», и сказал, что вот, мол, они столько понаписали, а ему — учить... Это было тут же донесено, его исключили из комсомола и следом — из института. Двоих стукачей на нашем курсе мы знали. Оба они писали стихи, у одного мать работала в поликлинике НКВД, не исключено, что через нее и был он заарканен. В дальнейшем ничего из него не вышло, пил, возможно, совесть свою заливал вином. Другой, в прошлом кремлевский охранник, никаких мук совести не ведал, вместо совести там был залит железобетон. Но полагать, что на курсе, где училось двадцать человек, всего два осведомителя, это, конечно, слишком наивно по тем временам. Были, кроме того, и добровольные доносчики. Случилось так, что по дороге в институт я забыл бросить письмо в почтовый ящик. Спихнулся уже в институте. Как раз в этот день секретарь отправляла почту, я попросил заодно отправить и мой конверт. Но путь его оказался долог. Будущая детская писательница, воспитатель детских душ, Перфильева заинтересовалась моим письмом, вскрыла конверт, прочла греховные мои мысли. А писал я приятелю о том, что ни я, ни кто-либо из моих однокашников писателем, конечно, не станет, писатель — это нечто высшее. И пошел ректору института гневный донос: вот, мол, какие люди учатся в нашем Литературном институте, возмущалась Перфильева, вот кто зря занимает здесь место. Прожив жизнь, я и теперь не понимаю,

не могу понять, что движет такими людьми, что толкает их под руку? Ректором института в ту пору был Федор Гладков, он терпеть не мог, когда студенты величали себя: я — поэт, я — драматург... И донос не возымел действия.

Вообще Гладков имел виды на наш курс: фронтовики. И на отчетно-выборном партийном собрании он подходил к каждому из нас, дышал в ухо: надо избрать в партком представителя райкома. И указывал в президиум. Там уже сидела, привезена была на трон мужеподобная баба. И вот она станет секретарем парткома института. Нам это не понравилось, жив еще был в нас вольный дух. Мы не избрали в партком ни ее, ни его. Ректор — не член парткома, такого быть не могло. И Гладков подал в отставку. Шофер передавал его слова: «Вместо адреса студенты поднесли мне пощечину...»

Но самой колоритной фигурой в институте был заведующий военной кафедрой полковник Львов-Иванов. Партизанский командир времен гражданской войны, он сохранился в первобытном состоянии, был простодушен на удивление, а когда выступал на собраниях, радовал всех. Он говорил: «Захожу в мужскую уборную, на стене — хэ, у и другие буквы...» И недоумевал: почему смеются? Он говорил: «Захожу в мужское общежитие, сидит Мандель без штанов. Захожу в женское общежитие — та же картина...» И опять — общее веселье.

Лекции, собрания, отметки — все это в нашем институте было не главным. Главное — так называемый творческий семинар. На нем и определялось, кто ты и что ты. После первого курса отчислили из института демобилизованного майора, сильно искалеченного, он хромал, весь перегибаясь. Был он в семинаре поэтов. Год прошел, а он что-то ничего представить не может, ни одного стихотворения. И тут выяснилось, что поступал он в институт со стихами Тютчева, подал как свои. Не заметили. Приняли.

На втором курсе я попал в семинар Константина Георгиевича Паустовского. Я не был его любимым учеником, хотя, по всей видимости, отзывался он обо мне неплохо, уже со второго полугодия я получал творческую стипендию имени Алексея Толстого: четыреста восемьдесят рублей. А тут слово руководителя семинара было решающим. Он был удивительный рассказчик, увлечется и рассказывает, рассказывает, да так зримо, точно, еще и пальцами вылепляет в воздухе. Не беда, что он уже рассказывал нам, как путешествовал по Кавказу, попал к сванам, заново он

рассказывает еще лучше, не повторяясь. Возможно, и присочинит что-то, скорей всего — присочинял, но это было прекрасно. Мне нравился его рассказ «Телеграмма», а еще ярче он написал о том, как писал рассказ «Телеграмма».

У меня Константин Георгиевич определил сильное влияние Бунина. Я не возражал, мне стыдно было признаться, что Бунин тогда, в 47-м году, я еще не читал. До войны ни у нас дома, ни у знакомых книг Бунина не было. Теперь я старался наверстывать, но много надо было наверстать. Для меня в семинаре Паустовского самым ценным была атмосфера порядочности, а уже начинало сгущаться в воздухе, люди подлели на глазах, и эталоном в литературе был не Бунин, а Бабаевский, его роман «Кавалер Золотой Звезды», удостоенный Сталинской премии I степени. Такая премия, такое официальное признание сразу переводили человека в разряд неприкасаемых, избранных, все мыслимые блага жизни обрушивались на него. И Бабаевский делился опытом на страницах «Литературной газеты»: никак, мол, не поспеваю за жизнью, только написал в романе, как они построили электростанцию, а жизнь опять опередила меня, в колхозе уже — глядь — кирпичный коровник стоит. В следующем романе, где и коровник был отражен, кавалер Золотой Звезды, главный герой длившейся эпопеи, смотрит в областном театре пьесу, про кого б вы думали? Про себя. Пьеса так и называется: «Кавалер Золотой Звезды». Был, правда, в прошлом пример: Клим Самгин смотрит пьесу «На дне». Но пьеса «На дне» была действительно знаком времени, и все же лучше бы Горький отправил его смотреть какой-либо другой спектакль, дурные примеры заразительны.

Уже в брежневские времена принес Бабаевский в журнал «Октябрь» повесть, и редактор, который работал с ним, потерял три страницы текста: возможно, упали со стола и с ненужными бумагами были выброшены. И никто, ни корректор, ни редактор, ни ответственный секретарь, который вычитывал верстку, никто не заметил потери. Все сошлось. Заметил автор. Но не по тексту, хотя он тоже читал верстку, а по расчетам: он заранее точно подсчитал будущий гонорар, а заплатили чуть меньше. Тут-то и выяснилось: трех страниц не хватает.

Атмосфера порядочности, чистого русского языка — вот что было главным в семинаре Паустовского. И это влекло. А вели в то время семинары в институте и Константин Федин, велико-

лепный барственный артист, и Леонид Леонов, без пяти минут классик.

Внешне Константин Георгиевич казался человеком мягким. Но помню, с какой личной болью, прямо-таки убийственно, сказал он одному из студентов: «Как можно в стране, где писали Гоголь, Чехов, писать таким канцелярским языком?..» Я уважал Паустовского, но учился я не у него, богом моим был Лев Толстой. Много лет спустя, когда мы с женой ждали дочку, я принес ей том Паустовского из его шеститомного собрания сочинений, и соседка по палате, увидев, пришла в восторг: «Паустовский! Какая прелесть! Дадите почитать? Я недавно читала это, ничего не помню. С удовольствием прочту еще раз».

Но все это — позднейшее. А пока... Есть вещи, которые запоминаются на всю жизнь. В декабре 45-го, демобилизовавшись, я возвращался домой из Болгарии. По всей России лежали снега. И вот мелькнуло: сгоревшая деревня, засыпанная снегом, печные трубы, а день солнечный, морозный. И полное безлюдье. Только двое детей, мальчик и девочка, закутанные, завязанные во что было, двуручной пилой перепиливают бревно. Мелькнуло в окне, исчезло и осталось в памяти. Нам, вернувшимся с войны живыми, многие годы предстояло жить памятью о тех, кто остался там навечно. Они как бы оставили нам завет, давали смысл жизни и силы, и все познавалось в сравнении. И беды, и трудности переживали не так, как переживают их в мирное благополучное время. Да оно еще и не настало, мирное время, мы жили в послевоенное время, которое все больше становилось предвоенным.

В 47-м году демобилизовался мой дядя, майор медицинской службы, вместе с тетей они вернулись из Германии, и вот мы четверо — в шестиметровой комнате. По одной стене, головой к тому углу, который зимой промерззал насквозь, — полуторная кровать, на этой кровати они спали, по другой стене (да не стена, тонкая перегородка, отделявшая комнату от общей кухни) — топчан, односпальный матрас на ножках, на нем спала сестра, у окна, загораживая его наполовину, потому что дом врос в землю, — кухонный стол, у двери — плита с двумя конфорками, на ней готовили, и занимала она не меньше метра площади. В узком проходе между кроватями — люк погреба, мы вырыли его под полом, туда на зиму ссыпали картошку. Вареная картошка с кислой капустой, с луком, с постным маслом — казалось, лучше этого нет ничего и быть не может.

И вот когда все укладывались на ночь, я клал фанерную ставню поперек комнаты над люком: одним краем — на плиту, другим — на кровать, и дядя и тетя спали, поджав ноги. Плита была выше кровати, ставня лежала наклонно, случалось, среди ночи я сползал к ним вместе с тюфяком и вновь взбирался. А они были еще не старые люди: тете не было пятидесяти, дяде — едва за пятьдесят. Как они терпели меня? И это — после особняка, в котором они жили в Германии, после всех удобств...

Об общежитии я мечтал, но не давали мне там койки, считалось, я — москвич. Весь институт и его общежитие, да еще и Литфонд, и портняжная мастерская Литфонда — все это помещалось тогда, теснилось в бывшем Доме Герцена. Так что вроде бы и требовать совестно. Но, как говорится, подошла вода под горло, и нашлось место, я переехал в общежитие. Там, к вечеру следующего дня, разыскала меня моя тетка Берта Григорьевна, принесла завернутую в газету литровую стеклянную банку: картошка с капустой, с луком, с постным маслом. Она еще и виноватой себя чувствовала, что мне пришлось уйти.

К началу второго курса всех поразил Владимир Тендряков: в институтской стенгазете сообщалось, что за лето он написал двадцать две главы. На него ходили смотреть. Мы с ним — одноклассники, и оба были ранены в левую руку. Только у меня два пальца не разгибались, а у него — четыре. После ранения он демобилизовался в 42-м году. Оба мы ходили в сапогах, гимнастерках, в галифе. Но у него галифе, чтоб не протирались, были подшиты кожей сзади и изнутри. Кожей от портфеля.

В общежитии хорошо было то, что вечерами можно было писать в пустой аудитории. Тендряков добывал ключ от кабинета завуча, запирался, писал там допоздна, случалось, там же и спал на золотистом плюшевом диванчике. Однажды, придя на работу, завуч застал его спящим. Дружил Тендряков с Солоухиным. Оба — Владимиры, оба — светловолосые, оба — из деревни, чем не друзья. Но были они совершенно разные люди, это станет ясно не сразу. Солоухин всю войну охранял Кремль. Он сам рассказывал, что те, кто с ним вместе призывались и проходили медкомиссию, были отправлены на фронт, большинство из них погибло, но он будто бы на медкомиссии прочел стихи, и это явилось решающим: его оставили охранять Кремль. Возможно — так, возможно; не последнюю роль сыграл тут

дядя, который уже служил в охранниках. Рассказывал Солоухин, что самим Черчиллем был отмечен: сойдя с трапа самолета, Черчилль обходил почетный караул, вглядывался в лица и остановился, пораженный зверовидной физиономией солдата.

Дружба, как известно, сродни любви и так же слепа. Тендряков, выгораживая товарища, рассказывал со слов опять же Солоухина, что их, кремлевских охранников, специально отправляли в командировку на фронт: убить одного немца. И сам в это верил и обижался, когда фронтовики смеялись: что, мол, им немца на веревке приводили убивать?

Раньше всех нас Тендряков стал хорошо известен, он написал повесть «Падение Ивана Чупрова», это было в дни хрущевской оттепели, повесть стала событием, о ней много писали, и, кстати говоря, одну из первых рецензий написал Чаковский. Была в ней такая фраза: «Автор не все мысли выписывает на фасаде здания». А Солоухин в это время еще только ездил в командировки от журнала «Огонек» (редактором которого был Софронов), писал стандартные очерки. Такими же примерно литподделками пробавлялся еще один наш однокурсник, фамилию его упоминать не будем, а вот частушка, сочиненная про него, тут вполне к месту: «Эх, товарищков, / Что ты сделал для веков? / Ничего векам не сделал, / Прославлял большевиков».

И Солоухин, и Тендряков после института стояли на партийном учете в парторганизации «Огонька». И вот — партийное собрание. Они сидят рядом, два друга, близится Новый год, они договариваются вместе встречать его. А одно из дел, которые должны разбирать на собрании, — письмо бывшей жены Тендрякова, с которой он разошелся. Обычно такие дела разбирали неохотно: разбитого не склеишь, любить не заставишь. В этом духе и выступали, больше для проформы. И вдруг подымается Солоухин, а сидел он, повторяю, рядом с Тендряковым, подымается и, окая сильней обычного (в определенные политические моменты, например во время «космополитов», с ним это уже случилось), говорит, что он не согласен с выступавшими товарищами, что это дело серьезное, аморальное и он, Солоухин, требует строгого партийного взыскания. Пораженные, перетрусившие «выступавшие товарищи» срочно начинают выступать заново, каются, что подошли либерально, что им надо учиться принципиальности у молодого коммуниста Солоухина. Это — дословно.

Разумеется, все они понимали, что о принципиальности тут

и речи нет: успеха своего одноклассника не смог пережить «молодой коммунист», в ложке воды попытался утопить. Но какое же партийное собрание без фарисейства, без фальши и лжи? В дальнейшем Солоухин будет расходиться со своей женой Розой, но крепче брачных уз окажутся цепи золотые, связавшие их: иконы не смогли разделить, которые он добывал в заброшенных церквях, за бесценок скупал у старух по деревням, на чем и составил себе состояние.

Году в 90-м, когда я редактировал журнал «Знамя», была у меня встреча с читателями в Доме медработников, и вот записка, которую я получил: «Уважаемый Григорий Яковлевич! Огромное спасибо Вам за публикацию рассказа Тендрякова «Охота». Я не люблю слова «преклоняться», но перед Тендряковым я преклонялась и при его жизни. А прочитав рассказ у Вас в 9-м номере, я хочу сходить к нему на могилу, положить цветы. К стыду своему, точно не знаю, на каком он кладбище похоронен. Скажите, на каком кладбище он похоронен. По-крас В.В. Инженер».

На нашем курсе из двадцати человек пятеро были из стран, как тогда называлось, народной демократии. Название вполне бессмысленное, поскольку *demos* — народ, *kratos* — власть. Народного народовластия? Посылали их в Советский Союз как в кузницу кадров, и многие из них в своей стране занимали в дальнейшем большие посты. Георгий Джагаров, далеко не безталантный человек, руководил Союзом болгарских писателей, потом в государственных структурах поднялся высоко. Как-то приехал я в Софию. Лето. Жара. Стою на балконе. В левом крыле гостиницы не селили приезжих, там — особая партийная гостиница для соответствующих партийных и государственных чинов, особый ресторан внизу: все точно, как у нас в то время. Вижу с балкона: выходит оттуда Джагаров. Машина его, большая черная машина, метрах в двадцати, но он не пошел к ней, машина задом двинулась к нему. Он стоит в синем шерстяном костюме, пообедавший, солнце жжет. «Оште малку, оште малку...» Передняя дверца поравнялась с ним, распахнулась изнутри, он сел. А еще есть у меня фотография: дворцовый зал, красный гигантский ковер под ногами, выстроившиеся на отдалении делегации, Георгий Джагаров от микрофона обращается к нам ко всем с приветственной речью. Потом мы с ним шли, разговаривали, но у выхода из дворца — охрана. И в ее присутствии он перешел на болгарский язык: должность обязывала.

Учились на нашем курсе два албанца: Лазар Силичи и Фатмир Гьята. Их встретил я в 64-м году, когда отмечали двадцатилетие Словацкого восстания. Мы шли по улице: Эренбург, Полевой и я. Увидев нас, они перешли на другую сторону: мы для них были — ревизионисты. Сталин умер, но в Албании царствовало маленькое его подобие: Энвер Ходжа.

Трагично сложилась в дальнейшем судьба северокорейского студента Се Манира. Он учился на курсе младше меня, и такой он был благополучный. Невысокого роста, полный, лицо как круглая луна. В комнате общежития, где было нас человек пять, мы старались не смотреть, как он завтракал: полкастрюльки белого риса, в пальцах — розовая вареная колбаса, ею он закусывал рис, ее чесночный запах мы вдыхали. «Пойдем к бабушкам», — бывало, просил он, выпивши. То есть — к бабам. На одном курсе с ним училась Леля Берман, в прошлом — дочь богатых еврейских родителей в Литве. Потом пришли немцы. Гетто. «Я курила махорку, чтоб не слышать, как от меня воняет», — рассказывала она. Ей удалось бежать из гетто, она была партизанской связной, несколько человек вывела из гетто в партизанский отряд. Литва и Северная Корея, два конца света, два разных мира. Тем не менее Леля и Се Манир поженились, уехали в Пхеньян. Лет десять — двенадцать ничего о них не было слышно. Вдруг Леля звонит по телефону, пришла к нам домой. Она собирала теплые вещи, рассказывала, что зимой в Пхеньяне люди ходят в калошах, рассказывала, какой там голод: царствовал там другой наследник Сталина, «великий вождь» Ким Ир Сен. Только тем и жива была их семья, что Леле, советской гражданке, полагался паек.

Минула вечность, и вот недавно, в 96-м году, я получил от Лели письмо: «Почти полвека прошло с тех пор, как между нами оборвалась связь. Тогда перестала тебе писать из Кореи — было не до этого. Манира отправили в ссылку, где он в качестве лесоруба проходил идеологическую закалку («культурная революция»). Через год он вернулся в Пхеньян, но тут между Ким Ир Сеном и Никитой Сергеевичем разгорелась ссора, и «ревизиониста» Манира вновь отправили перезакаляться. На сей раз я поехала с ним вместе. После двухгодичной ссылки была вынуждена оставить Манира. Надеюсь, что, освободив его от себя, «советской заразы», облегчу его участь. Моя надежда оказалась напрасной. Вскоре после моего отъезда Манира вызвали в Пхеньян, в ЦК партии. Перед отъездом он зашел к соседке,

сия, сообщил: его вызывают в центр для реабилитации. Однако в поезде Вонсан — Пхеньян его арестовали, ну а что было дальше, ты, вероятно, догадываешься, как и я.

Вернулась на родину с пятилетним сыном. Не хотелось возвращаться в Литву, казалось, замыкается круг. Поселилась в Риге. А когда рухнул Советский Союз, то судьба швырнула меня на сей раз уже на третий край света, в Израиль, страну чужую и органически мне чуждую».

Пишу сейчас об этом словно из другого мира. А ведь это была наша жизнь. В смерти своей мы еще хоть как-то были вольны. Но жизнь наша, судьба каждого из нас не принадлежала нам. Ею распоряжались свыше, любое ничтожество, надежденное властью, могло распорядиться и жизнью твоей и судьбой. А сколько их повывезло из всех щелей, где они переживали войну вдаль от фронта. Самой надежной опорой власти и престола становились людские пороки. И как далекий светлый день вспоминался уже тот день в Австрии, когда телефонист, хмельной от радости, прокричал нам по телефону, на наш наблюдательный пункт: «Побе-еда!» Какие вольные мы были тогда, какие счастливые!

Сергей Залыгин рассказывал мне, как ехал он после войны в поезде, и в одном купе с ним ехали офицеры-фронтовики. Он слушал вольные их разговоры. Человек, всю войну проведенный в глубоком тылу, он понимал то, чего они не понимали: они обречены, недолго им суждено побыть на свободе. Слушал и молчал. А это ехали те, кто родину спас. И родина приготовила для них место: в лагерях. Примерно то же происходило и в Литературном институте, здесь многое было даже очевидней. Победители, мы постепенно становились побежденными. И гуще, все гуще становился государственный антисемитизм. Преподавателя Литинститута Левина, члена партии, вызвали в райком: почему вы, Левин, преподаете русский язык? Слово «еврей», как нечто постыдное, не употреблялось, в официальной фразеологии его заменяли слова: «космополиты», «сионисты». Их выискивали повсюду, выискивали и изгоняли: кадры «засорены».

Когда вокруг тебя стучается, а ты ничего не можешь изменить, остается спасительное: не верить, не сознать. Не может этого быть! Так в фашистских лагерях смерти люди шли в газовые камеры, до последнего момента не веря в то, что с ними сейчас произойдет.

Но терпишь, терпишь, а когда-то и прорвется. И прорвалось.

Дважды меня исключали из партии. А вступил я в партию на Северо-Западном фронте в 42-м году восемнадцати лет от роду. По этому поводу было сказано: принимаем его прямо из пионеров. Через много лет после войны пошел анекдот: «Если убьют, прошу считать меня коммунистом, а нет — так нет...» Но в ту пору мы веровали, и не только по наущению комиссаров, которым был разверстан план, а от души нередко писали в окопе: «Прошу считать меня...» И с этим шли в бой. Так надевают перед боем чистую нательную рубашку, она останется на тебе, даже когда пойдут похоронные команды, снимая обмундирование с убитых, чтобы, отмытое от крови, подштопанное, оно вновь на ком-то пошло в бой. Потребность веры, радость самоотречения, готовность жертвовать собой — это заложено в человеке. Ницше писал: «“Верующий” не принадлежит самому себе, он может быть только средством». Ницше писал: «Любая вера есть самоотрицание, самоотчуждение. «Верующий» не свободен иметь суждение о том, что «истинно» и что «неистинно» — суждения и оправдания на этот счет повлекли бы за собой его немедленную гибель». Все — так. Все вроде бы — так. Но в истории человечества выживали и выжили те народы, у которых индивид готов был пожертвовать и жертвовал собой ради вида. И исчезли с лица земли народы, где эта готовность угасла. В 42-м году немецкие армии стояли под Сталинградом, коммунистов в плен не брали, вступая в партию, каждый знал это.

Помню, везли нас из штаба на грузовике, мы тесно набились в кузов. Ветер встречный, машина скакала по выбоинам, за гулом мотора не слышен был полет снаряда, только вздымался разрыв то в поле, то впереди, а мы пели-орали, взбодренные близкой опасностью, причастившиеся.

Через три года наш полк возвращался из Австрии. Это был другой полк и другой фронт: Третий Украинский. Война кончилась, мы возвращались домой, в Россию, так нам сказали и так мы думали. Дома голодно, это было известно. И мы везли с собой что могли: была мука, сало, бочка вина, спирт в канистрах — имущество взвода. На одной из остановок, а мы подолгу стояли то в чистом поле, то на запасных путях (не на фронт идут эшелоны, с фронта), подошел к нашей теллушке кто-то из офицеров:

— Слушай, у тебя, говорят, спирт есть?

— Есть.

— Бери, идем к нам.

Был я после болезни, врач полка определил воспаление легких. Определил правильно, а лечить все равно нечем. Правда, сестры, когда я выписывался из госпиталя в Днепропетровске, дали по дружбе мне в дорогу сульфидин, который в ту пору был на вес золота. Но в Венгрии поздней осенью 44-го года, когда началось наше наступление и стояли мы с командиром второй батареи на наблюдательном пункте, смотрели, как после артподготовки пошли танки в атаку, пехота бежит за ними по грязи, по развороченному полю, спросил меня комбат-2, не отрывая бинокля от глаз: «Ребята говорят, ты сульфидин привез из госпиталя?» Мы ждали, не заговорят ли немецкие батареи, которые мы только что подавляли. «Привез». — «Дашь?» — «А что стряслось?» — «Да партизанка эта... югославская... Помнишь, в эшелон взяли? Наградила меня...» И смотрит не в глаза, смотрит в бинокль, не отрывает от глаз.

Партизанку я запомнил, хороша была, видел я, как она картинно прощалась с матерью на перроне, потом впрыгнула к нам в эшелон. Были у нас на платформах пушки и тягачи, переделанные из американских легких танков, очень удобные на походе, крытые брезентом, а внутри — сиденья, как лавки, широкие. Вот туда, под брезентовый кров, и взял ее комбат. Красивый он был парень, рослый, виски вьющиеся, кожа лица белая, нежная, раздражалась при бритье. Здесь же, на наблюдательном пункте, проще сказать — в окопе, который был нам обоим по грудь, отдал я ему сульфидин: из полевой сумки — в полевую сумку. Но воспользоваться лекарством ему не пришлось: в тот же день его убило осколком снаряда.

И вот когда прихватило меня воспаление, вспомнил я тот сульфидин. Не то чтобы пожалел, но вспомнил поневоле. А вымотало меня сильно, только что ветром не шатало. Но как отказаться, если зовут? Дело мужское. В артиллерии не зря говорилось: артиллерист должен быть гладко выбрит и слегка пьян.

Пошли. У них уже шумно. Двери теплушки откатили, солнце с поля светит яркое. А посреди вагона — столик красного дерева, ножки изогнутые, бронзовые лапы уперлись в пол дощатый, вагонный, дочерна истоптанный шипами лошадиных подков, сапогами, солдатскими ботинками. И такие все brave сидят: гимнастерки, ордена, ремни. Мне, чтоб догонял, с ходу

налили штрафную: толстого стекла граненый бокал граммов на триста. И опять нельзя себя уронить, выпил не дыша, запил водой. Если, не вдохнув, запить водою, спирт не обжигает, чуть только подсушит в горле. Не успел я еще заесть, колбасы сухой пожевать, идет, как на грех, дежурный по эшелону. Остановился на насыпи снаружи, погоны майорские на плечах его чуть выше пола вагонного, он их недавно получил, не налюбуется на них.

— Празднуете?.. Хор-рошее дело...

Это наш командир дивизиона дежурил, мы его не любили. Не умен был, но властен, как водится в таких случаях. И покрасоваться любил, сам роста малого, но выше всех себя нес.

— Выпиваете, значит... — И подержал, подержал всех под взглядом строгим, как под прицелом. — А кто догадается мне налить?

Налили. Чтоб не задерживался, компании не портил. А заодно и всем налили по кругу. У меня еще от первого бокала, как говорится, до бровей не дошло, а тут — второй следом. И больше я уже ничего не видел и не помнил.

Рассказывали потом, как нагрянул командир полка полковник Камардин. Был он скор на расправу, на фронте ему многое пришлось за смелость, но война кончилась, а он и тут, не долго думая, решил кулаком убеждать. И видели из вагонов, как вслед за командиром полка бежал командир пятой батареи и стрелял из пистолета. Но нетвердая пьяная рука, а еще и дождь хлынул стеной, это и спасло командира полка и нас с ним вместе.

В дожде разведчик моего взвода, молодой могучий парень, прозванный Макарушкой, увел меня к нам в вагон. И спал я сном праведника, пока стучали, стучали под полом колеса. А поезд мчался, оглашая окрестности. Проснулся — голова ясная: после чистого спирта голова не болит. Только сохлось все внутри. Выпил воды, и опять хорошо.

На остановке иду вдоль эшелона, мимо товарных, мимо штабного вагона. Командир полка завтракает в своем окружении, окликнул:

— Ну как, голова не болит?

— Никак нет, товарищ полковник!

И сам себе кажусь бравым. Мне и в его голосе почудилось одобрение, вроде бы он глядит на меня по-отцовски, любитесь... Стукнет же такая дурь в голову.

— Ну-ну...

И шире рта его широкая улыбка растянулась плотоядная, я и ее принял за поощрение, «пощеряет», как говорил наш старшина.

Завтракал он долго, не спешил: на дело собирался. А потом срочно всех нас, соучастников, призвали в штабной вагон, там уже и командование, и политотдел, как трибунал, в полном составе ждут нас.

— Ня надо нам таких членов партии! — грохнул Камардин кулаком по столу подоконному и тем определил повестку заседания. В прошлом — горняк, с грамотешкой у него было неважно, однако воевал, повторяю, хорошо. А поезд мчит, мчит нас на родину, стучат-спешат колеса, потряхивает всех вместе, и подсудимых, и судей. Кто посмеет возразить командиру полка, когда выше него один лишь господь бог, да и того отменили.

У нашего комиссара дивизиона, верней сказать, замполита, лицо честного пожилого путиловского рабочего, такими с детства привыкли мы видеть их на экране. И будто даже с тех самых предреволюционных пор копоть с лица не смыта, оттого глаза такие просветленно-светлые под густыми темными бровями. Чистые глаза. А вот голоса его не помню, может, он за всю войну слова не сказал, только писал политдонесения про наше морально-политическое состояние: «Доношу до вашего сведения...»

Не знаю, что делали замполиты в пехоте, но в артиллерии надо было уметь грамотно стрелять. И вот пытаюсь вспомнить: хоть раз за войну видел я, чтобы замполит вел огонь, подавал команду батарее? Нет, не пришлось. Каждый из них, так сказать, обеспечивал наше морально-политическое состояние, или, как недавно прочел я в некрологе об одном в бозе почившем политработнике высокого ранга, «вел действенную политико-воспитательную работу с воинами, воодушевлял их на достижение победы над врагом».

Под стук колес вагонных наш комиссар с честным лицом экранного путиловского рабочего сидел и скорбно молчал. И когда оставалось только проголосовать единодушно и тем судьбу нашу решить, осмелился вдруг тихий Моисеенко. Был он то ли парторг, то ли еще кто-то в этой иерархии, лет ему было за сорок, старик по нашим тогдашним понятиям. И в чем-то был он не такой, как все, это чувствовалось. Помню ясно свое впечатление: из уцелевших. А от чего уцелел, от какой грозы, не вдумывался. Наверное, это и было охранное состояние: не вдумывался.

ваться. Незримый кто-то надзирал за твоей душой. Только в бою забывалось, а полностью делала свободным одна лишь смерть.

Был у нас в училище комиссар, подполковник Видеман. И вдруг узнаем: воевал в Испании. И какая же мысль самая первая, чему удивились? В Испании воевал и не арестован... А ведь мы, школьниками, рвались туда воевать с фашистами. И мы же удивляемся: не арестован. Значит, сознавали смутно, только мысль свою не отпускали на волю, так, наверное, еще можно было поладить со своей совестью.

Говорили про Моисеенко, что он женат. Но с женой почему-то не расписан. И еще некие странности числились за ним. Когда нормой, чуть ли не доблестью считается быть как все, проверенным, насквозь просвеченным, человек со своей, оберегаемой от чужих глаз жизнью, не похожий на других странен, любое подозрение липнет к нему. И вот он заступился за нас. И почему-то особенно за меня.

А я однажды поиздевался над ним вволю, молодость жестока. Было это во время Яско-Кишиневской операции, когда окруженные немецкие дивизии рвались из котла. И на пути такой сборной части — они напролом шли, в том было их спасение — оказалась наша батарея. Комбата незадолго перед тем увезли в госпиталь, я остался за него. Развернули мы орудия, снарядов, как всегда, мало. По краю балки залегли разведчики, связисты с автоматами, туда же и всех батарейных тыловиков погнал, они стекались к кухне, как вода в ложбину. И тут вдруг является Моисеенко. Без оружия. Растерян. К нам под защиту.

— Где ваш пистолет, товарищ старший лейтенант?

По должности, по званию он — старший, я всего-то командир взвода. Но вблизи опасности звончей становишься.

— Где ваше оружие?

При всей батарее, подпираемый общим сочувствием, я геройствовал за его счет. Возможно, был он не самый умелый, в бою не очень приспособлен. Он мог бы тихо умереть, не унижаясь. Но в двадцать лет я не способен был понимать это, другие качества ценились на фронте. И вот он заступился за нас, рассказал про тот бой. Среди властных, украшенных орденами людей, привыкших на войне распоряжаться многими жизнями, а уж одна чья-то судьба и не в счет, он единственный нашел в себе смелость сказать слово в защиту: как же так, мол, провоевали всю войну, а теперь, после войны, исключать из жизни?

— Ня надо нам таких! — в улыбке ощерился Камардин. Широкое его лицо стало красным, как сырое мясо, жаждал он смыть позор. — Мы их исключим, а заслужат — примем опять...

В тамбуре мы постояли, покурили, колеса отстукивали версты. Разрядка требовалась душе. Выкинул я окурок да и прыгнул за ним следом на ходу, благо поезд не так уж и быстро шел, пробежал по инерции за вагоном, валясь назад для упора; когда наша телушка поравнялась, бойцы за руки втащили меня.

Где-то в неведомых высших сферах — в политотделе бригады или дивизии — дали нам всем по выговору, и уже в Болгарии перед строем прочли, кому, за какие грехи и — сколько. И когда меня вызвали из строя и я отчеканил два шага и стал, каюсь, гордым себя чувствовал: чести не замарал, дело, мол, мужское, можно и пострадать.

Второй раз исключали меня из партии уже в институте, в самую глухую пору, до смерти Сталина оставалось недолго. Своей вины власть никогда не прощает народу, а мы, спасая родину, и власть сталинскую укрепили, и его самого спасли. И вот за весь срам, за то, что в 41-м он всех на край гибели поставил, нашли теперь виноватых: из немецких лагерей прямым ходом в наши каторжные лагеря гнали пленных наших солдат домучивать до смерти: почему, мол, в плен сдался, почему не покончил с собой? Мало им было миллионов погибших, надо, чтоб и эти костями легли, не зря же Сталин еще в ноябре 41-го года определил: у нас нет пленных, у нас есть предатели. И на полстраны черной тенью легло клеймо: кто в окружении был, кто сам или родственники его остались на оккупированной территории — так писалось в анкетах: «территория», — будто не своя, а завоеванная, чужая земля простиралась до самой до Москвы, до Волги. Все, все отныне были там под подозрением, как под прицелом. Врага разбили, он уже не угрожал, пришло время со своим народом расправляться по нашему обыкновению: бей своих, чтоб чужие боялись. Волнами покатила по стране разжигаемая ненависть: сживали со света генетиков, громили кибернетиков, в дикость откатывалась страна, чей авторитет после войны так высоко стоял в мире, боролись с низкопоклонством перед Западом, чтоб вовсе отгородить нас железным занавесом, били «космополитов», кампания, особенно любезная народу. И тот, кто с фронта возвращался победителем, дома, в своей стране, повторяю, становился побежденным.

Есть анекдот того времени: сидят на кухне два брата, выпива-

ют. Один из них во время войны был партизаном, другой — полицай. И спрашивает партизан бывшего полицая: «Отчего так все повернулось? Ты в почете у властей, я — под подозрением». — «А ты что пишешь в анкете? Ты пишешь: брат мой был полицаем. А я чист, я пишу: мой брат — партизан...» И в нашем Литературном институте любезными власти, любимыми ее сыновьями становились те, у кого брат — партизан.

Когда вся мощь государства с его карающей десницей стоит за спиной раба, его подпирает, он распоряжается твоей жизнью и смертью. И последним убежищем становится, повторяю, не замечать, не верить, не сознавать. Уже поговаривали, что в тайге на Сахалине срублены бараки, куда со всей страны будут выселять евреев, «спасая от народного гнева». Что не доделал Гитлер, доделает Сталин. Но — не может быть. Невозможно поверить, что мы четыре года воевали с фашизмом, а он нас дома ждал.

И прорвалось во мне. Бездарного критика с нашего курса Бушина, не самого главного в институтской кампании, но очень уж гаденького, должность его была — пару поддавать, теоретически обосновывать, я публично назвал фашистом; не зря назвал. Он еще и тем был мне противен, что на войне ошивался где-то при штабе армии, числился комсоргом; на фронте говорили: там не война, а мать родна. И точно в духе времени настрочил он заявление в партком: «В моем лице оскорбили бывшего комсорга...» Мол, я — ничто, но «в моем лице...» И завертелось дело.

Поначалу нашлось у меня много заступников: «Правильно назвал, мы, если потребуется, выйдем, скажем...» Но на партийном собрании, когда меня распинали, они сидели, опустив глаза, ни один не встал. И только полковник Львов-Иванов советовал мне заранее умудренно: «Ты покайся». — «Не в чем мне каяться». Но он чистосердечно хотел помочь: «А ты все равно покайся...»

Рассказывали, во время гражданской войны командовал он партизанским соединением в Сибири, чуть ли даже не дивизией, и партизаны его дрались «как львы». В память об этом он к своей фамилии «Иванов» присовокупил еще и «Львов». В институте его любили. Говорил он на собрании так: «Это было, когда мы боролись с этими... канцепа... канцепа... канцепалитами! Я тогда еще слова этого не знал». Он и правда многого не знал, не липла к нему зараза. Вот он от души советовал мне покаяться.

У этой казни не было даже фронтовой непосредственности: «Ня надо нам!..» Все делалось со сладострастием, со словоблудием и так, чтобы не тебя одного, а всех придавить страхом, сделать соучастниками, разъединить и замарать. Существовало несколько разработанных сценариев. Вот один из них, наиболее мягкий: человека обвиняют в том, что он у бога теленка украл. И так все это нелепо, так дико на первый взгляд, но люди уже начинают обходить его стороной, при встречах опускают взгляд. И оставленный наедине со своим страхом, он готовит речь, она не может не тронуть сердца, не потрясти. И произносит ее. Но зал глух, а у председательствующего на лице грустная улыбка сожаления: не хочет товарищ понять, сам усугубляет свою вину настолько, что ему невозможно уже помочь. Председательствующий встает: ну что ж, товарищи, не хочет Н. признать свои ошибки, не захотел разоружиться перед партией... И жалкий вскрик обвиняемого: так не было же, не было этого! Лицо председательствующего суровеет, поневоле он приходит к неизбежному выводу, что подобные действия не случайны, есть в них определенная диалектическая последовательность: вот видите, товарищи, Н. не только не признал своих ошибок, но продолжает упорствовать...

Но я все же не внял совету полковника Львова-Иванова: «Ты покайся...» И мука мученическая была на лицах моих товарищей, заступников моих, сидевших в первом ряду: уж тонул бы ты сразу, не терзал нашу совесть. Но был еще друг. Четыре года просидели мы рядом в аудитории. В институт вместе, из института — вместе. А сколько было выпито вместе. И думалось, и говорилось по душам. Он — парторг курса, по заведенному порядку он должен был написать мне характеристику. Он сказал, каменяя лицом: «Характеристику я тебе дать не могу». И я не обиделся, вот это через много лет было для меня самым необъяснимым. Я даже виноватым себя почувствовал, словно и его пытался утянуть за собой. А может, правда, гонимые не обидчивы?

По необъяснимым для меня причинам опять где-то в высших сферах исключение из партии заменили строгим выговором. Однако на работу после института не брали никуда. Я выписал адреса что-то около пятидесяти редакций, половину обошел и тут встречаю на улице моего однокашника, ныне уже покойного Бориса Бедного. Мог ли я в ту пору предполагать, что нам еще суждено будет жить в одном доме, в соседних подъездах, и од-

нажды, в поздних сумерках увижу из окна, как вынесли на носилках кого-то укрытого с головой простыней, высоко вздымался под простыней живот, носилки вдвинулись в задние распахнутые дверцы микроавтобуса цвета хаки, дверцы захлопнулись, автобус выехал со двора... Оказалось — и только часом позже я узнал об этом, — умер Борис Бедный, умер внезапно от сердечной недостаточности, его нашли около дверей с зажатым валидолом в руке: хотел кого-нибудь позвать на помощь и не успел.

А тогда он шел радостный по улице Горького, пыхал папирской. «Неужели ты не понимаешь, — сказал он, — что тебя нигде на работу не возьмут?» Я понимал, уже дозрел, но мне любопытно было видеть лица людей, которые сначала вроде бы приветствовали меня, давали анкету, потом, прочтя, отказывали. Мучительное занятие, а — интересно.

Стояли мы с ним как раз напротив пельменной, и он предложил: «Пойдем лучше пельменей поедим». И мы пошли. Вкусные были пельмени, с уксусом, только голодному они так вкусны. Он тоже не работал, и тоже ему негде было жить, но у него повесть уже напечатали, он на ноги встал. А на втором или на третьем курсе института, когда развернулась очередная эпопея, сажали лесополосы в степи и Сталин-отец наклонился над картой родины на плакате «И засуху победим!», послали нас троих — Тендрякова, Бедного и меня — в заволжские степи писать о готовящемся свершении, возглавил бригаду старый журналист Аграновский, отец Анатолия и Валерия Аграновских.

Под конец нашей командировки в городе Камышине, где когда-то Петр I съел арбуз и поразился, до чего же он сладок, а в дни нашего пребывания на рынке, в мясном ряду, висел портрет бородатого партизанского командира, писателя Вершигоры, а под ним — надпись: «Мясо руками не трогать!» — так вот в Камышине сотрудники местной газеты, в основном женщины, устроили нам проводы. Между прочим, они видели в окна редакции, как я на спине переносил Володю Тендрякова через улицу: уже развезло на солнце, текли снеговые ручьи, я был в сапогах, а его бурки, как говорится, просили каши; они видели это и смеялись от души. Когда выпили и разговорились, рассказали они, как во время войны выезжал здесь Шолохов на охоту, с огромной свитой, с ящиком водки. Рассказывали стыдась: не за себя, разумеется.

Книгу очерков мы написали, в Москве ее срочно сдавали в печать, но вдруг что-то застопорилось, редактор вызвал Бедно-

го, я пошел с ним. Редактор, если мерять мерками военного времени, был призывного возраста, однако не воевал. Он долго молча шелестел бумагами на столе, будто что-то отыскивал в них, и вдруг со сладостью в голосе, ласково так, вкрадчиво спросил Бориса Бедного: «Вы, оказывается, были в плену? А не полагалось сдаваться в плен...» И больно было видеть, как товарищ мой сник виновато и покорно. Нам поставили условие: книгу выпустят, но очерка Бедного в ней не должно быть. Для каждого из нас в ту пору книга эта была событием, и жаль нам было своих трудов. Но мы отказались. Так она и не вышла.

Поели мы с Бедным пельменей, и на этом колебания мои кончились, больше я по редакциям не ходил. И — к лучшему: сидел, писал, как-то перебивался, снимал углы. Однажды повезло: в четырехкомнатной квартире, где жила семья, в прошлом обеспеченная, но впадшая в нужду, удалось снять так называемую «комнату для домработницы», в ней помещался столик, стул и топчан.

А жизнь шла к рубежной черте. Последним делом жизни Сталина было «дело врачей». Словно бы наперетонки со смертью, которая уже дышала ему в затылок, спешил он совершить последнее злодейство. Начать — начал, завершить не успел. А планы были большие.

В этой снятой мною комнате услышал я по радио рано утром: Сталин умер. Я был один, в квартире еще спали, я стоял и плакал. Жена моя, будущая моя жена, с которой я еще и знаком не был, а поживи он еще, не встретился бы с нею, потому что путь мой лежал в те самые, на погибель поставленные бараки в тайге, вот она, единственная из учителей их школы, когда их всех собрали в актовом зале, и плач стоял, и стенания, и друг перед другом рыдали, — она стояла с сухими глазами, и даже ее ученицы волчатами смотрели на нее. А я плакал в то утро. О нем? Нет. Я уже избавился от иллюзий. Но что-то рухнуло в моей жизни. Или нервы сдали, долго они были напряжены.

В третий раз исключать меня из партии не пришлось, вышел сам: через сорок девять лет после того, как впервые на Северо-Западном фронте ощутил себя причастившимся. Это было в январе, когда наши танки штурмовали телецентр в Вильнюсе: прообраз грядущего путча. И хотя ничто уже не связывало меня с партией, все равно труден был для меня этот шаг, трудно от самого себя отступить. Притча об Иове — это и обо мне притча. Какие только испытания не насылал на Иова господь бог —

и дом рухнул, погребя десять его детей, и слуг перебили, и стада разграбили, — а он оставался стоек в своей вере... Вот и я с такой страстью и верой боролся за свое порабощение, с какой бороться надо только за свободу.

Есть вечные строки: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть! Но жаль того огня...» Да, жаль того огня.

На третьем курсе Литературного института послали меня в командировку в Чувашию написать очерк. Я съездил, написал: дождливый день, поля, мокрые стога в тумане, как на краю света, простые подробности человеческой жизни, но мыслям в очерке не было тесно. Впрочем, газете этого и не требовалось, любая мысль в те времена проходила сложный путь утверждений, согласований.

Очерк напечатали на первой полосе «Литературной газеты», я был приглашен к Симонову, главному редактору, меня ввели к нему в кабинет, я был поощрен и обласкан. И вновь командировка, на этот раз — в заволжские степи, вновь мой очерк на первой полосе. Мне было предложено, когда закончу институт, поехать собственным корреспондентом «Литературной газеты» на Куйбышевскую ГЭС, на «стройку коммунизма». Не знал я, что коммунизм там строят заключенные, рабы. Таким, наверное, и представлял себе коммунизм наш вождь и учитель, но до поры до времени объявлять об этом не решался. А после победы в войне созрел, пришло время бросить валять дурака, пора называть вещи своими именами: «стройки коммунизма». Не резало же нам слух ежедневно повторяемое по радио и в газетах: «На горизонте уже видны сияющие вершины коммунизма!» — хотя каждый школьник знает, что горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется по мере приближения к ней. Страну населяли не другие какие-то, ныне вымершие люди, а мы сами, но каждое его слово воспринималось как последнее откровение.

Помню, в Воронеже до войны большое смятение умов вызвали два свежих сталинских высказывания, напечатанные, кажется, в журнале «Большевик». Сталин сказал, что любит почитать и в день он прочитывает не менее пятисот страниц. Пятьсот страниц — мыслимое ли дело? Тем более что кроме чтения, надо полагать, есть у него еще какие-то дела... Но объяснение нашлось: у Горького зрение так было устроено, что взглядом он охватывал целую страницу, раз Горький мог, Сталин — тем более. А второе высказывание и мудрецов повергло в трепет и не-

доумение: Сталин произнес тост за здоровье Ленина. За здоровье покойника... Подумать, что спьяну, грузинского вина перекушавши, на это самый смелый ум не решался.

Итак, предложено было мне поехать на стройку собственным корреспондентом «Литературной газеты». А у меня в то время — ни семьи, ни жилья, я уж было размечтался, но как раз в это время я публично назвал Бушина фашистом, меня исключили из партии, потом все обошлось строгим выговором, но стало ясно, что теперь корреспондентом меня не пошлют.

«Литературная газета», весьма любимая в то время интеллигенцией, была особая газета: ей и только ей было высочайше позволено проявлять дозированные признаки свободомыслия, нести легкий налет оппозиционности: для заграницы, разумеется. Многие заграницы у нас всегда рабски почитались, что не мешало внутри страны вести борьбу с «низкопоклонством перед Западом». Учредив под строгим надзором единственную в стране, так сказать, оппозиционную газету, Сталин распорядился дать ей хороший буфет. И буфет в «Литературной газете» был хорош, могу свидетельствовать. А главным редактором назначили Симонова: его любил Сталин. Случалось и сек. Например, за повесть «Дым отечества», потом снова любил: у нас исстари за одного битого двух небитых дают. Да это ли битье по тем временам! Вернейший бессменный помощник Сталина Поскребышев, рассказывают, на коленях елозил по ковру, молил властелина вернуть жену из лагерей, имел такую слабость: любил ее. «Иды. Жена тебя дома ждет». Дверь открыла незнакомая женщина: «Я — ваша жена». И с ней, сотрудницей органов, жизнь прожил, детей нажил. Так ли, нет, не поручусь, но это было широко известно. В сравнении с этим битье, выпавшее Симонову, — отеческая ласка.

Илья Эренбург в дни 20-летия Словацкого восстания рассказывал мне в Праге, как после разгрома в печати повести «Дым отечества» поехал он к Симонову на дачу в Переделкино подбодрить его. Было лето. В шортах, загорелый, лежал Симонов в гамаке. «Жизнь кончена», — сказал он. После этого он написал «Русский вопрос». Мне запомнились эти, одна за другой без всякого выражения сказанные Эренбургом фразы: «Жизнь кончена, после этого он написал “Русский вопрос”». Пьеса «Русский вопрос» клеймила США и, разумеется, сразу пошла на многих сценах.

Но до поездки в Прагу, до этого разговора с Эренбургом надо было еще четырнадцать лет прожить, а тогда, в 51-м году,

я заканчивал институт, жить мне, как уже говорилось, было нелегко, никакая работа не светила, и я решился все же попытаться счастья, записался на прием к Симонову.

Сколько ему было тогда лет? Ранняя седина, ранняя известность, а известен он был смолоду, не только поэзия его, но и вторая его женитьба, жизнь с актрисой Серовой, в прошлом — женой погибшего летчика Серова, даже то обстоятельство, что ее, скажем так, поклонником был маршал Рокоссовский, — все это широко обсуждалось, создавало особый ореол. Обитал он в высших сферах, потому, наверно, казался мне немолодым. А было ему тогда тридцать шесть лет. Часов в двенадцать ночи он вышел из кабинета, сказал, что примет всех, а приема ждали еще несколько человек. И затрепыхалась надежда: видел же он меня, сказал — примет. В два часа ночи меня позвали в кабинет. Разговор был короткий. Не приглашая садиться, он зашел за свой редакторский стол, не спеша набил, раскурил трубку (вот эта пауза была для меня долгой), повеяло хорошим ароматным табаком.

— Мы пошлем вас на ст'ойку, а вы там комсо'га назовете фашистом...

Он не выговаривал звук «эр», но это не портило, а даже придавало его речи определенную индивидуальность, и говорил он в сталинской манере: пауза и — жест трубкой, опережающий слово.

Я молча выслушал его, вышел. Одного не мог понять: зачем он принял меня? Чтобы вот это сказать?

В третьем часу ночи шел я по Москве, униженный до крайности, и думать не думал, что все, происшедшее со мной, к лучшему. Никуда не надо было мне ехать «изучать жизнь», ни на какие стройки. Позади — вся война, все, что я должен был рассказать, все мои книги были во мне, только я еще об этом не догадывался. Не от себя, а в себя путь писателя, в нем самом все сокрыто, а жизнь у нас всюду интересная, не зря все чаще поминают не самое доброе китайское пожелание: жить тебе в интересное время...

Да и что бы я там увидел? Ни фашистские, ни наши лагеря я не прошел, бог миловал. А требовалось, о чем я и не догадывался, видя колонны эков, восхвалять свободный труд «строителей коммунизма». Вот это бы, наверно, переломало мне жизнь.

И по-другому посмотреть: поехал бы, и, возможно, была бы у меня другая семья, какие-то другие дети, внуки... Нет, я бла-

годарен Симонову, я действительно благодарен ему, хотя вроде бы и благодарить его не за что. «Входите тесными вратами» — вот принцип жизни, великая мудрость в нем заключена.

Прошли годы, и жизнь не то чтобы сблизила нас, но мы как бы оказались по одну сторону незримой баррикады. Нужно было, например, перед Фурцевой, перед министром культуры, защищать спектакль в Театре на Таганке — зовут и его, и меня. И много было таких случаев. Да к тому же и за городом мы оказались в одном поселке, свою переделкинскую дачу он продал.

Думаю, лучшее, что написано им о войне, это его фронтовые дневники. Но и там — корреспондентская, генеральская война. Вот пишет он о боях под Могилевом, где героически сражался полк Кутепова (а Кутепов — прообраз Серпилина, героя его военных романов, начиная с «Живых и мертвых»), пишет, что, по-видимому, все они там погибли. Следующий же отрывок в дневнике начинается со слов, что он, Симонов, хорошо выпавшись и позавтракав, отправился... Этой разницы судеб не он один не чувствовал, не понимал.

В послевоенной мирной жизни он словно бы еще не пришел с войны. В кабинете его, на даче, в просторном, богатом кабинете, потолок был из бревен, но хорошо обработанных, подчерненных и покрытых лаком бревен. И под этим «накатом», как в землянке, диктовал он свои книги, потом это перепечатывалось с диктофона, и он правил. Не понимаю, как можно диктовать прозу? Как можно, когда ты пишешь и слышишь все, и проговариваешь на слух, и все это у тебя перед глазами, да — не исключено — и рожи какие-то строишь, не следишь же в этот момент за собой, как можно, чтобы при этом, присутствовал кто-то посторонний?

Ходил Симонов и держался так, будто и не снял с себя военной формы. Только формой его теперь был джинсовый костюм и та же трубка. В джинсовом костюме вел он телевизионные беседы с кавалерами трех орденов Славы; грядущим поколениям он оставил живыми на пленке этих людей, их простые рассказы. Кроме него, никто этого не сделал. И если не говорить о его поэзии, это — самое проникновенное, что сделано им. В свое время я написал об этих беседах с солдатами, о фильме, который получился. И о другом его фильме, поставленном по роману «Живые и мертвые», я написал по его просьбе для «Леттр Франсез». Не знаю, как сейчас смотрел бы я этот фильм, но тогда первая серия меня взволновала, вторая же... Кто-то сказал

о книгах Симонова, что автор их гораздо интересней при встрече, чем при расставании.

В 1975 году в журнале «Новый мир» цензура запретила мой роман «Друзья», уже набранный в типографии, уже стоявший в номере. Ни одна моя книга не проходила через цензуру, не ободрав бока. Первая повесть о войне «Южнее главного удара» была искалечена в журнале «Знамя». И самое мерзкое, что в последний момент без моего ведома, тайно было снято посвящение моим погибшим в войну братьям, родному и двоюродному: Юрию Фридману и Юрию Зелкиндю. Оба добровольцами пошли на фронт, оба пали смертью храбрых, артиллерист и пехотинец, но внедрялось убеждение, что евреи не воевали, евреи, мол, спасались от войны в Ташкенте. В дальнейшем, в книге, я восстановил посвящение моим братьям.

Только то обстоятельство, что пишу я медленно, делало мои встречи с цензурой не такими уж частыми. Но вот опять встретились. Попробовал я было обратиться в Союз писателей, все-таки вроде бы профессиональный наш союз. Маркова замещал Озеров, он всегда демонстрировал хорошее отношение ко мне, о детях постоянно спрашивался, сам чадолюбив. Но тут вдруг стал холодно-официален: «Нет-нет, секретариат этим заниматься не будет. Если каждый раз секретариат...» А чем, если трезво подумать, должен был заниматься секретариат, для чего его выбирали? Да в том-то и дело, что никто никого не выбирал, секретарей назначали сверху, а зал только руки подымал. Как колхозники на собрании, когда привозили им неведомо кого: «Вот ваш председатель...» После коллективизации крестьян прошла коллективизация писателей, и что председатели в колхозах, что секретари в Союзе для того и сидели в креслах, чтобы выполнять приказания сверху. Разница же была лишь та, что колхозников обирали дочиста, писателей же подкармливали, и каждому из них воздавалось по делам его.

Интересно, что в тот же вечер Озеров позвонил мне. В Минске по случаю тридцатилетия победы собиралось большое совещание, и хотя сам он всю войну от фронта был далек, возглавить совещание и всем руководить по должности поручили ему. И вот тут я оказался ему нужен. Вот как он меня выманивал: «Вам надо поехать, выступить, это создаст благоприятный для вас фон...» Пришлось сказать ему все, что я о нем думаю.

И тут Лазарь Ильич Лазарев предложил поговорить с Симоновым, тоже секретарем Союза. В свое время Лазарев написал ре-

цензию на мою повесть «Пядь земли», написал как фронтовик мог написать. И доставалось ему потом вместе со мной наравне. Он поговорил, Симонов согласился прочесть роман, предупредив: «Только вы дайте мне его при них. На главные секретариаты *они* теперь меня не приглашают».

Я не догадывался, что его уже начали оттеснять, хотя было это так понятно. Он служил Сталину, бывал обласкан. Науку властвовать Сталин изучал с детства, знал, власть нуждается в красивых одеяниях, умел расставлять по сцене главных исполнителей и массовку, не скупился на декорации. Симонов мог сравнивать тот двор и жалкое его подобие. Это было не в его пользу. И международная его известность в определенных кругах была ему теперь как бы в укор: Марков, Сартаков — кто они, кто их знал? Брежневские времена, чиновник вырастал в спасители отечества. Да и не воевал никто из них. А на Симонове, что там ни говори, лежал отсвет победы, читатель его был огромен, его читали и рядовые, и маршалы. И, что не менее важно, читали его жены самых высших руководителей. В дальнейшем, будучи редактором журнала «Знамя», я мог в этом убедиться, когда мы печатали мемуары Симонова «Глазами человека моего поколения».

Для меня в этих мемуарах, в которых он решился сказать всю правду, а печатать при жизни и не пытался, интересней всего был он сам, человек своего времени. Как несвободна была его мысль! Даже когда он писал в стол, как пишут завещания.

Я отдал ему в тот раз верстку романа при Озерове, на следующий день они уезжали в Минск. И понимал, что все это уже впустую: журнал не может ждать, есть график, а выпал из номера — выпал из гнезда.

Помог мне совершенно неожиданно Наиль Бариевич Биккенин. В огромном здании ЦК, где столько этажей и кабинетов и так профессионально разработана система отпасовывать неприятное дело по горизонтали, по вертикали, чтобы не брать ответственности на себя, он занимал весьма небольшую должность: заведующий сектором. Знакомы мы с ним были всего каких-нибудь несколько месяцев: в Колонном зале Дома союзов он подошел ко мне, протянул руку: «Я ваш читатель». Вот он позвонил в цензуру, и роман был напечатан, хотя и покореженный.

Как-то зимой по делу зашел я к Симонову на дачу. Был я с мороза, в валенках, внес с собой морозный воздух, и, возмож-

но, от этого захотелось ему пройтись, подышать. Он хронически болел легкими, подозревали рак, но рака у него не было. И вот втроем мы шли по улице нашего поселка. Он был в черной, черным мехом отороченной дубленой шубе, в дубленке была и Лариса, его жена. Первым браком она была замужем за поэтом Семеном Гудзенко, это его строки: «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем...» Он предсказал свою судьбу. Лариса пошла за него против воли отца, генерала Жадова: Гудзенко был еврей. Кстати, фамилия самого генерала была Жидов, но Сталин, подписывая указ о награждении, счел такую фамилию неподобающей и росчерком пера переименовал его в Жадова.

Мы шли по свежесвыпавшему снегу. И морозен, чист был воздух за городом, дышишь и не надышишься. Пробежала лошадь с саними, уронив между полозьев теплый помет. О чем-то мы говорили, я старался смотреть под ноги, чтобы по лицу моему он не увидел, как он изменился. У него уже был тот испуганный взгляд человека, страшщегося в чужих глазах прочесть правду о себе. А изменился он сильно. В белый зимний день при мягком свете желтым, серо-желтым было его лицо, черные тени под глазами, а губы — белые, сухие, шелушащиеся. Он уже не курил, но часто закашливался и сплевывал в снег желтые, будто от никотина, плевки. Потом он лег в Кремлевку. Говорят, ему непрофессионально сделали выкачивание из легких. Но мне кажется, хотя, возможно, я ошибаюсь, он чувствовал, что пережил свое время, это лишало его воли к жизни. Великое это дело: воля к жизни. Знаю по себе.

В НАЧАЛЕ СЛОВА БЫЛА ЖИЗНЬ

В дождливый день я стоял под грибком в пустом детском садике и ждал из школы Эллу, мою будущую жену. Прозвенел звонок, орда школьников вырвалась на волю, прошло еще какое-то время, она вышла со своим учительским портфелем, и мы вдвоем пошли в ЗАГС. Не знаю, есть ли теперь очереди в это учреждение, тогда были. Нам назначили день, когда прийти регистрироваться: 9-е мая, День Победы. Вот так совпало.

Ну что может быть торжественного, когда вас записывают в какую-то книгу и в нужной графе вы расписываетесь, а девица, которая всем этим руководит, возможно, сама была бы не прочь, чтобы кто-то с ней расписался, хотя бы и так. Свидетелей тогда не требовалось, и это тоже было хорошо: нам не хотелось, чтобы здесь, в учреждении, хлопали пробки шампанского, кто-то что-то кричал. Главное было в нас самих. Мы вернулись к обеду: теща, тесть, мы двое. Мы были счастливы.

Случайно незадолго до нашего знакомства будущий мой тесть купил в киоске журнал «Октябрь», там был напечатан мой рассказ, он обратил на него внимание, показал дома, так мы заочно познакомились. Никогда с тех пор рассказ этот не перечитывал: проба пера. Поразительно было то, что его все же напечатали. В отделе прозы сидела Жданова, сестра того самого Жданова, немолодая, тоже невысокая и полная весьма, сидела молча. То ли она парализующе действовала на другую редакторшу, Ольгу Васильевну Румянцеву, то ли время было такое? Когда я в очередной раз справлялся о рассказе, Ольга Васильевна говорила мне: «Я люблю вашу палитру. — И спрашивала: — Ну, как ваш дитенок?» Ни детей, ни жены тогда у меня еще не было, выждав месяц-два, я снова приходил справляться. «Ну, как ваш дитенок?» И опять я узнавал, что «она любит мою палитру». Она была дама, приятная во всех отношениях, но нужно было, чтобы кто-то за нее решил.

Весь наш роман с Эллой длился полтора месяца, не так уж

много, чтобы прожить вместе всю жизнь. В «комнату для домработницы», которую я снимал, она прибегала ко мне, счастливая, что-то готовила, с первых дней взяв на себя заботу обо мне. Потом я уехал в командировку в Башкирию, написал для альманаха «Дружба народов» (тогда это был еще не журнал, альманах) очерк о нефтяниках, могу сказать объективно, неплохой был очерк, но сколько же я с ним намучился! Редактором был Алексей Сурков, он не вникал в дела, его заместителем и доверенным лицом сидел там некто К., в общем-то несчастный человек. Числился он критиком, но и это было ему не дано, он создан был состоять при начальнике и, сознавая себя безнаказанным, руководить. Не важно чем, но — руководить. Раз за разом он выдвигал какие-то новые требования, забывая о том, что говорил ранее, а облекал все это в вежливую форму мой однокашник по Литинституту: он там служил. И это был первый для меня урок: никогда не печататься там, где сидят мои однокашники.

Однажды на улице я увидел К. с женщиной, они шли быстро, и он что-то раздраженно говорил ей. Это была его любовница. Крупная, красивая, умная женщина, да и писала она с блеском, и вот этот бездарный, сильно немолодой, если не сказать — старый, скучный мозгляк. Что их могло связывать? Неужели то, что он — начальник, а она печатается в этом альманахе? Больше я туда не пошел. А деньги были нужны. Что за муж, который нигде не работает и зарабатывает от случая к случаю? Элла несла в школе максимальную нагрузку: три класса, и — ежедневная гора тетрадей, которые надо было проверить, сто двадцать раз прочесть один и тот же текст, исправить ошибки, да еще частные уроки в богатых домах, да еще заочно заканчивала педагогический институт.

В свое время она поступала в ГИТИС на театроведческое отделение, сдала экзамены на отлично, блестяще прошла собеседование, сочинение ее не только получило отличную оценку, но было отмечено. Поступила! И вдруг ее вызывают, и экзаменатор, которая хвалила ее, говорит смущенно: нет ли кого-то влиятельного, кто бы позвонил и походатайствовал за нее? Дело в том, что уже после экзаменов, когда прием был закончен, подала заявление внучка Горького, ну и — сами понимаете... Ходатайствовать было некому. Поступила внучка Горького. А Элла пошла в двухгодичный учительский институт, жить надо было, закончила его с красным дипломом, благодаря чему ее

не успели ни на Камчатку, ни на Курильские острова, работала и продолжала учиться заочно. И костюмчик рябенький, который шел ей так, что можно было залюбоваться, она сшила сама. И залюбовывались. Две пожилые учительницы, две Марии Ивановны, присмотрели ей женихов. У одной из них был неженатый племянник, физик, подающий надежды, он только что защитил кандидатскую диссертацию. Был разработан стратегический план: Эллу и ее приятельницу, тоже учительницу их школы, пригласили на семейное торжество, мол, обидите, если не придете. Приятельница все знала, уговорила ее. Там уже сидел племянник, у него случайно оказались два билета в театр. Провожая из театра, он сообщил, что ему обещана двухкомнатная квартира, если он женится... Обида Марии Ивановны была смертельная, она перестала здороваться. Тогда в дело вступила другая Мария Ивановна: у ее родственника, генерала, который служил в тот момент в Германии, — адъютант, он у них как сын родной, прекрасный молодой человек, перспективнейший офицер, и как раз он сейчас — в Москве. У него тоже оказались билеты в театр, в Большой театр. Помимо всех прочих достоинств у адъютанта были шикарные усы и от сверкающих сапог пахло ваксой. Потом он звонил из Берлина: среди ночи раздался телефонный звонок, звонил адъютант. В общем, и вторая Мария Ивановна обиделась и тоже перестала здороваться.

В те годы советские люди регулярно и поголовно подписывались на заем, как правило — на одну зарплату. Но были и патриоты. Их вызывали в партком, проводили соответствующую беседу, и — куда денешься? — человек подписывался на трехмесячную зарплату и призывал всех последовать его примеру. Три месяца в году семья не получала зарплаты — невидимые миру слезы. Но случались и выигрыши по займу. Элла выиграла 200 рублей, был шит обширный занавес, им перегородили комнату, по одну сторону занавеса — тесть с тещей, по другую — мы с Эллой. Было в квартире еще две комнаты, в каждой — семья. Киселевы: муж, жена, инженеры-железнодорожники, оба больны туберкулезом. И сын, школьник. В третьей комнате — паровозный машинист Манаенко с женой Александрой и маленькими сыновьями. Это была интересная семья. Он — родом из Туркмении, скорей всего — смесь кровей: рослый красивый мужчина, глаза огромные, черные, грустные глаза. Во время страшного ашхабадского землетрясения у него погибли там все родные. На фронте он был командиром стрел-

кового батальона, она — санитарка, в страшном сне такая не приснится. Но родился ребенок. И будто бы (так рассказывали) он долго сидел, смотрел на сына и остался с ней. Она же, Александра, и разжаловала его, своего мужа. За что-то разозлилась на него и в ярости написала командованию, что в его батальоне обнаружена вшивость и еще какие-то смертные грехи. Так он, майор, стал паровозным машинистом. И опять не ушел от нее: родился второй сын. Дети их, невымытые, нечесанные, голодные (моя теща из жалости подкармливала их), бегали по квартире босиком, в рубашонках до пупа, случалось, роняли на пол, не донеся до уборной. Возвратившись из рейса, отец первым делом отмывал их, приоденет, накормит. Стоит, бывало, на кухне, прокручивает мясо на котлеты. Однажды попробовала это сделать Александра, но сила была такая, что сломалась мясорубка. И вот как-то врывается она в квартиру, полубезумная: за ней гнались. Но она, проявив военную сметку, оставила лифт открытым, и толпа, запаленная, топала по лестнице на четвертый этаж. Они топали по лестнице, а она уже ждала их за дверью со скалкой в руке. Было их немало, в дверь барабанили во много кулаков. Александра ждала. Вдруг рывком распахнула дверь, ближним досталось скалкой по головам, и дверь захлопнулась. Вот такая была оторва. Единственно, кого она если не почитала, то хоть слушалась немного, была моя теща, Тамара Кондратьевна. Вот был истинно верующий человек. Не помню, чтобы она ходила в церковь, хотя когда-то ставила свечку, наверное, дочке желала счастья; не знаю, молилась ли она, разве что в кухне поздним вечером, там, в темноте, одна, она любила покурить. Но бог жил в ее душе, во всех ее поступках.

Примерно столько же, сколько зарабатывала Элла каторжным учительским трудом, слепя глаза над тетрадами, зарабатывал и я в журнале «Крестьянка»: отвечал на письма, рецензировал графоманские рукописи. Выписывать надо было оттуда, выписывать бессмертные фразы, такие нарочно не придумаешь. Теперь жалею, что я этого не делал, но я начитался их до полного отравления, кое-что случайно сохранилось в памяти. Ну, например: «Передние лошади вставали на задние дыбы, а сзади напирали передние лошади». Графомания — это интереснейшая даже с психологической точки зрения и совершенно не изученная область советской литературы, она же — одно из следствий всеобщей грамотности. «В клящий мороз устелись с ней на сне-

гу — испепелит». Уму непостижимо, зачем в *клящий* мороз устилаться с ней на снегу? Но это не из писем в «Крестьянку», это из романа, если не ошибаюсь, удостоенного Сталинской премии. Или вот стихи приходили в журнал «Знамя»:

На скользком пьедестале
Ильич наш дорогой
Стоит в привычной позе
С протянутой рукой...

А все подряд романы Кочетова, это что, не графомания? В одном из них героиня *на одну треть* то ли польской, то ли еще какой-то крови.

Или вот просвещенный автор восклицает во гневе по поводу сильно декольтированных женщин: «Женщины и матери Европы! Как вы могли допустить осквернения вашей груди, вскормившей Шекспира и Гете, Бальзака и Карла Маркса?..» Нет уж, по мне так пусть лучше «передние лошади встают на задние дыбы». Это хоть простодушной.

Свадьбу свою мы справляли месяца через два, за городом, когда появились деньги. Было весело, пьяно, оттого и фотографии все, как говорится, не в фокусе. Снимал мой школьный друг Алик Небольсин, с ним когда-то мы вместе пошли учиться в воронежский авиатехникум. После войны я встретил его в Москве, авиатехникум он кончил, учился в Автодорожном институте. И выяснилось то, о чем я не догадывался раньше: оказывается, моя сестренка Юдя еще в школьные годы была в него влюблена. Вскоре мы с Аликом стали ближайшими родственниками.

Сегодня, сорок пять лет спустя, почти никого уже нет на свете из тех, кто сидел тогда за обширным столом, который мы с Аликом сколотили. Остались фотографии.

Мне было тридцать два года, когда у нас родился сын. В память моих братьев мне, конечно, хотелось назвать его Юрой. Но оба погибли на войне, и я чувствовал, жене страшно. Из роддома, как из заключения, я получил от жены записку: «Смотри, какое хорошее имя — Мишенька». Так мы и называли нашего сына.

«Далеко, у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают все новые дымы разрывов. До-

рога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колени, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал обо всем». Это из «Пяди земли». Но мне действительно, когда я вернулся с войны, хотелось сына. Дом, жена, семья — все это было как-то непредставимо. Мне хотелось сына. Может быть, потому, что от всей нашей семьи остался я один. «Коли на Михайлов день да иней — ожидай больших снегов». Сын родился в декабре, и были большие снега, мороз стоял под тридцать градусов, а когда я забирал их домой, когда мне дали в руки нечто невесомое в одеяльце, я все мышцы напряг, чтобы удержать.

Теща моя, Тамара Кондратьевна, в святой своей уверенности говорила: «Даст бог его, даст и на него». Но мне полагаться на бога было как-то непривычно, и все лето как одержимый я писал повесть, работал по двенадцать, по четырнадцать, по шестнадцать часов в сутки. Иногда обалдевал настолько, что Элла гребнем расчесывала мне голову, пока я не приходил в себя. И снова садился за работу. Мы сняли за городом, в Бакровке, временку, летнюю комнатенку с крошечной террасой. Туда к жене моей приезжали ученицы, заниматься по русскому языку, разумеется, бесплатно, она жалела их, кормила обедом. Обучение тогда было отдельное, у Эллы был класс девочек, они ждали свою учительницу до занятий возле дома, чтобы нести ее портфель, они провожали ее домой после уроков, они явно ревновали ее ко мне. Однажды, проходя по рядам, она заметила, что ученица, приоткрыв парту, рассматривает фотографию мальчика, и пристыдила ее: «Я объясняю новый материал». У девочки брызнули слезы: «Это не мальчик. Это мой папа!» Росло целое поколение без отцов, у большинства девочек в классе отцы погибли на войне.

Перед экзаменами самым нуждающимся, самым бедным Элла отправила посылки: полкило масла, сахар, сгущенное молоко. Все это было куплено на ее школьную зарплату. Но были благополучные семьи: семьи работников НКВД. Все они жили в большом сером доме на Можайском шоссе. Однажды девочки из этого дома пришли на занятия с заплаканными глазами. Ночью арестовали их отцов.

Повесть, которую я писал, была о деревне, хотя человек я городской. Может показаться: с чего бы вдруг? Но в том-то и дело, что не вдруг. Среди солдат моего взвода примерно поло-

вина была из деревни. То, что они рассказывали, никак не похоже было на книги, которые я читал, на «Поднятую целину» Шолохова. Особенно памятен был мне ночной разговор по душам, когда мы думали, что не вырвемся из окружения. И в дальнейшем, после института, я ездил в командировки от разных журналов, от газет в основном — в деревню. Кубань, Вологодчина, конечно — Воронежская область, Оренбургские степи, Урал, Сибирь, Заволжье, Чувашия.

Когда при Хрущеве стали отправлять «тридцатитысячников», загорелось и мне ехать в деревню, стать председателем колхоза: что-то вроде запоздалого народничества. Самое удивительное, что и Элла соглашалась ехать со мной, хорошо, что этого не случилось, никому бы мы и ничем там не помогли, только жизнь свою загубили бы.

Пришло однажды в «Литературную газету» письмо из Орловской области, из деревни Шалимовки, колхоз назывался «Путь к коммунизму». И вот из этого самого «Пути к коммунизму» писал восьмидесятичетырехлетний старик Фома Афанасьевич Суханов, жаловался, что у него в наказание отрезали часть участка. Кого же и за что наказывала власть? Четыре сына Фомы Афанасьевича — Сергей, Алексей, Егор и Петр — погибли на фронте. Пятый, и последний, сын был призван военкоматом разминировать поля колхоза (это места Орловско-Курской битвы). Он погиб, подорвавшись на mine. Остались две дочери. Но одна из них, Домна, погибла, восстанавливая шахту в Донбассе. Сам Фома Афанасьевич до преклонных лет работал в колхозе и жил теперь с единственной из семи его детей оставшейся в живых дочерью и зятем в старом своем доме и на той земле, которую всю свою жизнь обрабатывал, удобрял и с этого участка кормился. Вот от него и отрезали половину, тринадцать соток, отрезали и оставили зарастать бурьяном на глазах старика. А все за то, что зять, который не был колхозником, не захотел идти в колхоз, тут даже и логики никакой не просматривалось: участок не принадлежал зятю. Я поехал узнавать, что и как там происходило, ехал машиной тем самым путем, которым год целый ходил старыми ногами Фома Афанасьевич, искал правды: девять километров до автобуса, да автобусом, да обратно девять километров и летом, и зимой, и по осенней и весенней черноземной грязи, из которой другой раз и лошадь ногу не вытянет. И всегда он приходил не вовремя, мешал занятым людям бумага писать.

В Италии у старика Альчидо Черви девять сыновей погибло в партизанах, он — национальный герой, его знает вся Италия. Мне хотелось понять: что же у нас с людьми-то происходит? Власть, что ли, их такими сделала? Но власть у нас не из дворян. И уж никак не из интеллигентов. Разговариваю со старшим инженером-землеустроителем Жуковой, немолодой женщиной, она отрезала у Фомы Афанасьевича участок, спросил, знает ли она, есть у него дети? Дети? Сейчас погляжу... И долго шелестела бумагами, никак не могла взять в толк, при чем тут дети, когда есть устав, принят, зарегистрирован в райисполкоме... Зачем вообще корреспондент приехал? Ну, Жукова все же — должностное лицо. А и в деревне женщины, я разговаривал с ними, все же по природе своей женщины милосердней, но и они тоже считали, что правильно отрезали землю, пусть хоть зарастает: дочь-то его — уборщица в конторе, на легкой работе, а им по лишнему гектару свеклы накинули, пропалывать...

В общем, повесть, которую я писал все лето, не была для меня случайной. А лето выпало благодатное. Перепадали дожди, вставала над полями радуга, с детства казалось мне, что там, за ней, открывается особенный, чудесный мир, хотелось попасть туда, но радуга быстро гасла.

Был между Баковкой и Переделкино небольшой лесок, в нем отгороженные высоким забором два огромных, одинаковых по размерам участка: санаторий министерства путей сообщения и — дача Буденного. Оттуда, как говорили, выезжал он на прогулку на коне, мы этого ни разу не видели. Вот в этот лесок мы любили ходить, собирали грибы, разговаривали. Сын еще не родился, но он в этих прогулках уже был с нами. А я, будущий его отец, все еще, по сути дела, был никем. Для домоуправления, для милиции требовались справки, что я где-то работаю, где-то числюсь. Добывать их было унижительно. Да и заработки мои случайны. Но даже в самое трудное время Элла говорила: никуда не иди работать, пиши. Верила ли она тогда в меня? Во всяком случае, не хотела, чтобы когда-то я мог упрекнуть себя: не выдержал, смалодушничал.

Повесть с беспомощным названием «В Снегирах» вышла в журнале, была издана книгой, критика отметила ее, меня пригласили на совещание молодых писателей, рекомендовали в Союз. Но почему-то мне подумалось, что Константин Георгиевич Паустовский обидится, если я вступлю в Союз писателей

без его рекомендации: все же в институте я был в его семинаре, неблагодарным сочтет. И я позвонил ему. «Да, да, конечно». И видимо, забыл. Полгода я ждал, считая неудобным напоминать, давно уже вступили в Союз те, кто был рекомендован совещанием одновременно со мной, а я все ждал.

Но как беда не одна ходит, так и радость — к радости. Родился сын, и тогда же в журнале вышла моя повесть. «Даст бог его, даст и на него». Получив деньги, я спросил мою тещу-пророчицу:

- Вы держали когда-нибудь в руках десять тысяч?
- Нет, никогда не держала.
- Тогда — держите.

Вот уже лет сорок, наверное, не перечитывал я эту мою повесть. Никогда не включал ее в сборники, не включил и в собрание сочинений. Я многому научился, пока писал ее, хорошо, что она есть, стыдиться мне нечего, но и гордиться нечем. Все же о деревне должны писать те, кто там родился и хотя бы часть своей жизни прожил.

По этой повести в дальнейшем был поставлен фильм, режиссер говорил: «Я хочу, чтобы он получился в рембрандтовских тонах». Он и получился «в рембрандтовских тонах». Дали ему вторую категорию, большего он не заслуживал, шел вторым экраном, но, как ни странно, тираж его был огромен, никогда, ни за один фильм, поставленный по моим книгам, по моим сценариям, не получал я таких потиражных. А играла в нем тогда еще молодая ослепительная красавица Дзидра Ритенбергс.

Когда заканчиваешь книгу, остается еще запал. Он сильней усталости, его надо не упустить. А устройшь себе отдых, начнешь, как говорят кинематографисты, «пожимать лавры», и — все: к столу уже не тянет, слово к слову не идет, и ты рад, если тебя оторвут вроде бы по делу, ты сам этого ждешь. Сколько видел я таких праздничных литераторов! Взбодрят повестушку и ходят в редакцию принимать поздравления, рассказывать о своих дальнейших «творческих планах». Один, помню, все ходил с блокнотом и карандашом в руке: вот уже собираю материал...

Я писал первую свою повесть, а во мне уже ворочалась другая книга. И мешала мне, хотелось ее начать. Я уже знал первые фразы: «К ночи похолодало. Небо прояснилось, звезды го-

рели ярко». И эта ночь, и темные силуэты «кукурузников», ночных двукрылых тихоходных бомбардировщиков, плывущие среди звезд, и нити трассирующих пуль, вдруг потянувшиеся к ним с земли, а летчики — женщины и совсем неопытные девочки — летят бомбить немецкий передний край, — все это я вновь видел. Или вдруг так ясно почувствуешь запах мокрого кирпича. Мы стояли вдвоем с сержантом-пехотинцем за стеной разбитого дома, готовясь перебежать улицу. Ночью выпал снег, и сейчас он таял на раскрошенной снарядом кирпичной стене. И солнце — слепящее, весеннее. Закопченной рукой сержант снял подтаявший снег, сжал его, поднес к лицу, вдохнул запах, а пули, убившей его, я не слышал. Он только сполз спиной по стене, и шапка откатилась.

А то вдруг видел раненую лошадь, она уже дрожала крупной дрожью, вот-вот упадет, и другая лошадь терлась об нее шеей, горлом терлась, согревала своим теплом. Я заново видел войну, все те годы, и дни, и часы, и месяцы, а час бывал длинней многих жизней. Время осмысления для меня еще не пришло, но нельзя было, чтобы все то, что я видел и знал, исчезло бесследно. Мне и по ночам это снилось. И я уже знал: единственный способ избавиться — написать.

В книге В. Яна «Чингиз-хан» есть обращение к читателю: «Если человеку выпадет случай наблюдать чрезвычайное, как-то: извержение огнедышащей горы, погубившей цветущее селение, восстание угнетенного народа против всемогущего владыки или вторжение в земли родины невиданного и необузданного народа, — все это видевший должен поведать бумаге. А если он не обучен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему следует рассказать свои воспоминания опытному писцу, чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в назидание внукам и правнукам».

Никому и ничего я не хотел рассказывать в назидание. И не было у меня честолюбивых мечтаний. Но то, что я знал, пережил, видел, не должно было исчезнуть. Это было для меня главным в то время.

Много раз читал я и слышал о том, как и почему пишут книги. Особенно благородно это звучит, когда рассказывают, почему написана книга о минувшей войне: я, мол, вернулся, живой, мой долг — рассказать о моих погибших товарищах. Может быть — так, наверное даже — так. Но есть тут что-то от ума. А книги — я говорю о своем опыте — по расчету и по со-

ображению не пишут, если речь идет об искусстве. Они приходят сами, приходят не случайно: вначале была жизнь. И видишь мир через нее, через эту будущую свою книгу. И только то и интересно, что с ней связано. И многое открывается тебе в людях, в самом течении жизни, поражаешься другой раз: ты там был, ты это видел, как же ты смысла происходящего не понимал? И подопрет так, что уже не писать не можешь. А пока пишешь книгу, живешь в той жизни: в той, что была, и в той, что в сознании твоём возникла. Она не менее реальна. Она так же зрима. А когда книга закончена, уже не отличишь и не вспомнишь, что было на самом деле, а что и как преобразилось в книге. И вот я кончил повесть мою о войне, назвав ее «Южнее главного удара». Я не считаю название удачным. Но смысл в нем был: и в этой книге, и во всех моих книгах я писал не о парадной стороне жизни и не о тех, кому досталось водружать флаги, пусть даже и на рейхстаге водрузить (а эта история запутанная, донныне неизвестно и вряд ли узнают когда-либо, кто действительно был там первым, а кого назначили первым быть и восславили), писал я о жизни, как она есть, и чаще всего о тех, на кого давит она самым тяжелым своим колесом.

Написав повесть, я прочел ее целиком. И поразился: а куда же все остальное девать, что я видел, что знаю? Не в том смысле, что про каждый день, про все, что было, надо рассказать непременно. Нет. Самое главное еще не сказано. А что оно, главное, как о нем рассказать, мне это было пока еще неизвестно и вряд ли по силам. Позже Василь Быков, с которым, как оказалось, мы были в Венгрии на одном фронте, напишет об этой моей книге: «С благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть Г. Бакланова, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся». Мы не были знакомы, эти слова его я прочту через много лет, и хорошо, что не тогда, сразу: похвала каждому приятна, что уж говорить, но трезвый взгляд иногда нужней. Впрочем, до похвал было весьма далеко, об этом рассказ впереди.

Почему-то книги, написанные от первого лица, вызывают у читателей больше доверия: мол, про себя рассказывает, все это на самом деле было... А книга — от первого или от третьего лица написанная — это заново прожитая жизнь, твоя или чужая, но все равно она — твоя. И ты во всем и в каждом: мужчина это, или женщина, или раненая лошадь, или кошка, выброшенная на мороз, в ней тоже — ты.

Повесть «Южнее главного удара», первую мою повесть о войне, я писал два года. Наша комната, разгороженная занавеской, представляла собой как бы три комнаты. Стояла за занавеской наша односпальная кровать, на ней вдвоем нам не было тесно, стоял овальный столик, на нем я писал, и — чешская кроватка сына на колесиках. Он просыпался, я ногой подкачивал кровать, мне он не мешал.

Глубокое заблуждение, что мы, взрослые, чему-то учим наших детей. Вначале они учат нас. Они рождаются, крошечные, жалкие, беспомощные, и делают нас родителями, учат тому, чему никто, кроме них, никогда не учил. Они пробуждают в человеке все лучшее, что в нем есть, и мужество дают, и силы, и жизнь обретает особый смысл. Это уж потом мы начинаем воспитывать их по своему образу и подобию, что далеко не всегда хорошо. А вначале они учат нас. Наши дети, и сын, и дочь в дальнейшем, они учили нас, дарили нам счастье, а мы думали, что это — заботы. Без них, я это знаю точно, я не написал бы своих книг, во всяком случае, эти книги были бы не такими. Без них я не прожил бы свою жизнь так, как я ее прожил. Да что уж обо мне говорить! Лев Толстой не написал бы «Войну и мир» так, как он ее написал, если бы его дети не открыли ему великие тайны мира. И это мудро, что в Древней Греции не мог стать судьей тот, у кого не было детей.

Оттого что моя мама теплом и любовью окружала меня, я рос в убеждении, что я нужен миру, очень важное для человека убеждение, оно многое определило во мне. А миру окружающему было абсолютно безразлично, есть я или нет. И когда родился наш сын, я впервые понял, что, кроме нас, он никому не нужен, страна и власть имущие вспомнят о нем, когда придет время призвать его в армию, защищать их самих и страну. Вот тогда о нем вспомнят и напомнят о его гражданском долге.

Какой румяной, какой здоровой возвращалась с мороза Элла — в шерстяном платке, в валенках, в цигейковой шубе, — и час, и два она прогуливалась в коляске спящего нашего сына. А морозы стояли трескучие. Раздевшись, распеленав его, садилась кормить, а он, проголодавшийся, уже орет, ищет ротом и затихает. Священные мгновения. Такой красивой бывает только счастливая молодая мать.

Повесть я отнес в журнал «Знамя». И потянулось время ожидания. Ходить, справляться: «Ну, как?..» — занятие унизи-

тельное. Как-то встречаю на Тверском бульваре члена редколлегии журнала критика Евгения Суркова. Идем, разговариваем ни о чем, о главном не спрашиваю. И вдруг он сам спросил: «Какие у вас отношения с Юрием Нагибиным?» — «Никаких». — «Дело в том, что он написал о вашей повести абсолютно реперткомовскую рецензию». Евгений Данилович Сурков раньше служил то ли по театральному, то ли по кинематографическому ведомству, имел отношение к репертуару, а там от рецензента требовалось главное: не ошибиться, на всякий случай дать автору веслом по голове, а если он все же вынырнет, выживет, первый его и поздравишь. «Реперткомовская» — это убийственная, Сурков, человек весьма искушенный, уловил: тут что-то личное, случайно такую рецензию не пишут.

Нагибин был известный писатель, член редколлегии журнала «Знамя», еще до войны он считался чем-то вроде вундеркинда, это и сослужило ему не самую лучшую службу. Но какие же у нас отношения? Мы даже знакомы не были. И тут вспомнилось: года два назад или даже два с лишним Нагибин читал в Доме литераторов свои рассказы. Я еще не был членом Союза. Кто-то из приятелей позвал меня, у Нагибина бывали отличные рассказы, я пошел послушать. Собралось в комнате человек десять — двенадцать, автор предупредил, что будет чтение и обсуждение, но обставлено все было торжественно: рассказы читал актер, а Нагибин сидел рядом. Из двух рассказов один мне не понравился, я это сказал, поскольку — обсуждение. Приятелю моему тогдашнему оба не понравились, но он разумно промолчал, сообразив сразу: нас угощают рассказами. И вот, два с лишним года спустя, мне это аукнулось. Но все тайное рано или поздно становится явным, мне передали слова Нагибина: «Вот пусть ему будет больно, как мне было больно тогда...»

И завертелась карусель. Возвращать повесть журнал явно не хотел, значит, требовалось автора помучить. И начались обсуждения. Был в редколлегии генерал. И не просто генерал, а генерал-лейтенант. «Ну разве такие наши советские девушки, как у вас в повести?» — «А какие?» — спрашиваю его. «Ну разве такие?» А в повести «советских девушек» всего одна — Тоня, названная так в память о погибшей на фронте подруге моей сестры. Но что ему скажешь, когда на золотых его погонах по две большие звезды и смотрит он на тебя взглядом просветленно-доброжелательным, любящим взглядом. Даже возражать нелов-

ко: он тебе добра желает, в воду пихает, а ты на берег лезешь. И орденских колодок на его кителе столько, сколько положено в его звании политработнику.

Я-то понимал, конечно, на что все они делают стойку. В повести была война. Не такая война, какой она должна была бы быть по всем официальным представлениям, а та, какую я видел, в которой участвовал. И тянулось дело, и длилось до тех пор, пока гром не грянул: сняли министра обороны маршала Жукова. Если б не Жуков, возможно, не уцелеть бы и Хрущеву, когда он осмелился скovyрнуть и арестовать Берию. Пленум ЦК — пленумом, но решала армия, а она подчинялась и воле, и слову Жукова. Вот потому-то Хрущев в благодарность и избавился от него, на всякий случай услав в тот момент в Югославию, откуда Жуков возвращался уже не министром. А маршалы это поддержали, у них свои счета: Сталину, хоть и не по заслугам, они готовы были уступить вершину пирамиды, но не друг другу, в войне каждый из них был первым. И позорнейшую статью в «Правде» на два подвала подписал маршал Конев, которого Жуков в 41-м году спас от расстрела. Обвинялся теперь Жуков во всех смертных грехах, в том числе — в бонапартизме, в недооценке роли партии и роли политработников в армии. А у меня в повести как раз ни одного политработника.

Рассказывать о том, что после этого происходило в редакции, мне и теперь нудно и противно. Да сегодняшнему читателю этого и не понять.

«ПЯДЬ ЗЕМЛИ»

Мы шли с женой вдоль железнодорожного полотна, мы вернулись недавно из города, шли и не могли надышаться, такой тут был воздух. Вечерело. Сын наш полуторагодовалый бегал в траве, рвал ромашки и относил теще. Она, сидя на скамеечке, стерегла его. Он что-то говорил, чему-то радовался, издали нам слышен был его смех. И все вместе это было счастье. Я сказал Элле: «Знаешь, какая будет первая фраза повести? Жизнь на плацдарме начинается ночью». Первая фраза — это интонация, она определяет многое. И чаще всего приходит сама. Я уже начинал писать новую повесть и сколько-то даже написал, все получалось подробно и все — не то. Порвал и бросил. И вот наконец пришло. Но пока я берег это в душе, боялся испортить. Да и в «Знамени» еще не все завершилось: повесть «Южнее главного удара» то подписывали в набор, то опять откладывали.

А в общем мы были счастливы, для счастья не так много надо: сын рос, все были здоровы, я занят был делом моей жизни. На лето мы сняли дачу в Трудовой: огромный участок, сосны до неба, дом бревенчатый, свежесрубленный, сосновый. Такие участки давали генералам после войны, этот дом принадлежал известному генералу, он надорвался и умер, строя его. Мы за большие по тогдашнему времени деньги сняли низ, но жить наверху генеральша, донская казачка, не стала, «чтоб не делиться за электричество», как она объяснила. Она перешла в саманный сарай с земляным полом и там все лето жила при керосиновой лампе.

Осенью Союз писателей закончил на паях с какой-то организацией строительство дома, второго уже дома на Юго-Западе Москвы. Нам дали две комнаты в общей квартире, и я предложил Борису Слуцкому поселиться вместе: ему давали комнату. Указательным пальцем, как дулом пистолета, он нацелился мне в грудь: «Вы — пятый». К нему, в то время — холостяку, действительно выстроилась очередь. Но все, кто был перед нами,

получили отдельные квартиры, и мы с Борей стали соседями. Потом появилась Таня: высокая, интересная. Она появлялась, оставалась, выходила утром в халате, и стало ясно, что стопроцентный, безнадежный холостяк Боря Слуцкий не долго останется холостяком. А мы ждали дочку. И однажды Боря спросил с комиссарской строгостью, почему-то опять пальцем указав мне в грудь: «Этот ребенок случайный или запланированный?» И хотя мы не давали ему обязательств больше не иметь детей, как не брали с него обязательства не жениться, получилось так, что обе стороны нарушили некие, хотя и не оговоренные, но как бы подразумевавшиеся условия.

Вот в этой квартире, на кухне, пока все спали, я написал первую главу повести «Пядь земли». И дернул же меня черт дать это прочесть маститому критику, жившему поблизости. Что можно сказать по первым пяти страницам рукописи? Наверное, то, что в свое время сказал Василий Гроссман: пишите. Может, получится, может — нет. Но критик глубокомысленно и долго, не без модуляций в голосе рассказывал мне, что он уже видит и что предвидит заранее. И я так возненавидел свою рукопись, что попробовал дома перечитать — и чуть не стошнило. Недели две я к ней не прикасался, в дальнейшем не изменил ни слова.

Но это был урок. Никогда больше никому не читал я и не давал читать незаконченную рукопись. Тем более, не рассказывал, что хочу писать. Рассказать заранее — это выпустить пар. После этого уже не напишешь сочно, придется заставлять себя, все будет холодно, мертво. Или напишется совсем другое. Бывало, правда, в институтскую пору расскажешь под настроение тогдашнему институтскому другу, а потом обнаружишь у него свои фразы: «Да? А тебе разве они нужны?..»

Единственно, кому каждый день после работы я читал только что написанное, — это жене. И случалось, ссорились. Ведь когда пишешь и пишется, ты царь и бог, все тебе подвластно. И вдруг тебе, еще не остывшему, ведро холодной воды на голову. А так бывало. Сколько раз в повести «Пядь земли» переписывал я сцену купания в Днестре под проливным дождем. Мотовилова сменили на плацдарме, вдвоем с телефонистом они переправились на другой берег. Для тех, кто сидит здесь в окопах, это — передний край, но для них — глубокий тыл, здесь даже воздух другой, они вернулись с плацдарма живые... И все — как впервые в жизни: и ночь, и запах реки, и дождь — счастье, выпавшее на войне. Вновь и вновь я переписывал эту сцену, и

опять слышал: ты можешь лучше. Жена — мой самый доброжелательный и потому самый строгий критик.

Мой товарищ, известный литературовед, прочел один из моих романов, напечатанный в журнале. Отнесся сдержанно, сказал, что он бы на моем месте поправил, дописал, убрал. Проходит года три, роман вышел отдельной книгой, он перечитал его. Перечитал — это уже немало. Первый раз прочесть можно любую книгу, перечитывают не каждую. Звонит мне: ты знаешь, роман стал лучше. Ты, видимо, многое сделал из того, что я тебе сказал. А я не менял ни строчки. Я сказал: просто ты начинаешь понимать, что там написано. Прочти в третий раз.

Я не люблю книги, в которых мысль на поверхности. Тем более не люблю книги, написанные ради того, чтобы мысль доказать, в них все несвободно, подчинено мысли. А в жизни сущность бытия и форма проявления его далеко не всегда совпадают, жизнь сама по себе бесценна. В ней все значительно, даже дураки иной раз выглядят значительно, если молчат. И самые детские вопросы — что есть жизнь, для чего мы живем, есть ли во всем этом смысл — по-прежнему непостижимы и для мудрецов. Не зря Гете писал: единственная книга, каждая страница которой значительна, это сама жизнь. И заменить в искусстве все это условными знаками?

Великие книги, в которых во всей полноте и сочности воссоздана жизнь, не скопирована, а создана художником, читают не один раз, читает не одно поколение. И в разное время читают по-разному. Случается, что та мысль, которая более всего дорога была художнику в его время, может показаться в другое время далеко не такой уж значительной, а обожжет глубиной и злободневностью совсем иное, что как бы находилось в тени, но книга от этого ничего не теряет, как ничего не теряет жизнь, оттого что меняются наши представления о ней. Жизнь — на все времена, и каждому открывать в ней свое. В этом отношении подлинное искусство подобно жизни.

Разумеется, когда я писал повесть «Пядь земли», никакими теоретическими соображениями я не руководствовался, все это — позднейшее. Но мне дорого было и дороже становилось каждое мгновение той жизни. И вновь я видел солнце тех дней — после бомбежки оно выходило как из затмения, — я снова был там и в таком состоянии писал. И мысль и сцены приходили непредугаданно, в такой момент становишься слеп и глух ко всему окружающему. Однажды перехожу трамвайную линию,

домой спешил, записать, пока не забылось, и слышу, слышу звонок трамвая, в мозг врзается, так звенит, но сам-то я в этот момент не здесь... В последний момент дрогнул, остановился, а мимо меня, скрежеща тормозами — искры из-под колес, — замедленно ползет трамвай, лица пассажиров в окнах...

Примерно на середине повести возникла другая повесть, возникла сразу, вся: и ощущение ее, и люди, и первая фраза, да и сюжет весь выстраивался. И так интересно стало, захотелось отложить «Пядь земли», а эту написать, казалось, напишется быстро, легко. Велик соблазн. Но удержался.

Ту, возникшую посреди работы повесть, я написал потом, называлась она «Мертвые сраму не имут».

В повести «Пядь земли» всего восемь с половиной авторских листов, то есть восемь с половиной раз по двадцать четыре машинописных страницы. А писал я ее почти два с половиной года. За это время мы разменялись с Борей Слуцким: он съехался с Таней в отдельную квартиру, к нам переехала теща. Обмен был сложный, многоступенчатый, отнял много сил.

И вот написал я свою повесть, закончил, и стало пусто. А ведь как гнал, как спешил. И теперь жаль тех ушедших дней, когда мысленно жил ею. Предстояло самое неприятное: отдать ее в редакцию. Но об этом чуть позже, сейчас немного о другом.

ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНИЕ

Теперь, когда Твардовского нет среди живущих, он равно принадлежит всем. Как принадлежит всему народу песня; как мысль принадлежит всем. Независимо от того, чья она, кем высказана; как язык, на котором думают, говорят, передают нравственные заветы.

И многое посмертно поменялось местами. Даже на групповых фотографиях он отделился от тех, кто в силу разных причин оказался с ним рядом: не как ушедший от живых, а чтобы остаться жить.

Истинный художник, Твардовский сам рассказал о себе. Не столько даже в автобиографических заметках, а рассказал тогда, когда не о себе рассказывал. Таково свойство литературы: тут ни скрыть, ни самому скрыться невозможно. Независимо от намерений каждый в книге таков, какой он есть на самом деле, а не такой, каким хотел бы предстать.

Вот написанное на отдалении полугода воспоминание Твардовского о первом дне войны, о том, как он узнал, что началась война: «Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег. А мужики и женщины сидели на груде прошлогодней соломы и молчали, я уже мог ни о чем не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скупно и строго, как будто тут был покойник».

А вот последняя запись мирного предвоенного времени, которую он, перечтя, дописал уже во время войны: «...на выходе из города, у самой дороги — белого бульжника шоссе, — в узкой полоске тени от какой-то деревянной амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-

седых волос освежалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу, — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...

И мне-таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратным».

Это написано не о себе, а о людях, из которых кого-то к тому времени, наверное, уже не было на свете. Но сам он здесь такой живой, так виден и ощутим.

Многие, при жизни знавшие Твардовского, написали о нем. Это тоже рассказы про него и про себя. И он в этих рассказах такой, каким его видели, но не обязательно такой, каким он был: ведь каждый понимает по-своему, а видит столько, сколько ему дано увидеть.

У меня нет намерения поместить себя на групповую фотографию. Но так случилось, что я имел возможность наблюдать Александра Трифоновича Твардовского; вначале — издали, потом — близко. Много лет мы жили под Москвой в одном поселке, встречались часто, о многом говорили, но я никогда не записывал эти разговоры. Не записывал не случайно: мы говорили довольно откровенно, случись что со мной, я мог и его подвести — время было такое. А теперь, говоря его словами, «спустя столько времени жаль, что я отказался, как будто я тогда отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратным».

Свою повесть «Пядь земли» я принес в журнал «Новый мир» к Твардовскому. Перед этим я отдавал ее в «Знамя». Там долго знакомились с ней члены редколлегии: есть такое осторожное и

никого ни к чему не обязывающее выражение — «знакомиться с рукописью».

Наконец сообщено было: к разговору со мной готовы. Я не забыл, что происходило здесь с повестью «Южнее главного удара», мне дорога была новая моя повесть, я твердо решил не вести необязательных разговоров, потому сказал: пусть главный редактор прочтет, тогда будем разговаривать.

А сам пока писал сценарий для киностудии «Ленфильм», ибо на что-то жить надо было.

Прошло время, прочел главный редактор Вадим Кожевников. Не исключаю и того, что сам он не читал, а, как обычно тут бывало, ему пересказали содержание, расставили акценты — что удалить, что переделать, что еще потребовать от автора, — и вот пригласили меня для генерального разговора. Я терпеливо выслушал все, что мне говорили. Но когда мне, артиллерийскому офицеру в недавнем прошлом, стали объяснять, что и пушки у меня не так стреляют (при этом спрашивали работников редакции всех подряд: «На сколько километров эти пушки стреляют?.. Ну вот, видите!..»), я взял свою повесть и отнес ее в «Новый мир», к Твардовскому. Разумеется, не к нему сразу. Прозой ведал в то время Евгений Герасимов; ему я и отдал, честно сказав, откуда и почему принес. А вечером домой мне вдруг звонит Вадим Кожевников. Сам. Узнал, где повесть. И разговор — запанибрата: чего, мол, где там ваша повесть? Мы будем ее печатать. А как же все, что предлагалось в вашем присутствии? Наплюйте! Отдаю вам десятый и одиннадцатый номера. Я не надеялся, что в «Новом мире» скоро прочтут мою повесть. Еще меньше было надежды, что напечатают. Но я сказал Кожевникову: я вам не верю.

А в «Новом мире» все как-то быстро завертелось. Позвонил Герасимов. Сказал, что прочел, отдает Твардовскому. Вот тут страшно мне стало. Мне уже было что терять. И долг сделался каждый день: не когда-то, а, может, в этот самый момент, сейчас вот, читает мою повесть Твардовский.

Вдруг вызывают на заседание редколлегии. Хоть и ждал, и каждый телефонный звонок был тот самый, которым судьба решалась, хотя Евгений Герасимов, добрейший человек, умеющий простодушно радоваться за других, как за самого себя, уже сообщил мне, что Твардовский одобрил повесть, решил печатать, и я, веря и не веря, осторожно носил в себе радость, с некоторым даже удивлением поглядывал на улице на людей —

неужели не понимают? не чувствуют? — хоть всем этим был я, конечно, подготовлен, а все-таки вызвали вдруг. Это не звонок телефонный раздался, это час судьбы пробил.

Среди дня в назначенное время вошел я с улицы Чехова в парадные двери «Нового мира».

Сейчас пишут многие и рассказывают, что двухэтажный дом этот в центре Москвы был маленький и тесный и внутри было тесно, хотя, мол, и уютно... Для меня здесь все имело не случайный смысл. Дом выходил окнами на площадь Пушкина, а дверьми — на улицу Чехова. И вот в эти двери я вошел. Я поднялся по широкой лестнице, по которой карета могла бы проехать свободно. И наверху высокие старинные двустворчатые белые двери раскрылись передо мною, будто не я их открывал, а они сами раскрылись.

Не помню, кого я первым встретил, кого спросил, как пройти к Александру Трифоновичу, но осталось, что я шел через редакцию, по дороге обрастая людьми, выходявшими из разных дверей, под конец уже шел как бы в центре небольшого шествия...

Конечно, это было не так: никому здесь не известный, я прошел к Герасимову, а уж он к Твардовскому меня повел. И улыбался при этом, счастливый до пота, и очки его блестели, и покрасневшее лицо. У меня же в груди по временам раздувался воздушный шар, едва не вознося меня, но я сжимал его и шел, единственно полагаясь на не забытую еще офицерскую выправку.

И вот — снова белые двери, главные здесь двери, и Твардовский подымается из-за стола. Тут действительно все стали входить, зазвучали голоса приглушенным хором, и хоть держались члены редколлегии не связанно, даже с некоторой внешней вольностью, чувствовалось, знают, где они, с кем, и есть незримая черта, которую не переступает ни один.

Расселись за длинным столом. Редколлегия — по обе стороны, Твардовский — во главе, спиной к свету, а мне через весь длинный стол было указано место напротив: то ли как имениннику, то ли как подсудимому.

На военных советах, как известно, первым говорить полагается младшему; примерно такой же порядок соблюдался и здесь. Что-то поощрительное говорили члены редколлегии. Подперев тяжелую голову, Твардовский курил. Солнце жаркое сквозь высокое окно слепило, и весь он в этом солнце виден был как

сквозь сумрак, а дым сигаретный над головой подымался из тени в свет. И хоть лицо его было неясно различимо, запомнилось выражение строгой серьезности. Сквозь свою думу, как мне казалось, он молча слушал и сидел подпершись. Пошевелился. Вздыхнул. Стало тихо. Теперь заговорил он.

Если я тут упомяну что-то из его замечаний, так не для того, чтобы положить лишнюю краску на мою книгу. Твардовский напечатал ее и тем высказал главное свое одобрение. Но в том, что человек замечает, ценит или отвергает, есть он сам.

Он говорил не по порядку, а как складывалось:

— Земля на плащдарме сухая, закаменелая... Это чувствуется. Даже мина не берет. — Он покачал головой с сомнением, возможно, усомнившись на отдалении лет, как же все это солдату было пережить, как же брал он ее своей лопаткой, когда мина не берет. И из собственного опыта подтвердил: — Это было, это все так.

Вдруг отметил поощрительно, к членам редколлегии обратясь и говоря обо мне, как об отсутствующем, в третьем лице:

— Немцев у него пленных гонят, заметили? Пот по лицам течет... Солдаты виноград едят, а они идут, глаза отводят... Немцы ведь, а он замечает, что жарко им, пить хочется... Это хорошо! Это правильно.

И вдруг неприязненно повернулся ко мне:

— Что же это вы отрицательному герою дали фамилию Иноземцев? Таких у нас не бывает, человек иной земли?

Честно говоря, мне это и в голову не приходило. Фамилия прилипчива. Так просто ее не найдешь, а уж если соединилась с кем-либо, оторвать трудно. Был у меня солдат Иноземцев, не такой, как в книге, но для меня многое с ним связалось. Я попытался объяснить, что и почему, но он жестом как отрезал:

— Нет, вы ему фамилию перемените!

Дальше вовсе получилось странно: вместо Иноземцева дал я схожую по звучанию фамилию Козинцев. Так и напечатали в журнале. И совершенно из головы вон, что есть известный режиссер Козинцев... А Григорий Михайлович Козинцев в Ленинграде прочел повесть, пришел на киностудию и спрашивает у редакторов:

— Скажите, этот человек меня знает?

Ему сказали, что нет, мол, не знает.

— Как же так? Даже внешне похож...

Мне это потом на «Ленфильме» рассказали. Григорий же

Михайлович, человек в высшей степени щепетильный, чтобы не подумали, что он может быть как-то необъективен, предложил на худсовете в мое отсутствие повысить мне оплату за сценарий. Вот так неожиданно обернулась история с фамилией одного из персонажей повести. В дальнейшем, для книги, я еще раз сменил ему фамилию, опять же на нечто близкое по звучанию: Мезенцев. Это уже когда мы с Козинцевым познакомились. Но все это — к слову.

Вид человека, награждаемого тобой, — приятное зрелище для глаз. И Твардовский не спешил завершить редколлегию. Он стал спрашивать: как живу? что? как? И, не дослушивая, говорил сам:

— Хорошо!

Он чувствовал себя тогда хозяином жизни. В моем лице он спрашивал в мир входящего, как бы всему нашему поколению, входившему тогда в литературу, вопросы задавал. И говорил:

— Хорошо!

Я не считал, что все так уж хорошо. Мне было тридцать пять лет в то время, но повесть свою, третью по счету, я все еще писал не за своим столом. То ранними утрами на кухне, пока все спят, а то вечером допоздна, уходя из дома за несколько улиц. Была зима, стояли морозы, и вот, попивши чаю горячего, так не хотелось уходить. А тут еще сыну четвертый год, хотелось поглядеть, как его спать будут укладывать.

Но, конечно, не про все эти обстоятельства спрашивал Твардовский, смешно было бы ему про это говорить. Да он и не столько спрашивал, сколько сам утверждал, и ответ требовался единственный: «Так точно, хорошо!» Как в «Теркине» у него: «Говорят: орел, так надо и глядеть и быть орлом». В нем самом и тот генерал жил, и Теркин, полагавший бесстрашно: «Ничего, с Земли не сгонят, дальше фронта не пошлют».

И правда, если не о временном думать, а иной мерой мерить — хорошо. Есть вещи, которые человек не должен уступать. И есть дни, которые должно помнить. Это был тот самый день. И не потому только, что судьба повести решалась: она была раньше решена. Но сам этот день был миг единственный, который не повторяется.

Как часто не хватает простой мудрости не за тем гнаться, что впереди ждет, а не торопить мгновение. Но в тот раз я отдельно от всякой суеты чувствовал это.

А по времени был конец февраля 1959 года. На исходе зимы,

в самом начале весны, после снегопада бывают в Москве такие чистые, ясные, солнечные дни. Нигде они так не ощутимы, как в старой Москве, когда идешь вверх по Петровке или по Неглинной, а солнце над всеми домами и крышами, и парит, и уже шуба на плечах тяжела.

Повесть «Пядь земли» печатали в двух номерах, первая половина вышла в майском номере. И тогда же, в мае, родилась наша дочь, Шура.

Когда пришли родственники смотреть нашу дочку, она лежала в коляске, белая, полненькая, и спала. Какой это был милый, спокойный, домашний ребенок. Такой она росла, и звали мы ее хранительницей семьи. Бывало, переходим улицу, она всех посчитает, всех соберет вместе, чтоб — за руку, за руку, чтоб никто не потерялся, не отстал.

А повесть тем временем начала свой, отдельный от меня путь. Еще только половина была напечатана, а уже появилась в «Комсомольской правде» первая рецензия. Рецензия была восторженная, написала ее Тамара Казимировна Трифонова. Потом, когда повесть вышла целиком, — рецензия Лазарева в «Литературной газете», об этом я уже писал. Как-то пришел я в «Новый мир» за журналами, а Евгений Герасимов говорит: выйдите, там корректоры пришли, хотят на вас посмотреть. Пожалуй, это и была самая высокая моя литературная награда.

После небольшой паузы вызрела официальная точка зрения, двинулись разгромные рецензии. Ответить на них было невозможно, никто бы этого не напечатал; официальное мнение не опровергают. Я просто перестал читать их. Прочтешь, испортишь себе настроение, и пропал рабочий день. А я уже писал новую повесть. Когда, несколько лет спустя, издавался какой-то библиографический справочник и мне прислали его из Ленинграда проверить, все ли тут статьи, которые напечатаны обо мне, я обнаружил, что процентов девяносто, если не больше, я не читал, и желания прочесть не возникло.

В чем же обвиняли меня? Я стал основоположником так называемой «окопной правды». Это в нашем государстве «рабочих и крестьян» считалось чем-то низменным. Но в окопах сидел народ, окопная — значит народная правда. Этого не стыдиться, этим гордиться следовало. И как отшибло историческую память! В годы революции большевистская газета на фронте называлась «Окопная правда».

Другое, не менее страшное обвинение — «ремаркизм». Ремарк — прекрасный писатель, его книга «На Западном фронте без перемен» — гордость мировой литературы. Но еще больше люблю я его роман «Три товарища». Однако в те годы *Ремарк*, *Хемингуэй* наша критика выговаривала как ругательства. А читали их поголовно. И чем больше ругала меня официальная критика, тем больше получал я читательских писем.

Из больницы вдруг прислал телеграмму Федор Панферов, главный редактор журнала «Октябрь», считавшийся советским классиком: «Дорогой Григорий только что большим волнением прочитал Пядь земли это прекрасный дар советским читателям = Федор Панферов». И хоть формулировки телеграммы вполне в духе времени, меня она тронула: не часто редактор одного журнала хвалит вещь, напечатанную в другом журнале. Библиотекарша из села писала, что за журналами, в которых повесть, очередь в библиотеке — сто двадцать человек, у них еще этого не бывало. Отдельно — письма фронтовиков. Они узнавали во мне своего однополчанина, подтверждали, что все точно так и было, что писал я про их плацдарм, рассказывали потрясающие истории. Вполне понятно, что я не мог быть одновременно на всех плацдармах и всех полков однополчанином, но это были дорогие мне свидетельства.

Разгромная критика сослужила мне добрую службу, что, разумеется, не было запланировано. Она, правда, задержала на полтора года выход повести в издательстве «Советский писатель», там главный редактор, в прошлом — армейский политработник Иван Тимофеевич Козлов, воздвиг против меня прочную оборону. Но она четырьмя изданиями вышла в Западной Германии (в ГДР, куда простиралось наше руководство, ее так и не издали), вышла в Англии, двумя изданиями — в Италии, двумя изданиями — в Голландии, во Франции в отличном переводе Степана и Анетты Татишевых. Но были и ужасные переводы. Через Мексику книга попала в Испанию, где еще был Франко, и можно судить, каков перевод, хотя бы по тому, что на обложке — «Вакланов», а на титуле «Влаканов». Всего повесть была издана в 36 странах мира, и оттуда тоже шли письма. Молодой американец писал, что, если бы ему пришлось воевать, он бы хотел сидеть в одном окопе с Мотовиловым.

В Доме литераторов, куда мы не часто ходили с женой, о чем теперь жалею, увидел нас в ресторане Виктор Некрасов. С рюмкой он перешел от своего стола к нам: «Но почему —

Мотовилов? Это фамилия моей мамы: Мотовилова». Во время войны, в эвакуации, в Кургане в Элту был влюблен хороший парень Валя Мотовилов, мужественный, честный. По возрасту он еще не годился на фронт, он пошел в морское училище, его ждала карьера морского офицера, но он не выдал товарища, оказавшегося трусоватым, принял на себя его вину. И его отчислили, а труса оставили. Вот такая история. И вот почему — Мотовилов.

Я и сейчас, когда Вики Некрасова уже нет, слышу его милый киевский выговор. Жена моя — киевлянка, они сидели и вспоминали довоенный Киев, довоенные названия улиц. И до чего хорошо пилось в тот вечер.

После «Пяди земли» ни одной своей вещи я не печатал у Твардовского. Было искушение отдать ему повесть «Карпухин», но у нас уже сложились довольно близкие отношения, и вот это сдерживало меня. Повесть печаталась в еженедельнике, в нескольких номерах подряд. В журнале «Знамя» мне сказали по этому поводу: «Ну, и кто ее прочтет? Напечатали бы у нас, ее прочли бы на самом верху, а теперь — не выше завсектором». Очень интересная оценка читателя. Как раз эту повесть Твардовский отметил рецензией в своем журнале и прислал мне поздравительную телеграмму.

Все это говорю к тому, что отношения наши не были связаны с тем, печатает или не печатает мои вещи Твардовский. Этот немаловажный оттенок, к счастью, отсутствовал.

Минуло несколько лет, и неожиданно мы оказались почти соседями: Александр Трифонович купил дом в том поселке, где я жил тоже. И начал заходить. Не часто, приглядываясь, потом — чаще. Заходил посидеть, поговорить.

От него был ближний путь на реку, но там обдавали пылью машины, идти надо было обочиной, сторонясь. А по нашей улице, хоть и дальше, но — тихо. И вот с полотенцем под мышкой он иногда приходил.

Вставал он рано, часов в пять-шесть утра, и на речку любил ходить по холодку, пока роса, туман над водой и одни только рыболовы сидят по берегам с удочками: то ли ловят, то ли дремлют, пригретые солнышком.

Однажды стоворились мы, что зайдет он часу в восьмом утра. Но потом оказалось, мне нужно ехать в Москву ранним

автобусом, и в половине седьмого я пошел предупредить. Была середина июня, еще не косили, высоко по обочинам стояла трава. Но вдоль всего участка Твардовского было уже выкошено, как под гребенку. И обочины, и кювет — ровная везде зеленая щеточка.

А сам Твардовский ходил по двору с топориком, явно искал себе работы. Я окликнул его через забор: мол, так и так.

— Ну зачем же вы шли? Я бы все равно шел мимо...

Но и год и два спустя нет-нет да и напомним: «А вот вы зашли предупредить...»

Очень он внимателен был ко всякому проявлению невнимания, и не только в отношении себя. Не скажет, как будто даже не заметит, но — запомнит. Особенно задевало его, если дети не здоровались:

— Ведь взрослый человек идет, как это не поздороваться?

А дети в нашем поселке действительно здоровались далеко не все. И что того хуже — не со всеми. Это каждого нормального человека не могло не задеть: в детях всегда отражен дух семьи. Но у Твардовского еще и другое с этим связывалось: в деревне просто невозможно представить, чтобы взрослый человек шел по улице, а дети не здоровались с ним. Даже если это посторонний, незнакомый идет. Так, во всяком случае, было в пору его детства.

Обычно, прежде чем войти в воду, он складывал костерок на берегу. Повесит на дерево полотенце, рубашку и начинает собирать всякий мусор: ветки, щепки, коробки сигаретные, бумажки. Сложит все это и зажжет. И сидит, смотрит на огонь, подкладывает по веточке. Однажды я сложил костер и зажег. Он ревниво удивился: ветер, а я зажег с одной спички. Вот так, помню, сказал мне и председатель колхоза в Камышинском районе Пустовидов, с которым мы зимой в сильный мороз ехали лошадьми степью. Остановились у омета, где много на снегу было заячьих следов, и я, загородясь от ветра воротником тулупа, протянул прикурить в ладонях и сам прикурил.

— С одной спички... — сказал Пустовидов поощрительно.

Однако тут было другое: он явно хотел сделать приятное городскому человеку, вот, дескать, можете по-нашему... А Твардовский, не скрывая, заревновал к чему-то такому, что только ему должно было принадлежать. Это тем более смешно, что за четыре-то года войны уж этому можно было научиться.

В нем жили привычки и понятия той, прежней, деревен-

ской жизни. То, что считалось умением тогда, сохранило в его глазах значение и цену на всю дальнейшую жизнь, даже если это и не имело никакого практического смысла. Он, например, мог с четырех ударов затесать кол топором: удар — затес, удар — затес. И гордился этим:

— Ну-ка вот вы так!..

Но гордился он и тем, что в его журнале — лучшие корректоры, что тут никогда не встретишь ошибки, описки, неточности. Он и сам был грамотен, хотя этим качеством наделены далеко не все люди, имеющие высшее образование. Качество это в русском языке, я бы сказал, сродни чувству слова. Встретив ошибку в рукописи, он непременно сам выправлял ее и, как мне удалось заметить, бывал даже рад, если встретится особо трудный случай правописания. Тут он и объяснит, почему именно так, а не иначе, как может показаться на первый взгляд. За ним не стояло двух-трех поколений дворянской культуры, все свои университеты он сам проходил и знания свои не стеснялся подчеркивать.

Посидев у костерка, докурив, он слезал в воду, придерживаясь рукой за сук дерева. И мы плыли на ту сторону, где отражалась в зеленой воде белая балюстрада детского санатория, похожего на помещичью усадьбу, белые лестницы и колонны. Иногда останавливались там передохнуть; стояли под берегом, по щиколотки увязнув в иле, чувствуя, как под водой засасывает все глубже, и от ила по ногам щекотно бегут вверх пузырьки газа. Но чаще сразу плыли обратно.

Еще только войдя в воду, после первых взмахов, Александр Трифонович окунался весь, с головой, и волосы намачивал, и затылок, потом, отерев мокрой ладонью лицо, плыл. А плыл он не спеша, мощно, спокойно: не плыл, а отдыхал в реке.

Зимой вместе с режиссером Иосифом Ефимовичем Хейфицем работали мы за городом. В поселке мало кто жил в эту пору. Светили вдоль белых улиц фонари, пустые дворы завалены снегом, в окнах домов блестят черные стекла. Зима была снежная, как считается — перед урожайным годом.

Доработавшись до того состояния, когда оба уже не соображали ничего, решили мы часов в десять вечера пить чай. Я поставил чайник на газ, а сам забрел в темную комнату, стал у окна: вот и не хочешь, а продолжаешь думать, не можешь отвязаться.

Смотрю — Твардовский идет от калитки. И как-то неровно. Толчками, будто упираясь. А тут еще свет качающийся. Ветер забросит фонарь за столб, и тогда на весь двор клином ляжет тень, а то осветит ярко: снег сквозь голые вишни, одна сторона дорожки, прорытой в снегу, снежные лапы елей у забора.

Из-за поворота дорожки выбежал Фома, полугодовалый ньюфаундленд, ростом со среднего медведя, и шерсть медвежья, бурая. Александр Трифонович вырастил его из щеночка, и теперь он один только и мог удержать его на поводке. И то шел, оскользаясь ботинками, то едва не ехал за ним по льду. Фома тянул мощно, лапы мохнатые, красная пасть разинута, дышит паром.

Привязав его к рябине у крыльца, Твардовский вошел в дом. Он ходил прогуляться по пустому поселку да и завернул на огонек.

С Хейфицем они были знакомы заочно, вообще к кино, тем более к писанию сценариев прозаиками, относился Твардовский весьма и весьма сдержанно. То же самое и о пьесах говорил, не считал это делом серьезным. Впрочем, когда в Театре сатиры с успехом шел его «Теркин на том свете», был упоен, приглашал на просмотры. Снял Твардовский зимнее полупальто — оно у него было тяжелое, драповое, с серым каракулевым воротником и прорезными карманами на груди, неизносное, покроем и видом напоминавшее те бобриковые, знакомые ему по воспоминаниям, — и в желтой ковбойке, в лыжных теплых брюках сел к столу. На то место, на котором обычно сидел мой сын.

— Работаете?

Спросил неодобрительно, явно сомневаясь, что из такого занятия может толк выйти. Тем более что ему самому не работалось.

Сели на кухне пить чай втроем. Дома Александр Трифонович пил из огромной чашки, и варенье клубничное, домашнее, сваренное так, что все ягоды — целые, накладывала Мария Илларионовна в большие блюдечки.

У нас тоже пили из больших чашек, и налил я, как он любил, почти что одной заварки, чуть разбавив фыркающим кипятком. Александр Трифонович курил сигарету и запивал чаем из блюдца. Разговор не получался. И не только потому, что они с Хейфицем, в сущности, не были знакомы, но и потому, что мы собирались еще работать, а он этого явно не одобрял.

Снаружи стучали о жестяной отлив крыши замерзшие ветки

рябины: это Фома дергал поводок, а с ним вместе — дерево. И скулил. Александр Трифонович не спеша пил чай, затягивался сигаретой, и в широкой его груди многолетнего курильщика хрипело.

Каким-то краем разговор коснулся великих людей. Я в ту пору дочитывал книгу о Нильсе Боре, взятую у Твардовского. И поразила меня в ней встреча Бора и Черчилля. Этих двух людей разделял век целый: Черчилль еще не отошел от представлений девятнадцатого века, а Бор провидел уже век двадцать первый. С риском для жизни перелетел он во время войны Атлантический океан из Америки в Англию, чтобы объяснить Черчиллю, что началась атомная эра, что надо уже сейчас сделать выводы, иначе начнется то, что, собственно говоря, и началось после войны. Черчилль принял его на десять минут ровно и после краткого разговора заявил, что Бор — русский шпион, его надо отстранить от ядерных исследований.

Вот в связи с этой книгой я сказал, что, наверное, интересно написать великого человека.

— А что великий! — Твардовский сидел, расставя полные в лыжных брюках колени, ноги обуты в суконные ботинки на молнии, которые он донашивал за городом; он вообще старые свои вещи донашивал. Не потому, что они стоили что-то, он не мог выбросить вещь, если она еще годная. — Ничем особенным великий от остальных не отличается.

И через свою думу, сквозь сигаретный дым, сказал убежденно:

— Великий, он в жизни — обыкновенный.

Летом 1967 года попросили меня написать о Твардовском. С чем-то это было связано, требовалось срочно, и даже размер заранее был определен: около трех страниц. Не очень я люблю писать газетные статьи, а еще то смущало, что мы знакомы, он непременно прочтет. Но и не написать о Твардовском было нельзя по всем обстоятельствам того времени.

Статья называлась «Заполненный товарищами берег». Я должен привести ее, чтобы понятней было дальнейшее.

«В годы, последовавшие за окончанием Великой Отечественной войны, постепенно начала устаревать и вскоре вовсе устарела грозная по прежним временам боевая техника, наше славное оружие, с которым мы освобождали родную землю. Даже легендарная «катюша» стала далеким прошлым.

В эти же годы одна за другой отошли в прошлое и забылись многие книги военных да и послевоенных лет. Время отодвинуло их. Только высокие создания человеческого духа оказались неподвластны времени. Такова судьба поэзии Твардовского.

Сейчас, когда поколения людей со школьной скамьи знают «Василия Теркина», когда без этой «Книги про бойца» невозможно представить нашу литературу, а первое впечатление от чтения ее заслонено многими последующими, трудно восстановить в памяти, как тогда воспринимались солдатами на фронте разрозненные главы, не по порядку доходившие до них. Но одно я помню: была несомненная уверенность, что книга писалась на нашем фронте и даже где-то близко. Такое впечатление сопутствует книгам, где все — правда: и целое, и частности. Мы не задумывались, конечно, над тем, что только большие художники способны в одну судьбу вместить судьбу народа: потому-то каждый, читая такую книгу, находит в ней себя. Мы объясняли это просто: значит, автор был здесь, знает, сам прошел. И книга вызывала благодарное доверие.

Даже после войны я искренне считал, что бой за «населенный пункт Борки» — это бой за деревню Белый Бор на нашем Северо-Западном фронте,

Где вода была пехоте
По колено, грязь — по грудь;
Где в трясине, в ржавой каше,
Безответно — в счет, не в счет —
Шли, ползли, лежали наши
Днем и ночью напролет...

Бой шел, как сказано в книге, на втором году войны, сходились приметы большие и малые. Я мог бы, как карту с местностью, сличить эту главу из «Теркина» с тем, что было у нас. И каким необходимым оправданием безымянных ратных трудов, какой прекрасной памятью павшим безвестно звучали слова в конце главы, им суждено остаться:

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;
Кто за гордую твердыню,

Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.
И Россия — мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.

Это было так, будто мы сами сказали эти слова. Подлинное искусство всегда совершает эту подмену: выражая то, что смутно ощущается людьми, оно оставляет читателю и радость открытия, и уверенность, что автор просто высказал его мысли, его словами сказал.

Но еще и потому такое доверие вызывала «Книга про бойца», что в каждой ее строке обнаруживалось понимание и знание тех простых вещей, которые составляли существо солдатской жизни на фронте, вещей по видимости малых, но без которых не творится ничто великое. Писатели ограниченные стараются это обходить, беря себе задачей говорить только о «главном».

Восхищая точной правдой подробностей, удивительной силой народного характера, книга рассказывала о том, чем жил народ на войне, и казалась не загаданной на дальний срок. Так солдат на фронте далеко вперед не загадывает, а воюет честно, и в этом — все то великое, что совершает он для настоящего и для будущего, даже если ему в том будущем жить не суждено.

Но, видимо, так только и создаются книги, которые переживают время. Вся их боль, и страсть, и радость — в настоящем, потому так важны они грядущим поколениям.

Самое удивительное, быть может, то, что писал свою книгу Твардовский не на отдалении, в зрелую пору раздумий о минувшем, а писал ее на фронте, «без отрыва от колес». Примеры тому есть в русской литературе: «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. С тех пор, как писались они, не раз сменилось то, что казалось незыблемым: и воинские уставы, и законы, и боевая техника прошла путь от гладкоствольных ружей до ракет, и многие государства исчезли бесследно, а другие возникли на карте мира. Пожалуй, только хлеб и вода остались такими же неизменными, необходимыми каждому, вечными; свойство, подобное этому, к слову сказать, лежит в основе искусства.

Какие войны с тех пор сотрясали шар земной, какие яркие писательские имена зажигались и меркли на литературном небо-

своде, а «Севастопольские рассказы», ничего не утерев, и сегодня поражают, как слово, сказанное впервые.

Значит, дело все-таки не в отдалении, а в размерах личности художника. В мире, открытом каждому, не каждый способен совершать открытия. Великому художнику и из гущи событий видно то, что другим не суждено увидеть и по прошествии лет. Потому для книг, созданных великими художниками, границы времени — понятие относительное. Необходимые современникам при появлении своем, как будто для них только и писавшиеся, они потом переживают своего создателя.

Мне хочется в связи со сказанным привести строки из стихотворения Твардовского, помеченного послевоенной датой: «В тот день, когда окончилась война». Оно сегодня звучит так же, как в ту пору, когда было написано:

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный...

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях,
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...

Пока мы живы, он не скроется из глаз, «заполненный товарищами берег». А когда время соединит нас с ними, то и тогда

слова эти многое скажут будущим людям. Дадут им почувствовать особую для душ минуту, и среди них, живых, незримо встанут те, кто ушел.

Чем больше поэт, тем большим он обязан своему народу. Он обязан народу всем, что ему дано. И только по прошествии времени становится ясно, что и народ многим обязан своему поэту. Расул Гамзатов сказал однажды, что у его народа тоже были свои Ромео и Джульетты, не было только своего Шекспира, чтобы рассказать о них, и поэтому никто о них не знает.

Когда отсеивается все временное, незначительное, люди на отдалении смотрят на минувшее глазами большого художника, зримой реальностью становится для них жизнь, которую он запечатлел, осмыслив. Целые эпохи исчезли бесследно из памяти народов, потому что не было у них своего поэта.

Создаваемые на самом недолговечном, подверженном тлению материале, литературные памятники имеют свойство переживать и бронзу, и мрамор, и гранит».

По случайному совпадению сквозь газетный лист, на котором была напечатана эта статья, виден был на просвет памятник из мрамора, бронзы и гранита, судьба которого вряд ли окажется долговечной.

Несколько дней я не заходил к Твардовскому. Он тоже не заходил. И вот как-то под вечер, после жаркого дня вернувшись из Москвы, пошел я с семьей на реку. Но не туда, где он обычно разводил свой костерок у моста, а через поле и луг — к деревне: там хоть и не широко, но народу бывало поменьше, гоготали гуси на берегу, шипя вслед идущим, вытягивали шеи, забредали непривязанные телята.

Подходим — Александр Трифонович стоит один на берегу, собирается лезть в воду. Полезли вместе и поплыли по течению к острову. Был тогда остров на повороте реки. Ветлы дуплистые стояли над водой, густо росла бузина, крапива, дикая малина. Потом умная чья-то голова додумалась расширить реку. Срубили деревья, пригнали земснаряд, он всосал в себя половину острова и выплюнул на берег. Тут только задумались: может, не надо? И оставили, что осталось, собирать вокруг себя тину.

Но тогда остров ещё был, и мы плыли к нему посреди реки. Тишина опускалась предвечерняя, хорошо были слышны голоса из деревни, лай собак по дворам.

А когда плыли обратно, садилось над затоном огромное красное солнце. Мост выгнулся, как нарисованный, и по нему, по

диску солнца, быстро бежала черная машинка. Оторвавшийся от нее хвост пыли волокно ветром на деревню. И на другом берегу, как только машина проскочила мост, стала вздыматься и потянулась пыль. А по закатному зеркалу воды с берегов полз туман, его словно выдувало из-под моста, и скоро мы плыли в сплошном розовом тумане.

— Может ли это быть, — прямо-таки с нежностью спросил Александр Трифонович, — что от вас водочкой пахнет?

— Может быть, Александр Трифонович. И даже так и есть. А еще есть дома неначатая бутылка коньяка.

И мы пошли после речки ужинать к нам домой. Как всегда, сел Александр Трифонович на то место за столом, где обычно сидел мой сын: спиной к стене. Почему-то место это ему нравилось. Только стол отодвигал от себя, иначе было ему тесно. А дети сидели рядышком, притихшие при нем. Поужинав, они ушли.

Мы долго сидели в тот вечер на кухне, хорошо было, и он сказал поразившие меня слова:

— Вы знаете, ведь это, может быть, третья такая статья за всю мою жизнь.

О многом под настроение говорилось. Могучий, грузный, он встряхивал просыхавшими волосами, удаль глядела из светлых его глаз:

— Ничего, ничего... Все-таки все ничего!

Выпито было в меру: мы начали и кончили бутылку коньяка. Он все уговаривал мою жену выпить с нами стопочку, как-то уважительно произнося имя-отчество: Эльга Анатольевна. Ему нравилось, что она — хозяйка, мать.

И не впервые в тот вечер слышал я от Твардовского:

— Чтобы писать, нужен запас покоя в душе.

Именно — покоя. Но не спокойствия. Я провожал Александра Трифоновича, и уже у калитки он сказал, желая сделать приятное:

— Ну, ничего, бог даст вам за ваших детей.

Так это и осталось со мною.

Однажды я зашел к Александру Трифоновичу часу в шестом вечера, но дома не застал: он был в Москве. Я уже выходил из калитки, как вдруг подъезжает машина, а из нее вылезает Твардовский, нагруженный, словно с ярмарки: кульки, папки, кулечки — и локтем прижато, и в руках перед собой не-

сет. Я хотел зайти после, но он не отпускал, и мы вместе пошли в дом.

В доме все это выгружалось: обсыпанные мукой свежие калачи из бывшей булочной Филиппова, еще что-то, еще. А он ходил среди всего радостный, освобожденный: подписан номер журнала в печать, ушел в типографию. Великий груз свалился с плеч. А что в папках привезено, это уже — в другие номера.

Дом у Твардовских был хлебосольный, хозяйка Мария Илларионовна — хорошая, и за столом Александр Трифонович сидел, сдержанно гордясь. Для него вообще, как можно было заметить, дом существовал не в городском понимании, скорее — в крестьянском, родовом: это не место жительства, которое легко меняют ввиду лучших удобств, это — твое место на земле. И хотя дом этот под Москвой, не им построенный, а купленный, никак не напоминал отчий дом на Смоленщине, разрушенный войной, значение, с детства воспринятое, оставалось.

Он сидел за столом, освобожденный от недавних забот, увлеченно рассказывал про одну рукопись, которая самотеком пришла в журнал. Никак невозможно было ее печатать: автор — совсем малограмотный человек.

— Но какие точные подробности! — восторгался Твардовский. — Такое не выдумаешь. Это только солдат мог написать!

Он и сам был на редкость точен. В «Теркине» такое тонкое знание мельчайших подробностей солдатской жизни, какое не поэтам присуще, а скорее прозаикам. Ну и тем, разумеется, кто сам все прошел и не лишен наблюдательности.

Конечно, Твардовского, уже до войны награжденного орденом Ленина, даже при большой настойчивости его не допустили бы в окопы ни при каких обстоятельствах. А когда такой человек с корреспондентским заданием прибывал к командиру дивизии, тот нес за него ответственность. Поэтому как бы радостно ни встречали, а провожали живого, целого — еще радостней.

Если бы не огромный талант, да сам бы он не был крестьянским сыном, ему с одним лишь его военным опытом не написать «Василия Теркина». Не случайно больше никому подобное не удалось. И вот сознание, что эту часть жизни он не столько сам испытал, сколько имел возможность наблюдать, врожденный такт да еще большое чувство собственного достоинства побуждали его в разговоре с бывшими солдатами, строевыми офи-

церами сказать такую фразу: «Ну, да вы это лучше знаете...» Не уверен, что во всех случаях он так считал, но он считал своим долгом так говорить.

И вот за столом, гордясь принесенной рукописью, как гордился он всем, что к его журналу относилось, Твардовский рассказал оттуда подробность: солдат под огнем плывет через реку, пулеметные очереди секут так близко, что он отдергивает руки под воду. Рассказал и как бы засомневался: «Ну, да вы это должны лучше знать». И тут Мария Илларионовна, которой показалось, что он себя умалывает, вступилась за его честь:

— Ты, слава богу, тоже повидал... Что тебе досталось, другому на передовой не пришлось...

Александр Трифонович только чуть улыбнулся, по-мужски призывая простить такую понятную заботу.

А подробность действительно была точная. В нашем полку служили два брата Демиденки, одного убило, другой пополз за ним, вытащить с поля боя. И тут заработал пулемет. Всякий раз, когда пулеметная очередь ложилась близко, он отдергивал руки под себя.

— Ну вот, я же говорю! — обрадовался Твардовский. — Конечно, такое не соврешь. И не выдумаешь.

В нем неколебимо и свято было отношение к тому, что пережил народ, вынесший на себе такую войну. А перед теми, кто с войны не вернулся, кто за всех за нас остался там, жило в нем сознание вины живого перед павшими. Поэтому на отдалении лет, после «Я убит подо Ржевом», после «В тот день, когда окончилась война» написал он «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...», заканчивающееся пронзительным: «но все же, все же, все же...»

Это «все же...» не одного его сопровождало и сопровождает в послевоенной выпавшей нам жизни. Но только он так сказал за всех.

А тогда, вернувшись из Москвы, свалив груз с плеч, такой он сидел у себя дома за столом радушный, радостный.

Когда солнечные дни следуют один за другим, уже и не так радуешься солнцу: спит. Но предзакатное, предгрозовое — как яркое и короткое, как щемящий его особенный свет.

Ни в Твардовские, ни в Есенины не назначают. Жизнь богаче, когда они есть, бедней, когда их нету.

Твардовского нет, и многое многим стало не стыдно.

Не знаю, где еще так велико значение нравственного примера, как велико оно в литературе. Хорошо пишут многие, но великая книга — это всегда нравственный пример.

Вижу, как сидит Александр Трифонович у костерка на берегу, поджав по-турецки босые опухшие ноги. Еще не обсох после купания, и волосы мокры; сидит и смотрит в огонь.

Быть естественным всегда и везде невозможно. Где-то надо и показаться, и тон взять нужный. Он это умел. Но при всем при том он оставался самим собой. Он не играл роль, он жил и был занят делом жизни. И значение свое сознавал. Это чувствовалось. Была в нем та сосредоточенность, та ненапускная значительность, которая отличает человека, живущего собственной духовной жизнью.

Все больше убеждаюсь, что есть в жизни своя скрытая мера и поступков, и дел, и вещей. Кто черпал из жизни, как из колодца, — и свое вычерпать спешил, и чужое, — как бы он ни утверждал себя, как бы ни возносился, не станет его — и нет ничего. Жить посмертно суждено тем, кто стремился не из жизни взять, а свое оставить людям. Такова природа таланта.

Истинный талант бескорыстен. Его не надо насаждать, издавать какие-то приказы, распоряжения. Власть его — духовная, добровольно признаваемая людьми. Вмещающая прошлое, такая жизнь длится в будущем, в ней особенно ощутима связь времен.

Это и Твардовского судьба.

После поездки в США пришлось мне как-то к слову рассказать Александру Трифоновичу про американского критика и поэта Кеннета Рексрота, уже старого человека, знавшего в свое время Хемингуэя. Мы сидели у нас во дворе, в беседке.

Когда-то на всем участке только здесь была тень. Потом поднялись посаженные лиственницы, черемуха, рябина, беседку накрыло их тенью, а деревянные столбы подгнили, пришлось врыть пасынки из труб. Александр Трифонович садился в беседке всегда на одно и то же место, опирал палочку о стол, а врытая в землю труба оказывалась у него под правой рукой. Он курил и стряхивал в нее пепел, туда же бросал окурки, обещая, что когда-нибудь наполнит ее доверху. А курил он всегда одни и те же сигареты — «Ароматные», их запахом и сам был пропитан.

Так вот, рассказывал я про Рексрота, а он слушал без особого интереса, налегши грудью на стол. Вдруг оживился. Это ког-

да я сказал, что, если человек долго живет на свете, странная вещь происходит: с какого-то момента ему понятней и ближе становится то, что за сто, за тысячу лет до него было. Словно это и теперь тоже часть его собственной жизни. Твардовский быстро взглянул своими светлыми глазами — в них мысль и строгая серьезность, — подтвердил:

— Да! Я это знаю!

Он по собственной прожитой жизни знал.

А травля его уже шла полным ходом. Выступили газеты «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Литературная Россия». А первым выстрелил «Огонек», который возглавлял тогда литературный палач А. Софронов: известное письмо одиннадцати литераторов, в основном — деревенщиков, открыло кампанию.

Мы с Юрием Трифоновым написали письмо в защиту Твардовского и «Нового мира», мало у него тогда оставалось защитников, понесли в «Литературную газету». Первый зам. главного редактора принял нас. Прочел. «Вы, надеюсь, понимаете, что я должен информировать?» — «Понимаем». — «У нас какая-то беседа с вами должна была идти... Вы, конечно, понимаете, что теперь она не пойдет?..» — «Понимаю», — сказал я. Тут он на Трифонова посмотрел, повспоминал: «У нас что-то лежит о ваших творческих планах... Вы, надеюсь, понимаете?..» Разумеется, ничего они не напечатали. Копию мы передали Александру Трифоновичу в больницу, чтоб он там почувствовал хоть малую поддержку. И оттуда, из больницы, я получил от него письмо на блокнотном листке:

«5.VIII. Кунцевская обитель.

Григорий Яковлевич, дорогой друг!

Я был до слез тронут, увидев копию письма, напечатанного явно Вашей рукой и вступившего в дело в частном разрезе по форме, но по существу отнюдь не частном.

Я способен понять необходимость в данных документах известных преувеличений в оценке моей персоны, но дело не в этом, а в том, что Вы по собственной инициативе полезли в эту драку. Спасибо! И повторяю кутузовское: «Будут они у меня конское мясо есть». Вообще говоря, уже вчера можно было понять по «Сов. России», что атака захлебнулась.

Наше «От редакции» — короткое, энергичное и даже гордое — «цензурой дозволено». Поглядим, что скажет Никодим.

Поклон Эльге Анатольевне. Привет мой Ю. В. Тр. Спешу встретить Олю к воротам. Ваш А. Т.»

Не помню, чтобы когда-либо мы говорили с Александром Трифоновичем о смерти. Конечно, все в жизни от нее неотделимо, самое главное проверяется у ее порога, но чтобы прямо о ней говорили — не помню. Однако осталось впечатление, что он просто относился к тому, что каждого из нас ждет. Сколько ни живи, кем ты ни будь, а настанет время уйти на тот «заполненный товарищами берег».

Даже рассказывая о смерти Казакевича, с которым он был дружен и последние дни сживал у его кровати, он, собственно, не о самой смерти рассказывал, а о том, как Казакевич, уже обреченный, замученный болями, все говорил, как надоело ему проворачивать в голове недописанный роман, как тяжело это, как он от этого устал.

Вот о том, что умер, не дописав главной своей книги, до последнего часа проворачивая ее в мозгу, об этом Александр Трифонович рассказывал и вновь к этому возвращался, задумываясь, как я понимал, не только о Казакевиче.

Но кто знает заранее, какая книга — главная? Ее всегда хочется видеть впереди, а оказывается нередко, что главной была та, которую писали со свежими силами, многого еще не ведая и не слишком серьезно относясь к себе.

Он спокойно переносил боль, не прислушиваясь к болезням. Даже когда у него начала отниматься рука, он что-то еще делал в саду, пытался косить, копать.

Я увидел Александра Трифоновича, когда его привезли домой из больницы: после многократных лечений, после облучения. Все уже знали: надежды нет.

Многие в те дни старались вести себя при нем естественно, будто ничего не случилось, и это была мучительная ложь. Лишенный дара речи, сильно исхудавший, истончившийся, он смотрел молча, все видя, все понимая.

А вот Зиновий Гердт, как будто ничего и не старался. Он приходил, сильно хромя на свою раненую ногу, спрашивал деловито:

— Кипяток есть? Так... Помазок? Будем бриться.

И крепко мылил горячей пеной, не боясь голову сотрясти, брил, как здорового, и что-то рассказывал своим громким голо-

сом. Обязанный полотенцем, намыленный, а потом умытый, с лоснящимися после бритья щеками, освеженный, Александр Трифонович радостно смотрел на него, охотно слушал. А утешение доставлял младенец, младший внук. Ничего не ведая и не сознавая, с той правотой, какую жизнь дала, он топал по полу, не страшась штаны потерять. Обутый в толстые шерстяные носки деревенской вязки, как дед его когда-то, светлый, рыженький, неправдоподобно похожий, он топал храбро по дому, а дед поворачивал голову, смотрел вслед, провожал взглядом.

Твардовский умер в декабре.

А летом так же высоко стояла трава по обочинам, и у его забора впервые за много лет никто ее не косил.

Перед днем его рождения, перед 21 июня, хотелось мне выкосить и обочины, и кювет, как он любил, чтобы ровная густая щеточка зеленела вдоль всего участка. Я и косу наточил, с вечера приготовил: думал, приду пораньше, пока в поселке все еще спят. Для самого себя хотелось. И в память о нем. Но — не решился, не спросив. А спрашивать было неловко.

Косил там, насколько я знаю, сторож из детского санатория Евгений Антонович Беляков, хороший, мудрый старик. При жизни Александра Трифоновича он часто заходил: что-либо сделать по хозяйству и так просто, поговорить. Придет тихий, стесняющийся, подаст руку:

— Как чувство?

И щурится, будто на солнышко глядя. А руки его, черствые, с разбухшими суставами и пальцами, как бы даже не разгибающимися до конца, много-таки поработали на своем веку. И все — с толком, умело, не спеша. За деньги ли, без денег, но всегда — на совесть. Сохранил старик это редкое в наши дни качество: уважение к себе, которое столькими утеряно.

Александр Трифонович, бывало, любовался им. Мне даже казалось, что в чем-то существенном сам он утверждает, глядя на старика. Рассказывал, не раз он рассказывал это и, наверное, не мне одному:

— Спрашиваю его: годков-то тебе сколько же?

Тут Твардовский непременно повышал голос, будто глухому старику в ухо кричит. Делал он это бессознательно, поскольку Евгений Антонович в свои годы не только слуха не потерял, но слышал не хуже нас обоих.

— Годков тебе сколько, говорю?..

— Семей миновал.

Вот этим «семой миновал» Александр Трифонович восхищался. Не год, конечно, седьмой, а «семой» десяток. И видно, не вчера миновал. Но при всем при том сохранил старик собственный разум, твердые понятия и свои представления обо всем в жизни. Сам себя он продолжал кормить в такие годы, и хвори свои хоть и не без помощи врачей, но больше все же своими средствами одолевал, теми травками и настоями, которые «способствуют».

Он и косил в тот год вдоль участка.

Не знаю, сколько осталось мне весен, но почему-то я особенно чувствую нынешнюю, быстро уходящую. И снег, стремительно тающий, и ослепительный блеск солнца в вешней воде. Словно никогда оно еще так не светило, не блистало.

И думаю я сейчас, на тающий снег глядя, спиной чувствуя, как солнце печет, — думаю я о тех, кто эту весну уже не увидел. Не думаю даже, а чувствую за них. Как стало их много, какой длинный ряд безгласный, и все больше там дорогих мне людей.

Последняя весна Твардовского была здесь, на Пахре; здесь он ее видел, казался еще здоров.

Помню, как-то косил я перед домом. Было начало лета. За городом постоянно этот соблазн: бросить работу и пойти копать, косить или столярничать. Но тогда это было под вечер, после работы. Сильно липли комары на потную шею, предвещая завтра жаркий день. Срезанная трава пахла свежим соком.

Вдруг вижу — от калитки по дорожке Александр Трифонович со своей палочкой. Я бросил косить, стал точить косу. Но не так, как косари на лугу, взявшись рукой за обух, а как мне было удобней — носком уперев в столбик. Знал я, что все это он заметит, непременно посмотрит, низко ли, ровно ли срезана трава, но я так привык, и мне было так проще.

Концом своей палочки он шевелил скошенную траву и говорил о том, что вот пишут «пахло сеном», а сколько и каких запахов имеет скошенный луг! Когда только скошен, когда его солнцем печет полуденным, когда граблями ворошат невысохшую, провянувшую траву. И вечером, когда луг влажен. И сложенное, сухое сено... Это же все разные запахи!

Стоял он такой задумавшийся; волосы легкие, светлые, почти совсем уже седые, чуть ветер шевелил на лбу. И вдруг спросил: читал ли я года два назад напечатанные в журнале «Ино-

Зимы сменяются веснами, и летними вечерами все так же в наклонных лучах красуется палая листва. Наверное, в этом — утверждение и великая правота жизни.

Каждый раз, когда ранним утром я иду на автобус по гулкому над водой деревянному мосту, стоят уже у мокрых железных перил, сидят на берегу и в лодках среди тины озябшие рыболовы: и те, что тогда были, и те, что за это время подросли. Мокро еще все: и трава, и лес. А река словно паром исходит. Это согревает ее низко поднявшееся над лесом солнце, чистое, потому что чист воздух, отстоявшийся за ночь. И так же у дальнего берега, к которому мы плыли, бывало, отражены в зеленой воде белая балюстрада и белые опрокинутые колонны детского санатория. Всплеснет рыба — все это заколеблется в воде, расходясь кругами.

И опять я вижу на том же самом месте дымящийся костерок на берегу, сложенный из сухих веток и мусора. Придерживаясь рукой за сук дерева, по мокрому, осыпающемуся под босыми ногами берегу спускается к воде грузный человек. Вода в этот час теплой воздуха, а дно у берега илистое, вязкое. Он входит по колено, потом со вздохом ложится на воду и плывет к тому берегу, не размашисто, не шумно плывет над зеленой глубиной.

Дважды не войти в ту же реку, и дважды ни река, ни время не текут. Далеко теперь те воды, что протекали тогда здесь, под мостом. Не раз они с тех пор пролились дождями и вновь обратились в пар.

На вышнем ветру плывут они над нами в небесной выси, и вечное солнце светит сквозь них. Какими оттуда, из дали расстояний и времен, увидятся наши заботы, наши боли и дела? Увидятся ли? Нет, все же увидятся.

Вот и его слово, его поэзия, придя из жизни, вернулись в жизнь.

С ней и останутся.

В очередной раз летал над планетой наш космический экипаж, газеты печатали фотографии: Никита Сергеевич Хрущев, отдыхающий на юге, разговаривает с космонавтами по белому телефону. Поговорил, передал трубку Микояну. Микоян, если кто забыл, — единственный из бакинских комиссаров, кто уцелел, остальные были расстреляны. Он же, стоя на трибуне в кавказской черной косоворотке со множеством пуговиц, возгла-

шал в 37-м году здравицу «нашим славным органам» и сталинскому наркому Ежову. Вскоре и Ежова втянет в черную дыру репрессий, в эту мясорубку, перемоловшую столько, Микоян уцелеет. И когда Хрущев разгромит последнее ближайшее окружение Сталина, так называемую антипартийную группировку — Молотова, Кагановича, Маленкова «и примкнувшего к ним Шепилова», — опять же уцелеет Микоян. К тому времени относительно анекдот: вышли наши деятели на крыльцо, дождь проливной. У всех — зонты, и только Микоян без зонтика. Как же вы, Анастас Иванович? А я — между капельками, между капельками... Но и когда Хрущева ссадят с кресла, отправят на пенсию, Микоян и при Брежневе еще некоторое время будет оставаться на плаву: от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Но пока что они — рядом, Хрущев и Микоян, и трубка белого телефона переходит из рук в руки: они разговаривают с космонавтами, готовятся встречать их на земле, и телевидение все это показывает народонаселению.

Как обычно, заранее разработан ритуал встречи: постеляют красную ковровую дорожку, и от трапа самолета, держа под козырек, пойдут по ней космонавты докладывать первому секретарю: задание партии и правительства выполнено. Их ждут Золотые Звезды Героев. И отдохнувший, загорелый Никита Сергеевич по-отечески будет стоять на трибуне мавзолея, а внизу — народное ликование.

Но взлетели они при Хрущеве, а возвращаться им предстояло при Брежневе, с ним и славу делить, и почет.

Они еще летали (по слухам, они даже дольше запланированного промотались в космосе из-за событий, происходивших на земле), когда позвонил мне давний мой приятель Лазарь Ильич Лазарев, в прошлом — командир роты под Сталинградом, откуда вернулся он инвалидом войны:

— Можешь сейчас зайти ко мне?

Время раннее, самое рабочее время, зря звонить он бы не стал. Но с чего вдруг? И как сердце оборвалось: Хрущева свергли! К тому шло. Жизнь все парадней и парадней становилась — с фасада. И все тревожней — внутри. Видно было, как он сдает позиции, как за спиной его уже действуют кукловоды. Вот он стучит кулаком на встрече с деятелями искусства, и самые ярые сталинисты аплодируют ему, а он то ли не понимает, что происходит, то ли разум отшибло вдруг? Уже сказаны им слова, что, мол, во всем он — ленинец, но в том, что касается искус-

ства — сталинец. Кратковременная оттепель кончилась, нешироко приоткрывшаяся дверь вот-вот захлопнется. И я торопился дописать мой роман «Июль 41 года», ни одну свою книгу я так не гнал, не спешил так. Еще в ту пору, когда в «Новом мире» печаталась «Пядь земли», мне предложили договор на новую вещь, чтобы, как это делается, закрепить автора за редакцией. Я подписал его. И вот принес роман. Прочли. Твардовский сказал:

— Выньте главы про тридцать седьмой год, иначе напечатать не сможем.

— Как же я выну, когда без тридцать седьмого года не было бы всей трагедии сорок первого? Из жизни этого не выкинешь.

«Новый мир» уже теснили со всех сторон, наверное, можно было их понять и не обижаться. Но этот роман был мне особенно дорог, с болью я писал многие его сцены. Это не фигуральное выражение, я говорю о боли физической: ляжешь спать, а боль в лопатке застряла. И снится все заново, то ли спишь, то ли не спишь. Короче говоря, я обиделся. И даже вернул отработанный аванс, который имел право не возвращать: полторы тысячи рублей, очень нужных моей семье в ту пору. Твардовский заходил по-прежнему, сидим как-то на террасе, выпиваем, он заговорил о романе, но вижу: за чужой щекой зуб не болит.

Отнес я роман в «Знамя», где в свое время искалечили мою повесть: податься было некуда. Рассчитал просто: что Твардовскому не разрешат, могут разрешить им, вполне правоверным. И угадал. Неужели поспешил радоваться?

Я спросил Лазарева:

— У тебя что-нибудь случилось?

— У меня — нет.

— Тогда я еще часок посижу.

Но какая уж тут работа... А за окном — осень золотая, октябрь, листья пожухлые сгребают во дворе в кучи, малыши, как мы когда-то, зарываются в них. И нет им дела до того, кто там кого наверху спихнул. Они правы. Вот помогают дворнику поджечь кучу, и вьется горьковатый дымок, здесь, на седьмом этаже ощутим.

Даже когда шел я к Лазареву, все же малая надежда оставалась, но вошел — и ее не стало. Посидели мы с ним, прикидывая, что и как теперь будет, но думай, не думай, а от нас ровным счетом ничего не зависит. Мне как раз идти на радио, чи-

тать главу из романа, вполне может стать, приду, а передачу уже отменили.

В многоэтажном здании на улице Качалова стражи в милицейской форме, как обычно, проверяют пропуска у входа, все выглядит незыблемым. А может — слухи?

Вышел ко мне заведующий редакцией Падалка, такая у него фамилия. Ни в одной комнате не приткнуться, мы сели в прокуренном коридоре за круглый обеденный стол, вынесенный сюда неизвестно откуда: он, я, еще кто-то, еще — любят у нас одно дело впятером делать. Все стали говорить какие-то слова о прочитанном, делиться своими так называемыми творческими соображениями. А мне и грустно, и интересно на них смотреть: я-то уже знаю, что Хрущев снят, а они еще живут в мире минувшем.

Вдруг из ближней комнаты, как из норы, высунулся, огляделся некий испуганный молодой человек, манит к себе Падалку:

— Можно вас на минуточку?

Падалка нахмурился, защитный механизм сработал в нем:

— Ну что там у вас?

А тот, хотя весь уже отделился от двери, продолжает подмакивать:

— Сказать вам надо...

Но Падалка почуял опасность, не дает себя заманить:

— Говорите, говорите.

— Да это вам лично.

— А вы — при всех, — и отчуждается все дальше. — Какие могут быть секреты?

Молодой человек решился:

— Только что звонили из «Правды», говорят, Хрущев снят. Позвоните, узнайте...

Тишина настала полнейшая. А по коридору — мимо, мимо — снуют люди с бумажками, огибают круглый стол изящным телодвижением, многие в этом узком коридоре уже оббили об него бока.

— Куда это я буду звонить? — обрел наконец Падалка дар речи. И накаляясь: — О чем я буду спрашивать?

И правда, поставим себя на его место: куда звонить, что спрашивать?

Но тут позвали меня в аппаратную. Примерно полчаса длилась запись, а когда я вышел из-за этих мощных звукопрони-

цаемых дверей, вышел я уже в другой мир, где все уже всё знали. И несколько человек, сойдясь, возбужденно говорили о чем-то в сплошном сигаретном дыму. Ясно — о чем. Я подошел. Они взволнованно говорили о том, что, по слухам, Барабаш, заместитель редактора «Литературной газеты», перемещается выше, в отдел ЦК. Всего полчаса прошло, а уже пережито главное событие, и умы занимает некий Барабаш... Мне даже жаль стало Никиту Сергеевича, мог ли он себе такое представить?

Вышел на улицу — все как всегда. И лица у людей обычные, никакой тревоги не ощущается: не знают еще? И повлекли меня мои ноги туда, где лежал мой роман: новые времена наступят, прежние обязательства не в счет. Он и так-то проходил трудно. Каждую строчку перечитывали не раз, страницы смотрели на просвет. В верстке цензура потребовала снять сцену, где хозяин дома, разговаривая с приятелем, накрыл телефон подушкой. Впрочем, они разрешат эту сцену, если автор докажет, что телефоны у нас прослушивают. Надо было спасти роман, я уже чувствовал: вот-вот дверь захлопнется. И предложил: в стене отдушина отопления, на нее указывает хозяин дома, при ней опасается говорить. Но когда в спешке вычеркивали, фраза про телефон осталась, я это заметил, но промолчал. Все это тогда было, а теперь времена переменялись.

Есть старый-старый анекдот про то, как в Харькове или в Киеве остановился селянин, читает вывешенную на стенде газету: «От жмуть, от жмуть!» Милиционер тут как тут: «Хто тэбэ жмэ, хто?» — «Та чоботы!» — «Яки чоботы? Ты ж — босый». — «Ото ж и босый, шо жмуть...» Вот так и я враз стал босым. А я уже радовался: как ни давили на меня в редакции, я держался. Лучшая редакторша «Знамени» под личным надзором Бориса Леоновича Сучкова редактировала мой роман. Не сразу догадался я, почему именно ей поручили. А все, как всегда, цинично и просто: ее брат, знаменитый командарм Штерн, был расстрелян, вот ей и поручено было уговорить меня снять главы о 37-м годе.

— Поверьте, уж я бы не стала ни в коем случае. Мой брат, как вы знаете... — Тут она делала печальную паузу. — Но то, что у вас в этой главе, это — гиньоль!

Я не спорил, я набирался опыта.

— Так вы же ничего не сделали! — поражалась она, когда в назначенный день я приходил к ней.

— Я так сразу не могу. Я вообще пишу медленно.

А когда добрались мы до конца, я разложил перед ней все, что она именем своего расстрелянного брата требовала изъять:

— И вам не стыдно?

Наверное, это было жестоко, но я должен был защищать свою книгу. И вот я шел заново узнавать ее судьбу. Мысленно я уже со своей книгой простился. Стыдно признаваться, но я шел и только что не плакал в душе, так она мне была дорога. Два с половиной года писал я, и бывали редкостные счастливые дни, когда что-то похожее на озарение снисходило. Помню, зимой, в школьные каникулы, приехала Юдя, сестра моя, с мужем, школьным моим товарищем Аликом, с сыном Сашей, он тогда еще маленький был. Мои дети обрадовались, вместе все пошли на лыжах, вернулись надышавшиеся, голодные, а я сидел и писал, на меня, что называется, накатило. И они без меня за стол не садятся. Заморил всех голодом. Сейчас все это вспоминалось как несбыточное счастье. Но отрезать надо сразу, не томить душу пустыми надеждами. Когда человеку терять нечего, у него ничего и не выманишь.

В общем-то, шел я посмотреть, как те самые люди, которые поздравляли меня, будут теперь отступаться от всего сказанного, дело обычное, слово у нас ни к чему не обязывает. И вот иду я мимо памятника Тимирязеву, что столбом стоит у Никитских ворот, как всегда на плечах, на голове его — белые потоки голубинового помета, а тут еще, помню, голубь сидел на темени, клюв во все стороны поворачивал, и вижу у газетного стенда — Василий Васильевич Катинев, он в то время был ответственный секретарь «Знамени». Меня так и потянуло к нему: вот сейчас увижу самую первую реакцию. А он меня заметил, жестом приглашает повозмущаться газетной статьей, там «Советский спорт» был вывешен:

— Вот, пожалуйста! Мы что, раньше не знали, что спортсменов надо хорошо содержать? До сих пор боялись признать очевидное. И еще хотим рекорды ставить!

Э-э, думаю, да ты еще в неведении пребываешь. И осмелел совсем не ко времени.

И всю дорогу, пока мы шли с ним — а хорош все-таки Тверской бульвар осенью, хорошо идти под его липами, наверное, только тогда и оценишь, когда на душе плохо, — всю дорогу произносил он смелые речи про то, как поставлены дела в спорте у нас и у них. А я думал, на него глядя: что ты завтра

будешь говорить, узнав? Отец его был репрессирован, и всю жизнь он, сын, «который за отца не отвечает», чувствовал выжженное на себе клеймо.

Первый заместитель главного редактора Борис Леонтьевич Сучков сказал мне голосом печальным, подняв глаза в некоей задумчивости, а взгляд его был светел:

— Знаете, композиционно для романа будет даже лучше, если мы главы о тридцать седьмом годе, ну, там, где у вас все эти аресты... перенесем во вторую половину, в следующем номере напечатаем. А первую сдадим чистой. Поверьте моему опыту, так — стройней.

— Нет, Борис Леонтьевич, по-моему, вы опережаете события, сами еще не знаете, что требовать.

— Почему мы не знаем? — как бы даже обиделся он. — Мы знаем.

И жестом руки произвольно указал на газету «Юманите», она лежала у него слева на столе. И вот этот жест объяснил мне многое: не поступало еще твердых указаний «сверху», иначе бы не на «Юманите» указала рука произвольно, а на телефон.

— Нет, Борис Леонтьевич, ничего переносить не надо. Не удержавшись на голове, на хвосте не удержишься.

— Ну, как хотите...

И взгляд его светлых, чуть выпуклых глаз похолодел. Он был человек образованный, умный, но мудрости жизнь учит немногих.

Как-то он сказал мне: «Вы там, — жест вверх, — никогда не будете своим. А я там — свой». Это была правда: и в отношении меня, и в отношении его. Он рано стал своим, путь перед ним открывался широкий. А потом в издательстве, где он был директором, взламывали паркет, Сучкову дали двадцать пять лет срока, определив его шпионом, не знаю точно, какой страны, и следом за ним за проволоку за колючую пошло немало людей. При Хрущеве он был выпущен и снова начал расти. Мог ли я требовать, хотеть даже, чтобы он из-за меня чем-то рисковал? Но как быстро включается этот механизм, всю страну объявляющий, где каждому определено место, как патронам в пулеметной ленте.

А с другой стороны посмотреть — это всегда было. Кто славил победителей, кто памятники им высекал, бессмертные создания, пережившие века и тысячелетия? Побежденные, покоренные, рабы. Они-то и становились самыми верными слугами.

Опять я брел по Тверскому бульвару, только в этот раз в сторону Никитских ворот, потом свернул на улицу Герцена, ныне Большую Никитскую. И оттого, что не знал, куда себя деть, забрел в Дом литераторов. Первым мне попался навстречу Олег Васильевич Волков, дворянин, приятно грассирующий, с прекрасной бородой:

— Как вы думаете, неужели опять начнут сажать?

Это — первое, что он спросил.

— Нет, — сказал я уверенно, — не начнут. Этого не будет.

Разумеется, ни в чем я не был уверен, но я видел его лицо в этот момент. Этот человек не десять, не семнадцать, а все двадцать семь лет провел в лагерях и ссылках. И маленькой показалась мне моя беда по сравнению с его тревогой, так надо бы сказать. Но — нет, своя беда, мала ли она, не мала, она — своя. Я не знал тогда и не надеялся, что роман все-таки выйдет, что я подержу в руках оба номера «Знамени», в которых он напечатан.

И однажды вернулся я домой, выпивши на радостях, а дома ждала меня телеграмма от Василя Быкова: «Дорогой Григорий Июль 41 года лучшее что написано за двадцать лет». Из огромной пачки писем приведу письмо Н. И. Гаген-Торн, несколько отрывков: «Я не видела войны — встретила ее в колымских лагерях, арестованная в 1937 году. Все, что читала, воспринимала настороженно: «Каков процент привычно-необходимой лжи?» Каждому Вашему слову — веришь. Да, да — именно так это должно было быть, человечески — так. С какой силой правды показали Вы общность беспомощной и безоружной толпы перед вооруженным конвоем. Я испытала это в толпе заключенных, которую гнали прикладами «свои», советские командиры. Прошла сорок допросов, следствие, тюрьмы, этапы, Колыму, где нам зачитывали на поверке списки расстрелянных, и думала, что знаю всю горечь человеческой незащитности. Но Вы сумели показать незащитность — беспомощность военного, который понимает безумие совершающегося и не имеет права остановить это безумие... Какое счастье для всех увидеть эту книгу в печати. И счастье для Вас, что удалось сказать о пережитом без ноты фальши, приспособленчества».

Роман «Июль 41 года» вышел в журнале, был издан книгой, вышел в сборнике и был запрещен в дальнейшем на 12 лет. Он выходил в это время за границей во многих странах: Франция, Италия, в Швеции роман перевел Ханс Бьеркегрэн, в Германии

Вернер Кемпфе. Финский газетный издатель, миллионер Ааро Коркиякиви, прочтя роман, пригласил нас с женой к себе, на север Финляндии, в город Оулу. Были мы там день и вечер, поезд в Хельсинки отходил в седьмом часу утра. И видим из вагона: огромный, толстый Ааро и высокая его жена бегут по платформе, Ааро размахивает газетой в руке. Уже напечатаны в его газете фотографии нас всех, глава романа, вечерняя наша беседа.

А дома в это время густо пошли разгромные статьи. Я их не читал и фамилий авторов не помню, хотя двое из них, авторы софроневского «Огонька», присылали мне приглашения попри-сутствовать на защите ими докторских диссертаций: все — по моим книгам, которые они изничтожали. Я в это время писал повесть «Карпухин».

Тридцать пять лет минуло с тех пор, и вот недавно получаю письмо из Свердловской области от человека другого поколения: «Только что прочитал Ваш роман «Июль 41 года». Читал и плакал... Мне кажется, Вы уже в 64-м году, когда все это писали, все поняли: и систему, приведшую нашу страну к великому позору и великой трагедии 41-го года, и людей, в конце концов победивших в 45-м».

Нет, я тогда еще не понял. Я писал книгу, и многое мне открывалось: и в душах людей, и в самом воздухе времени — во всем том, что стало историей.

ВОТ ОН УЖЕ ОТКРЫВАЕТ КАЛИТКУ...

Когда умирает известный, уважаемый человек, друзей у него обнаруживается значительно больше, чем было при жизни. Его теперь не спрашивают, кого захотел бы он числить в друзьях, кого не захотел бы. И появляются любопытные воспоминания. Вот читаю: «Передают, что у Ю. Трифонова неожиданно умерла жена. И что он от горя запил. История действительно не приведи господь. Ее звали Нила».

Ее звали Нина. Родители дома звали ее Неля. Она была ученицей знаменитой Барсовой, одно время пела на сцене Большого театра, и ее сценическая фамилия была Нелина, Нина Нелина. Она действительно умерла внезапно, но Трифонов не записывал, могу свидетельствовать.

Однако читаю дальше: «Как рассказывал мне потом Лев Гинзбург, она, приехав в Трускавец, на другой день к вечеру позвонила Юре, пожаловалась на плохое самочувствие. А утром он получил телеграмму, в которой администрация гостиницы сообщала, что Нила скончалась».

Поехала она отдыхать не в Трускавец, на Украину, а в Друскининкай, в Прибалтику, в Литву. Жила не в гостинице, а в частном доме сняла комнату на втором этаже, так что «администрация гостиницы» ничего сообщить Юре из Трускавца не могла.

«В Трускавец друзья одного его не пустили. С ним отправились Винокуров и Гинзбург. Обрато они с гробом ехали на грузовике».

Не помню, кто ездил в Друскининкай за Ниной, но одним из тех, кто сопровождал гроб, был хозяин дома, в котором она останавливалась. А встречать гроб с телом мы ездили вместе с Юрой Трифоновым за Москву и долго ждали у мотеля.

Полжизни тому назад мы с Юрой учились в Литературном институте. Он был на два года моложе меня, но на курс старше: я поступал в институт, возвратясь с фронта, демобилизо-

вавшись. Не могу сказать, что в институтскую пору мы дружили, по складу характера мы люди довольно разные, но многое сближало. И когда Юра получил Сталинскую премию за повесть «Студенты», я почему-то решил, что непременно буду приглашен на празднование, пошел на почту, дал телеграмму, и была там фраза: «С утра чешется нос». По примете нос чешется к выпивке, намек понятен. Но телеграфистка занервничала — время было суровое, еще жив был Сталин, — заподозрила что-то похожее на шифр, сказала, что такую телеграмму передавать не будет, я настаивал, она с текстом в руке ходила советоваться к начальству, и все это на глазах очереди к окошку, а очереди у нас нетерпеливы. В конце концов она подсчитала слова, назвала сумму, и тут, после всего, выяснилось, что у меня еще и не хватает сколько-то копеек. И я со стыдом бегал за этими деньгами...

Стыдные мелочи почему-то особенно запоминаются. Будучи уже известным писателем, книги его к тому времени издавались во многих странах, рассказывал мне Юра, хмурясь, чтобы не улыбаться, но и на отдалении лет все еще чувствуя себя уязвленным, как он первокурсником читал свой рассказ в актовом зале. Было это обставлено торжественно: зал, полный студентов, президиум, в президиуме — ректор, Гладков, классик первых советских десятилетий. Почему-то Юра решил, что по дороге к трибуне ему полагается пожать президиуму руки, он это проделал на глазах всего зала, по очереди пожал всем руки, Гладкову в том числе, как бы предвосхищая свой триумф. А был разгром. И яростней всех громил его рассказ Гладков, уже в ту пору похожий на бабушку: седые волосы — на уши, лицо круглое, с припухшими дряблыми щеками, круглый нос, круглые очки, а в них — увеличенные стеклами, свирепые бесцветные глаза. Этого своего маленького позора — «главное, всем руки пожимал!» — Юра забыть не мог.

Ближе к осени 52-го года Юра Трифонов предложил мне снять койку в мастерской его тестя, художника. Минул почти год с той поры, когда он стал лауреатом; известность, деньги, а вскоре — женитьба на певице Большого театра Нине Нелиной — почти что династический брак той поры — все это на него, двадцатипятилетнего, не искушенного в жизни и в женщинах, обрушилось сразу. Они поехали на дачу, в Серебряный бор (дача эта сохранялась за его бабушкой, старой большевичкой, которой Сталин подарил «Краткий курс истории

ВКП(б)», лично написав, а в это время дочь ее, Юрина мать, погибала в одном из лагерей ГУЛАГа, а муж ее дочери, Юрин отец, уже был расстрелян), так вот, компанией поехали они на дачу, праздновать в очередной раз лауреатство, была и Нина, она осталась ночевать, и они поженились.

А уже кончалась эпоха царствования Сталина, эпоха жуткого страха, придавившего страну, но и великих соблазнов. Одних по ночам увозили на Лубянку в фургонах с надписями «Хлеб», «Мясо», как после об этом напишет Солженицын, другие вступали в свою золотую пору, мечтая, чтоб она длилась, и опыт ушедших в небытие, горький опыт взлетов и крушений человеческих судеб по воле государевой ничему никого не учил. Вот и Юра Трифонов вступил в клан избранных, к которому принадлежал по рождению, был вырван оттуда мальчиком, когда его родителей арестовали, пережил годы унижений и вновь возвратился туда, но уже в другом качестве: не заслугами отца, а сам, за свои заслуги был причислен.

Была куплена машина «Победа», лучшая и самая дорогая по тем временам, если не брать в расчет черные правительственные ЗИМы и ЗИСы (в переводе на русский язык аббревиатуры эти означали: «Завод имени Молотова» и «Завод имени Сталина»), и немолодой, внушительного вида шофер ожидал у подъезда выхода молодых хозяев. Наскоро распевшись, то есть пробежав пальцем по клавишам и выдав две-три трели, Нина в меховой, цигейковой, только что купленной шубке, жена лауреата Сталинской премии, и Юра, посолонднейший и тоже одетый тепло, спускались к машине. «Я тот, кто сопровождает Жаклин Кеннеди», — не без юмора скажет о себе молодой президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди в один из визитов в Европу. Юра в своей новой роли был по молодости серьезен.

В дальнейшем, когда сменяются эпохи, он взглянет на многое со стороны и напишет в повести «Долгое прощание»:

«Все эти бегущие впереди, озабоченные несчастьями родных, торопятся по своим делам, унылым и длинным, как большой забор, а она идет тихо, дышит глубоко, печально, спокойно, как и полагается богатой женщине... Николай Демьянович изнутри отпахнул дверцу, и Ляля, подобрав длинную полу цигейки — раньше только поглядывала на улице, как дамы небрежно, привычным движением поднимали полы своих дорогих шуб, прежде чем скрыться в глубине автомобиля,

а теперь вот сама, на зависть проходящим женщинам, — юркнула довольно проворно на заднее сиденье».

Жизнь их, опыт этой жизни — основа лучших его повестей, которые со временем сделают ему имя. В этих книгах Нина живая, и все они, по сути, — долгое прощание.

Когда я снял койку в мастерской, мои двести пятьдесят до-реформенных рублей сталинских времен, разумеется, ничего не значили в бюджете их семьи, но тестю, художнику, нужна была эта видимость, мол, живет он не на деньги зятя. А я один раз, чтобы уплатить ему в срок, у Юры же и одалживался.

Почему он позвал меня? Наверное, осталось после института взаимное расположение, да и жизнь как-то все время проходила рядом. Там же, в Серебряном бору, сняла на лето дачу моя двоюродная сестра, и, когда они с Ниной, две матери, прогуливались с колясками под соснами по песчаному берегу Москвы-реки (сын моей сестры и дочь Нины — ровесники), обсуждалось все: от кормления грудью до интимных подробностей. «Сейчас все мужики поистаскавшиеся, истратились раньше времени, — говорила Нина. — А вот Юра...» И очень хвалила его. Он же, чтобы внести ясность, сказал мне о прошлом ее замужестве: «Нина как честная женщина не могла *так* и потому вышла замуж». И строго посмотрел через очки, исключая любые иные толкования.

Успеха, к сожалению, не прощают, и зависть и сплетни окружали его всю жизнь. Дочь у них родилась семимесячной. Собираясь в театр и, как всегда, торопясь, что-то хватая, что-то забывая, роняя, Нина уронила ноты. Будто бы это плохая примета и, чтобы действие ее нейтрализовать, требуется тут же сесть на ноты. Женщина молодая, быстрая, сильная, Нина с размаху села на ноты, на пол. В тот же вечер ее увезли рожать. Ну и поскольку ребенок родился всего через семь месяцев после свадьбы, ближайшие Юрины друзья — уж им-то лучше знать! — вычислили: дочь — не его. А она была точной его копией, особенно — когда подросла: и тот же взгляд в очках, и крупная такая же.

Целую вечность спустя все повторится. Уже не будет Нины, подрастут дети их дочери, Юрины внуки, а у него, в другом браке, родится сын, и с новой силой вспыхнут те же толки: сын — не его. И этому охотно станут верить: известный писатель, человек в славе, интересно узнать про него такую подробность. А мальчик — тоже точная его копия. И как-то, уже

школьником, приведет он ко мне на дачу своего отчима, дорогу ему покажет, и я увижу маленького Юру, таким, наверное, он был в детстве, увижу, как не хватает мальчику отца, как тянется он к мужчине.

Не знаю почему; но за Юру у меня почему-то нередко щемило сердце. Здравомысленно рассуждая, жалеть скорей надо было меня, что-то пишущего неизвестно, но ничего еще толком не напечатавшего в ту пору, пребывающего полулегально на раскладушке в мастерской его тестя, где при любой проверке меня быть не должно, я просто исчезал. Уж снисходительно относиться ко мне он имел право, может, и относился так, не подавая виду: ценят ведь не за хорошие намерения, а по делам, а искусство, литература — как раз та область жизни, где выбраковка идет безжалостно. К тому же он в то время и прочел гораздо больше меня; переехав к Нине, перевез отцовскую библиотеку, покупал редкие книги у букинистов, тогда они были дешевы. И нет-нет да и просвещал меня: такой-то сказал, гений — это вол.

У меня же все мое было при мне: рукописи, несколько книг, подушка перовая, которая, кстати сказать, цела до сих пор, да еще серое солдатское одеяло. За четыре года войны я прочел всего две книги: в госпитале, в Красном Лимане, перечитал «Анну Каренину» и впервые прочел «Титан» Драйзера. Особенно я «Анне Карениной» обрадовался, это была книга из довоенной моей жизни. Но, одичавшему на фронте, странными показались мне переживания Анны и Вронского, чуть ли не блажью. Может быть, еще и потому, что в то время у меня, как говорят, загноилась рана в спине, я читал и чувствовал гнилостный запах, и тошнило меня от этого запаха, а возможно, уже заражение начиналось. И вскоре я лежал на операционном столе носом вниз, пенициллина тогда не было, и мне срезали что-то в ране, как после сказал мне хирург, «ложкой срезали тебе до живого мяса, расчистили рану».

Но и после войны я не сразу смог перечитать эту любимую мною книгу: что-то должно было отпасть от души. Я и Бунина впервые прочел в институте. Многое я уже не прочту: что не прочитано в юности, поздно читать потом, другими глазами смотришь. И не раз добирался я собственным умом до простых вещей, которые из книг знают. Впрочем, в этом есть определенное преимущество, хотя и говорится: глупый учится на своих ошибках, умный — на ошибках других.

Они были красивой парой и внешне очень подходили друг другу — известный писатель, певица Большого театра; Юра любовался, гордился красивой женой, но вот когда он вслед за ней, сразу посOLIDневший, спускался к машине, чтобы везти жену в театр, мне почему-то в такие моменты было его жаль. Наверное, я был не прав, просто сказывалась привычка к неприхотливой жизни.

Амшей Маркович, Юрин тесть, писал большую картину: в полтора человеческих роста высоты и соответственной ширины. Помимо этюдников, красок, лестниц и общего беспорядка мастерской я каждый час, миг каждый видел перед собой эту картину. И вот что на ней изображалось: снег, дерево, рыжая лайка облаивает какое-то живое существо на ветвях, и охотник, задрав голову, изготавливается стрелять вверх. Вокруг его валенок, глубоко ушедших в снег, — аккуратно выписаны лунки: свет полумесяцем по одной стороне, тень полумесяцем — по другой. Собака воссоздана была с натуры: из какой-то гастрольной поездки Нина привезла щеночком эту помесь лайки с дворняжкой. Все остальное — плод творческой фантазии. Я видел, как не хотелось ему писать, как мучил он себя, как заставлял. Но занимать мастерскую и не пользоваться ею, видимо, было нельзя. И в дни, когда ему силой удавалось себя заставить, я дурел от запаха масляных красок и скипидара и спал в этом запахе, и, когда выходил на улицу, на мороз, от меня пахло скипидаром, я сам это чувствовал.

И мастерская, и квартирка небольшая, где они жили у тещи с тестем, — все это помещалось на Верхней Масловке, в доме художников, огромном, по сути дела, общежитии, где каждый знал, что у кого варится в кастрюле. А какие страсти вскипали там, не последней из них была зависть. И нигде, нигде больше не встречал я такого количества безвкусно, крикливо, даже как-то дико одетых женщин: словно курицы в крашенных перьях, да простят меня те из них, кто сегодня жив, ничего дурного не хочу я сказать об этих достойных дамах, но что поделаешь, впечатление было настолько сильным, что я и поныне вижу их.

Иногда странные художники забредали ко мне. Поговорить. Помню одного. Казался он полупомешанным, а может, таковым и был. Приносил свою маленькую картину, разворачивал из тряпок. В довоенном прошлом я рисовал, говорили, не так уж плохо, но вовремя догадался, что мне это не дано. И как отрезал. Но и поныне, когда вижу картины Рембрандта, около

которых стоял бы часами, свет их особенный, свет прежних столетий, что-то оживает в душе, будто и я жил в ту пору. А может, правда жил?

Картина художника тревожила странным, нереальным светом. Было на ней вот что: мрачный угол стены, почти черный, окно тюремное вверху и — свеча, горящая, будто в невесомости, в воздухе. Причем свеча выписана точно, обгорелая неровно, жидкий стекающий стеарин под пламенем свечи, а отсвет на стене кроваво-красный.

— Почему, почему нельзя? — допытывался он. — Свеча... Ну — свеча! Что тут? Как на сатану, замахали на меня руками, смотреть не стали.

А я и сам не знал. Да и что можно, когда чуть не полстраны — в лагерях, за колючей проволокой, а другие полстраны, свободные граждане, — по другую сторону проволоки колючей. Не зря передавали шепотом анекдот: «Как арестовать всю страну сразу? Объявить столицей Магадан, столицу колымского края». Гремели по радио победные марши композиторов-орденоносцев, лауреатов всех Сталинских премий, сопровождая наше неуклонное поступательное шествие к коммунизму, а тут он с такой своей картиной. Но чем дольше я на нее смотрел, на отсвет этот странный, тем тревожней становилось на душе, словно и мне его безумие передавалось. Впрочем, кто безумный? Он ли, сгинувший в безвестности, или вождь наш, гений всех времен и народов, который, владея одной шестой света, сам под конец жизни заточил себя, спал на истлевших простынях, пищу принимал через окошко, как в тюремную камеру через кормушку; только потому, что в условленный час не подал сигнала, пищу не принял, и засуетились и решились войти, страх в себе одолев. Разбитый параличом, обмочившийся, валялся он на полу.

Вечерами обычно заходил ко мне Амшей Маркович. Как-то пришел, переволнованный до крайности. Человек он был тихий, придавленный властным каблуком жены, вздрагивал и устремлялся, когда раздавалось: «Амшей!» Она боготворила дочь и только дочь: «Нина — музыканьша!» Амшей же Маркович и Юрой, и удачным замужеством дочери был восхищен до слез, но дома признаться в этом было некому и небезопасно, и он приходил ко мне.

И вот, взволнованный, метался по мастерской от окна — к двери, от двери — к окну, а я сидел на своей раскладушке, взглядом сопровождая его. Как раз перед этим я писал, и вроде

бы писалось, но не выгонишь же хозяина. А он тем был взволнован, что должно было, как он узнал, появиться новое издание «Студентов» в издательстве «Молодая гвардия», и Юра получит за книгу сто тысяч.

Свет почему-то мы не зажгли, быстро сгустились зимние сумерки, ярче горел фонарь во дворе, и снег на его картине, голубоватый днем, сейчас по-ночному отсвечивал на масляном полотне, будто искрился. Амшей Маркович стал лицом к окну, спиной ко мне, нервные руки за спиной сцепил и так стоял, черный, четкий его силуэт в окне.

— Сто тысяч! — Плечи вздернулись непостижимо, до ушей до самых. — Нет, Юра очень талантлив!

Но среди буден настал в этом доме художников судный день, великий день: прибыла, если не путаю ее названия, закупочная комиссия. Она засела в чьей-то мастерской, и отовсюду понесли полотна, все то, что целый год изготовлялось затворнически, с надеждами и, как принято говорить, в творческих муках. По коридору, по пути проносимых картин, стояли художники, их жены (хочется сказать — их жены, дети, но я боюсь быть неточным, дети, возможно, и не повысыпали из квартир), и не одни лишь доброжелательные взоры сопровождали картины конкурентов. Пришла очередь и Амшея Марковича. Он попросил меня, еще кого-то, мы взяли, понесли, я знал, что несу, триумфа не предвидел. Однако любопытно было посмотреть эту комиссию, да и как откажешь? Конечно, часть позора, пока мы пронесли огромное это полотно сквозь строй, и на меня ложилась, во всяком случае, завистливых взглядов я не заметил.

Много лет спустя в Театре на Таганке Юрий Любимов репетировал нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!» и позвал меня в перерыве посмотреть, поприсутствовать при отборе актеров, кончивших театральные школы. Они кончили курс, их привели показываться, кто-то сам пришел предлагать себя. Отбирал худсовет, а в общем — Любимов. Это было жестокое зрелище. Бог мой, как они старались, как переигрывали! Молодые мужчины, молодые и — чаще всего — красивые женщины, они готовы были на все, чтобы только их взяли. Отыграв, запаленные, вбегали за кулисы: «Дай закурить!.. Дай воды!.. Это было ужасно, да?» А в глазах — надежда, а спрашивает — конкурента. И если безнадежно, тот благодушествует: «Да нет, ничего, это тебе от волнения показалось». — «Да? Правда?»

Я рад был, что не мне решать, не я объявляю приговор, но взять их значило погубить театр. Занятие святым искусством, ох, не святое дело, и нравы тут далеко не лучшие, отбор жесток.

Лица членов закупочной комиссии не запомнились мне, но общее выражение — сидели баре, вершители судеб. Мы внесли, поставили и тут же, по мановению, вынесли. В коридоре, у окна, стоял известный в ту пору художник, кажется, Цыплаков, платком утирал взмокшую лысину: его картину комиссия смотрела заинтересованно и долго, и уже несколько неудачников заискивали перед ним.

А Амшей Маркович, бедный, как только мы появились, разворачивая в дверях огромное его полотно, побежал, побежал впереди нас согбенно, как заяц, приложивший уши, скрывался от позора: чуда не случилось. В мастерской поставили мы его картину не на мольберт, а лицом к стене, охотник и рыжая лайка теперь не маячили у меня перед глазами. И все то время, что я еще прожил там после судебного дня, Амшей Маркович уже не терзал себя понапрасну, а от меня не пахло на улице масляными красками.

Вечером того же дня в мастерскую пришел Юра и, морща в улыбке губы, рассказал, что тещей было сказано его тестю-триумфатору, а сказано было много и громко и сводилось к тому, что он — рохля, никогда не умел постоять за себя, оттого всю жизнь она с ним мучилась. Юра, при внешней сдержанности, даже некоторой внешней мрачноватости, проистекавшей скорей всего от застенчивости, был в жизни склонен к юмору. Он блестяще рассказывал анекдоты, сам получая при этом удовольствие. Сужу беспристрастно, я этого дара лишен, отношусь скорей к разряду благодарных, изумленных слушателей, мечтая об одном: донести анекдот до дома, не забыть, и всякий раз забываю главное, помню только, что было очень смешно.

Когда снимали фильм по моей повести «Пядь земли» и я приехал на съемки, на «натуру», вся группа набросилась на меня. Они уже порассказали друг другу все анекдоты, какие знали, а тут — свежий слушатель, да еще такой, который забывает и слушает заново, как впервые.

Юра же, повторяю, рассказывал мастерски, сохраняя при этом хмурый вид. И чтобы анекдот не пропал, обычно подготавливал слушателей небольшой лекцией на тему, кто как слушает анекдоты и что понимает в них.

Однажды они пригласили меня на дачу, в Серебряный бор. Как раз была куплена и привезена обстановка, все новое, не родительское, свое, для каждого из них — впервые в жизни. Сценическая карьера Нины в Большом театре подходила к концу, недолгой она была, но образовалась семейная жизнь, ничем пока не омраченная, со всеми ее радостями. Нина была яркая, видная, молодая женщина, когда она шла по улице, головы мужиков, как ветром, поворачивало ей вслед, и если чего она боялась, так только сплетен, а ими как раз и переполнен театральный мир.

Поехали с ночевкой, и, чтобы не обременять, я захватил с собой свои простыни. И вот пожилой солидный шофер везет нас по вечерней Москве, не мчит, бережно везет. И что-то во всем этом нереальное. Что? Наверное, быстрота превращения.

На курсе у нас недолгое время пробыл Костя Т. Писал ли он прозу или стихи — не помню, но вот что запомнилось хорошо: карманы его всегда были набиты немецким шоколадом и он щедро угощал сокурсников, как правило, голодных. Был он в офицерском звании, но того важней — сын крупного генерала, вроде бы даже Члена Военного Совета фронта, все это писалось с большой буквы. Считанные разы бывал я в то время в генеральских домах, но хрусталь многоцветный с монограммами, вывезенный из Германии, но фарфор за стеклами сервантов, идиллические пастухи, пастушки, люстры хрустальные на потолках... Совершенно особая устанавливалась жизнь, не на годы, на века: жизнь победителей и побежденных. Я имею в виду не Германию, разбитую в войне, когда говорю о побежденных, а нищий наш, в своей стране побежденный народ, всех искалеченных на фронтах, кто враз после войны стал никому не нужен.

И вдруг Костя, казалось бы обреченный на благополучие, исчез. Его не стало, как не было вовсе. Это арестовали его отца. Да его ли только. У нас из общежития, из полуподвала, ночью увели Эмку Манделя, известного ныне поэта Наума Коржавина, живущего теперь в Америке, но мыслью и душой — все так же здесь, на своей родине. Наивный, как дитя или мудрец, он читал в домах, где его кормили, свои стихи: «А там, в Кремле, в темнице мрака, хотел понять двадцатый век не понимавший Пастернака, сухой и жесткий человек». Это изустрый вариант — про Сталина, в ту пору. Можно только удивляться, как долго господь хранил это святое дитя. Но пришли ночью, разбудили, увели с собой. На восемь лет.

А жизнь продолжалась. Там же, в полуподвале, как и прежде, девочки, студентки наши, жарили на рыбьем жире, который был дешев и продавался в аптеках, оладьи, приготовленные невесть из чего. А во время лекций мы видели в окна, как выходил на каток, под который зимой заливали водой большую площадку, поэт Островой, живший в том же дворе. Повязанный шарфом, концами назад, как мамы повязывают дошкольников, прокатывался он на коньках, заложа руки за поясницу, благополучный, жизнелюбивый. А другой поэт, автор знаменитой «Тачанки», Рудерман, больше ничего в своей жизни, кажется, так и не написавший, тощий и желтый, поджидал звонка на перемену, когда мы, студенты, высыпем во двор и он сможет у кого-нибудь стрельнуть закурить.

Вся наша нищая, полуголодная послевоенная жизнь, а еще и то, что сегодня ты есть, а завтра тебя очень просто может не стать, и вот такое мгновенное превращение: машина, шофер... На даче мебель еще пахла свежей политурой, и мы ходили, осматривали, отражаясь в полированных плоскостях. Разумеется, по этому поводу было выпито. Нина пила со вкусом, жила со вкусом, а теперь вила гнездо, и ее можно было понять, молодую женщину, часть жизни которой был блеск сцены Большого театра, императорского театра, она вкусила этот яд, она выходила на эту сцену.

Ночью я проснулся словно бы в странном, перевернутом мире. Мне ясно представилось, как отсюда, из этих стен, вводили сначала Юринога отца, потом — мать. И были они здесь молодые и счастливые, и верилось — вся жизнь впереди. И вот вновь — молодые и счастливые, в тех же стенах, но уже — не они. И эта охранная грамота, партийная библия — «Краткий курс истории ВКП(б)», — выданная бабушке Сталиным, на которой он собственноручно дарственную начертал; дочь отнял, зятя отнял, жизнь растоптал, книгу подарил. Нет, я не думал тогда такими словами и не все, конечно, понимал, от этого судьба меня хранила. Кто все понял, тот либо исчезал, как будто его и не было, либо, сломавшись, шел в услужение, подличал, а то и палачом становился.

Блаженны неведающие. Году в 50-м на Кубани, в станице Курганной, так тогда она называлась, молодые казачки, чтобы не обгореть на жарком степном солнце, чтобы брови не выгорели (красивой считалась та, что белолика, черноброва), низко на лоб повязывали головные платки, брови чернили, а лица

мазали белой мазилкой. Готовила же мазилку хозяйка хаты, у которой я остановился, это был ее промысел. В большом чугунке смешивала она нутряное сало с чем-то еще, добавляла, помню, цинковой мази, не знаю уж для чего, и зелье это, ваврево страшное, подолгу мешала на огне. Потом, остывшее, заворачивала на продажу, как конфеты, бумаги требовалось много, и она покупала для этой надобности «Краткий курс истории ВКП(б)», наверное, она одна в станице и покупала. Я спросил ее, почему именно эту книгу она выбрала, а не какую-либо другую? Дешевая, страниц много и всегда в магазине есть.

Помню, в Воронеже, до войны, называли имена людей, писавших «Краткий курс...». Потом имя утвердилось одно: Сталин. Автор — он один, а те исчезли бесследно. И как венец мудрости изучали мы в институтах гениальное сталинское творение, особенно же — четвертую главу, самую гениальную. В нее тоже казачка заворачивала свое мазило.

Попробовал бы кто-нибудь в ученом мире усомниться, что слово, запятая в этой партийной библии начертаны не сталинской рукой, завтра же его имя боялись бы произнести. Только пожившие под этим страхом всеобщим, кто и страх почитал как осознанную необходимость, а значит — дарованную свободу, только те и поймут, почему старая женщина, у которой деспот отнял всех, хранила подаренную им книгу, как икону-заступницу хранят. А сестра моей тещи, у которой сына арестовали, носила с собой фотографию Сталина, а теща — лезвие безопасной бритвы в сумочке: успеть перерезать себе вены, если ее схватят на улице.

И ничему былой опыт не учит человечество, история пишется задним числом, а умные мысли как раз задним числом и приходят в голову, и быть бы историкам мудрецами, если бы не смущали соблазны: жить-то хочется, история историей, а своя жизнь тоже дорога. И все повторяется вновь и вновь.

Вот читаю, как эсэсовец — в Освенциме ли, в Трешлинке, не помню уже точно где, не раз и не два это и не в одном лагере бывало, — приказывает заключенному: убей еврея, стань ботинком ему на горло, получишь сигарету. И заключенный заключенному становился ботинком на горло и получал сигарету в награду. А еще раньше у Гая Светония Транквилла читаю, как римлянин приказывает рабу: заколи отца, и дарую тебе жизнь. И сын-раб на глазах властелина закалывает своего отца-раба и остается жить. А между тем и тем событием — почти две тыся-

чи лет. Все как будто изменилось, и сколько народов за эти сроки сошло с лица земли, сколько государств возникало и рушилось, и нации формировались как бы уже навечно, да — бог ты мой! — чего только не происходило под солнцем, вот и христианство возникло, гонимое поначалу, травимое, вышло из тайных пещер, обрело власть, а с нею вместе — и все пороки власти, объяло полмира, но длилось и длится в самом роде человеческом что-то более вечное, что и в нашу жизнь пришло.

В сущности, и повесть «Студенты», и благополучие за нее в награду — все это по тем канонам, по которым властелин предписал жить и дышать. И в заключительной главе повести герои славят Сталина, увидев его на мавзолее. Но вот живой классик, Шолохов, многомиллионным тиражом извещал Сталина о своих сыновьих чувствах. «По-сыновьи целую в плечо...» — писал он в то время. А уж он видел, ему ли не знать, как голодом вымаривали казаков на Дону, на Кубани.

Пройдут десятилетия, и в будущем, о котором несвободной мыслью своей мы и загадывать не могли, Твардовский напишет: «Предай отца, родного брата и друга верного предай...» И подскажет ему эти вещие слова не чужой, а свой собственный горький опыт. Что же требовать от человека, которому и тридцати не было, а жизнь, поначалу подарившая ему то, о чем другие и мечтать не могли, все отняла и провела через страх и многие унижения?

Ему близка была западная культура, да и как вообще русскую литературу отделить от нее, но шла борьба с «низкопоклонством перед Западом», борьба с «космополитизмом», не бескровная борьба, много, много жизней прервали ранние инфаркты, инсульты, а скольких сослали в лагеря, и повесть «Студенты» пришлось ко времени, ее «сдавали» на экзаменах в институтах, она стала той ложкой, которая дорога к обеду. В ней ученик разоблачает своего учителя-космополита и друг, не колеблясь, с гневом праведным исключает из жизни друга: «...ты не можешь понять сущности литературы нашей, социалистической, не видишь ее превосходства перед литературой буржуазного Запада. Отсюда — то, что называется низкопоклонством...» Да неужели это Трифонов писал? Критики, поумневшие, когда им позволили поумнеть, не упустят случая, повиснут на нем, как собаки на медведе, и будут шпынять за прошлые грехи. И он напишет в ответ, что писатель — это не бетонные опоры моста, которые должны оставаться неизменны-

ми. И на тот же самый сюжет напишет лучшую свою повесть «Дом на набережной», вновь там будут учитель и ученик, предавший учителя, и теперь уже зло будет названо злом, добро — добром.

Но тогда все мы во многом были другие, я искренне радовался успеху товарища, вознесенного приливной волной из неизвестности. И все же меня самого что-то в душе от этого хранило.

В памяти у меня осталась та ночь в Серебряном бору, когда я вдруг проснулся и явственно ощутил, как из этих стен, из этого дома однажды ушла жизнь, и вот новая жизнь, как бы не зная о прошлой, радостно наполняет дом...

Минули годы, и оказались мы с Юрой и Ниной в одном дачном поселке под Москвой. Юра купил каменную двухэтажную дачу, что-то там надо было отремонтировать, достраивать. Мы с женой на крайнем к полю освободившемся участке, где раньше стояли засыпные шлаком бараки, поставили финский дом. Земля была — сплошной шлак и битое стекло, копнешь лопатой — отбросы, приваленные слегка, вонь ударяла из земли. Жили здесь временные жители, для них и барак этот, и земля — все это не свое было, ничье: от деревни отстали, к городу не пристали — мигранты, точный слепок нашей послереволюционной страны.

Ни одного дерева не росло на нашем участке, не земля, а свалка захлавленная, пришлось пригнать бульдозер и срезать весь верхний слой до рыжей глины, она растрескивалась в первое лето, как в африканской пустыне: лето было жаркое. И первый штакетник, который мы привезли, чтобы отгородить участок, в ту же ночь украли: кому-то он оказался нужней. Но мы были еще довольно молоды: мне сорока не было, жене — того меньше, сыну — пять, дочка недавно начала ходить. И нам хотелось, вот для души требовалось, чтобы стала со временем эта земля рассыпчатой, черной, чтобы дети знали, как и что растет, могли различить каждую травинку. Однажды плотник, видя, как я, вырыв траншеею, в три слоя закладываю удобрения под малину, сказал, как говорят человеку, занятому пустым и явно не подходящим ему делом: «Ты бы, Яколич, лучше стих написал...» Так это и осталось у нас в семье на все случаи жизни: «Ты бы лучше стих написал...» Вот уж что не дано, так не дано.

Мы посадили сад, посадили березы, ели, сосны, клены,

три дубочка принесли из лесу. У дубов корень далеко вглубь уходит, на метр и глубже приходилось рыть вокруг него, чтобы вынуть неповрежденным. А в первое лето, облагораживая землю, навезли навоза, посадили по всему участку картошку, и уродилась огромная, рассыпчатая, розовая (сорт был хороший), собрали восемь мешков, знакомым и родственникам раздавали картонными ящиками.

Однажды вез я из лесу на тачке старый куст калины (мы еще не знали, что молоденькое и приживается быстрее, и обгоняет в росте), да с таким комом земли его вывернул, что едва не надорвался, но все же довез и посадил. Зачем мы так старались? Сам не знаю. Хотелось. Бывало, льют дожди, соседи жалуются, опять, мол, погода испортилась, а мы подойдем к окну и смотрим: под дождик хорошо сосенки приживутся. В июле, в самую жару, жена с дочкой увидели в лесу брошенную тройную березу: кто-то выкопал да и бросил. И хотя понимали, что не приживется, пожалели, принесли из лесу. И может быть, действительно рука легкая, от души сделано, не зря поливали ее, ухаживали — прижилась; теперь, если глянуть на ее вершину, шапка свалится.

Мы и за участком в два ряда посадили аллею берез и тополей, отдыхающие министерского санатория после завтрака шли по ней в лес прогуливаться. Но так уж в нашей стране руки у людей устроены, что не могут пройти мимо дерева и хоть ветку не обломать. И вот как-то раз вожусь на участке, а вдоль забора идут две хорошо раскормленные начальственные пары. Отломил он ветку с березы, и ею же, веткой с листиками, указывает на нас: «Современные помещики...»

Но еще до того, как мы с женой чему-то научились, еще и дом наш был недостроен, возникли вдруг над забором очки, крупный нос, на котором они держались: «Здравствуйте! Я — садовод. Из Академии наук». Садовод! Так это его просто бог послал! И вот уже на велосипеде въезжает на участок Иван Анисимович Ковтунов, Анисимыч, так звали его в нашем поселке, вокруг которого он неплохо кормился: мало кто здесь хотел пачкать руки землей. И нам тоже первую малину посадил он: «Из Академии наук!» Не один год в дальнейшем я ее выкорчевывал: малина была из лесу, дикая, приживчивая, нет-нет и опять где-нибудь прорастет. И первые сосны он сажал: принес из лесу и на наших глазах, а мы с изумлением смотрели, пополоскал корни в луже: «Чтобы лучше взялось с землей...» Сосны, разу-

Май 20
Гек

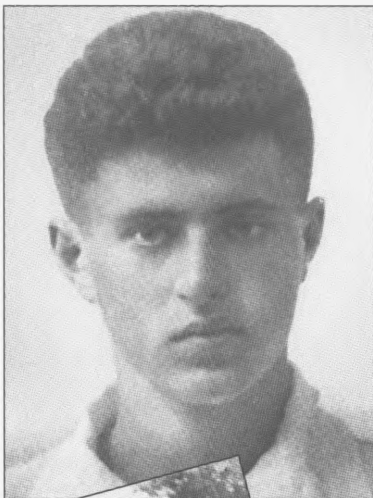
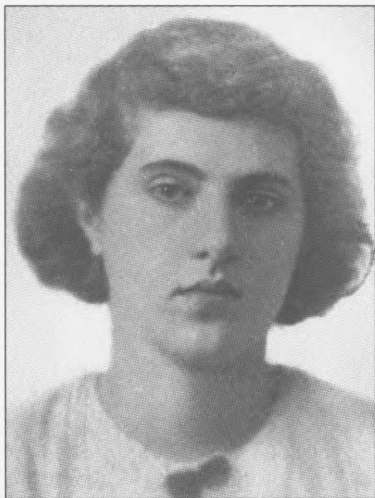


Мои родители — Ида Григорьевна Кантор и Яков Минаевич Фридман.



Последняя фотография
моего старшего брата Юры.
Учился на историческом
факультете МГУ,
ушел в ополчение,
был командиром орудия.
Погиб в октябре 1941 года
на подступах к Москве.

Юдя и Юра, мои двоюродные сестра и брат. В их семье я жил с 12 лет.
Юра убит под Харьковом в 1942 году.



Мальчиков унесла война, а девочки состарились.
Крайний слева — мой родной брат Юра,
крайняя справа — моя двоюродная сестра Юдя.
В их семье жил Юра.

Некоторое время я был самым молодым в полку.

Май 1945 года. Австрия. Война окончилась.
Эту фотографию я дал в «Литературную газету»,
и откликнулись военфельдшер Токовой
и капитан Чхартисвили.
Лежат: комбат Лучший и я.
Сидят (слева направо): Токовой, Чхартисвили,
Беличенко, Прищемихин.



Австрия 9/5 1945 г.
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПОСЛЕДНИЙ НАБЛЮ
ДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ



Погоны сняты, но первый рассказ я, разумеется, написал о войне.
Вот в таком виде пришел я к Василию Гроссману со своим рассказом.

Каждый раз,
когда я смотрю
на эту фотографию
Александра Твардовского,
мне вспоминаются
пушкинские строчки:
«...где я страдал,
где я любил,
где сердце я похоронил».



С.И.М. Купцов из больницы.

Три года назад, Дмитрий Фрунзе!
Я был до вас глух, видел своим
мозгом, не слышал слов Ваши-
х букв и звуков в том
восточном городе на берегу, но вы
судьбу свою не жалеете.

Я отсюда пишу кандидатуры с
идеями и идеями известной
индивидуальности в своем альбоме,
но вы не слышите, а я сам, вы бы
не слышали и слышали бы
эту фразу: «Спасибо!» Я, который
крупно писал: «Будет вам и слышать
сам я как сын». Всегда отсюда, уже
была бы жизнь и слышать и «Спасибо!»

Милый
мой
Н.С.М. это я как сын слышу, слышу
вашу фразу «Спасибо», вы слышите
и слышите, слышите и слышите — «Спасибо»
ваша фразу «Спасибо!» И слышите, слышите слышите.

Автограф письма Александра Твардовского,
присланного мне им из больницы.

Это очень разные писатели,
но каждым из них литература
наша может гордиться.
Я знал их при жизни,
с Юрой Трифоновым дружил
и что-то написал о них.



Василий Гроссман.



Юрий Трифонов.



Василий Шукшин.



На майские праздники 1954 года собрались мы с женами в Переделкине у Бориса Бедного, который снимал там дачу: Владимир Тендряков, Максим Калиновский (сидит), я.



Юнга, Виктор Некрасов, я, Николай Чуковский.



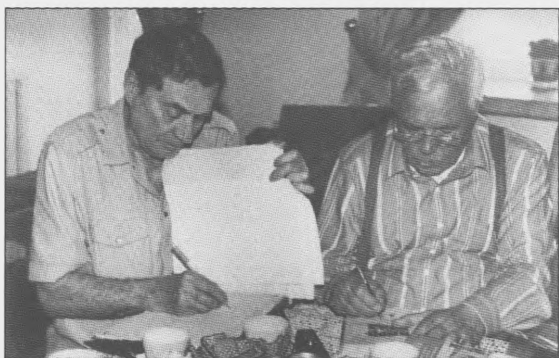
Павел Филиппович
Нилин
и мы, тогда еще молодые:
Василь Быков, я.



Илья Эренбург,
Татьяна Карпова
и я.
Словакия,
Низкие Татры.
1964 г.



Вениамин Каверин,
Булат Окуджава, я.
ЦДЛ, 1977 г.



С Виктором
Астафьевым
на его родине
в Овсянке.
1998 г.



1972 год.
Мы с Юрием Любимовым
в Набережных Челнах.
А потом
в Театре на Таганке
шел наш спектакль
«Пристегните ремни!»
Но это — его начало.

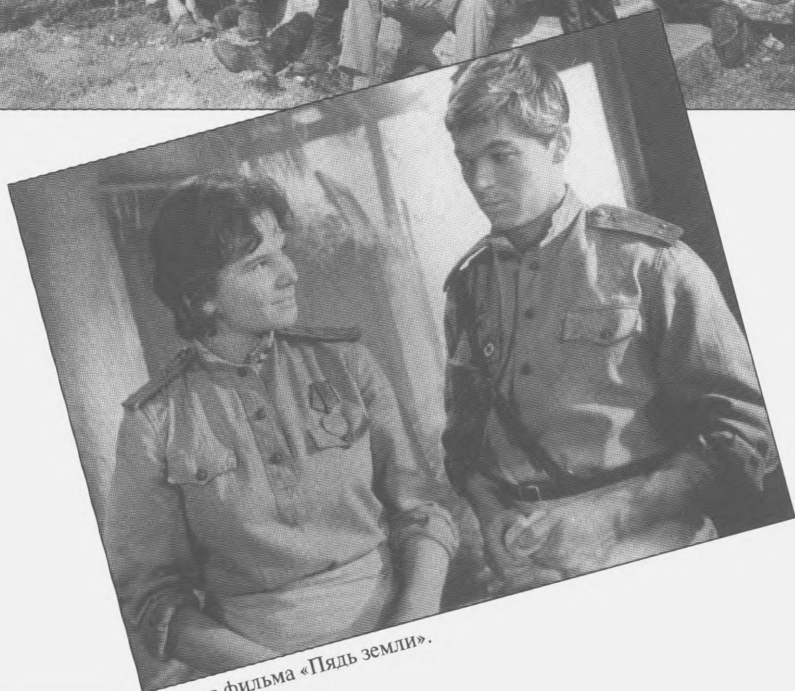


Сцена из спектакля
«Пристегните ремни!»



Лето 1969 года.
Иосиф Хейфиц на съемках нашего с ним фильма «Салют, Мария!»

Фильм «Пядь земли» снимали на месте боев, где был наш плацдарм.
Режиссеры Андрей Смирнов, Борис Яшин (справа в 3-ем ряду в белых беретах).



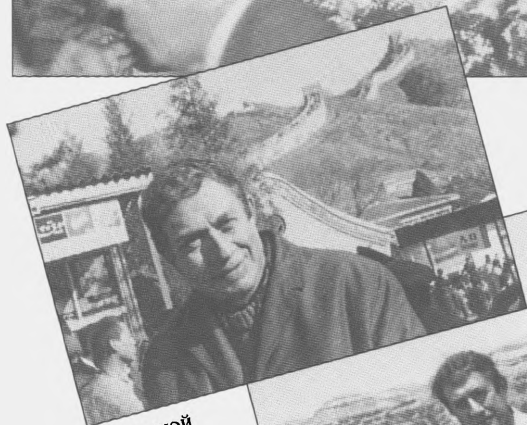
Кадр из фильма «Пядь земли».

Совещание в журнале «Знамя».

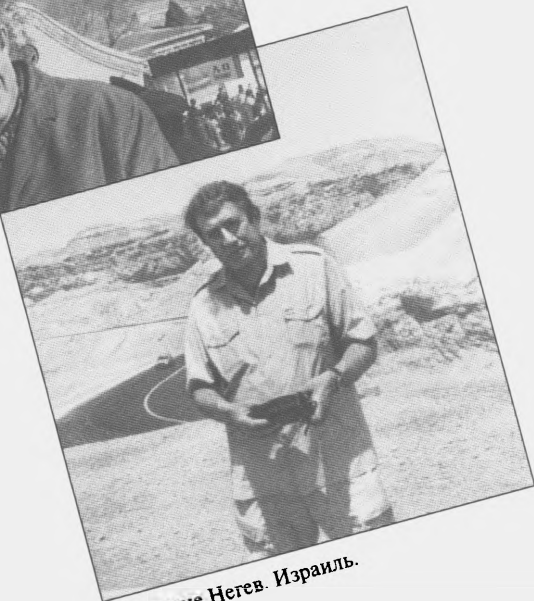


1988 год. XIX партийная конференция.
«Вы не волнуйтесь. Я выстою, выстою», —
сказал я пятитысячному залу, когда топали и хлопали.

Обед с президентом США Рональдом Рейганом в ЦДЛ.
На переднем плане — госсекретарь Шульц,
в глубине смутно видна охрана президента. 1988 г.



У Великой
китайской
стены.



В пустыне Неgev. Израиль.
1992 г.

ЖИЗНЬ, подаренная дважды



9 мая 1945 года.

Я еще не вернулся с войны и не знал,
что эта девочка будет моей женой,
матерью наших детей,
бабушкой наших внуков и внучки.



Вместе мы уже 46 лет.



1970 год.
И тоже День Победы,
и тоже цветут вишни.
Нас четверо.



Третье поколение нашей семьи. Внуки: Юра и Илья, внучка Маргарита.

ЖИЗНЬ, подаренная дважды



меется, засохли. Но вот землю копать он был здоров, как конь, мне все казалось, лопата у него какая-то особенная, с завистью я посматривал на нее. Кому досталось на фронте рыть окопы, на всю жизнь научен ценить хорошую лопату.

Он, кстати говоря, посадил Трифоновым грядку клубники, вскопал, удобрил, привез особый сорт — «ананасная»: у кого-то выброшенные усы подобрал. Рассказывали, хвалился потом у магазина: «Я им вместо суперфосфата алебастром грядку зарядил. Удобрил!..»

Давно уже я не вижу Анисимыча, жив ли? Лет шесть назад встретил его в военном городке, где он живет. Постарел Анисимыч, поважнел: дочка хорошо вышла замуж, уехала с мужем в капстрану, там он охраняет наше посольство. Анисимыч строит для них гараж, должны «Волгу» привезти.

Участок, где Юра с Ниной купили дачу, граничил с участком Твардовского. В дальнейшем, в «Записках соседа», Юра напишет: «Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин, Твардовский скоро это сообразил и перестал давать мне советы: не в коня корм. Он только говорил иногда, с оттенком удивления, о том, какой отличный хозяин Григорий Яковлевич Бакланов».

Мне это свидетельство приятно и даже дорого, потому я его привожу. И удивление Александра Трифоновича я понимаю. Борис Можаяев, приехав однажды к нам на дачу со своим домашним вином, поглядел сад, смородину черную, у которой ягоды были величиной с вишню, и сказал: «Ну, это — не ты, это — Элла». От истины он был недалек, даже сейчас, когда пыл этот во мне угас, у жены моей по-прежнему с зимы еще зреют самые дерзкие, самые отважные планы: где что посадить, заменить, на какой грядке что будет произрастать. Но тогда и мне это доставляло радость. И хоть не последовал я совету плотника «написать стих», возможно, одна или две книги из-за этих моих увлечений не написаны, я не жалею. Раз не написано, значит, не слишком на свет просилось.

Намного проще было бы купить готовый дом, в рассрочку я, наверное, уже смог бы в то время. Два фильма на Ленинградской киностудии были запущены по моим сценариям, ни об одном из них я вспоминать не хочу, а вот что дом наш строили мы сами, я рад, и каждое дерево на участке нами посажено, и земля за тридцать с лишним лет стала рассыпчатая, черная, приятно в руке размять. Нам хотелось, чтобы этот дом и все вокруг него стало для наших детей чем-то вроде родового гнезда.

А писал я в то время роман «Июль 41 года», когда не получалось, пробовал писать повесть «Карпухин», но не умел я спокойно отложить одно и начать другое, незаконченная книга, как беда какая-то, повисла надо мной, избавиться от нее можно было единственным способом: дописать. Глядя теперь в прошлое, вижу: был я тогда увлечен и счастлив. Нет, я не хочу что-то повторить или прожить жизнь заново. Летели мы однажды с Василем Быковым, сидим рядом, выпили, и над какой-то из стран, какая — все равно не разглядишь сквозь облака, спросил я: «Хотел бы ты снова быть молодым?» И выяснилось, что ни он, ни я не хотим. Пожили. Я иногда и сам поражаюсь: какая долгая жизнь! Семнадцать лет в Воронеже до войны, а каждый год в юности, в детстве, как вечность. Потом — война, четыре года. Да разве годами ее измеришь, если один день бывал длиннее тысяч и тысяч жизней. И в каждом, кто войну прошел, она все длится. А послевоенные годы! Годы? Несколько эпох. И все это — одна жизнь.

Что тогда было бедой? Ну, конечно, если заболели дети. Но зато, когда выздоровеют, — счастье. Еще волновало интеллигенцию, что Хрущев непоследователен, начал сдавать позиции, опять вокруг него грибачевы-софроновы-кочетовы... Как-то в Переделкино навестил я Павла Филипповича Нилина, идем с ним, разговариваем, вдруг я спохватился: «Да что же мы о Софронове, о грязи этой говорим чаще, чем о Льве Толстом!» А вот подумать: как же им было вокруг Хрущева не виться, не нашептывать в уши, кому же, как не им, в конечном счете, поверить он должен, если они одного замеса? И хоть он решил на то, на что никто, кроме него, в то время решиться не мог и даже мыслью не посягал (шутка сказать, будучи в ареопаге в меньшинстве, Сталина объявил преступником, безвинных выпустил из лагерей, приказал Сталина вынести из мавзолея и сжечь, не думая, конечно, что, вынося одного, предрек и другому быть вынесенным ногами вперед), все равно они для него оставались своими, понятными, мы в этом недавно вновь на примере уже Горбачева могли убедиться.

Из дня нынешнего какими спокойными, какими бестревожными, если с теперешним временем равнять, кажутся те дни. Я писал увлеченно, и в том, что писал, душою был свободен, ну — почти свободен. Сiju, бывало, на топчане, передо мной на табуретке — пишущая машинка (эту книгу я не только набело переписывал на машинке, но частично на машинке писал),

за окном — снега, мороз, а здесь сквозь стекло жарко от солнца, и в зимнем солнечном луче дремлет, нежится кошка Мурка, выросшая у нас из котенка, урчит во сне. А то заберется за спину, греет поясницу. Прибегут дети с гулянья, наигравшиеся в снегу, надышавшиеся морозным воздухом. Что еще для счастья надо? А я все гнал себя, предчувствуя: вот-вот захлопнется дверь и роман мой уже не напечатают. Впрочем, с каждой книгой так: хочется донести наконец этот груз, сбросить с плеч. А потом — жаль.

Отработав самому себе назначенный урок, читал написанное жене. В романе «Июль 41 года» многое — от нее. Дом, тот, в каком жила она в Киеве. В 37-м году по ночам один за другим из него исчезали жильцы, недавние хозяева жизни, и гасли, гасли, темными становились окна квартир. А потом свет в них вновь зажигался, на место арестованных въезжали новые хозяева жизни, устраивались навечно, не подозревая, что и они — перекладные, которых много еще будет сменено в пути. Да и класс, в котором она училась, я написал по ее рассказам, и одноклассники узнали себя, обзванивали друг друга: «Это — про нас», — и спустя много лет встретились у нас дома.

Когда книга вышла, Юра Трифонов прочел ее, зашел, было это на даче. Помню, стоял в дверях кухни, почему-то не входя, говорил:

— Странно... Я жил в таком доме, а ты его написал...

Все такие дома и уклад жизни в них, видимо, похожи друг на друга, масштаб разный, но по одному стандарту кроены. А имел он в виду дом на набережной, который еще не стал его повестью.

Вообще на даче заходили они нередко: то Нина с дочерью, то он с Ниной. Как-то среди дня, под настроение распили мы бутылку холодного шампанского, а еще и апельсины были, получилось неожиданно и хорошо. Не то чтобы Нина и Элла сдружились, но в Друскининкай, где и случилась трагедия, она звала Эллу поехать вместе, не хотелось ехать одной.

От прежней жизни осталась привычка хорошо одеться к вечернему выходу, и вот Нина оденется, подкрасится, а пойти особенно некуда, они заходили к нам, и по взгляду можно было видеть, как Юра любит красивую жену. Это был трудный период его жизни. «Студенты», благополучие, блеск — все осталось в прошлом. В отсвете прежней славы написал он пьесу, она без успеха прошла в театре имени Ермоло-

вой. Нина пела уже не в Большом театре, а в Москонцерте, гастрольные поездки по городам, Юра писал ради денег документальные сценарии, заставлял себя писать роман о строителях Туркменского канала, было это ему не близко. Другая жизнь шумела на дворе, другое время, другая литература. И как-то по-холостяцки неуютно было в их большом доме, хотя жило там три поколения одной семьи. О главном, что отдалило их, он иносказательно упомянет в одной из своих повестей. Но вот именно в этот период душевного неустройства, когда, казалось, все — в прошлом, накапливался в нем опыт жизни, зрели будущие его книги, которые дадут ему имя и оставят в литературе. Началом их стала трагедия.

К концу лета Нина все же собралась в Друскининкай. Она жаловалась на недомогание, но было такое впечатление, что просто она тяготится собой. И вдруг оттуда сообщили: Нина умерла. Как стало потом известно — сердечная недостаточность.

Встречали мы гроб у загородного мотеля и потом ехали по Москве. У Смоленской площади, у магазина похоронных принадлежностей, остановились, кто-то туда зашел, а мы с Юрой ходили вдоль машины, туда и обратно, и он говорил: «Почему это со мной должно было случиться? Почему именно со мной?..»

После похорон были суматошные поминки. В квартиру, которую Нина с огромным трудом выменяла (сам процесс обмена тоже войдет в одну из его повестей), набилось много народу, стояли на кухне, стояли в тесном коридоре. Зазвонил телефон, и мы услышали, как дочь, уже взрослая, Нина любила ее такой же страстной любовью, как мать любила ее, отвечает кому-то громко, немного в нос, отчетливо произнося каждое слово: «Мамы нет. Она умерла... Да, умерла... Похоронили...»

Потом стали выходить повести Трифонова, о них заговорили, критика молчала, потом обвиняла в мещанстве, бог знает в чем: верный признак, в литературе появилось нечто незаурядное. Я не сразу прочел, хотя был уже наслышан, я слишком близко знал их с Ниной жизнь.

«Дом на набережной» я прочел раньше других вещей, уже напечатанных. Мы тогда оба в Литературном институте, который сами когда-то кончили, вели семинары по мастерству. Как раз перед занятием собрались преподаватели, среди них едва ли не половина Юриных недоброжелателей, я был под впечатлени-

ем его книги и при всех горячо похвалил ее. Он как-то радостно вздрогнул, достал из портфеля другую свою книгу, трогательно надписал, забыв, что такую книгу уже дарил мне однажды.

Долгое время его не выпускали за границу, где широко издавались его повести, причиной, кажется, было избрано то, что в свое время там остался его двоюродный брат. Потом он начал ездить, ездил часто, он неплохо говорил по-немецки, изучал английский. Его хорошо принимали, как, впрочем, он того заслуживал, и чувствовал он себя там хорошо. «Знакомый воздух парижского вокзала, в котором слито было много всего, и это создавало впечатление какой-то горьковатой и душистой сладости, охватил Глебова, как зной». Это из повести «Дом на набережной», это не про себя, но и про себя тоже.

И вот вернулся он из очередной поездки, на этот раз — в Германию, тогда еще — Западную Германию, где особенно широко издавали его, вернулся освеженный, помолодевший, и мы шли вдоль леса, уже осеннего. Юра был в новых, больших очках, такие тогда начали носить, грузно ступал, давя опавшую листву, новые синие туфли на дымчатой литой подошве тонули в траве, она уже не росла, приготовилась к заморозку; в божий этот день мы, словно каждому из нас по три жизни отпущено, не солнцу, не осени и лесу радовались, а шли, уставясь в свои мысли, головы наклоня.

— Все щели здесь забиты говном, — говорил он, как на больной зуб давя. Резок был переход между тем, как его там принимали, и возвращением домой. Включишь телевизор — очередное награждение, те же старцы окружают Ильича, у каждого сквозь черты лица уже череп проступает, на одного Кузнецова посмотреть, которого Брежнев избрал себе в заместители: согнутый позвоночник и череп на нем, и все это облачено в костюм обвисший. Советники моложе старцев, но все такие благополучные, хорошо устроившиеся, пишут доклады, подают мысли, одерживают маленькие победы: в таком-то абзаце с риском удалось вставить нечто между строк, и сразу — толки, толки, не начало ли это благих перемен? Про них он сказал в тот раз: — Они, когда дорастут и что-то могли бы сделать, они сами уже ничего не хотят.

И вдруг, улыбнувшись неловко, в слабости признаваясь, сказал о нашем однокашнике, осыпанном в брежневскую пору всеми мыслимыми наградами, в том числе — орденом за осво-

бождение страны, которую он не освобождал, но орден тем не менее взял:

— Знаешь, а у меня почему-то нет к нему зависти.

Я поразился: ну чему тут может завидовать писатель, да еще такой зоркий? Из этого человека фальшь сочилась, он уже с самим собой разговаривал на «вы», была бы возможность, он и в постель въезжал бы на черной «Волге».

— Нет, правда, я спрашивал себя: завидую я ему? Нет.

Первая книга зрелого Трифонова — «Отблеск костра»: «На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опалает жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый бросает в него свой хворост».

Отблеск истории и на всех его последующих книгах. Он вновь и вновь и все глубже переосмысливал и себя, и время, в котором досталось ему жить, и время, когда его отец был молодым. А что тогда начиналось, знать было не дано. Не случайно к этой книге об отце Трифонов взял эпиграфом слова старой песни времен революции: «В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы неизвестные ждут...»

Судьба его отца завершилась в ночь на 22 июня 1937 года: «...ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увели. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались».

И он расскажет об этом еще раз, умудренный всей прожитой жизнью, в которой выпали ему и испытания, и искушения, но, пройдя через них, он сохранил в себе дар божий. Как просто и как горько начат последний его роман «Время и место», в этой книге предвидение своей судьбы и, может быть, скорой кончины: подлинная литература вообще обладает даром предвидения:

«Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: «Ты вернешься к восемнадцатому?» Надо ли вспоминать, о чем говорили отец с матерью, не слышавшие мальчика? «Ты мне обещал! Ты мне обещал!!» — ныл мальчик и дергал отца за палец. Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве? Надо ли — о людях, испарившихся, как облака? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой, об улицах,

которых не существует, о том, как блестела до белизны металлическая ручка на спинке трамвайного сиденья, качался пол, в открытые окна летело громохание Москвы, мать смотрела сердито, ничего не слыша, мальчик вдруг закричал: «Ведь он обещал!» — топнул в отчаянии ногой? Надо ли — о том, как мать шлепнула его по щеке, лицо ее сморщилось, глаза зажмурились, и он увидел, что она плачет?..

Надо ли все это?

Мальчика звали Саша Антипов. Ему было одиннадцать лет. Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Саша вырос и давно состарился. Поэтому никому ничего не надо».

И снова осень. Всю ночь лил дождь, перестал под утро и вновь пошел, смывая последнюю листву с деревьев. Они как-то сразу оголились. Долго стояли зелеными и березы, и липы, только клены, первыми почуввав близкие холода, в день-два превратились в желтое облако. И посыпалась, посыпалась листва с деревьев, легла шуршащим ковром.

На выезде из поселка сквозь мокрое от дождя стекло, сквозь машущие по нему дворники вижу, встречно идет мальчик, школьник, бодро встряхивает ранцем за плечами. И я узнал его: сын Юры Трифонова, такой же, как у него, близорукий, затуманенный взгляд, когда, бывало, Юра снимет очки.

Как бодро шел он под дождем с прилипшими к мокрому лбу волосами, шел, о чем-то думая, и легок, весел был его шаг. Вот он уже открывает калитку...

ПОКА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

Не знаю, как другие, но я своим детям, особенно когда они были маленькие, а сына, мальчика, война должна была интересовать, я про войну не рассказывал. Почему-то не мог. Виноватым вроде бы мне себя чувствовать не в чем, и нечего стыдиться. Просто не мог, в ясные, чистые, доверчивые детские глаза глядя, рассказывать про войну.

А однажды — сын тогда учился в четвертом или пятом классе — призван я был в школу по случаю Дня Победы и, повинувшись родительскому долгу и указаниям учительницы, надел немногочисленные свои наградные колодки, они-то более всего меня стесняли, вроде бы выставляюсь, и мальчик спросил: «Дядя, вы — ветеран?» Вот так впервые применительно к себе услышал я это слово, мне еще сорока не было.

Что хотел и мог, я рассказал в книгах. Книги — свидетельство о времени великом и страшном, когда решалась судьба нашей родины; каждый, кто участвовал, знал, помнит, обязан оставить свидетельство. На той войне, на Отечественной, не всем выпало совершать подвиги, даже не всем тем, кто способен был и мог, не каждый и до фронта доехал, воинские эшелоны, как, впрочем, и гражданские, бомбили и в тылу, но все вместе — и герои, и не герои, — все вместе спасли родину в годы небывалого нашествия. И тех спасли, кто ныне живет, получив жизнь в подарок, и за делами своими и заботами повседневными так и не нашел в себе желания и времени хотя бы предать земле кости павших на полях былых сражений; их втягивают в себя болота, мхом заросли они в лесах, и в том их погребение, да ветры укрывали пыльными бурями. Но нет-нет и поныне еще выпадет плуг человеческие кости. «У нас любить умеют только мертвых...» Это про великих сказано, про именитых. А рядовые? Есть ли еще на земле страна, где бы так относились к павшим воинам?

Вот пишет мне человек 53-го года рождения, не такой уж молодой, но явно сбитый с толку национал-патриотическим клику-

шеством последних лет. Он не хочет меня обидеть: «Вы — один из моих духовных пастырей. До церкви нас не допускали, так что нравственно воспитывались мы на книгах. Воспитались мужчинами, защитниками Родины». А дальше — про границу: «Все чаще печатают вести об актах вандализма на захоронениях наших солдат. Вам бы заступиться, Григорий Яковлевич, за память о погибшем солдате. Позаботиться о том, чтобы перенести останки на родную землю, пока еще есть что переносить».

Сам он из Старой Руссы, в 42-м году я воевал в тех местах. Там столько не похороненных! А вся 2-я армия, которую Власов предал, — кости и черепа тысяч и тысяч в районе Мясного Бора... Это туда из-за границы переносить останки? Знаю, знаю, что прах миллионов, погибших в фашистских лагерях — и солдат войны, и никогда не бравших в руки оружие мирных жителей, и детей малых, — развеян по полям Европы, втопан в землю. Но там, где есть кладбища, в том числе в Германии, они сохраняются в образцовом порядке, нам бы так научиться. У нас же в лучшем случае — символы, всем сразу: горят вечные огни неведомо над кем, и, как бездомные, возлагаем к ним цветы, не нашлось на просторах нашей родины места для родных могил. А кое-где огни эти уже погашены: дорог нынче стал газ, дорожке памяти об отцах и дедах.

Пока мы были молодыми и мыслями все еще там, на войне, словно она не кончилась (это не просто — вернуться в мирную жизнь, многим в ней места не нашлось), бывало, соберемся, выпьем, и если пойдут разговоры, так все больше смешное что-либо вспоминалось: то ли будоражить в себе не хотелось главное, а может, из простого чувства застенчивости. И дух вольности жил в нас, цену, что ли, начали себе сознавать? Вот это, как мы после убедились, более всего ненавистно оказалось «отцу родному», которого мы всенародно славили: рабами управлять легче.

Впрочем, доводилось мне слышать и героические рассказы. Но странная закономерность: как правило, это рассказывают те, кто был далеко от фронта, немца видел разве что в бинокль, а чаще всего — охраняемого, пленного. Окажешься в таком обществе и чувствуешь, что ты вроде бы и не воевал.

Конечно, в 41-м году и фронт, и глубокие тылы нередко постигала общая участь, всех вместе, и тыловиков, и окопников, случалось, гнали по дорогам в общих сборных колоннах, немцы, сознавая себя победителями, даже и не очень-то их охраняли:

тысячи, десятки тысяч, миллионы пленных, обреченных. Но под конец войны... Мне как-то довелось читать воспоминания комиссара, верней — замполита дивизии или бригады всего лишь. Был он в ту пору уже директором Свердловской киностудии, мы были знакомы, оказались одновременно в Доме кинематографистов в Болшево, он попросил, я не смог отказать, читал. А он рассказывал просто, как они жили на войне, на каких сервизах ели-пили как раз в ту пору, когда шли тяжелые бои за Вену, как им австрийки прислуживали. И все это как будто так и надо, хозяин жизни писал. Никогда уже он больше так не жил, как на войне. Да он ли один?

А вот в той же Вене. Бой в городе идет, заскочили мы в особняк, внизу, в холле (я и слова этого тогда еще не знал), — убитые лежат, и немцы, и наши. А по деревянной лестнице наверх — очередь пехотинцев. И все какие-то нетерпеливые, жаждущие. Там, наверху, — женщина, к ней и стоит по лестнице очередь. Артиллерийские разведчики тут же начали оттеснять, отпихивать пехоту, не для чего-либо, а чтобы самим вперед стать, уже за автоматы хватаются. Все же удалось отогнать и тех, и других. И видел я и всю жизнь это вижу, как она вышла. Была это не австрийка, наша, угнанная в неволю: эшелонами гнали в Германию, в Австрию — восточных рабов. И вот со своими повстречалась. Она вышла на эту площадку лестничную наверху, юбка сзади тяжело отвисшая, мокрая, скользкая — этого я забыть не могу.

Те, кто был на войне, всего про войну не расскажут. И не надо. Я тоже немало из того, что видел и знаю, унесу с собой.

Но вот прошли годы, десятилетия, целая жизнь минула, и, глядя отсюда, хочу сказать: не судите этих людей по меркам мирного времени. Да, не все даже война списывает, тогда и я готов был в эту очередь из автомата стрелять, а сейчас говорю: не судите. В том нечеловеческом деле, которое называют войной, даже нормальные люди звереют. И не всем, нет, не всем удастся сохранить себя, остаться человеком. Хорошо, если хотя бы потом покаяние очищает душу. Но это — твою душу. А жертвы?

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

Ныне столько сказано, столько написано о Шукшине, разысканы и печатаются его неоконченные или отложенные до времени вещи, которые сам он не печатал при жизни, что вспоминаются слова бунинского завещания: «Умоляю... не искать и не печатать моих стихов и рассказов, рассеянных по разным газетам и журналам и никогда не введенных мною в издание моих книг...»

Вершиной Василия Шукшина была «Калина красная», вершиной были те рассказы, которые при жизни увидел он напечатанными. Надо ли заслонять их тем несовершеннолетним, что лежало, ждало своего часа?

При его жизни мы никогда не были лично близки, а встречались по разным причинам не однажды. Году что-то в 60-м возникло на «Мосфильме» объединение писателей и кинорботников, так оно называлось. Это было время, когда разукрупнились министерства, веяние докатилось до студии, и здесь тоже было образовано как бы несколько маленьких студий, имевших свои полномочия и права. Не впервые за нашу жизнь что-то разукрупнялось, что-то сливалось вновь. Так во время войны по нескольку раз перешивали железнодорожную колею: займем местность — перешиваем колею на широкую, выбьют нас немцы — вновь перешивают на узкую. Потом опять мы расширяем.

Так вот, возникло новое объединение на «Мосфильме», и среди окончивших ВГИК, кого мы особенно привлекали, был Шукшин. Собирался он ставить один посредственный сценарий, собирался с неохотой. Придет, бывало, сидит на диване — был такой желтый плюшевый диван в комнате, — слушает, что говорит ему автор, вроде бы соглашается радостно, глаза думающие (но это — для автора: он был прекрасный актер), а взглядеться поглубже — томящиеся глаза.

Сейчас может показаться странным: Василию Шукшину предлагают посредственный сценарий, и он почему-то должен его ставить. Чужой сценарий, а не свой... Но он тогда не был тем

Шукшиным, которого знают теперь: и фильмов своих не поставил, и рассказов своих не написал, во всяком случае, не обнаружил. До зрелости мастера нужно было еще целую жизнь прожить, не утратив того, что в нем уже было.

Все же ставить тот фильм он не взялся. Когда у человека есть дар в душе, есть и то, что этот дар остерегает, не дает растратить по мелочам. Если б всегда остерегало!

Спустя года два или три встретил я его однажды утром в трамвае: я вошел на остановке, он уже сидел у окна. Поздоровались. Был он с утра какой-то озябший. И не потому, что стояла осень. Все поводит плечами, будто спина зябла. Лицо несвежее, хмурое, руки в карманах пальто держал. И говорил о том, что вот никак не прописывают в Москве, что жить негде... Помочь ему я не мог, но у меня уже было жилье, а тут хоть и не виноват, виноватым себя чувствуешь. Оттого и разговора не получилось.

А последний раз видел я Шукшина вот как: позвонила Лидия Николаевна Федосеева, позвала нас с женой на просмотр «Калины красной». Ее еще только должны были принимать. Шукшин лежал в больнице, у него обострилась язва: конец фильма — это и силам конец, тут сразу все хвори набрасываются.

Не помню, чтобы какая-нибудь картина тех лет поразила меня так, как поразила «Калина красная». Вышли мы в коридор, сероватый после яркого света, зажегшегося в зале. А в коридоре у дверей — Василий Шукшин: убежал из больницы, стоит, ждет. Лицо нездоровое, похudevшее, щеки запали, жесткие, словно небритые, с тенями от скул: свет был верхний. Сергей Залыгин первым увидел его, обнялись, и у всех у нас слезы на глазах.

Удивительный это фильм. Много можно в нем опровергнуть или, наоборот, объяснить, что и почему хорошо. Не объяснишь только, почему он так очищает душу. Да и нужно ли объяснять? Подлинное искусство — это всегда чудо. Потому и необъяснимо, неповторимо оно. Не только окружающую жизнь, но и себя понять, себе что-то важное объяснить хотел человек; без этого не бывает искусства. Со стороны тут вовсе не видней. Свое открытие мира художник делает сам, он один.

О фильме «Калина красная» писали много, обсуждали во многих аудиториях, словно ждали этот фильм, дождались. В одном таком обсуждении в журнале «Вопросы литературы» участвовал и я. Искусство, как жизнь, каждый понимает по-своему, если вообще способен понять. А есть люди, от природы лишен-

ные слуха, самую простую песенку спеть не могут, но тем уверенней судят и пишут о музыке.

Вот из Бунина, из его статьи «Думая о Пушкине»: «После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад, и долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из этой напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствую бесконечное счастье от принадлежности к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней...»

И — далее, в связи с вопросом: «Каково было вообще его воздействие на вас?» — Бунин пишет: «Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни... Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что вижу: “Мороз и солнце, день чудесный...”»

«Да как же учесть, как рассказать» обо всем, что дает нам искусство, что вбираем мы в себя большей частью даже неосознанно, когда читаем Пушкина, Толстого, сказки Андерсена? Какова доля искусства в том, что мы научились видеть и понимать мир, любить свою родину? И нужно ли, можно ли сводить воздействие искусства к чему-либо одному, полезному и практически годному?

Неосмысленными глазами, в которых мир перевернут, мы еще не видим своей матери, но уже согреты ее теплом. Не уча, а только любя и радуясь, она закладывает в нас человеческое. Вот так и искусство, которое «со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни...»

Однажды в ВТО, то есть в зале Всероссийского театрального общества, был вечер, и в числе выступавших Солоухин читал свои стихи, посвященные защите природы, и то ли в стихах своих белых, то ли в речи известил слушателей с большой долей самоутверждения, что он за свою жизнь никого не убил. И раздались аплодисменты. По логике происшедшего, по всему этому внезапному одушевлению, мне надо было почувствовать себя не-

ловко: все четыре года войны я был на фронте, а на фронте, как известно, затем и берут оружие в руки, чтобы убивать. И я подумал, что если бы во время войны человек моего поколения, то есть призывного возраста, сделал бы такое гордое заявление в прозе или в стихах да еще с трибуны, это бы совсем по-другому встретили. Во время Отечественной войны считалось, что для мужчины, для человека достойное дело — не в тылу быть, а на фронте. Просто зал в своем гуманистическом порыве спутал времена.

Но можно ли искусство отделить от времени? В высших своих проявлениях оно становится вечным, но временным — никогда. И в искусстве всегда больше того, что сказано.

Наверное, дней десять я был под сильным впечатлением фильма Василия Шукшина и вряд ли вообще его забуду. И хотелось мне, чтобы и другие испытали ту же радость, которую дала мне «Калина красная», хотя, казалось бы, слово «радость» тут неуместно, фильм трагический.

После обсуждения «Калины красной» в журнале «Вопросы литературы» я неожиданно стал получать письма. Меня строго упрекали: вот, мол, мы читаем ваши книги, а вы кого же защищаете? Вора? Что, у нашего кинематографа других героев нет? Один мой читатель прислал пространное письмо, несколько строк оттуда я приведу: «Такое совпадение: перечитывал «Июль 41 года», а тут принесли «Вопросы литературы»... О «Калине красной» мне рассказывали москвичи — их здесь много. Мужчины говорили весьма общо, женщины определенно: фильм отвратительный. Любопытно, что первой такую оценку дала ученица 9-го класса, видевшая по телевизору отрывки фильма». Автор письма не видел фильма, но высказывается определенно: «Еще раз убедился, что самые не знающие преступного мира люди — писатели, очеркисты и... прокуроры, следователи, доктора юридических наук... пишушие о нем со слезою гуманности... Это даже не шлак, а человеческая популяция неизмеримо худшая. Прав Чехов — люди эти не интересны, как их преступления. Трагедии здесь нет».

Вот так, обо всех — разом. Валяй всех! И пишет это, по всей видимости, начитанный человек, приводит десятки имен: и Диккенса, и Глеба Успенского, и почему-то Петрова-Водкина. Он и о Шукшине заботится: «Что Шукшин талантлив — это известно по его игре и рассказам... А если ему настойчиво говорить, что он художник, произведения которого заставляют «ис-

пытать радость», что он затронул «мировую тему», то у него закружится голова».

Но уже ничья забота в то время ему не была нужна: Василий Шукшин начал свой путь, отдельный от тех, кто остался жить. Еще не пускали в Дом кино, а на улице, сдерживаемая милицией, выстроилась долгая очередь ко гробу; за несколько часов, что были отведены, не все успели пройти.

В огромном фойе напротив парадной лестницы, по которой столько раз в своей жизни он подымался, был установлен гроб. Привезли мать. Поразительно он был похож на нее лицом.

Случилось так, что заранее приготовленные микрофоны забыли выключить. И когда мать запричитала над ним в голос и отдавалось во всех динамиках, стало жутко. Она все спрашивала: «Где у тебя болит, сыночек? Где болит, скажи, где?..»

Потом детей привели за руки — двух девочек. В одинаковых курточках с откинутыми капюшонами, они бойко шли по лестнице вверх. Уводили их веселых. Не знаю, так ли это, но говорили, что они не поняли, куда их привели, зачем? Они уже снимались в фильме вместе с отцом, возможно, думали, что это — съемка.

После смерти Александра Трифоновича Твардовского ничья смерть не подействовала на меня так сильно, как смерть Василия Шукшина. Мне позвонили из журнала «Искусство кино», попросили написать некролог, и я написал, что думал тогда и чувствовал:

«Василий Макарович Шукшин умер в сорок пять лет, сделав лишь часть того, что он хотел и мог. Но сделанного им хватило бы на несколько жизней.

Уже не сыграть ему Степана Разина. Многие годы он готовился к этой работе, носил в себе мечту. Что уж теперь гадать, но я убежден, если бы он поставил этот свой фильм, то как Чапаев стал для нас таким, каким увидели мы Бабочкина с экрана, так же точно и живой Степан Разин для миллионов и миллионов стал бы неотделим от Шукшина. Он словно рожден был для этого подвига.

Могучий талант жил в этом человеке. И могучая страсть.

Написанные им сценарии могли бы сделать славным имя кинодраматурга, который останется в истории кинематографа.

Сыгранных им ролей вполне хватило бы для прекрасной актерской биографии. Какой же он молодой, с пушистыми усами, в фильме Марлена Хуциева «Два Федора». Но это уже — Шукшин. И какого зрелого, жесткого, горького, какого умудренно-

го жизнью увидели мы в его последнем фильме — «Калина красная».

За гробом Шукшина среди стольких цветов несли ветки осенней красной калины.

Страшно сказать, но фильм этот оказался пророческим. Мне все видится последний кадр, как Люба топит баню, смотрит на огонь, такая созревшая для долгой замужней жизни; смотрит на огонь, а голос Егора Прокудина говорит ей, что все хорошо у них будет... Неужели нет больше голоса этого, чуда, которое он нес в себе? В сущности, его ведь не с кем сравнить, Василия Шукшина. И это в нашей литературе, где столько ярких дарований, в нашем кинематографе. Он был самим собой. Редчайший дар: быть и оставаться самим собой, единственным.

Кому он подражал, хотя бы в первых своих рассказах? Просто даже не назовешь такого имени, хотя, конечно же, вся великая русская литература, ее бессмертные традиции стояли за ним. Только на них и мог вырасти такой самобытный талант.

Если говорить об искусстве Шукшина, то удивительная его сила как раз в том, что искусства как бы и нет вовсе. Как будто это — сама жизнь: так просто все, так естественно, так свободно рассказано, словно бы между прочим. Многим и казалось поначалу, что это не всерьез. Чего-то привычного не хватало. Монументальности? Многозначительности? Позы?

Истинный талант не спрашивает: как нужно? как можно? Он прокладывает свой путь. По этому пути еще пойдут, ему будут подражать. Только второго Шукшина не будет. Вот уж где не было ни позы, ни словечка фальши. Только правда. Глубокая правда жизни, рассказанная просто, со смехом, а то и простовато. Это дорогая простота, которая под силу только подлинному искусству. Это мудрая простоватость.

Василий Шукшин ввел в искусство целый мир людей, будто со всей своей деревней вошел в литературу и на экран. Имя этой деревни — Россия. Спасибо ей, спасибо матери, которая родила такого сына. И как рано она потеряла его.

Только ли потому писал Шукшин о самых простых людях, что их одних он знал? Нет, жизнь от низу до верха открылась его глазу и пониманию. Но он знал, что и самая простая жизнь и боль ее не меньше ничьей боли:

«Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай ...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминую — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Он не додумал до конца эту простую свою думу, которая не оставляла столько великих умов. Быть может, не успел додумать: оборвалась жизнь. Она оборвалась на самом взлете, в самой яркой точке. Теперь уж точно: в самой яркой. А какая была бы ярче ее, какая высота была под стать и под силу Василию Шукшину, этого мы не знаем и не узнаем никогда.

Плохо пережить самого себя. Но еще горше, еще несправедливей, когда умирает человек в расцвете сил, в расцвете такого несравнимого таланта, который в стольких проявлениях искал выхода и одаривал, одаривал людей.

Он не был обойден при жизни ни признанием, ни любовью, этот истинно народный художник. И все же только смерть показала, кого мы потеряли».

КРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БРАТСТВА

Пасмурным осенним утром, каких в Ленинграде в эту пору больше, чем ясных дней, поезд наш «Красная стрела» прибыл на Московский вокзал. Из мелкого морозящего дождичка, из серого с копотью тумана въехал мокрый состав под крышу перрона, в свет электричества, как в солнечный день, и замелькали за окнами на сухом асфальте носильщики с тележками, встречающие — все это замедлялось, останавливалось, стало.

Уже по другую сторону перрона стоял такой же нарядный состав красных вагонов с занавесками на окнах, прибывший по расписанию за четыре минуты до нас; проводницы в высоких шапках, в черных юбках, белых блузках и черных форменных жакетах выстроились у дверей, последние пассажиры выходили, откланиваясь. В нашем вагоне побритые и попившие чаю командированные нетерпеливо теснились в коридоре с портфелями, «дипломатами» в руках: из Москвы в Ленинград, из Ленинграда в Москву ездят теперь налегке. Наконец и наша проводница вышла, обтерла тряпкой поручни, стала у дверей, и двинулись мимо нее пассажиры.

Вслед за дамой, прямо из тамбура с радостными восклицаниями попавшей в букет роз, я тоже вышел на перрон. Мимо, упираясь ногами в асфальт, носильщики рьяно катили перед собой горы заграничных чемоданов, клетчатая толпа туристов, обвешанных фотоаппаратами, сопровождала их, громко разговаривая по-английски. Они шли во всю ширину перрона, и по мере того, как проходили мимо состава, открывалось: группа военных перед дверью вагона, все цвета хаки, ожидают выхода начальства; группа священнослужителей, все в черном до пят, ожидают выхода своего начальства.

Офицеры вдруг разом взяли под козырек; в соседних дверях пред смиренно склонившимися головами явились белые руки на черном и массивный золотой крест.

На площади перед вокзалом блестели под дождем две группы

новых черных машин. Стоя на ступеньках, я соображал, как проще мне ехать в гостиницу, и тут мимо меня прошел человек в демисезонном пальто с поясом: один конец его был сунут в карман, другой болтался свободно. Он шел без шапки, нес под мышкой блок болгарских сигарет «БТ», клочок рыжей бороды торчал на сторону. По этой рыжей, будто не своей бороде, по обожженному лицу я узнал Сергея Орлова. Шел он хмурый, то ли невыспавшийся, то ли задумавшийся под мелким моросящим дождичком. Себя со стороны не видишь, как видишь других, и в мыслях ты все еще моложе, чем есть на самом деле. Наверное, это и потому еще, что на фронте — и солдатами, и офицерами став — мы были самые молодые: год рождения 21-й, 23-й, 24-й... И как-то так укоренилось в сознании, что старшие офицеры не только званием, но и годами непременно старше тебя.

А время шло, и вот уже старшие офицеры, ожидавшие сейчас на перроне выхода начальства — майоры, полковники, подполковники, — все они по годам моложе нас. И планки их, украшающие грудь, — это послевоенные медали и ордена, выданные к датам. Словом, как в том стихотворении Орлова: «Когда это будет, не знаю, / В краю белоногих берез / Победу девятого мая / Отпразднуют люди без слез. / Поднимут старинные марши / Армейские трубы страны, / И выедет к армии маршал, / Не видевший этой войны...» Все почти так, только Победу девятого мая еще не празднуют у нас без слез.

Если бы от всего, написанного Орловым, осталась только эта строка — «Его зарыли в шар земной...», — то и тогда можно было бы сказать, что и послевоенная наша поэзия, и поэты его поколения многим ему обязаны.

Кто-то первый сказал: «Я бы с ним не пошел в разведку». Сказано было без позы, просто: человек еще мерил мерками недавних в памяти лет. И многие спохватились: так удачно сказано, почему же это не мое? И пошло из книги в книгу, из пьесы в пьесу: «Я бы с ним не пошел в разведку!..» И особенно рьяно восклицали те, кто и во сне туда не ходил.

Была годовщина Победы, и в Доме литераторов в Москве был устроен литературный вечер, на котором с воспоминаниями выступали бывшие фронтовики. На войне осталось больше, чем вернулось с войны. «Самые отважные солдаты были те, что не пришли домой», — сказано у Орлова. И на таком вечере, конечно же, следует говорить в первую очередь о тех, кто не

вернулся; о них есть что сказать, а скоро уже сказать станет некому.

Но когда со сцены перед большим собранием людей выступают поэты, вольно ли, невольно возникает некое соревнование, соперничество, слушатели сравнивают, оценивают, кого-то награждают аплодисментами. И уж совсем в эстрадном духе был представлен молодой поэт, который к победе имел только то отношение, что родился 9 мая 1945 года. В зеленом замшевом пиджаке он вышел на сцену.

Наконец была очередь Сергея Орлова. Уже прозвучало немало настоящих стихов, но, как говорится, след первой телеги ведет за собой все остальные, и поэты фронтового поколения, средний возраст клонился к пятидесяти; один за другим читали либо ранние стихи, либо те, в которых говорилось, что они по-прежнему — в строю.

Вот в этой подогретой атмосфере председательствующий поднялся и взволнованным голосом стал рассказывать о том, что Сергей Орлов в 44-м году, когда в атаке подбили его танк, предпочел сгореть заживо, но не сдать врагу. Зал зааплодировал, хлопали проникновенно и долго, а он, уже выйдя читать стихи, застигнутый этим рассказом о себе, внезапным одушевлением зала, стоял на трибуне и терпеливо ждал, помаргивая голыми веками, в явном смущении трогая рыжую свою бороду, которую он отпустил для того, чтобы скрыть часть шрамов, стянувших на лице гляцевую после ожогов кожу. Вот что он прочел в тот раз после аплодисментов, которыми встретили его:

Мы говорим, задумываясь редко,
Что время беспощадное течет.
Как на войне — с кем бы пошел в разведку? —
А думать надо: кто с тобой пойдет?

Да, так и было. Встанешь с автоматом,
Кисет за пазуху и на народ.
И говорилось: — Кто со мной, ребята? —
И добавлялось: — Два шага вперед...

Все меньше, меньше остается рядом
Товарищей хороших и друзей
Не потому, что падают снаряды
Давно на территории твоей.

Скорей всего, что ты не тот, который
Когда-то был, и в этом вся беда.
Металл заржавел, порастрачен порох,
И незачем ссылаться на года.

Крутые горки укатали сивку —
Не поговорка, мука — поделом.
Ах, не в разведку, в юность на побывку,
И запастись бы верой и теплом.

Тогда бы можно и не хитровато:
— С кем я пошел бы? — молвить в свой черед.
А очень просто: — Кто со мной, ребята? —
И помолчать. И два шага вперед...

Не раз я слышал от поэтов, что, мол, читают они свои стихи так, как пишут их и слышат сами, стремясь передать музыку, смысл, страсть. Чаше все же наоборот: чем холодней стихи, тем сильней взвинчивает себя поэт, и страдает, и завывает с эстрады.

Сергей Орлов читал просто, без внешних эффектов. Это было раздумье о себе, о прожитой жизни, о сверстниках. Из всего, что я слышал в тот вечер, остались в памяти эти его стихи и то, как он их читал.

В Театре на Таганке Юрий Любимов ставил нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!». Время действия в ней разделено тремя с лишним десятилетиями, все относящееся к предвоенным годам, к годам войны, взято из моих книг «Пядь земли» и «Июль 41 года», и люди на сцене возникали в разные периоды своей жизни, в разном качестве. Пьеса проходила сложно, приемка спектакля все откладывалась, и о пьесе уже говорили. На один из прогонов пришел Сергей Орлов. К тому времени он переехал в Москву.

После спектакля мы поднялись на второй этаж в кабинет Любимова. Разговор под свежим впечатлением шел несколько сумбурный, были похвалы, но нам было интересно в первую очередь послушать людей, с чьим мнением мы считались, послушать — не значит соглашаться, но вдруг что-то и пригодится. Однако больше и горячее всех говорил режиссер Карасик. Человек полнокровный, красивой внешности и несокрушимой

бодрости духа, он обхватил носками ботинок ножки кресла, высоко подтянул тонкие брюки на коленях, так что всем были видны его глянцевого от загара ноги, и говорил, говорил с бутербродом в руке, и все — о своем фильме. Едва разговор начинался о спектакле, он перебивал и вновь рассказывал, как от него что-то требовали, к чему-то склоняли, но он ни в чем не уступил. Орлов, сидевший на диване, поднял голову, глянул на режиссера:

— Так это ваш фильм?

Тот всей душой подался навстречу:

— Мой!

— Не понравился мне фильм.

Режиссер смешался, заговорил о том, что у него было лучше, но испортили... На него было жалко смотреть. Но Орлов покачал головой, не представляя себя на его месте:

— Стыдный фильм.

Он как-то сказал: «Чем дальше от войны, тем больше обнаруживается ее участников». Он не был ни остроумцем, ни циником, и не из тех он был, кто ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Совсем иной склад души. Но, вникая в суть вещей, думая о людях и о происходящем, о человеческом достоинстве и суете сует, он сказал емко и точно. И все чаще, чаще в его стихах — «друзей погибших молодые лица» и молодость поколения:

...За пятьдесят товарищам моим,
Им некуда от времени деваться,
Лысеющим, стареющим, седым.
А мне все кажется,
Что им по двадцать.
Гляжу на них и вижу те года,
Где шли они
Во всей красе и силе,
Когда была Россия молода
И судьбами ее
Они вершили.
Там в кирзовых планшетах
Вся она
Лежала поквadratно на двухверстках.

Коричнева, желта и зелена,
Им во владенье отдана
По горсткам.

«Я люблю рыбную ловлю, — писал он. — День Победы встретил на Белом озере, в устье реки Ковжи, на рыбалке. Ни одна травинка не колыхалась, река и озеро сливались с чистым небом — так было тихо. Вместе с встающим солнцем из озера пришла лодка. По воде далеко слышно, и до нас долетел приглушенный дально крик с лодки: «Эй, что вы сидите! Кончилась война!» Мы глянули на огромное солнце за лодкой, не смежая век, и заплакали, не потому, что на солнце нельзя смотреть без слез».

Ему было тогда двадцать четыре года. Уже год, как его демобилизовали по инвалидности. Впереди — вся жизнь.

Был август или конец июля. В Москве стояло дождливое лето, среди бледных, незагорелых москвичей человек, приехавший с юга, был замечен сразу.

Я шел вниз по улице Герцена, подхожу к Дому литераторов, стоит Сергей Орлов в плаще, лицо, освеженное загаром. Он возвратился из Крыма, куда возил внука «пасти». Дед он был удивительный. Кто рано стал отцом, еще не готовый к отцовству, тот нередко внукам возмещает сразу все: и отцовской, и дедовской любовью.

И вот, приехав с моря, из Крыма, соскучась по Москве, он пришел в свой клуб, пообедал и стоял, ждал кого-то. Мы поговорили недолго, и я ушел. Не знал я, что вижу его в последний раз, не мог думать, что скоро из этих дверей, у которых мы стояли, понесут к машинам венки впереди гроба.

Мне позвонила рано утром его жена Виолетта, я только сел работать:

— Ночью умер Сережа.

Хоронили его с воинскими почестями. Молодые солдаты стояли в почетном карауле, молодой капитан командовал. Траурные марши, речи, приглушенное бряцание оружия, шаг сменяющихся караулов. Есть строки у Михаила Дудина: «Кончается наша дорога — дорога пришедших с войны...» Вот об этом же думал и я: о нем, о тех, кто ушел ранее, о тех, кто скоро уйдет.

Посмертно были напечатаны его стихи разных лет и среди них — «А мы прошли по этой жизни просто, / В подкованных пудовых сапогах...» И это:

Остается небольшая малость:
Жизнь дожить без лишней суеты, —
Так, как в дни, когда она касалась
Ежечасно бешеной черты
И могла сгореть в одно мгновенье,
Может, тыщу раз на каждом дне...
Не пугаться, не искать спасенья,
Не питать надежду на броню...

В дни, когда она касалась той черты, мы были молоды, а в молодости мир иной. Бывало,ловишь на слух летящий снаряд — твой? мимо? — разорвался, просвистели осколки, а ты вскочил живей живого, и жизни тебе прибавилось, и рад: *ее* обманул! Все время рядом с *ней*, а верилось, что вся твоя жизнь впереди. С годами — иное. Уже с мыслью о смерти связана главная мысль: как жизнь тобою прожита?

Он прожил *ее* достойно, без суеты, не питая надежды ни на какую броню: ни в молодости, ни в зрелые годы.

СТАРЫЙ СТАРИЧОК

При Хрущеве построили эти особняки вблизи киностудии «Мосфильм». Построили, обнесли высокой каменной стеной, встала за стеной стража, и москвичи прозвали все это — «Заветы Ильича». Раскрывались, бывало, массивные железные ворота, и выезжали длинные черные машины. И въезжали. И вновь наглухо закрывались ворота. В одной из этих черных машин с пуленепробиваемыми стеклами ездил бывшая ткачиха, член политбюро (или президиумом это тогда называлось?) Фурцева, а другая ткачиха, с Трехгорки, построенной еще купцами, лежала в роддоме, в районе Сретенки, в одной палате с моей женой — есть там такой старый родильный дом в глубине квартала, за новыми домами, многие поколения будущих москвичей вынесены отсюда на руках, прежде чем они сами, своими ногами пошли по земле.

Лето. Окна распахнуты на всех этажах, в каждом окне — женщины в халатах, временно сюда заключенные. Внизу, под окнами, — мужья и матери, перекликаются с ними, задрав головы. Но к этой ткачихе не муж приходил с передачами, а подружки.

— Мы к Пурцевой, к Пурцевой пойдем! — кричали они.

— А кто она, Пурцева?

— Ну — Пурцева! Не знаешь, что ли?

И все, кто приходил сюда проведать жен и дочерей, знали: ткачихе этой идти некуда, в общежитие с ребенком не пускают, хоть здесь, в роддоме, оставайся. Вот за нее и собирались ходатайствовать перед бывшей ткачихой, а в те времена, при Хрущеве и недолго после него, — она была первым секретарем Московского городского комитета партии.

Не знаю, кто помещался в соседних с Фурцевой особняках, все это были люди временные, хотя и всевластные, вспомнить нечем. Впрочем, у одного из них, то ли Беляева, то ли Аристова, я побывал. Покойный Федор Иванович Панферов, тогда

еще — редактор журнала «Октябрь», повел нас, молодых, для поучительной беседы на Старую площадь. И вот то ли Аристов, то ли Беляев — говорят вам что-нибудь эти имена? — рассказывал нам в огромном кабинете, где он кого-то сменил и где потом его кто-то сменил, о перспективах Сибири: какая, мол, там дешевая электроэнергия, как понастроят там повсюду теплиц, и будут в этих теплицах на сибирском морозе произрастать огурцы да помидоры, и окажутся они дешевле тех, что сами в южных краях растут под жарким солнцем, ими завалят всю нашу страну, а самолеты и пароходы повезут их в дальние и ближние страны... Мы же все тогда Америку обгоняли, задача была такая поставлена: обогнать в короткий срок. И на задних бортах грузовиков, где по трафарету нанесено: «Не уверен — не обгоняй», появились надписи мелом: «СССР» — «США». А на одном из писательских пленумов Ольга Берггольц, увидев Софронова, эту осалившуюся тушу, объявила громко: «Софронов по мясу, салу и яйцам уже обогнал Америку!..» А в кабинете на Старой площади грезили масштабно: даровыми помидорами завалить весь мир и тем доказать зримые преимущества социализма. Как же такому деятелю не построить отдельный особняк?

В конце улицы особняков и тоже за каменной стеной был Дом приемов. Там должно было состояться чествование Нобелевского лауреата Шолохова, мне прислали приглашение, и я решил пойти из любопытства. Впрочем, не только любопытство было причиной. Несколько месяцев подряд я писал повесть «Карпухин», никуда не ходил, не позволял себе даже в обед выпить стопку водки. А тут такой удачный повод подвернулся, пойду, авось не выбьюсь из рабочего состояния. И правда, хоть вернулся поздно, в пять утра стал под душ, голова свежая, сел работать, оставалась последняя глава. Ее в тот день и закончил. И даже не переписывал ни разу.

На прием я несколько опоздал, за огромными, уходящими в бесконечность столами уже ели-пили, стоя, слышалось дружное жужжание убогатворенных голосов. В ту пору на жителя Москвы в среднем приходилось в год что-то около ста тридцати граммов красной рыбы, истребленной стремительным нашим продвижением к светлому будущему. А на жителя страны — и того меньше. Но здесь, в огромном зале, на столах, сверкающих под электричеством, и семги, и лососины нежнейшей, и белуги, и севрюги — всего было вволю, и приглашенные жужжали над ними, чуть принижая голоса, когда очередной по списку оратор

выходил к микрофону. Вот там, у почетного стола, который по обычаю ставят поперек, бродил невысокий седенький старичок с подстриженными седыми усами. Он плохо слышал и с тарелкой в руке, с надкушенным слоеным пирожком — в другой, близко подступал к оратору, глядел ему в рот. А поставит тарелку на стол, она тут же исчезает, и оглядывается он, как ребенок обиженный: где его недоеденный пирожок? Но рослые официанты с хорошей строевой выправкой тут же убирают посуду грязную. И он берет из стопки другую тарелку, опять надкусит, опять — огорчение.

Его и толкали, пробегая: молодые подросли, деловые, целеустремленные. Толкнут и не оглянутся: мол, не заметили. Он с опозданием оглядывается им вслед. Кто в армии служил, знает, как это не заметить офицера даже в малых чинах, не поприветствовать. «Меня не заметил? Я что, такой незаметный?» И вернет, и раз, и два заставит пройти мимо него, печатая шаг, неся ладонь у виска: меня не заметил!.. А тут, хотя и в штатском, маршал бродит с тарелочкой в руке. Про него не одна песня сложена: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет...» Из первых наших пяти маршалов только он и Буденный уцелели. А Егорова, Тухачевского, Блюхера объявили врагами народа, расстреляли, и он ко всему этому руку приложил.

Впрочем, жертвы прежде, чем стать жертвами, были судьями. Блюхер судил своих товарищей, маршалов и командармов, и они стояли перед ним, опозоренные, и он в глаза им смотрел. А по завершении кровавых дел, рассказывают, был приглашен на обед к Сталину и, отобедавший, сел в поезд, который увозил его на отдых, на курорт, к морю, к солнцу... Там, в поезде, его и взяли.

Наверное, это сладко было, все зная наперед, обедать со своей жертвой, с обреченным, который готов служить, да только служба его кровавая больше не требуется.

Так это было или не так — дела не меняет, всего мы не узнаем никогда, но и того, что знаем, — довольно. Жертвы сами создавали и укрепляли машину, которая в дальнейшем перемалывала их. А он уцелел, седенький старичок с подстриженными усами. Мы вырастали под его портретами. Сохранилась фотография четвертого нашего класса 7-й воронежской средней школы, случайно сохранилась, ее пересняли и прислали мне в подарок. Стриженные, сидим мы в три яруса — на полу, на стульях, на

сцене, — а передние прилегли, как разместил фотограф, в стандартных позах, — и наши учителя на переднем плане почетно среди нас. А над сценой — два больших портрета: Сталин и Ворошилов с кожаной портупеей косо через грудь. «Климу Ворошилову письмо я написал: товарищ Ворошилов, народный комиссар, товарищ Ворошилов, когда начнется бой, пошли моего брата в отряд передовой...» Как для нас все было несомненно! Так ли несомненно было и для наших учителей, они пережили многих из своих учеников. Мне отчего-то жаль их, они ведь и другую жизнь знали, из нее вышли, другие понятия были им ведомы.

А вот рассказывают, как арестовывали Ковтюха, героя гражданской войны, с которого Серафимович писал своего железного Кожуха: будто пришли его арестовывать, а он позвонил Ворошилову, с которым был на «ты»: «Я их тут держу под дулом пистолета. Положить их?» Но Ворошилов заверил своего боевого товарища: не сомневайся, мы разберемся. Как же Ковтюха потом били на допросах, как издевались над ним!.. Но и это, может быть, легенда: людям всегда хочется, чтобы трогательней выглядело, чем в жизни, легенды понятней, сами прилегают к сердцу. В самые кровавые годы Ворошилов был народным комиссаром, своей рукой визировал расстрельные списки, где было столько его товарищей, где были и люди, которым он завидовал.

Но вот сам не понимаю, как это получается, когда его толкали, пробегая, молодые, полные сил, устремленные в карьерные выси, а он, как обиженное дитя, оглядывался беспомощно, ища глазами недоеденный пирожок, мне жаль его становилось. А ведь уже знал я, как он боялся Берии, как готов был с ним вместе пойти на все, то ли за жизнь свою тщедушную опасаясь, то ли страшась, что прошлое откроется; как плакал, когда при Хрущеве причислили его к антипартийной группировке, но потом все же решили сохранить его, оставить символ, чтобы народ не разуверился.

Он прожил после того дня еще четыре года, столько же, сколько Отечественная война длилась. И как-то под праздник возился я на огороде, что-то сажал, и тут пришли сказать: Ворошилов умер, но чтобы праздника не омрачать, тело заложили в холодильник, а сам факт смерти пока что держат в тайне. Но минул праздник и выяснилось: жив.

Умер он позднее и похоронен был с почестями, и долго еще города и улицы назывались его именем.

НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ

Как возникают книги? Ну, конечно, это происходит по-разному, я могу говорить только о своем опыте. Ехал я однажды в электричке и услышал историю о шофере, который задавил человека, вроде бы не был виноват, но судили его по всей строгости: проходила как раз очередная борьба с пьянством. В общем, как в лесу: бежит заяц, себя не помня. Что случилось, куда бежишь? Комиссия в лес прибыла, у кого пять ног, одну сразу отрезают! Так у тебя — четыре. Да-а, они сначала отрезают, потом считают.

Рассказ про шофера доносился издалека, под стук вагонных колес, сквозь голоса о чем-то спорящих, и я не все слышал, а что услышал, забыл. Но оказалось, не забыл. И как нарочно, стали попадаться похожие истории. У нас ведь так: если проводится какая-то кампания, допустим, борются с тем же пьянством, трезв ты или пьян, сиди лучше дома и не попадайся на глаза, пока все не стихнет. Вот и шофер этот (тот ли, про которого рассказывали, или тот, про которого думалось) попал под горячую руку, когда требовался свежий пример. И тут уж виновен, не виновен, значения не имеет: государственное мероприятие, на примере одного надо научить остальных.

Знал я и по фронту похожие истории, механизм действовал один и тот же, только там они — кровавы. Вот едет эшелон, везут маршевую роту. На каком-то полустанке, а то и вовсе в чистом поле — построение. Выводят одного, двух или трех бедолаг. Они уже без ремней. Зачитывают над их стриженными головами приговор трибунала: дезертиры, пытались бежать из эшелона. Тут же расстреляли, закопали, движется эшелон дальше. А они никакие не дезертиры, ничего они не злоумышляли, выдернули их, чтоб других припугнуть, чтоб никто бежать не вздумал.

Теперь люди научились чуть что в суды обращаться, ищут там свою поруганную честь, оценивая ее во столько-то милли-

онов: честь отныне имеет таксу. А прежде много получал я писем, и каждое второе — крик о помощи. Кому-то удавалось помочь. Но вот не идет у меня из головы этот шофер, которого я знать не знал, видеть не видел. И весь этот страшный механизм, с которым мы сжились и не замечаем, пока самих по затылку не стукнет. Понять и объяснить, как мы живем — это задача литературы, а не выдумывать нечто чрезвычайное. Беды наши просты, можно сказать — все они на виду, да только видеть мы разучились, усвоили главный принцип: тебя не выдержали, сиди и молчи.

Словом, история обычная, но тем-то и интересная, многое в ней сошлось. Как-то за городом вкапывали мы столб для калитки, глянул я на руки плотника, вот такие руки у того самого шофера, его руки. И лицо его встречать стал среди многих лиц, взгляд много натерпевшегося человека, вроде бы покорного судьбе, но нет, не утерявшего себя. А голос его временами так явственно слышал. Он для меня уже живой. Да и фамилия пришла, будто вспомнилось: Карпухин. И городок, где это происходит, и люди, которые судьбой его распорядились. Их огородные заботы, тихие летние вечера, когда можно посидеть на лавочке у калитки, покурить, глядя, как солнце садится. В общем-то все они неплохие в обыденной жизни люди, но самые позорные, самые страшные дела чаще всего совершаются при участии неплохих людей.

Начал я без определенной цели ходить по судам, смотрел, что и как там происходит. Запахи, лица. Особый запах у этих стен, у этих залов-клетушек, этих коридоров. Случалось, ночью проснешься вдруг от предошущения беды. Ничего вроде бы ни с кем из близких людей не случилось. И все равно, пока не выкуришь в котел отопления сигарету, не заснешь: я тогда еще курил. Казалось бы, уже все ощутимо, зримо, все есть, садись и пиши. А чего-то главного не хватало. Другой раз садишься к письменному столу, ничего еще толком не представляя, а оно само перед тобой начинает раскрываться, о чем и не подозревал даже. И в то же время есть у меня маленький рассказ, который я десять лет не мог написать, а потом написал мгновенно.

Но в этот раз еще вот что мешало: роман «Июль 41 года», который я начинал писать. У каждой книги, как я это называю, есть внутриутробный период, когда ты ничего еще про нее не знаешь, не чувствуешь ее, а она уже зреет. Было время, когда я совершенно не мог читать художественную литературу,

читал документы, мемуары, разговаривал с людьми, которые знали, что происходило в приграничных районах перед войной, в первые часы войны, сами испытали это. Это были и рядовые люди, и военачальники, мужчины, женщины, очень интересна и точна детская память. Меня интересовали мельчайшие подробности. А за всем за этим стояла и судьба моего брата Юры, про него я ничего тогда не знал, да и сейчас знаю мало: он сам пошел в это страшное пекло 41-го года и погиб. Я не думал об этом писать, я хотел понять, как это было, когда и как начиналось, как следствия сами становились причиной и события обретали гибельный ход. И вот однажды читаю книгу, название которой вам ничего не скажет, и на одной фразе остановился. И, бросив читать, ходил из угла в угол, страшно взволнованный. Все вдруг само стало организовываться. Возник сюжет? Нет, это не сюжет, это нечто более значительное. Назовем это воронкой. Она втягивала в себя и события и людей, часто против их воли, потому что логика событий значительней логики людей. И стала открываться последовательность, неминовимость того, что как будто и не замышлялось. И возникло ощущение, образ романа, к которому в дальнейшем стремишься, но достичь его не удастся никогда.

Короче говоря, я начал писать роман «Июль 41 года», быстро написалась первая глава, а дальше не пошло. Почему — не знаю. Чехов говорил, что к столу надо садиться совершенно холодным. Возможно — так. Я пробовал взять упорством, писал, переписывал по многу раз, но силой тут не возьмешь. Тогда я отложил роман и начал повесть «Карпухин». И тоже первая глава написалась легко, что называется, себе в удовольствие. А дальше — стоп. И вот две вещи начаты, и ни одна не идет. Тогда я начал вырезать палку, в детстве я это умел. Сажу на террасе и вырезаю и ни о чем стараюсь не думать. А вот когда не думаешь, оно само думается. И постепенно, постепенно вернулось главное. Сначала был написан роман «Июль 41 года», следом за ним — повесть «Карпухин».

Но повесть эту преследовал какой-то рок. Попросили у меня главу, напечатать в газете. Прочли, понюхали — нельзя: идет очередная кампания по борьбе с пьянством. И когда экранизировали повесть, вот-вот должны принимать фильм — снова началась кампания по борьбе с пьянством.

«Июль 41 года» пытались экранизировать не раз. Я даже как-то заключил договор с киностудией им. Горького, написал

сценарий, но из разговоров с режиссером понял, что к моему роману фильм будет иметь весьма отдаленное отношение. И я вернул аванс. Тем дело и закончилось.

После повести «Пядь земли», повести «Мертвые сраму не имут», романа «Июль 41 года», после рассказа «Почем фунт лиха», по которому в дальнейшем мы вместе с Марленом Хуциевым написали сценарий и он поставил телефильм «Был месяц май», я думал, что больше ничего о минувшей войне писать не буду. Да и брежневское мертвое безвременье не вдохновляло. Я занялся кино. Первый, самый неудачный фильм произвел на меня впечатление чуда: люди, которые некогда возникли в моем воображении, — вот они, на экране, как живые. Да такие похожие! Но изумление быстро прошло.

Хорошо было работать с Иосифом Ефимовичем Хейфицем. Мы познакомились с ним вскоре после того, когда на Каннском фестивале его «Дама с собачкой» и «Баллада о солдате» Г. Чухрая поделили первый приз. Хейфиц вернулся в Ленинград и заинтересовался одной моей работой. Мы мельком встретились на студии, а вечером — дома у Михаила Дудина и Ирины Тарсановой.

В Ленинграде была пора белых ночей. Мы ехали с Алексеем Баталовым на Кировскую улицу, и в странном свете не утра и не вечера я видел его в бороде, в которой он играл Гурова, разговаривал с ним и одновременно видел кадр, вернее — сцену, где Гуров и Анна Сергеевна сидят в Ореанде над морем на скамье.

Удивительна эта сцена. Поставлена и снята она не совсем так, как написал ее Чехов. Но передано главное: ощущение вечности. Дремлют в упряжке лошади, гривы их влажны от росы, это чувствуется. Коленями на каменистой земле молится извозчик, повернув лицо на восход. И в шуме моря, в освещенных зарей древних горах, осыпавшиеся камни которых перетирают волны внизу, во всем — вечность.

Для меня, человека не театрального, а в ту пору еще далекого от кинематографа, было странно ехать с живым Гуровым белой ночью по пустым каменным улицам. И в каменном подъезде, где раздался шум отъезжавшего такси, в поздний час был тот же сумеречный свет раннего утра.

Мы вошли. Хейфиц, смуглый от загара, седеющий, в белом, ослепительно белом при электричестве воротничке, выглядел весьма импозантно. Загар, белый воротничок — все это,

как подумалось мне, фестивальное, с берега Средиземного моря. Таким было первое впечатление.

Хейфиц временами надевал очки, в их выпуклых стеклах полосами отражалось электричество, он становился еще представительней. Позже я видел не раз, как, выбирая актера на роль, он вот так заслонялся очками, из-за блестящих притененных стекол наблюдал человека.

А «Дама с собачкой» совершала свое как бы отдельное от режиссера шествие по экранам мира. Английская кинокритика признала этот фильм лучшим из иностранных фильмов, показанных в Англии в 1962 году. Журнал «Филм энд филминг» обратился к известным деятелям мирового кино с вопросом: какие десять фильмов взял бы каждый из них с собой на необитаемый остров? Десять фильмов были названы, и среди них — «Дама с собачкой». Международная конфедерация киноискусства отобрала за всю историю кино 31 фильм, оценив их как фильмы высшего качества. В их число вошли «Иван Грозный» С. Эйзенштейна и «Дама с собачкой» И. Хейфица. ««Дама с собачкой» является для меня благословением, как стакан оздоровительной родниковой воды после принудительного принятия перно в течение длительного времени», — писал Ингмар Бергман.

— Вам, писателям, хорошо, — говорил не раз Иосиф Хейфиц, когда мы уже подружились и работали вместе, — хотите — садитесь за стол, не хотите — не сядете. А я не могу не идти на съемочную площадку: группа ждет, счетчик включен. А я не знаю, что завтра буду снимать, нет цельного ощущения.

Но шел утром, и работа начиналась, и дубль за дублем, и еще новый дубль. Пододев под пальто меховую безрукавку, поверх пальто — брезентовый плащ с капюшоном, натянув теплые сапоги, в восьмом часу утра Хейфиц уже на съемочной площадке. И так до позднего вечера на ветру, на морозе с красным задубевшим лицом. Вот так создается то, что в дальнейшем будет названо «благословением, как стакан оздоровительной родниковой воды». Вот так возникает этот загар, который при белом воротничке и галстукe выглядит курортным, средиземноморским.

Мы были связаны с Иосифом Ефимовичем Хейфицем почти двадцатилетней дружбой, подружились семьями. Вот одно из его писем: «Не писал вам целую вечность. Переписка с друзьями — роскошь для меня, идущего к финишу. Я в том состоянии, когда сон после обеда, чтение газет и соображения «что к

чему» кажутся уделом счастливых нормальных индивидуумов. Картину заканчиваю, рассчитывая лишь на инстинкт и некоторый опыт. Через месяц-полтора, то есть к Новому году, покажу, что из этого вышло. Выбираю дорогу, как старый журавль, ведущий стаю по слепому пути предков. Более молодые машут крыльями позади меня». И еще письмо, когда он уже ставил фильм по Чехову, которого бесконечно любил: «А я скучаю по этим годам, по комаровским, пахринским вечерам, — писал он со съемочной площадки. — Но уже донашиваются в памяти образы той картины, которая прошла и начинает отдаляться».

Я благодарен судьбе, что встретились с Иосифом Ефимовичем Хейфицем, подружился, работали вместе. Но даже в самые лучшие минуты меня не оставляло чувство, что занят я не главным делом своей жизни, а как бы отхожим промыслом.

Фильм по моей повести «Пядь земли» ставили режиссеры Андрей Смирнов и Борис Яшин, они только что кончили ВГИК, это была их первая после диплома картина. Они порывались и сценарий написать, но хорошо хоть этого я им не дал, сценарий написал сам. Много лет спустя Андрей Смирнов скажет мне: «А фильм мы ваш, Григорий Яковлевич, пропили». Действительно, выпито за время съемок было много, я на неделю приезжал и смог в этом убедиться. Они оба были молоды, не все еще чувствовали и не все умели, но актеров подобрали хороших, Мотовилова играл Збруев, это была едва ли не первая его роль в кино. И дорого мне было то, что они старались показать войну такой, какой она была. Потому местом съемок выбрали плацдарм, с которого немцы пытались сбросить нас в Днестр и откуда мы в дальнейшем пошли в наступление, когда началась Яско-Кишиневская операция. И окопы для съемок рыли на месте старых, засыпанных и заплывших окопов времен войны. В одном из них отрыли скелет. Он сидел, с давних пор сидел он, засыпанный землей, забытый. И был он, возможно, мой ровесник, зубы все молодые, крепкие. И может быть, видел я его в бою, знал, но вот мне уже — сорок, у меня двое детей, я прожил вторую, подаренную мне жизнь, а он остался здесь, навеки — девятнадцатилетний. Слова эти не сами пришли ко мне, есть поэма-плач Павла Антокольского: о его погибшем на фронте сыне. И там — «во веки веков — девятнадцатилетний».

Когда я писал повесть «Пядь земли», я был еще относительно молод, и все так живо было перед глазами, словно происхо-

дило вчера. А минуло уже двенадцать лет с тех пор, как война закончилась. Возможно, цифра эта, срок этот не случаен: книги о Первой мировой войне, которые остались в литературе, тоже написаны на таком отдалении. И можно было бы объяснить, почему это так, но теория есть теория, я привожу здесь факты. И вот еще что любопытно: книги эти написаны от первого лица, написаны словно бы из самой войны. И оттого, что молоды герои, авторы, перенесясь, перевоплотясь в них — кажутся моложе своих лет. Многое они видят и чувствуют, как видели и чувствовали тогда, и эта абсолютная достоверность дала книгам долгую жизнь.

Но повесть «Навеки — девятнадцатилетние» я писал, когда мне было пятьдесят. Вячеслав Кондратьев в одной из статей называл ее реквиемом. Возможно, это так. Я писал ее с отцовским чувством: моему сыну было столько же, сколько этим мальчикам, сколько мне в ту военную пору. И когда я писал повесть, я уже знал, я убежден был, что Второй мировой войны могло не быть. Но она была, она случилась, и с горечью, и с гордостью, и с болью я думал об этих мальчиках, об их молодых жизнях, которые они так бесстрашно отдали. И насколько же мир, который они собою заслонили, насколько без них мир стал бедней.

Во многих письмах, особенно письмах матерей, читал я, что вот такой и у них был сын, как Володя Третьяков, себя ради других не пожалевший. Горькие это письма: «Вечер. Заканчиваем посевную, я и дочь моя, инвалид. Радуемся июню, теплу. На Победу я услышала зозуленку, а вчера — соловейка. Вот тогда я особенно остро чувствую, что сына нет, и нет навсегда».

Я посвятил эту повесть «Тем, кто не вернулся с войны. И среди них — Диме Мансурову, Володе Худякову — девятнадцати лет», я взял к повести как благословение слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые!», и — взгляд современника и моего товарища Сергея Орлова: «А мы прошли по этой жизни просто, / В подкованных пудовых сапогах».

Повесть «Навеки — девятнадцатилетние» тоже была экранизирована, но мне никогда не хотелось посмотреть этот фильм второй раз, как, бывает, хочется заново перечитать любимую книгу.

...Примерно в то же время, когда вышла повесть «Навеки — девятнадцатилетние», в Театре на Таганке должна была идти

наша с Юрием Петровичем Любимовым пьеса «Пристегните ремни!». Предшествовала ей моя поездка на стройку. Тогда начинали строить в Татарии Камский автозавод, будущий КамАЗ, я поехал посмотреть, написал очерк в «Литературную газету», я и до этого ездил на многие стройки: интересно было знать, что и как происходит в стране.

Очерк этот прочла заведующая литературной частью Театра на Таганке Элла Петровна Левина, дала прочесть Юрию Петровичу Любимову, и они стали уговаривать меня написать пьесу: театру требовалось и от него требовали что-то современное. Написать пьесу, честно говоря, мне уже давно хотелось. В дальнейшем одна моя пьеса шла в театре Вахтангова, инсценировка повести «Навеки — девятнадцатилетние» шла в театре «Современник», шли пьесы в нескольких областных театрах, но я не драматург, это особый жанр, мне это не дано. Например, мне хочется написать хорошую комедию, но что поделаешь...

Так вот, уговаривали меня, уговаривали, и я предложил Юрию Петровичу: поедemте вместе на КамАЗ, походим, поездим, посмотрим, а потом подумаем. И мы поехали. Было интересно, и выпито было немало с хорошими, интересными людьми под свежую уху. Однако, вернувшись и подумав, поняли, что если можем написать что-то, то не о самой стройке, а о нашей жизни, о нас самих, о прожитых годах, а часть сцен будет проходить на стройке.

Как-то стоим мы с Любимовым у меня дома у окна, говорим о возможной конструкции пьесы, она что-то не придумывалась. И тут я сказал, что вообще-то мне давно хочется написать пьесу, действие которой происходило бы в самолете. Что там будет, я пока не знаю, но уже то интересно, что — между небом и землей. И хотя вроде бы люди уже привыкли летать, для многих это стало повседневностью, а все же ощущение, что взлететь-то ты взлетел, а сядешь ли, это подспудно остается, хотя и виду не показывают. И оттого разговоры откровенней, чем на земле. Любимов тут же сказал: отдайте это нашей пьесе. Жалко. Ничего, ничего. Отдадите. И сразу стал фантазировать, какая будет чудная декорация: вид салона, настоящие кресла, по одному борту кресла опускаются, по другому поднимаются — полное впечатление виража. И пошло, и поехало. И даже название он придумал сразу — «Пристегните ремни!». Как после этого не отдашь? В общем, пьесу мы написали: обсуждали вместе, писал, разумеется, я.

Потом читал вслух, потом опять все переделывалось. На худсовете читал Любимов.

Принимали пьесу трудно, начальство все в этом театре принимало через «не хочу». Об этом еще будет рассказано. Но вот приняли, пошел слух по Москве, и вдруг известили: лично Гришин пожелал увидеть спектакль.

В те, не столь давние времена, Гришин в Москве был человек всевластный: первый секретарь городского комитета партии, член политбюро, словом — Первый. Уже население Москвы подступало к девяти миллионам, жили здесь и люди, чьи имена войдут в историю народа, станут его славой и гордостью, но Гришин был — Первый. Так это говорилось на аппаратном языке, так мыслилось. Был свой Первый в Ленинграде, и в каждом городе и селе — Первый. И слово Первого — закон.

Стоят сейчас у метро «Тургеневская» в Москве какие-то вроде бы недостроенные здания. Затевалось что-то большое, но потом, как рассказывал мне архитектор, в макете показали Гришину, возможно, искали благорасположения. Тот прицелился взглядом — высоки. И, будто на его кровные строилось, усек мановением пальца наполовину. Они и стоят усеченные.

И вот он едет смотреть спектакль «Пристегните ремни!». Директор театра Дупак, в обязанности которого входило все знать и предвидеть, уверял, что члены политбюро имеют обыкновенные посещать театры по средам, и упорно на среду вставлял наш спектакль. Каких уж милостей он ждал, сказать не берусь, но человек он был решительный, во время войны служил в кавалерии и в кинофильмах о войне играл эпизодические роли командующих... Я пытался втолковать ему, что ничего хорошего из такого посещения не выйдет, довольно и того, что народ ломится. В Театр на Таганке в те годы вообще было не попасть, за билетами записывались с ночи, а уж на премьеру съезжались известнейшие, влиятельные люди, ну и, разумеется, торговые работники в немалом числе. Это было престижно, этим в какой-то степени измерялось положение в обществе: зван на премьеру, не зван... Интересно было наблюдать, как в фойе перед началом прогуливаются гости, словно бы соизмеряясь ростом.

Пьеса же «Пристегните ремни!» шла с большим шумом, на нее стали привозить иностранные делегации: вот, мол, какое у нас свободомыслие. Что и как переводили им — не знаю.

Между прочим, достиг этот шум ушей Шелеста, бывшего Первого человека Украины, к тому времени — пенсионера, то

есть, по нашим меркам, канувшего в небытие. При Сталине в отношении «бывших» все решалось фундаментально и просто, если канул, так уж канул без следа: «Бубнов Андрей Сергеевич... 1 августа 1938 г. военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян... Рыков Алексей Иванович... 13 марта 1938 г. приговорен к расстрелу, расстрелян 15 марта 1938 года...» И всех, кто знал и близок был, и соприкасался, и соприкасался с теми, кто соприкасался, всех, как правило, заметали.

Это уж Хрущев, возможно свою судьбу предвидя, завел мягкие порядки: соратников не казнить, а со всеми удобствами отправлять на пенсию. Они вскоре и отправили его, а потом друг друга начали ссаживать с кресел, и вот бывший Первый Украины, как все бывшие, обрел место жительства в Москве, а не среди благодетельствованного им народа, который в праздники, ликуя, нес над собой многочисленные его портреты, омоложенные лет на пятнадцать, на двадцать, полагая простодушно, что на себя нынешнего, освинелого, и ему смотреть не захочется. И живой Шелест в шляпе, подпертой ушами, в окружении сподвижников, жестом руки приветствовал с высоты трибуны свои портреты и колонны трудящихся. Все это было, а теперь бывшим стал он и захотел на досуге посмотреть наш спектакль.

Он не помнил, разумеется, что подобно тому, как Гришин мановением пальца усек здание, так он тоже чуть было не запретил наш с Хейфицем фильм. Сам он фильма не видел, но «письменники» донесли, нашептали ему в ухо, что махновцы в фильме все говорят по-украински, это же что получается? Он тут же приставил к уху трубку правительственного телефона в Киеве, а зазвонило в Москве.

В ту пору, как говорили, правила династия Романовых: один Романов сидел в Ленинграде, другой возглавлял цензуру, а третий Романов удобно расположился в кресле председателя комитета по кинематографии. И всем троим кресла были велики. Вот у кинематографического Романова и раздался телефонный звонок из Киева. А он уже имел неосторожность похвалить фильм. И даже торжественно пригласил к себе Хейфица и меня, был принесен чай (ему одному!), и он, отвалиясь в кресле, только что ноги свои короткие под себя не подобрав, со вкусом прихлебывал из стакана в серебряном подстаканнике, поздравлял, делился своими умозаключениями, я даже поду-

мал, грешным делом, нет ли чего стыдного в фильме, если он так хвалит. Но раздался звонок из Киева и — «Я любил тебя, Маланья, / До партийного собрания, / Как открылись прения, / Изменилось мнение».

Переделывать украинский язык, на котором и говорили махновцы, ну, например, переделать его на суржик, то есть смесь русского с украинским, я отказался, предложив: пусть они говорят на еврейском языке, начальство и тех самых «письменников» это должно устроить. Все переделки совершались без моего участия, а Романов, заявивший вначале, что выдвигает фильм на какую-то премию, теперь, убаготворяя Шелеста, добился, чтобы премию дали украинской актрисе.

И вот я стоял в фойе, издали смотрел, как в общей толчее Шелест проходит в зал, приметной была его круглая, наголо бритая голова с толстыми губами и жировой складкой на шее под затылком. Но в самих дверях по-деловому поспешающий заместитель министра культуры Воронков оттеснил его, проще сказать, локтем отодвинул и прошел, не извинившись, не оглянувшись даже. Чиновник и Шелеста не заметил!

Был Воронков из комсомольской рати, а комсомол, дело известное, готовил кадры не только для партии, но и для КГБ, и со временем не случайно поместили Воронкова в Союз писателей, осуществлять надзор. Мог ли он при такой должности не стать писателем? Писатель Воронков! Чтоб это осуществилось, предложил ему свои услуги Анатолий Алексин: он что-то написал, Воронков — соавтор, он же и организовал обоим премию имени Ленинского комсомола, поскольку был оттуда родом и связей не порывал.

Но и на старуху случается проруха. В самый разгар его успешной деятельности поехал в Англию Анатолий Кузнецов, ныне покойный, да и исчез там, попросил политического убежища. Рассказывали, готовился он задолго, был даже план под водой пересечь границу и вынырнуть из турецких вод... Но в конце концов выбрал путь самый проверенный: еду, мол, собирать материалы о Ленине. Воронков лично ходатайствовал за него. А уж когда случилось и посыпались выговоры на всех причастных и не причастных, один Воронков, только он единственный не пострадал. И не будучи пророком, я сказал тогда же: этого ему не простят, пострадавшие друзья не простят. Действительно, вскоре он был пересажен в кресло замминистра культуры, что по незримой табели о ран-

гах означало понижение. Как же было ему не стараться в новой должности? И он успел-таки запретить в Театре на Таганке спектакль «Живой» по повести Бориса Можаяева и проделал это мастерски.

Был год страшной засухи и пожаров, дымом горящих торфяников заволокло Москву. И вот в эту жару и сушь свезли в театр председателей колхозов, прибыли работники министерства сельского хозяйства. Все первые ряды блестели Золотыми Звездами Героев Социалистического Труда, духота в зале стояла страшная, а актеры... Знали, что запрещать съехались, видели, как хмуро глядят на них из зала, но играли вдохновенно. Когда же, отыграв, удалились, чтобы послушать из-за кулис, вот тут начался главный спектакль. Один за другим по списку выходили к микрофону председатели колхозов и, обливаясь потом от жары, гневно клеймили авторов, будто одну и ту же передовицу «Правды» читали: очернение, искажение колхозной действительности... А тем временем из Москвы в их подмосковные колхозы гнали поливальные машины, чтобы на огородах хоть что-то спасти от засухи. И постановщиком всего этого спектакля был Воронков. Вот он и оттолкнул в дверях бывшего Шелеста.

Теперь через эти двери, в этот зал, впервые со дня основания театра почетным гостем должен был пожаловать Виктор Васильевич Гришин. Уже в час дня явились товарищи в штатском, осмотрели помещение, обследовали все ходы и выходы, все проверили. А жизнь в театре шла своим чередом. Обычно в четыре, в начале пятого буфетчица начинала готовить бутерброды. Бывала это и белуга горячего копчения, и осетр, но чаще уже — горбуша, кета. Острейшим ножом снимали шкуру, отделяли нежное мясо, чтобы, нарезав тоненько, разложить по бутербродам. Этого часа ждал рабочий сцены, который помогал буфетчице подносить тяжести, доли своей ждал. Он уносил шкуру, на ней что-то неминуемо оставалось, иногда уносил и голову рыбы, хорошая закуска под пиво, одного запаха и то могло хватить. Постепенно сходились актеры, ненадолго разъехавшиеся после утренней репетиции. К шести часам, к восемнадцати ноль-ноль, в театре были все. Я пришел в половине седьмого. В кабинете Любимова, где все стены в автографах знаменитых людей, дежурили у телефона два товарища в штатском, чем-то похожие друг на друга. Я поздоровался, назвавшись, они скромно не назвали себя. Потом мне понадобилось

позвонить по телефону, и я разговаривал под их бдительным присмотром.

Из окон кабинета была видна Таганская площадь, пустая, будто вымершая: ни машин, ни троллейбусов, ни пешеходов: движение перекрыто, одни лишь чины милиции с полосатыми жезлами прогуливаются посредине, по голому асфальту. Примерно без четверти семь что-то донесли радиоволны, все на площади вздрогнуло, напряглось, и возник черный ЗИЛ, черная машина сопровождения следом. Они развернулись по широкой дуге, поворачивая за собой головы милиционеров. Стали перед служебным входом. Почетных гостей встречали хозяева: Любимов, Дупак. Я встречать не пошел; ощущая за спиной двух не назвавших себя товарищей в штатском, смотрел сверху: как распахнулись дверцы машин, как просияли улыбки, и все общество — в центре Гришин с женой — двинулось от машин к служебному входу в пространство, которое сверху уже не просматривалось.

В фойе тем временем прогуливался ничего не подозревавший народ, и буфет, как всегда, был полон: театральный буфет для людей, пришедших на спектакль, — это начало праздника. В кабинете для гостей тоже было приготовлено — чай, минеральная вода, бутерброды, — для видимости приготовлено: высокие гости непроверенного есть-пить не станут.

После узнал я случайно, что в этот самый день Андрей Дмитриевич Сахаров тоже хотел попасть на спектакль, но сочли это неуместным, присутствие опального академика могло омрачить впечатление. Знали бы, что жизнь приготовила...

По служебной лестнице, не очень, надо сказать, удобной, поднялись в кабинет, здесь некоторое время разговаривали почему-то стоя и тихими голосами, особую благостность и тишину распространял вокруг себя высокий гость. За дверьми ощущалось незримое присутствие сопровождающих. Возможно, из-за того, что они там находились неотлучно, и произошло все дальнейшее.

Без пяти минут семь вспыхнула лампочка над дверью кабинета: первый звонок.

— Может быть, не будем заставлять народ ждать нас? — сказал Гришин.

— За нами придут, — заверил Дупак. Он как раз показывал гостям на ватмане, на специально внесенном планшете, будущее здание театра, заранее благодарил за заботу, и это воспри-

нималось благосклонно. А то, что ранее тот же Гришин чуть было не закрыл театр и Любимов уже сидел у него в приемной, ждал, когда вызовут, чтобы исключить из партии, готовился, не провидя дальнейшей своей судьбы, — так ведь кто старое помянет, тому глаз вон. Ну, а встречать благодарностями, преподносить любое дело как личную заслугу высокого гостя, это был установившийся ритуал, даже школьники знали частушку: «На дворе утихла вьюга, прилетели два грача, это — личная заслуга Леонида Ильича».

Вновь вспыхнула и длительно замигала красная лампочка над дверью: семь часов, третий звонок дан. И снова Дупак заверил: за нами придут. Однако не шли. Пять минут восьмого... Как-то неуютно становится. Двинулись сами.

В буфете, через который надо было пройти, — пусто, небранная посуда на столах. Пуста и безлюдна широкая лестница вниз, и там, внизу — ни души, двери в зал закрыты, спектакль начался. Только у ближних к сцене дверей толпятся актеры, сейчас им входить. Кто-то спешно кинулся задержать их, а я, приотстав, вижу, слышу, как по широкой пустой лестнице с тихим благостным разговором спускаются вниз гости, с ними — онемевшие от предстоящего позора хозяева, а внизу отпихивают актеров от дверей как раз под ироничным портретом Брехта, он словно бы понимает, что сейчас произойдет.

Я уже говорил, что сцена в спектакле представляла собой салон самолета, проход посередине — это черта между прошлым и днем нынешним, между тем, что было с людьми и что с ними стало. И все в этом салоне было натуральное, и кресла натуральные, и когда под рев турбин закладывался вираж, сцена как бы накренилась. И стюардесса по радио объявляла то же, что объявляют в полете... Правда, когда на первый показ спектакля пригласили строителей и авиаторов, строители одобрили все, кроме строительных проблем, авиаторы похвалили спектакль, но стюардессу не одобрили: неужели не могли проконсультироваться, она же совсем не то и не так говорит... Не знали они, что на пленку записан голос победительницы конкурса стюардесс.

Загружалась сцена в два приема. Сначала из задних дверей шумно пробегали через зал актеры в солдатском обмундировании: плащ-палатки, каски, шинели... Это солдаты сорок первого года, те, кого уже нет в живых; они рассаживались по одну сторону прохода в полутьму. А затем с почетом входила из

ближних дверей комиссия, направлявшаяся этим рейсом на стройку учинять разгром. Прожектор ловил ее и от дверей вел до самых кресел, где белые салфетки на подголовниках, где стюардессы сразу же начинают порхать над ними. Вот эту комиссию, этих актеров срочно отпихивали от дверей, чтобы пропустить вперед высокого гостя, с перепугу сами не понимая, что делают. И Виктор Васильевич вместе с женой вступили в зал во главе комиссии, как бы возглавив ее. А прожектор осветил их и повел, и повел...

Сначала никто из зрителей ничего не понял, потом смешок раздался; потом — смех. В театре этом, на беду, и ложи не было, чтобы, скрывшись в глубине, только белые руки выложить на бархат барьера. При всеобщем, как говорится, оживлении зала, ведомые прожектором, сели они, по бокам и за спиной сидела охрана.

После в театре говорили, что произошло все это не случайно, кто-то специально все так подстроил, чтобы убрали Любимова. Учиняли даже собственное расследование. Но я думаю, все было проще: слишком уж страху нагнали. Шутка сказать, с часу дня явились в театр товарищи в штатском, движение на площади перекрыто, у телефона дежурят... Когда страх, люди глупеют непредсказуемо.

Имел я случай наблюдать нечто подобное после войны в Болгарии, в чудном городе Пазарджик, где мы тогда стояли. Прознало тогда командование, что едет с проверкой из армейских верхов, из Софии, генерал. И будто бы генерал этот любит цветы. В казармах, как известно, цветы не полагаются. Но раз любит... Приказано было офицерам нашего полка сдать по столько-то левов, навезли цветов видимо-невидимо, повсюду расставили в горшках. А генерал этот, как оказалось, превыше всего чтит устав и цветов не любил. Садясь в машину, приказал кратко: «Разминировать!» То-то смеху было, когда эти цветы потом не знали, куда деть. Но что тот генерал в сравнении!..

И вот сидим в кабинете Любимова наверху (сам Юрий Петрович в зале), слушаем спектакль по трансляции. Конечно, гостей не ставят в такое положение, что уж говорить. Но теперь важно: уйдет Гришин со спектакля или не уйдет? Спектакль, как нарочно, без антракта, при всеобщем любопытстве высидеть два часа... И хоть бы без жены это произошло, руководящие жены особенно чувствительны. Но встать, выйти на виду всего зала, все это завтра же разнесется по Москве, смеяться будут...

А как трудно проходила пьеса, столько было многообразных комиссий. Специально для спектакля Владимир Высоцкий написал песню «Шар Земной». И когда он с гитарой шел через сцену, через весь зал и пел: «...От границы мы Землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала...», у меня мороз шел по щекам. Слова, музыка, голос его, он сам! Но в комиссии подбирают людей нечувствительных, ничего на их лицах не мелькает, ни мысль, ни чувство. Встанут, поблагодарят и направятся к выходу, наденут пальто в гардеробе: поприсутствовали, идут доложить. Мнения своего не высказывают. Не люди, микрофоны на ножках. Но микрофон хоть воспроизводит с точностью, а эти натасканы предугадывать мнение начальства. И нередко от них начальство и узнает свое мнение.

Один раз я не выдержал. В комиссии был отставной полковник бронетанковых войск, он тоже вот так направился к выходу, ни слова не уронив. И тогда я громко, на все пустое фойе — вслед ему: «Товарищ полковник! Вы — фронтовик! Вы и на фронте были так застенчивы?» И что-то в нем дрогнуло: повернулся, пошел не в гардероб, а в кабинет Любимова на второй этаж. Комиссия — за ним. Но что они говорили, чтоб ничего не сказать, так уж лучше б и не оставались.

А последний раз принимали спектакль под самый Новый год, 31 декабря, когда в квартирах наряжают елки. Руководил тогда культурой в Москве, то есть заведовал ею в Моссовете, некто Покаржевский. И вот туда, к нему, в главк призвали нас с Любимовым. Мы — двое, а с той стороны видимо-невидимо бойцов, и все — испытанные. Заместителем Покаржевского был Шкодин, известный тем, что кто-то, спутав или нарочно, сказал: «Вот тут выступал товарищ Паскудин...» Так за ним и закрепилось.

Некогда закончил Шкодин то ли факультет, то ли курсы театральных режиссеров, и надо же так случиться, что на стажировку направили его к Любимову. Тот посмотрел его, послушал: «Не надо вам этим заниматься, режиссера из вас не получится. Вам это не дано». И стал Шкодин руководить искусством в точном соответствии с принципом: кто может — делает, кто не способен — учит. Вот он-то вместе с Покаржевским решал судьбу спектакля.

Во время обсуждения Любимову стало плохо. Объявили перерыв. В приемной, где не так сильно было накурено, он сел

в кресло под распахнутой форточкой, дышал. Пощупал я у него пульс: то частый, то выпадает. Принесли стакан воды, первое наше российское лекарство. Тут Шкодин вышел из кабинета, глянул, воткнул сигарету в рот, закурил. Стоит и дышит.

Когда вновь началось обсуждение, я предупредил: если Шкодину дадут слово, я выйду: вот за этот его поступок. Шкодину слово дали. Я вышел. Послали за мной: надо же продолжать. Опять он встает, начинает говорить. Я опять вышел...

И после всего, что вытерпели, когда спектакль наконец пошел, надо же такому случиться! А по трансляции слышно, идет лихо, весело, может, потому, что адресат в зале, уже не первая реплика в него попадает, хотя писалось не о нем. И каждый раз, как в зале смех, администратор хватается за голову: «Запретят!» А мне какое-то чувство подсказывает: нет, не запретят. Ведь это получится вот что: пришел, увидел, запретил... У нас привыкли делать не своими руками, не оставлять следов.

И еще соображение, которое по прежним временам должно было напугать: некая уругвайская газета, переврав и название и содержание, заявила сенсационно: в Москве, в Театре на Таганке идет антисоветская пьеса. Уругвай от нас далеко, но мы традиционно чувствительны к тому, что подумает или скажет о нас самый захудалый иностранец. И председатель ВЦСПС Шелепин, глава наших тогдашних профсоюзов, «школы коммунизма», член политбюро, которое в тот момент почему-то называлось президиумом, немедленно подхватил: лично сам я не видел, но мне докладывают...

Прозванный Железным Шуриком, Шелепин хотя еще и занимал высокий пост, на самом деле доживал последние дни на политической арене, звезда его покатила к закату, и все, кому положено знать, знали: он есть, но его как бы уже нет, он — бывший.

Мир мал, и в этом постоянно убеждаешься. Шелепин — из Воронежа, земляк мой, и даже его младший брат учился в одном классе с моим двоюродным братом Юрой Зелкиндо, который погиб под Харьковом. Не знаю, был ли младший Шелепин на фронте, а старший благополучно учился в Москве, готовил себя к великим деяниям и уже в студенческие годы, когда зашел разговор в общежитии, кто хочет кем быть в дальнейшем, заявил твердо: хочу стать членом ЦК и им стану. И стал. А помогла ему в том, чего она знать не могла, Зоя Космодемья-

янская: то ли комсомольский билет он ей вручал, то ли напутствовал, когда ее и других таких же девочек отправляли на подвиг и смерть мученическую, а он, здоровый мужик, оставался в тылу.

В длинной офицерской шинели, в звании капитана, и дня на фронте не пробыв, Шелепин шел за гробом Зои Космодемьянской, сопровождал в последний путь героиню, как бы воспитанную им, есть эта хроника, я ее видел. Вот с того дня и пошел он вверх резво: сначала по комсомольской линии, потом по партийной, и все выше, круче, а в 58-м году уже занял пост председателя КГБ, сдав его в дальнейшем Семичастному, тоже комсомольскому секретарю, выросшему под ним, участвовал в удалении Хрущева на пенсию, после чего зашептали, а по «голосам» заговорили уверенно, что Брежнев — фигура временная, скоро власть переймет Шелепин, Железный Шурик, он-то и наведет порядок.

Но в чем, в чем, а в аппаратных играх Леонид Ильич простаком не был. Случайно или не случайно Шелепин послан был с миссией в Англию, там его встретили и проводили с таким позором, что быстрый его закат стал неминуем.

Просчитал ли все это Гришин, пока сидел в зрительном зале, но единение с Шелепиным даже по самому незначительному поводу (а запрещение пьесы у нас вообще ни за что не считалось) ни славы, ни очков ему не прибавило бы.

Когда спектакль кончился, я увидел совершенно потерянного человека. Поднялись в кабинет Любимова, шли, как на собственные похороны. Мы думали, сразу уедет. Не уехал. Вошли. Стоим. Долгая пауза.

— Так что же, мне теперь в свою машину не садиться? — спросил он голосом тихим и как бы даже болезненным.

Тут надо пояснить, иначе смысл этих слов и глубина обиды останутся не поняты. Пьеса заканчивается тем, что на обратном пути в столицу самолет едва не потерпел аварию, сел где-то во глубине России. И вот, не вполне осознав случившееся, в некоем потрясении председатель комиссии привычно распоряжается: «Значит, так: за мной машина прибывает. За вами — тоже. А вы тогда возьмите с собой в машину...» И только когда ему шепнули на ухо, что они не в Москве, за всеми выслан автобус, он вдруг поумнел: «А? Тогда — на общих основаниях. На общих основаниях...» Вот к этому и относились с тихой горечью и обидой сказанные слова: «Так что же, мне теперь в свою ма-

шину не садиться?» И все услышали бурное дыхание супруги. Да что вы, совсем не то имелось в виду, садитесь, садитесь... Ох!

Около получаса длился тихий разговор и опять же почему-то стоя. И я старался слушать, момент серьезный, судьба спектакля решалась, но что-то мне мешало вслушаться. Вот как если у человека один глаз живой, свой, а другой стеклянный, тянет тебя смотреть в этот мертвый глаз, хоть и понимаешь, нехорошо. И в лице Гришина притягивало меня какое-то несоответствие. Вроде бы и подбородок у него не тяжелый, но вот эта часть лица, это расстояние от низа подбородка до носа, проще сказать, жевательная часть была просторней, больше пониженного лба. Не того лба, что открывался за счет лысины да жиденьких зачесанных волос, отступающих все дальше, а лба, где что-то наморщивается, если вдруг возникает мысль или какое-то соображение. И тянуло меня смотреть, как вверх-вниз движется эта жевательная часть, а слова воспринимал не все, что-то, возможно, и упустил.

— Вот пехота у вас... Теплые слова сказаны про пехоту. Это — хорошо: теплые слова. А почему не про летчиков? Летчики — героическое племя. Я в войну с летчиками был, — сказал он, скромно полуприкрыв глаза.

Я, правда, знал, что в войну Виктор Васильевич Гришин, как бы это поаккуратней выразиться, лишь мысленно «с летчиками был». С 41-го года он — на партийной работе: секретарь, второй секретарь, первый секретарь Серпуховского горкома партии, потом выше, выше подымался, до Москвы дошел. И так же, как Шелепин (а может, это не совсем уж случайное совпадение биографий), всю войну был нужен родине в тылу, золотой ее кадр, а на каком-то витке своей карьеры занял пост главы профсоюзов — школы, как было уже сказано, коммунизма... И всего-то у него образования, если не считать партшколы, — Московский техникум паровозного хозяйства. Но мы стоим, слушаем Первого человека Москвы.

Имел я перед самой войной вовсе небольшой, четвертый разряд слесаря-лекальщика. Так я и сейчас, лучше ли, хуже, но все же могу напильник держать в руках. Был я во время войны солдатом, командиром взвода управления. Я и сейчас смог бы вывести снаряд на цель, хотя и нет уже тех орудий и, слава богу, не надо мне этого делать. Или ту же строевую команду подать: «Бат-тар-рея!» Раскатится по всему строю, и это уже со

мной до гробовой доски. Но росли у меня дети, и, если заболели, я за врачом шел. И чужим детям не давал медицинских советов.

Все же когда о пехоте речь зашла (а слова там из «Пяди земли» взяты, самые обычные слова про то, что значило быть пехотинцем на войне), я сказал, хотя опыт общения с такими людьми учит: кивай, а делай по-своему:

— Летчики, конечно, героическое племя, но народу-то больше всего было в пехоте. И погибало там бессчетно.

Вот тут раздалось:

— Народ и партия во время войны были едины!

Это не он сам, это — супруга за его спиной. И все услышали бурное дыхание. Едины-то едины, а все же и тогда один по службе рос, другой в окопах мерз.

Потом они уехали. И движение на площади восстановилось: троллейбусы пошли, машины хлынули сплошным потоком. А мы сидели в кабинете Юрия Петровича Любимова: что-то надо было решать. И пришла простая мысль: закуска есть, гости побрезговали, но нам она как раз. Нашлось и к закуске. И просветлело на душе, вспоминалось уже со смехом, как директор все на среду, на среду вставлял в программу спектакль: в ожидании милостей. Вот и дождались.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАЖИВАТЬ НЕПРИЯТНОСТИ

Позвонил мне приятель: ты читал статью Аннинского? Не читал. А ты прочти. И другой позвонил вскоре: читал? Да что стряслось? А вот прочти, прочти...

Лев Аннинский — интересный критик, пишет живо, легко. Что он такое мог написать, что взволновало умы? А тут и жене моей позвонила приятельница, далекая от литературы, но и ее возмутила статья. Нашли мы этот номер «Литературной газеты», прочел. Хотел было позвонить Аннинскому: Лева, бог с вами, что вы пишете? Но «Литературная газета» в то время выходила тиражом то ли миллион, то ли три миллиона экземпляров, решил я написать открытое письмо, та же «Литературная газета» его напечатала. Вот оно:

«Уважаемый Лев Александрович!

Вы знаете, я всегда с уважением относился к Вашей работе, но статья «Штрихи к блокадному пейзажу», напечатанная Вами в № 4 «Литературной газеты», вынудила меня написать это письмо. Цель статьи, как Вы ее определили, уточнение самого себя. «С чувством величайшей признательности я привожу здесь замечания ленинградского журналиста О.В. Рисса, уточнившего мой «пейзаж». То, что Седьмая симфония Шостаковича была исполнена в Ленинграде 9 августа 1942 года «под канонаду», казалось мне бесспорным фактом истории музыки», — пишете Вы. Но журналист уточнил: по приказу командующего Ленинградским фронтом были предприняты меры, чтобы город не подвергся обстрелу, велась контрбатареиная борьба. «Вот факт посильнее «канонады», — восхищаетесь Вы. — Контрбатареиная борьба — самопожертвование. Это на себя вызвать огонь противника. Чтоб он по тебе боезапас израсходовал. Артиллеристы, прикрывшие собой музыкантов, — вот музыка той войны».

Вы не артиллерист, Вы литератор. Тем более хочу спросить Вас: неужели Вы считаете нравственным, если бы так было на самом деле, чтобы одни люди шли на самопожертвование, вы-

зывали огонь на себя, то есть погибали для того, чтобы другие люди в это время могли слушать и исполнять музыку? Даже если это исполнялась Седьмая симфония Шостаковича. Неужели это может вызвать у литератора восторг, а не скорбь и многие, многие размышления?

Но так в данном случае не было, и мне приходится разьяснить, что такое контрбатарейная борьба. Я был командиром взвода управления в ту войну, о которой Вы пишете, и одной из моих обязанностей было как раз вести контрбатарейную борьбу. Обнаружив батарею противника, получив разрешение уничтожить или подавить эту цель, я с наблюдательного пункта передавал данные для стрельбы на свою батарею, которая находилась далеко позади на закрытых огневых позициях, а не на прямой наводке, как, например, при стрельбе по танкам, и батарейцы заряжали и стреляли, выполняя команду, но не видя, куда они стреляют. Что же тут героического? Разумеется, могли и нас обнаружить — «засечь», — на то война. Из всего, что выпало на долю артиллеристов в той войне, контрбатарейная борьба — относительно спокойное дело, никакого особого самопожертвования она не требовала. Я ни в коей мере не преуменьшаю подвига ленинградских артиллеристов, но они выполняли свой воинский долг, а Вас долг литератора обязывал к точности, а не к вольному обращению с фактами.

Действительно, во время войны бывали случаи, когда вызывали огонь на себя. Но это вызывали огонь своих батарей. Это было последнее, что мог совершить человек, если противник захватывал наш наблюдательный пункт или врвался на огневую позицию и отбиться не было возможности. Тогда, чтобы погибнуть не зря, а смертью смерть поправ, мужественные люди вызывали огонь на себя. Но вызывать на себя огонь противника, «чтоб он по тебе боезапас израсходовал», иными словами, помочь ему уничтожить нашу артиллерию, — этого не только командующий фронтом, этого ни один командир, находясь в здравом уме, приказать не мог. Человек сугубо штатский, Вы, возможно, в таких вещах не разбираетесь, но Вы объясняете людям популярно, что есть что, и тут уж полагается знать. Ведь не трудно взглянуть хотя бы в 4-й том Советской Военной Энциклопедии, прочесть, что такое «контрбатарейная борьба», и не писать бог знает что «в целях уточнения».

Я удивляюсь, как не режет Вам ухо рядом со словом «блокадный», выстрадавшим ленинградцами, слово «пейзаж»? И по-

смотрите, что Вы пишете дальше, все в тех же целях уточнения: «Дом, пробитый фугасным или бронебойным «чемоданом» в 1941 году, не погребал столько жизней, сколько дом, прошитый осколками в 1942-м». Ну какие же это осколки могли «прошить» каменный дом? Да еще той кладки. Я уж не говорю о почерпнутых из литературы о Первой мировой войне «чемоданах».

А теперь о Вашем предположении, как погибла рукопись Андрея Николаевича Лескова, дело его жизни, два тома, написанных об отце (которые после войны он написал заново, будучи уже в преклонных годах). Ваше предположение просто: «...спасаясь от холода, сжег ее на исходе первой блокадной зимы». Каждый, кто читал эти книги, мог убедиться, какой высокой нравственности и чувства долга был этот человек. Предполагать Вы вольны что угодно, но, не проверив, печатать предположение, бросающее тень на человека, которого уже нет, который не может защитить себя... В каком свете во всей этой истории предстаете Вы сами, это Ваше дело. Однако тут речь выходит за рамки одной судьбы и одной рукописи.

Свое предположение, что Андрей Николаевич Лесков якобы сжег рукопись об отце, писателе Лескове, чтобы согреться у этого огня, Вы обосновывали в статье в журнале «Новый мир» вот чем: «Как бы то ни было, а пережить первую блокадную зиму в Ленинграде ни одна рукопись шансов не имела. Вся бумага: архивы, библиотеки — все сожжено было в печах в первую зиму вслед за мебелью».

Это Вы пишете после того, как миллионы людей читали дневник Тани Савичевой в музее на Пискаревском кладбище. После «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, в которой приведены отрывки из дневника историка Георгия Алексеевича Князева, а всего в том дневнике 1200 машинописных страниц. Верный добровольно взятому на себя обязательству не позволить блокадной мгле «сразу же стирать память о погибающих», — Г.А. Князев рассказывает о всех умерших, близких и дальних знакомых, людях, которых и имени никто и никогда не вспомнит. Там же, в «Блокадной книге», дневник пятнадцатилетнего Юры Рябинкина, которому нечеловеческие страдания дали силу остаться человеком, даровали недетскую мудрость. До последнего часа он вел свой дневник, не сжег его, чтобы обогреться, а умирая, «Юра приподнялся с кровати, искал свою папочку (дневник при нем), попытался встать, не смог, не сумел, упал на кровать...»

«Во время блокады дневники вели многие... — пишут авторы книги. — Нам присылали, приносили эти тетрадки, старые конторские книги, где карандашом, бледными чернилами, аккуратно или наспех, коротко или подробно, иногда коченеющей рукой люди записывали пережитое... Откуда силы брались у ленинградцев, об этом рассказала нам дневниковая память Ленинграда, сами же ленинградцы... Это тоже было противостояние, и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта».

Эти люди, обычные в обыденной жизни, поднялись в час испытаний до вершин духовного подвига, они оставили нам завещание, а Вы походя все это зачеркиваете: «ни одна рукопись...» Ради красивой ситуации — «вот музыка той войны» — Вы придумываете некое самопожертвование, которого не было, и не замечаете того, что было истинным подвигом. Как же, «уточняя», этого не уточнить?

А вот что касается архивов и библиотек, которые, как Вы утверждали, все были сожжены. «Есть замечательные рассказы работников Публичной библиотеки, которые в самое голодное, отчаянное время перетаскивали в хранилища частные библиотеки умерших собирателей, ученых, библиофилов, те собрания, которые остались бесхозными, спасали книги из разбомбленных домов». Там же, в «Блокадной книге», приведен рассказ Зинаиды Александровны Игнатович, как с мужем они перевозили на санках брошенную библиотеку («Как можно бросить Достоевского? Если бросить, их ведь сожгут!»), как муж по дороге потерял сознание и она думала, что он умер, как все же пришлось бросить санки у самого дома: мужа она дотащила до квартиры, а поднять книги без лифта уже сил не было. На следующий день — «Прихожу с работы, вижу: санки пустые! Вот ужас, думаю, человек чуть не умер из-за книг, а кто-то на растопку взял! Стала подниматься к себе наверх, на пятый этаж. Когда я дошла до четвертого этажа, слышу странный такой звук, как будто собака идет на четырех лапах, вот так вот шлепает! Я думаю: откуда в сорок втором году собака? Давно всех собак съели. Когда я поднялась на площадку четвертого этажа, вижу такую картину: муж, у него сзади торба с книгами, и он на четвереньках несет эти книги!!! Увидев меня, сел и говорит: «Вот не успел! Думал до тебя перенести». Идти он уже не мог. Так он на четвереньках, как собака, перетаскал все книги».

Вы можете не знать этих фактов, не читать «Блокадной книги»

(прочитавший, ее уже не забудет), но откуда это право писать так безапелляционно? Зачеркивать то, что всем нам следует помнить и знать?

И даже когда ленинградский журналист, лично знавший Андрея Николаевича Лескова, написал Вам, что такой человек не мог сжечь рукопись, Вы поначалу не соглашаетесь. Вот ход Ваших рассуждений: «Нужны были положительные свидетельства — без них мне ничего не оставалось, как придерживаться своего предположения». А может быть, все-таки наоборот? Может быть, сначала надо иметь «положительные свидетельства», а потом уж что-то утверждать, тем более если эти Ваши утверждения бросают тень на человека? И вот из Америки американский лесковед представил «положительные свидетельства»: «...Андрей Николаевич вручил рукопись на хранение одному близкому приятелю, у которого была большая семья, думая, что во всяком случае выживет хоть кто-нибудь из этой семьи. Однако после войны выяснилось, что погибли все... и экземпляр рукописи». Не странно ли: из Америки пришло свидетельство! А ведь Америка несколько дальше от Ленинграда, чем Москва.

«Я хочу, — пишете Вы, — чтобы как можно больше людей узнало эти подробности. Не только потому, что это мой авторский долг читателям, есть долг побольше: долг всех, кто пережил, выжил, помнит, перед теми, кто, к счастью, знает ту войну уже только по книгам». Зачем эти высокие слова, произносимые с такой легкостью? Их особенно неловко читать после всего, что было приведено.

Я бы ограничился личным письмом к Вам, если бы вольное обращение с фактами (к чему это приводит — очевидно) не стало почти нормой. Вы не исключение, но я пишу Вам потому, что Вы походя, между прочим, с непозволительной небрежностью и, в общем-то, равнодушно заделали то, в чем наша память и боль.

В свое время я был поражен, как в беседе с покойным ныне Ю. В. Трифоновым Вы доказывали, что «с известной точки зрения безнравственно вообще художественное творчество, ибо оно выволакивает сокровенные вещи и заставляет обсуждать то, что обсуждать неловко».

Нет, Лев Александрович, вне нравственности художественного творчества, литературы вне нравственности быть не может. А те сокровенные вещи, которые сохранили для живущих и грядущих поколений дневники блокадного Ленинграда, показывают, до каких вершин духа способен подниматься человек».

Вот так я написал Льву Аннинскому, в «Литературку» пришло много писем в поддержку, отношения наши с Аннинским не улучшились, да что же делать?

Но пришло и гневное письмо лично редактору газеты от некоего Лобаня, бывшего артиллериста: оказывается, я недохвалил ленинградских артиллеристов, хуже того — оскорбил. С точки зрения артиллериста, письмо было совершенно безграмотное. Я даже усомнился, что человек этот был когда-то командиром батареи. Но вежливо ответил ему. Вскоре письма от Лобаня и «примкнувшего к нему» Кузнецова лежали чуть ли не во всех газетах. Они оба приезжали в Москву, ходили по редакциям. Продолжалось это несколько лет, а когда я был уже редактором «Знамени», они написали Лигачеву. Артиллерия их уже не волновала, они требовали «поставить прочный заслон» мне лично и все-таки тому, что печатается в «Знамени». Это их письмо я напечатал в журнале с небольшим комментарием.

А вот другая история, которая начиналась весьма благобно. Позвонил мне Анатолий Рыбаков, он только что закончил роман «Тяжелый песок»:

— Гриша, прочти, получишь а-а-агромное удовольствие!

Я прочел роман, наверное, это лучшая его книга. Позвонил ему:

— Толя, прочел. Получил а-а-агромное удовольствие.

После этого заговорили о делах: Рыбаков просил отнести роман в журнал «Октябрь», где я в ту пору был членом редколлегии, рекомендовать его. Я отнес, был у меня разговор с Анатолием Ананьевым, главным редактором журнала, я сказал, что я бы роман напечатал, объяснил, почему именно сейчас стоит это сделать. Разумеется, решает главный редактор. В том, что роман был напечатан (а в ту пору это сделать было не так легко), заслуга целиком — Ананьева. Роман пошел широко, его читали, перевели во многих странах.

Проходит время, Рыбаков снова звонит, просит прочесть новый его роман. Это были «Дети Арбата». И условие такое: прочесть и написать ему отзыв. Он хотел собрать отзывы известных людей и ими пробить сопротивление цензуры и власти. В художественном отношении этот роман был слабей, эта книга не из тех, которые перечитывают. Но политическое значение ее было огромно. Это был политический бестселлер. Как мог, я способствовал тому, чтобы роман вышел в свет. А когда возникла заминка в журнале «Дружба народов», где его уже разрешили печатать,

тать, но некоторые поправки не устраивали Рыбакова, он пришел ко мне в «Знамя», и я сказал: «Отдаешь нам — печатаю сразу». Вышел роман в «Дружбе народов», тираж журнала подскочил до миллиона с лишним. Роман читали все, рецензии печатали все газеты. И вот тут Рыбаков сделал довольно странную вещь: отзывы о романе наиболее известных людей, которые по его просьбе писали ему, чтобы помочь издать книгу, он, не спросив, даже не известив никого из нас, напечатал в многомиллионном «Огоньке». Вполне понятно, что в этих запрошенных автором отзывах было похвал больше, чем книга того заслуживала, писались они, повторяю, с единственной целью: помочь. Сейчас это выглядело как всеобщий вопль восторга, дескать, не могу молчать!

Когда мы с Юрой Трифоновым отнесли в «Литературку» письмо в защиту Твардовского, а копию отправили ему в больницу, Александр Трифонович писал: «Я способен понять необходимость в данных документах известных преувеличений в оценке моей персоны...» Свидетельствую: преувеличений не было. Назвать великого поэта великим поэтом — это не преувеличение, а констатация факта. Верил ли Рыбаков всем похвалам, которые содержались в отзывах? Скорее — жаждал.

Но ни одно доброе дело, как известно, не остается безнаказанным. Вышла талантливая книга Георгия Владимова «Генерал и его армия». Я говорил о ней по телевизору, писал. Талантливая книга — событие. И вдруг Рыбаков, вообще тяжело переживавший чей-либо успех, это известно, а тут еще Владимов получил премию Букера, вдруг он, выступая по радио, назвал книгу Владимова «апологией измены и предательства». И это после «Детей Арбата»! Я был поражен. В одной из статей, не назвав его фамилии, я написал, что в прежние времена после таких обвинений сажали, и человек, сам в прошлом гонимый, не может этого не знать. В следующей книге Рыбакова я узнал много интересного о себе. Я узнал, что, оказывается, я не только не помог ему напечатать в журнале «Октябрь» роман «Тяжелый песок», а чуть ли не препятствовал этому всеми силами. Впрочем, вряд ли стоит перечислять, что он написал там.

«ПАРТИЯ ВЫМАГАЕТ З НАС...»

В тот день зачем-то поехал я в Союз писателей, может быть, так просто. И в троллейбусе, а это еще будет иметь значение, встретил секретаря парткома Винниченко. Вместе вышли, перешли улицу Герцена, в дверях, как водится, произошла гоголевская сцена: поуступали друг другу право первым войти. Крупный мужчина цветущего вида, мог ли он думать, что жить ему осталось недолго? А случилось с ним вскоре вот что: на собрании его не выбрали в президиум. Ну и что? — скажете вы. Как что? Секретаря парткома не выбрали в президиум, где его законное место! Тот, кто знает весь механизм изнутри — а он-то знал, — может себе представить, что произошло: вышестоящие товарищи не вставили его в список. Или, что еще страшней, вычеркнули. И уже кто-то, наверное, присмотрен на эту должность, а ему возвращаться в первобытное состояние, стать просто писателем...

Вот представьте: снимет он трубку телефона у себя в кабинете (в этот момент секретарша никого не пустит к нему: занят!), звонит в издательство или в редакцию журнала и посреди ничего не значащего разговора — «Я тут одну вещичку закончил... Не берусь даже определить жанр. Само вылилось. Так рука легла...» А там, хоть и представляют, что могло вылиться, знают его руку, тем не менее радостно приветствуют. И в служебном конверте доставляется курьером, и сразу — в набор.

И вместо этого, удобного, привычного, самому со своей рукописью просителем являться в редакцию, а там еще и злорадоваться начнут: «Это — бывший секретарь парткома, тот, которого поперли... А за что, кстати говоря, поперли? Числится что-то за ним?» Бывший... Это ведь вот что значило: в плане издательства «Художественная литература» стоял однотомник одного из секретарей Московской писательской организации, было уже известно, под каким номером, когда намереваются выпустить, и вдруг секретаря переизбирают; и под тем же но-

мером, в том самом утвержденном плане появляется одното-ник, но уже не его, а нового секретаря; сменился человек в кресле, заменили и книгу в плане...

Так что дороже, возможно, спросите вы: пребывание в должности или жизнь? А если пребывание в должности и есть жизнь? Не берусь утверждать, так ли, не так думал он, когда узнал, что не избран в президиум, но он вернулся домой и его разбил паралич. В дальнейшем, когда я писал роман «Друзья», историю гибели Немировского, вспоминалось мне все происшедшее с Винниченко, жизнь его и смерть. Но в тот день был он еще здоровый, цветущий, мы поговорили любезно ни о чем, и к обеду я вернулся домой.

Обедали, как обычно, на кухне. И только поставила передо мной жена тарелку, помнится, кислых щей, горячих, с плиты, — звонок телефона. Звонит Ильин, секретарь по организационным вопросам, так эта должность называлась. Со времен Горького, к которому комиссаром был приставлен Щербаков, со дня первого съезда Союза, то есть с той поры, когда вслед за коллективизацией крестьян была проведена коллективизация писателей, учредили этот пост, и занимал его по традиции либо партийный функционер, либо работник КГБ. Впрочем, почему либо — либо? Чаше это совмещалось в одном лице. Ильин в прошлом, до ареста, был генерал-лейтенант КГБ.

— Слушай, приезжай сейчас в партком.

И голос дружеский, и «ты» доверительное, в нем как бы дух партийного товарищества. Но я только что там был, с Винниченко разговаривал, что за это время могло стрястись?

— Созывают...

Сказано уже официально, строго, как говорят магическое «есть мнение». А я терпеть не могу безличных предложений. Чье мнение? Не твоего, дескать, ума дело. Достаточно и того, что оно есть. И, уверенный, что со мной все решено, Ильин вдруг спрашивает:

— А где Слуцкий? Не знаешь, где Слуцкого найти?

Никакой беды я не ждал, ничего не подозревал и не предчувствовал, но меня вдруг как током пронзило. Созывают... Созывали однажды. Под конец жизни Сталина, когда готовилось выселение евреев в бараки, уже сколоченные в тайге, как до этого выселяли другие народы, рассчитав, что не меньше половины до места не доедет, по дороге в теплушках перемерут, вот тогда созывали именитых интеллигентов подписать соответ-

ствующее воззвание. Приглашали по одному, первый подписал его Каганович, а Эренбург будто бы отказался... Не могу сказать, что в тот момент мне это вспомнилось, нет, но в каждом из нас что-то отложилось, оно и остерегает: один глаз спит, другой бодрствует. Я почувствовал: затевается что-то грязное. И уже голос Ильина по-другому услышался: это был сознательно умягченный голос ловца душ. И он уверен: свистнул, и я приеду, прибегу, буду исполнять — солдат партии.

Положил я трубку телефона и с таким сожалением посмотрел на тарелку шей, к которым уже было всей душой расположился. Да что щи! На меня всем теплом обжитого нашего дома повеяло, будто пришло время и его лишиться, вот она и сюда, в самое заветное, вторглась, черная сила.

Пересказав разговор жене, я позвонил в Ленинград на киностудию «Ленфильм», где в ту пору Иосиф Ефимович Хейфиц снимал фильм по нашему с ним общему сценарию, попросил забронировать номер в гостинице и поехал на вокзал за билетом. Ильин вскоре позвонил вновь: где я? Выехал. Потом звонки стали чаще, истеричней, с угрозами.

А жили мы с ним в одном доме, он — в третьем подъезде, я — в первом. По утрам за ним прибывала черная машина Союза писателей. Пожилой, с крашенными в черный цвет волосами, шофер открывал багажник, нес в подъезд ящик боржома. Разумеется, не каждый день по ящику, бывало, связку книг несет. Из подъезда выходил с хозяйской собакой на поводке и в садике, где играют дети в песочнице, выгуливал ее по полчаса и более, пока она обнюхивала деревья, выбирая по запаху свое, перед которым задирала лапу. Машина тем временем на виду у всех окон ждала, так, видимо, утверждалась незыблемость бытия.

В бытность свою действующим генерал-лейтенантом КГБ Ильин имел определенное касательство к печатному слову, к искусству, вернее — к деятелям искусства, не берусь сказать, какое. Отсидев, как говорят в таких случаях, «свой» семь лет, выпущенный при Хрущеве, восстановленный в правах, но не на прежней своей службе, он был определен на должность в Союз писателей: здесь, как в отстойнике, много пребывало на должностях надежных товарищей, и тех, кто засветился за границей, и тех, кто вышел в тираж. Все они сохраняли боевую готовность и корпоративный дух: кадры, резерв всемогущей организации, объяввшей страну, пронизавшей ее насквозь.

Как Ильин сам рассказывал, он был арестован за то, что предупредил товарища, над которым нависла угроза ареста: случайно узнал и предупредил. Но не исключены и другие варианты, может, просто пришел его черед, настала пора очередной смены караула, Сталин проделывал это регулярно, в таких вещах он знал толк. Чтобы править единолично, всевластно, требовалось периодически менять сподвижников, не давать им обраться зависимыми от них, верными людьми. И ничье имя не должно было осеняться беспримерной славой.

Кончилась война, и Жуков был отброшен, создана была вокруг него пустота: одного за другим пересажали его окружение — от рядового до маршала. Поразительно, но даже сам Жуков верил, что это дело рук Берии, что Сталин чуть ли не спас его, не дал арестовать. Но тогда еще безумным Сталин не был. Жестокий, лукавый, кровавый, но не безумный. Своих ближайших подручных — Молотова, Кагановича — всех он под конец жизни готовился сменить, придавить прокуренным ногтем, как с ними вместе давил других. Не успел, смерть помещала. Но что, кроме кровавых дел, за этими его подручными числилось, за каждым из них? Да ничего, в сущности, если отбросить пропагандистский грим. Исполнители высшего ранга. Калинин, умильный всесоюзный наш староста с козлиной бородкой, олицетворявший союз рабочих и крестьян, поскольку сам был вроде бы из тверских крестьян, но сколько-то и на заводе поработать успел, это усиленно подчеркивалось. А фамилия уж куда народней, прямо с куста калины снята. Вот он и подписал указ — казнить двенадцатилетних детей за колоски, которые они с голоду подбирали в поле. Молотов твердолобый, прозванный каменной задницей. Оба они отдали своих жен в залог, в лагеря. А Каганович и этих превзошел: двух братьев, старшего и младшего, отдал на расстрел в знак высшей преданности. Заложив душу дьяволу, они и свои жизни заложили.

Но за Жуковым была вся Отечественная война. И — Победа. Этого уже не отнять, не отделить от него в сознании народном, как нераздельны Отечественная война 12-го года и Кутузов. Не понимать этого Сталин не мог, другое дело — умалить значение Жукова, принизить, присвоить его славу, как присвоил он себе все победы в гражданской войне. Но жизнь маршала Жукова уже история хранила. А какой-то генерал-лейтенант КГБ... Таких и в расчет не брали. Для обычных совет-

ских граждан он — божий суд, а тут — ничто. Потребуется — другому его звезды навесят, рядового топтуна произведут в генералы. И производили.

Однако Ильин был по-своему интересный человек, с определенным пониманием долга, порядочности, работать умел четко: совершенное, отшлифованное создание системы и времени. Выпущенный на свободу при Хрущеве, он относился к Хрущеву пренебрежительно, Сталина же боготворил, и фотография, где Сталин — в группе людей, а молодой Ильин на заднем плане проглядывает, эта фотография висела у него в кабинете на почетном месте. А как, бывало, во время собраний, пленумов входил он на сцену, осуществляя живую связь. Роста выше среднего, с хорошей выправкой, он принижался, сознательно умалял себя во имя Службы, шел только что не на цыпочках, помахивая ладонями, как ластами. У микрофона, в президиуме — Наровчатов, в прошлом неплохой поэт и фронтовик, но уже разевшийся. И вот к его оттопыренному толстой щекой уху преклоняет Ильин седую голову, показывая лысину всему залу (что — зал, зал для него не существовал), докладывает сокровенное и уходит, нацеленный, помахивая ладонями.

До того, как нам поселиться в одном доме, я месяцев семь работал в Союзе писателей ответственным секретарем секции прозы, так называлась эта должность. Помещались мы в бывшей масонской ложе, в старинном особняке. Внизу, в Дубовом зале, — ресторан, над ним — служебные помещения. После работы я оставался там писать. Из ресторана подымались наверх запахи ресторанные и — писатели от столиков: позвонить по телефону. «Вы здесь работаете? Нет, я бы не смог...» И севши ягодицей на край стола, накручивая диск телефона, рассказывает, как важен для работы привычный ритм, привычный вид перед глазами... А я жду терпеливо, мне в ту пору жить было негде, я за жильё работал.

Весь мой штат — машинистка, пожилая курящая дама Софья Михайловна, милый, интеллигентный человек «из бывших», тайная страсть ее — игра в карты. Вполне понятно, она подрабатывала. Ильин предупредил меня: я должен следить за тем, что у нее в машинке. Я сказал ему сразу: этого делать я никогда не буду. Узнала ли Софья Михайловна про наш разговор или так поняла, но отношения у нас с ней установились самые доверительные.

Позднее одна из секретарш, вышедшая замуж за польского писателя (для многих девочек, приходивших сюда работать, да и старившихся, это было и мечтой, и надеждой: выйти замуж за писателя, — ей удалось), рассказывала мне в Варшаве, как Ильин вербовал ее в органы, не ее одну вербовал. Вменялось ли это ему в обязанность или повелевал инстинкт размножения таким внеполовым путем, но при всех обстоятельствах возглавлять тех, кто дал подписку, наверное, привычней и удобней.

Вот он и вызывал меня «срочно» по телефону. И можно было просчитать, как все это происходило: раздалась команда «сверху», из ЦК спущен список, и он выдергивает по списку одного за другим. Отлаженный, привычный механизм, сколько судеб завершилось телефонным звонком...

Вечером я вышел из подъезда. Метро, Ленинградский вокзал, а там, на перроне, уже стоит состав «Красная стрела». У меня был билет в международный вагон. Тогда еще ходили один или два таких старинных международных вагона с бронзовыми бра, начищенными бронзовыми ручками купе, а в купе — красное бархатное кресло, дверь в умывальную — одна умывальная на два купе, — там и побриться, и умыться, а при желании можно и душ принять, и все это — за государственный счет: в таких вагонах, как правило, ездили высокопоставленные командированные. Неслышно трогался поезд, словно это не он пошел, а перрон за окном сдвинулся со всеми провожающими на нем и отъезжает, отъезжает в глубину вокзала. А в буфете уже открыта большая жестянка черной икры, и вот идет по вагону официантка с подносом: коньяк армянский, бутерброды с икрой, холодные свиные отбивные.

Как-то за коньячком, которым я его угостил, старый-старый проводник, совершающий уже последние свои рейсы, рассказал мне, как в те самые годы — 37-й, 38-й, 39-й — входил, случалось, к нему в вагон человек с небольшим чемоданчиком, он уже в лицо его знал и знал, что произойдет. Где-нибудь в Бологом или ранее человек этот выходил среди ночи, а в купе обнаруживали утром пассажира, умершего от разрыва сердца. Правда это или нет — утверждать не берусь, но и не такое бывало, да и врать ему вроде бы ни к чему.

Уже в Ленинграде, в гостинице, увидел я по телевизору, во что вовлекали меня, какая роль мне предназначалась. Транслировали пресс-конференцию, группа, как их потом прозвали, «дрессированных евреев» клеймила тех, кто от всех оскорбле-

ний решил ехать в Израиль; доказывали, что антисемитизма у нас не было и нет, всенародно покрывали себя позором. И это были именитые люди, до той поры вроде бы не запятнанные. Дважды Герой Советского Союза, герой Отечественной войны генерал-полковник Драгунский. Как уживались в одном сердце герой и раб? Или мужество воина и мужество гражданина — два разных мужества? В дальнейшем Драгунский возглавит так называемый антиссионистский комитет, и как-то начальник политуправления пограничных войск, входивших в систему КГБ, привезет туда делегацию писателей и точно по Фрейду, представляя Драгунского, скажет: «Председатель антисемитского комитета...»

Так вот — Драгунский. Еще — Дымшиц, заместитель Председателя Совета Министров. Ну, этому по должности положено, хлеб свой надо отрабатывать. Там ведь не только было выступление по телевидению, напечатали потом еще и обращение в газете. И Дымшиц организовывал это, по одному вызывал к себе: ставить подпись. Известный режиссер, ныне здравствующий, сказал: не могу подписать. Почему? Тут напечатано — народный артист СССР, а я пока еще — народный РСФСР. Будете, будете!.. И — подписал. Но бог с ним. А вот Райкин, Райкин! Один из самых знаменитых актеров, ему же потом перед людьми на сцену выходить. У него было лицо трупа на экране, но он сидел там, участвовал. Что заставило его лгать принародно, чем приманили? Много их там было, не хочется всех называть. Да я уже и не помню.

А в это время дома у меня, в день той самой пресс-конференции, раздался ранний телефонный звонок:

— Это Мелентьев.

Жена рассказывала потом: голос ласковый, прямо-таки родственный голос.

— Кто? — не поняла она.

Еще ласковее:

— Мелентьев.

— Не понимаю, кто говорит?

Мог ли человек такого ранга, заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС, поверить, что его не знают, да еще в доме писателя, да еще писательская жена? Настоящие писательские жены лучше секретарш знают, на ком какие блага растут, от кого что зависит. Ему стоит трубку снять, слово промямлить, и набор моей книги рассыплют или задержат издание

на несколько лет. Но жена моя действительно не знала никого из официальных лиц, ни одной фамилии. И не хотела знать. Довольно невежливо она переспросила:

— Не понимаю, кто говорит?

— Мелентьев! — сказал он грозно. И было спрошено, где я нахожусь, и приказано, когда объявлюсь, сразу же звонить ему, в ЦК.

Мы договорились с женой заранее: домой звонить я не буду, не ровен час, прослушивается аппарат. Ей сообщат, не называя меня, номер телефона, и если что, она позвонит мне, но не из дома. И она ходила на переговорный пункт, высиживала очередь, звонила мне.

Выждав несколько дней (спешить мне было ни к чему!), я позвонил Мелентьеву. Но не из автомата гостиничного, а заказав телефонный разговор с Москвой, чтобы секретарша доложила: звонят из Ленинграда. Был ли у него «народ» в кабинете или он один сидел там в кресле, не знаю. В номере ленинградской гостиницы я лежал на кровати, и мы разговаривали.

— Что же это вы в такое время уехали? Такое напряженное время, а вы...

— Да вот это и беда, что весна ранняя, натура уходящая, все зимние сцены еще не отсняты, — разыгрывал я дурачка.

— Вы телевизор смотрите? — спрашивает он строго; похоже, все же «народ» был в кабинете. — Газеты читаете?

— С этими съемками не то что телевизор смотреть, забудешь, как тебя зовут. С утра до ночи...

А на душе пакостно. Есть мелкое удовлетворение: он там в галстук, при всем параде, внизу — охрана, а я лежу себе... Но это ведь не трубку телефонную держу в руке, а конец поводка; другой конец у него на руку намотан. Но почему вообще я должен скрываться? Война? Враг вторгся? Так от врага я не бегал.

Был у нас на фронте командир дивизиона... Впрочем, на командиров дивизиона нам как-то особенно везло: что Яценко, что Гулин — оба не гении, но о себе заботиться ума хватало. Гулин только тем и отличался, что ростом был поменьше да брови подбривал. И вот в Венгрии приказывает он мне добраться к командиру роты (и это — днем, местность открытая, бой идет) и оттуда ракетой указать свое местонахождение. Он по себе меряет: мол, засяду где-нибудь на полдороге, в пехоту

не пойду, буду пережидать. Но какой же дурак станет в бою указывать ракетой свое местонахождение? Или командир роты позволит мне показать немцам, где он сидит? Они, в пехоте, и раций-то наших боялись, станешь передавать команду — «Отключи свою шарманку к такой-то матери!..» Уверены были: сейчас немцы засекут рацию и ввалят из минометов.

Добрались мы до командира роты, где ползком, где перебежками, доложили, и тут же приказал я больше на связь не выходить. Сюда Гулин не полезет, а мало ли какая дурь ему в голову взбредет. Нужно будет вести огонь, включусь.

Так что же, на войне, на фронте я свободней себя чувствовал? Выходит — так. Я был в ту пору — сам по себе: отец и мать умерли, детей у меня еще не было, а своя голова, хоть она и не лишняя, но — своя. Когда же дети есть, человек более всего уязвимый; свободен только тот, кому некого любить и у кого нечего отнять.

— Вы когда возвращаетесь? — спросил Мелентьев, заканчивая разговор.

— Мы еще в Киев поедem, там съемки. — И аппаратное словечко с языка скатилось: — Затрудняюсь сказать.

Начальство всегда затрудняется, вот и я затруднился.

— Когда вернетесь, попрошу зайти ко мне.

И я зашел. Офицер госбезопасности за своей конторкой при входе сличил меня с фотографией, громко произнес фамилию; солдат в такой же фуражке, за такой же конторкой, но по другую сторону прохода, нашел в ячейке выписанный пропуск, все это вручили мне, и я прошел.

Такого количества ондатровых шапок, столько серых каракулевых генеральских папах, генеральских шинелей голубоватого сукна, вернее, драпа, не встречал я ни в одном гардеробе. А вот академику Сахарову Андрею Дмитриевичу подал я однажды в гардеробе, но не в этом, а в соседнем, еще более значительном подъезде, серую его курточку (приглашал нас на беседу тогдашний член политбюро Медведев, удостоил, и беседовал с нами, не снимая темных очков), так вот, помог я надеть в рукава легкую эту, не пуховую, а на чем-то вроде поролона курточку, воротник ее затертый вижу до сих пор. И вижу, как потом стояли мы в темноте на улице, ожидая чью-то машину. Была поздняя осень, когда холод переносится трудней, чем зимой, а он боялся холода, единственное, чего он боялся в жизни, стоял, сгорбившийся, в продуваемых на ветру брюках,

прямо чувствовалось, как в них зябнут его худые ноги. Но это было позже, много позже.

А тогда разделся я в гардеробе, повесил свое пальто в почетном обществе, и — коридоры, коридоры, ковровые дорожки, тишина особенная, можно сказать, священная тишина: коридоры власти. По ту и по другую сторону — массивные двери, фамилии на дверях, одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, какая прополка шла по стране, какой из десятилетия в десятилетие отбор совершался.

Секретарша, заранее предуведомленная, доложила, и из кабинета, заканчивая разговор: «А я и не знал, что Быстрицкая — еврейка...» — «Но как Аксинью сыграла в «Тихом Доне!»...» — вышли два работника ЦК. Белые воротнички, галстуки, походка, манера держаться, да и костюмы одинакового покроя. А может, от одинаковой кормежки они такие друг на друга похожие?

И вот сидим: Мелентьев — за массивным столом, я — перед ним за столиком. Путь его в этот кабинет мне более-менее известен. Два мощных потока партработников вливались всегда в Москву: с промышленного Урала, из Свердловска, и из Ставрополя, куда ездило на отдых высшее руководство и где его соответственно обхаживали. Сейчас никому ничего не говорит фамилия Кириленко, вспомнить нечем. Маленького роста, с бульдожьим лицом, человек этот начал партийную карьеру в 38-м году, когда по стране шел великий отстрел кадров, дорос до должности первого секретаря Свердловского обкома, был переведен в Москву, куда и потянул за собой своих людей. Мелентьев был в их числе. Пройдет время, и, отодвинутый другими карьеристами, удаленный на пенсию, впавший после инсульта в слабоумие, Кириленко еще долго будет по утрам собираться «на работу», экипироваться — костюм, вычищенные ботинки, галстук — и совершать в полном параде марш до дверей своей квартиры...

Но в то время, о котором я рассказываю, Кириленко был на вершине власти, весь государственный гранит, вся эта мощная пирамида — под ним: член политбюро, третье по значимости лицо в партии. А Мелентьев — в его фарватере, распространился даже слух, что он — зять Кириленко. Впрочем, и про Ермаша, тоже привезенного из Свердловска, говорили, что он — зять Кириленко. Ни один из них этого не опровергал. Но была ли дочка? Во всяком случае, если не зятем, если не

правой рукой Кириленко, то уж указательным пальцем его руки Мелентьев был, а стоит этим пальцем погрозить, чтобы слабонервного ввести в трепет.

— Вы свою форму участия продумайте, — сказал он. — Свое отношение вам надо высказать.

Я молчал. Продумывал. Значительный разговор в значительном месте и вестись должен значительно. Склонить себя я все равно не дам, но хотелось, ох, хотелось уйти с наименьшими потерями. Да и силу всей этой огромной машины я уже не раз ощущал на себе.

Как-то на IV съезде писателей, когда Солженицын попросил дать ему слово, с письмом обратился в президиум, и было ясно, что слова ему не дадут, мы с Тендряковым поехали на его машине собирать подписи в поддержку. Встретили Александра Яшина. «Нет, — сказал он, — не обижайтесь, ребята. Не подпишу». Его громили, просто-таки уничтожали за его «Вологодскую свадьбу». «Вы не знаете силы этой системы». И рассказал к слову анекдот, как позвали слесаря чинить кран. Починил он на кухне, потек кран в ванной. Починил в ванной, опять потек на кухне. «Нет, не возьмусь, всю систему менять надо...»

Вот я сидел, слушал и услышал, что, оказывается, я в литературе — генерал, что ко мне прислушиваются, потому очень было бы важно... Нет, Юрий Серафимович, я — лейтенант. Генерал, генерал, настаивал он, чувствовалось, и в маршалы произведет меня охотно, лишь бы я что-то подписал. Ну, прямо толстовская сцена: он врет, я понимаю, зачем он врет, и он понимает, что я понимаю, и тем не менее... Вдруг вырвалось у него с досадой:

— Думаете, мне доставляет удовольствие всем этим заниматься? Мне в радость?

Вот это, похоже, правда. При Сталине разве уговаривали бы? Кнопку стоило нажать...

— Ильин не мог как следует организовать!

Вот тут я за Виктора Николаевича Ильина вступился, я буквально оду ему пропел:

— Зря вы его не цените, он — идеальный работник старой выучки. И действовал в лучших традициях: преступник должен быть доставлен ничего не подозревающим, должен сам, как за наградой, стремиться. Нет, таких, как он, осталось уже немного.

И еще некоторое время длится наш разговор, тягостный для обоих, но нельзя ему, не полагается отпустить отсюда человека незамаранным, да я ему помочь в этом не мог.

Однажды на Украине услышал я в официальной речи: «Партия wymagaє з нас...» Как понимаю, это означало: партия требует, ждет от нас. Но странное звучание в родственных языках обретают одни и те же слова, обнажая вдруг сокровенный смысл. Вот это и происходило в кабинете: wymagaє...

А Ильина на одной из фотографий я видел молодым: юноша из полуинтеллигентной семьи, принадлежность же к интеллигенции для новой власти была тем родимым пятном, тем пороком, который полагалось изживать, отмывать в чистилище заводов и шахт, соскребать с себя многими покаяниями, иначе путь в жизнь был закрыт. Кто у нас не проходил через бесконечные чистилища, через ложь, отречение от отцов-матерей, от самих себя, превращаясь из гонимого в гонителя. Какие судьбы втапывались! Вот так, наверное, и оказался он в надежнейшем из чистилищ.

Ильину было под семьдесят, потом и за семьдесят, когда, спущенный сверху в Московское отделение Союза писателей, держал он все нити управления в своих руках, уже исхудавших, бледных. Но так же четко работал аппарат из множества секретарш, и все вертелось, и дела делались, и бумаги подшивались. А он сохранял хорошую выправку, хотя уже и губы стали дряблыми, пришепетывал, забывчив становился, это видели, он один за собой не замечал. В огромном, необъятной высоты кабинете он скромно в обеденный час включал электрический чайник, пил чай с бутербродами, принесенными из дому. Для других в его должности держали неприкосновенным столик в ресторане: вот спустится, и будет долгое застолье, на которое никакой зарплаты не могло хватить. Но странность: парикмахер Дома литераторов, бривший когда-то командующего нашим фронтом Толбухина, жаловался мне на Ильина: «Почему я должен стричь его бесплатно? Мне не жалко, пожалуйста, но почему?» Думаю, дело тут было даже не в экономии, во всяком случае, не в ней одной: просто он считал, ему это положено по должности. И шофер утрами выгуливал его собаку во дворе.

В ондатровой шапке, сшитой в литфондовском ателье, где тоже все шилось по рангу (кому — ондатровую, кому — кроличью), в демисезонном пальто, он выходил к машине, садил-

ся, захлопывал дверцу, ехал в должность. Мне он как-то сказал: «Зимнего пальто я никогда не носил, в любые морозы — в демисезонном». Но в теплой машине этого и не требовалось.

Потом он был свергнут, все как всегда: те люди, кого он поддерживал и растил, свергли его, посадили своего человека. И вот, встречая меня во дворе, он вновь и вновь рассказывал историю про какого-то проходимца Першина или Паршина, который, как ему удалось установить, присвоил себе чужой орден, а он его разоблачал, но им этот проходимец был нужен, они встали за него горой... Если бы лишь в этом дело и только — Паршин-Першин!

Как-то включаю радио — «Писатель у микрофона». И слышу такой текст: «...на снегу в Сталинграде лежал молодой капитан. Кровь текла из его губы. Этот капитан был я». По голосу — Падерин. Был такой полковник, он же литератор, он же в непонятной должности при отошедшем от дел маршале Чуйкове: то ли ординарец, то ли приближенный. Оттуда он метал на своих литературных недругов громы и молнии за маршальской подписью. Потом между ними возник какой-то денежный конфликт, и маршал погнал его со двора. И вдруг выясняется: в бытность свою комиссаром полка Падерин украл орден Боевого Красного Знамени, снял с убитого сержанта, присвоил и носил многие годы. Об этом двадцатимиллионным тиражом сообщила газета «Труд». И что же? А ничего. Для жалостливости обзаведясь палочкой и прихрамывая, все так же приходил Падерин на писательские собрания, держал себя жертвою невинной, случалось, и с трибуны выступал: стыд не дым. Это прежде офицеры от позора стрелялись.

Ильин, удаленный от дел, продолжал жить той жизнью, которая теперь без него вертелась, собирал компромат на своих недругов, гордился, что писатели не забывают его, присылают книги с дарственными надписями. «Как хорошо, — говорил он, — что ты остаешься самим собой». Прежде почему-то именно это его не устраивало. Но, освобожденный от груза обязанностей, он говорил теперь это вполне искренне. И возмущался, возмущался теми, кто предал его, чей авторитет ранее был для него неколебим. А ведь он такую школу жизни прошел, такой многоопытный человек. Но так же, как легко понять и принять, что все люди смертны, но трудно к себе это приложить, так же, видимо, трудно свыкнуться с мыслью, что те, кого ты взрастил, тебя и предали.

Теперь он ходил зимой в рыжеватой матерчатой шубе с меховым воротником и на меховой подстежке, шапка ондатровая уже потерялась. Идет, бывало, по скользкой улице в магазин, уставясь в свои очки на кончике носа. Нередко — видел я в окно — стоит во дворе с хозяйками, они с кошелками, он с кошелкой, разговаривают. Без должности, без смысла жизни он быстро старел, перемены последних лет ошеломили его. Однажды он позвонил мне, предложил для журнала материал о прежней своей службе, еще той, до Союза писателей, до ареста: о святая святых. И говорил со мною на «вы», по имени-отчеству. Редактор журнала, я стал в его глазах как бы начальством, он явно робел. И чтобы сделать ему приятное, я заговорил о том, какой порядок был при нем и как все измельчало теперь, развалилось. Кстати, это была правда.

Погиб он, переходя дорогу, наш Ломоносовский проспект. Возможно, вот так же загляделся в очки на кончике носа, задумался, и машина сбила его. Узнал я об этом задним числом, меня не было в Москве, когда его хоронили.

ЛЮДИ И РОЛИ

Люди живут, строят планы, рожают детей с надеждой, может, им достанется жизнь посветлей, а где-то наверху, не за облаком, а в кабинетах распределяют им роли. И не так страшен царь, как бывает страшен псарь.

Сам-то наш царек в те времена, как нередко случалось в России, был жизнелюбив, но не блистал умом. А когда после инсульта часть мозга залило ему кровью и походка у него сделалась петушиная, что уж от него было ждать. Что подсунут, то и подпишет. Он коллекционировал иностранные машины, орденами себя награждал, прознавшие про эту его слабость иностранцы начали весьма для себя небезвыгодно вешать на него свои ордена. А еще до слез умилялся он, когда подносили ему свежие издания его книг про славные его деяния, которых он не совершал. Разумеется, писал не он, было кому за него писать, вряд ли он даже прочесть все это усилился, но в знак высокого расположения любил дарить приближенным авторские экземпляры, погладит переплет, да и надпишет дрожащим почерком. И хотя книг этих я не читал, но столько про них писали да по телевизору, да по радио возглашали, что один эпизод все же запомнился.

А запомнился потому, что был не сочинен, а под магнитофон рассказан с гордостью, это чувствовалось. Шла к фронту пехота, и обгоняет ее на своей машине бравый в ту пору комиссар с полковничьими звездами на погонах — Брежнев. Так бы, может, и проехал, обдав пылью, но из колонны его окликнули: солдат после ранения попал в чужую часть, просил, чтобы забрали его обратно, в свой полк. Порадовался Леонид Ильич и тому, что его узнали, и вот такой приверженности солдата. И рассудил: ты пока иди, воюй, а я направлю соответствующий запрос, и законным порядком будешь запрошен и переведен... Ох, канцелярист, и мышление канцелярское. Пехотинцу жизнь на фронте отмерена короткая, пока бумаги будут ходить снизу

вверх да сверху вниз, ротный писарь как раз и выпишет ему похоронку, где-то на полпути бумаги встретятся.

Похожий случай и у нас был. На Украине, под Кравцами, когда немецкие танки и бронетранспортеры раздавили нашу батарею, произошло нечто прямо-таки невероятное. Солдат, фамилия Мартузалиев, бежал от бронетранспортера по снегу, тот нагонял его, непременно хотел раздавить. Мартузалиев упал, бронетранспортер, махина эта страшная, стальная, переехала его, а он — представьте! — остался жив. Снег ли был глубокий, гусеница ли широкая, но выпало такое счастье человеку.

Двигается наш полк к фронту, я к тому времени тоже из госпиталя вернулся, движутся пушки за тракторами, отесняя пехоту к обочине, грязь ботинками месить, и слышу сквозь рокот трактора: «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!..» Мартузалиев! Из госпиталя, из запасного полка загнали в пехоту. «А ну, иди к нам!» Он было засомневался: вдруг хватятся, еще за дезертира сочтут. Да кто хватится? И всю оставшуюся войну провоевал он в нашем полку, в своей батарее.

Но это — к слову. А в те времена, о которых я рассказываю, Брежнев сидел в своем кабинете в сером здании ЦК, а через площадь, в другом здании, на Лубянке, в кабинете, куда нормальному человеку и войти страшно, столько здесь кровавых дел вершилось, столько людей в подвалах замучено, сидел тот, кто сменит его: Андропов. Его путь наверх — обычный путь изломанной души, путь предательства, а предадут в первую очередь тех, кому больше всего обязан. Вот так предал он в свое время Куприянова, секретаря ЦК Карелии. Тот выдвигал его, опекал, секретарем ЦК комсомола Карелии сделал, пришло время Куприянова сажать, Андропов против него свидетельствовал.

Вот в этих двух зданиях судьбы решались, за каждым записывались его грехи. В сотнях кабинетов на разных этажах сидели писаря разных рангов и званий, каждый по соответствующей норме накормлен, удовлетворен, убажен, да еще надежда оставлена: будешь усерден, удачлив — переместишься в кабинет повыше. Вот они-то и ведали судьбами, они составляли списки, подавали на подпись, а по этим спискам то одного, то другого выдергивали на позор.

Год 1973-й, развернулась травля Сахарова и Солженицына, все новые и новые голоса требовались в общий хор. Сохранились у меня на пленке голоса моих коллег, с каким гневом клеймили они по радио и с экрана гонимых, сейчас о тех своих выступле-

ниях хотели бы забыть. И доярки, и академики, и плотники, и писатели именитые кинулись дружно, как у нас и полагается, побивать словесными камнями. Вот тут и про меня вспомнили. Начали раздаваться звонки из редакций. Обычно милый женский голос сообщал, что такой-то, такой-то и такой-то уже откликнулись, написали им о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», выразили свое возмущение, они не сомневаются, я тоже присоединюсь. Это подавалось как дело чести. Ответ мой был стандартен: этой книги Солженицына я не читал, пришлите, прочту. Как это они пришлют, когда они ее и в руки брать брезгуют. Возникла долгая пауза. И холодел голос: но вы верите нашей газете? Я объяснял терпеливо: у меня правило — не высказываться о том, чего не читал. Особенно настойчивы в те дни были «Советская культура» и «Правда». Сначала звонили рядовые сотрудники, потом — выше, выше.

В «Известия» написал Войнович: позвольте через Вашу газету выразить презрение всем токарям, слесарям, академикам, Героям Социалистического Труда и т.д., и т.п., кто участвует в травле. Он свою судьбу решил, он уезжает из страны, он хлопнул дверью, но я уезжать никуда не собирался, для меня это значило то же, что от себя самого уехать. И я о сущем чуде мечтал, чтобы обо мне забыли. Не нужно мне ни чинов, ни орденов, забудьте. Но видел уже: не оставят добром, нельзя допустить, чтобы человек сам распоряжался своей совестью, твоя совесть не тебе принадлежит.

А были, были за мной грехи записаны. И рецензия на повесть «Один день Ивана Денисовича», на нее Твардовский ссылался в письме к Федину, стыдя его за отступничество, а Федин возглавлял Союз писателей, и был он человек обидчивый, памятливым. Еще в институте в Литературном, ничего не смысля, зашел я как-то на семинар, который он вел, послушать зашел, и дернуло же меня спросить: а как это получается, вот читаешь книгу, и не то видно, про что рассказывается в ней, а видишь, как трудно ее писали, прямо потом от нее разит. Я и сам в тот момент не отдавал себе отчета, что подсознательно его роман «Первые радости» имею в виду, я не догадывался, а он догадался сразу. И, благодушный, барственный, оскалился вдруг: «Вы почему меня спрашиваете? Вы мою книгу имеете в виду?..»

Второй же мой грех — публичное выступление в защиту «Раковского корпуса». Было устроено обсуждение книги, вот тогда я впервые увидел Солженицына: небольшая вокруг лица подстри-

женная рыжеватая шкиперская бородка, модная куртка с шерстяными рукавами и замшей на груди, взгляд поверх голов и лиц: шел боец на бой с нами.

А третий мой грех такой: вызвали меня в отдел культуры ЦК и там предложили прочесть рукопись пьесы Солженицына «Олень и шалашовка», вручить мне ее хотели. Я спросил, как положено по авторскому праву: автор дал согласие, чтобы его пьесу читал я? Мне назвали ряд известнейших имен, они прочли, выражают свое возмущение. Так же, как я, они знали: пьеса конфискована при обыске. Я отказался взять рукопись. В дальнейшем на заседании парткома Сергей Сергеевич Смирнов высмеял меня за это: «Бакланов, видите ли, отказался. А я прочел». Его имя в ту пору много значило, его телевизионные передачи смотрели все, его узнавали на улицах, он реабилитировал героев Брестской крепости, вернул их к жизни. Вечная для меня загадка: как такие несовместимые вещи уживаются в одном сердце?

И опять стала передо мной та же проблема: куда-то надо даться. Но не набегаешься. Да и стыдно мне бегать, что я, преступник государственный? В поселке же нашем под Москвой столько глаз, что оставаться там было нельзя. И решили мы с женой так: буду сидеть в Москве один, на звонки не отзываться, если крайняя нужда, она позвонит условным звонком, положит трубку, а я перезваниваю. Не бог весть какая конспирация, но все же...

И вот сижу я днем, работаю. Звонок телефона. Я не снимаю трубку. Он звонит, а я печатаю на машинке сценарий. И продолжалось это с короткими перерывами — замолчит и вновь звонит — двадцать одну минуту по часам. Не выдержал, взял трубку. И женский голос, как показалось мне — телефонистки, накаленный голос: «Почему не берете трубку?» — «А вам какое дело! У меня за телефон уплачено!»

Я оделся, закрыл квартиру, вышел во двор. За четырнадцать лет, что стояли наши дома по сторонам кинотеатра, образуя как бы квадрат, деревья и кустарники во дворе разрослись. Я сел на дальнюю скамейку, жду. И вот подъезжает черная «Волга», остановилась возле нашего подъезда. Дверца открылась, вышел товарищ в сером костюме, обойдя машину, вошел в подъезд. Примерно столько времени, сколько требовалось, чтобы подняться на седьмой этаж, постоять безуспешно перед закрытой дверью и вернуться, он пробыл там. Машина отъехала.

С улицы, из автомата, я позвонил Марлену Хуциеву, он был

дома, я сказал, что сейчас приеду к нему. Когда-то давно, прочтя мою повесть «Пядь земли», он пришел познакомиться, сразу предупредил, что ставить фильм по повести не собирается, а хотел бы вместе со мной написать сценарий. И рассказал — о чем. Меня это не интересовало, я писал другую книгу. Но минуло больше десяти лет, и я дал ему прочесть мой рассказ «Почем фунт лиха». Уже несколько режиссеров предлагали поставить фильм, но весь мой предыдущий опыт работы в кино не радовал. Пришло предложение западногерманского телевидения, я даже не ответил. Да, это были бы немалые деньги, но что сделают там из моего рассказа, я не знал, а прав у меня никаких не было, в авторскую конвенцию мы тогда еще не вступили.

Рассказ небольшой, страниц восемнадцать на машинке, читал его Хуциев, не соврать, месяца три. И сказал: «Я бы поставил по нему фильм. Но я не могу сказать уверенно, что я буду его ставить...» Тем не менее вскоре мы начали писать сценарий. И вот, захватив пишущую машинку, кое-какие вещички, рукопись взяв, ехал я к нему. Рассказал как и что. Потом сидел у него в квартире, ждал, пока он ездил за путевками в Дом кинематографистов, в Болшево. И на его машине мы уехали туда.

Фильм в дальнейшем по первой фразе рассказа назвали мы «Был месяц май». И хорошо нам работалось, понимали друг друга с полуслова. Как-то я сказал Марлену: «Вот представь: смотрю я в окно на людей, они заняты своими делами, свои заботы у каждого, а я на них смотрю, и один я знаю, что завтра мир исчезнет, этот день — последний. А они не знают, ведут себя как всегда. Понимаешь, с каким чувством я бы смотрел на все вокруг? Вот и предвоенную хронику я так смотрю: я знаю будущее этих людей, что их ждет, а им оно неизвестно. Как в фильме это чувство передать?» И он смог. И самое для меня удивительное, что он, не воевавший (да и не мог он ни по возрасту, ни по здоровью), так точно почувствовал, что чувствовали мы в первые дни мира, еще не отрешившись, не веря еще, что война кончилась.

И вот сидим мы с ним, работаем затворнически в Болшево, и приезжает Геннадий Шпаликов. Вечером. Один. На нем — белые, растоптанные, дочерна пропотелые кеды, лицо отекающее, живот огромен: это распухла печень. В такие запойные или послезапойные дни здесь, в Болшево, директор Дома принимал его без путевки, без денег, кормил, поил, выхаживал, стол и кров для него всегда здесь были. Какой яркий талант и как быстро

просверкал он!.. А многие его строки у меня в душе: «И на валенках уеду в сорок первый год... Там, где мама молодая и отец живой...» Не знал он, когда писал это, что недолго уже осталось, скоро он соединится с ними.

На следующий ли день или через сутки поехали мы на машине Хуциева на рынок, обалдев от работы, захотелось перерыв сделать. Марлен куда-то отошел, а я стою у машины. Подходит Шпаликов: «Дайте рубль...» Лицо водянисто-опухлое, дышит тяжело. Понимал я, нельзя давать, гибнет человек, но как не дашь? Вот так последний раз я его видел.

Вернулся Марлен, заодно газеты купил. Уже в машине раскрыл «Правду», на видном месте — письмо: клеймят Сахарова и Солженицына, чье поведение «не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения...» И — подписи. Некоторые ошеломили меня. Не буду перечислять, это все были известнейшие имена.

В «Бесприданнице» Островского, склоняя Ларису к сожительству, старик купец Кнуров говорит: стыда не бойтесь, я могу заплатить такую цену, что самые смелые критики умолкнут...

Все, кто подписал это письмо в «Правду», стали впоследствии Героями Социалистического Труда. Некоторые, впрочем, были уже удостоены, но кто еще не был Героем, стал им.

На VII съезде Союза писателей произошел со мной некий казус, другого слова и не подберу.

Обычно съезды проходили торжественно, на несколько дней писателей допускали в Кремль, в тот самый зал, где еще со сталинских времен собирали съезды партии, пока посреди старинных соборов не воздвигли стеклянный сарай — Дворец съездов. И все дни на съезде писателей обычно присутствовало правительство: в первый день до перерыва сидело политбюро в полном составе, потом сменяли друг друга, но все равно было кому надзирать. Присутствие высшей власти предопределяло: ничего лишнего, возмущающего слух, сказано делегатами не будет, каждый, кому разрешат выйти на трибуну, вышьет свои узоры по готовой канве. Да и узоры-то эти просматривали заранее: видел я, как тогдашний зам. зав. отделом культуры ЦК водил пальцем по строчкам заготовленной и отпечатанной на машинке речи известного писателя, в прошлом — фронтовика, моего ровесника, и тот послушно вычеркивал то, что «не так может быть понято». А внешне все выглядело вполне пристойно: беседуют дружески писатель и партфункционер. Ну, а уж кого посадить в президиум — эти списки утрясались, взвешивались, согласовывались, и окончательно их утверждали в высоких кабинетах.

И вот — съезд, в зале речь о духовных ценностях, а в гостинице «Россия», в полуподвальном этаже, тем временем уже раскладывают на прилавках богатства иные: сюда устремляются вечером делегаты с женами: покупать! И какие страсти разгораются, какие обиды. Кто-то будет осчастливлен, кто-то уязвлен: как в кремлевском зале.

Дня за два до съезда Георгий Мокеевич Марков собрал у себя в кабинете делегатов от Москвы, знакомя в общих чертах с написанным сценарием, и, как бы между прочим, сказал, что там, в президиуме, в Кремлевском Дворце, может быть прохладно от кондиционеров, потому он советует быть в костюмах и в

галстуках. Мне бы как раз и прислушаться, оценить деликатность и даже тонкость этого замечания: я сидел в летней полувоенного вида рубашке с короткими рукавами. И вот в таком виде явился в Кремлевский Дворец. Началось ритуальное действо, выбирали тех, кому сидеть все дни лицом к залу, в президиуме, рядом с правительством. Вдруг слышу свою фамилию. Голосуют. Поднявшись с разных мест, идем из зала в президиум, образуется у подножия ступеней небольшое скопление, и Грибачев бубнит мне в спину: «Костюм надо было надеть...» А я — не обращившись: «Вы знали заранее, вам там сидеть, а я откуда мог знать?» Но в том-то и дело, что знать ничего не требовалось, надо было просто прочесть. Всем делегатам выдали так называемые дипломаты, в них — набор скучнейших отчетов из всех республик, которые никто не читал и читать не станет, а еще — блокнот, ручка, записная книжка — стандартный набор. Я как получил «дипломат», так и поставил дома, даже не заглянув туда. А напрасно. В этот раз и на моей записной книжке, оказывается, было золотое тиснение:

Президиум
VII съезд
писателей СССР
Москва 1981 г.

Но выдвигают, голосуют: «Кто — за? Против? Воздержался?», а имена тех, кому в президиуме сидеть, уже в бронзе отлиты. И вот — политбюро в полном составе, правительство, высшие армейские чины, мундиры, костюмы, галстуки, один я в чем-то летнем с короткими рукавами. И уж не знаю, от кондиционеров ли, от взглядов, но мне и правда холодило спину.

Однако было это в 81-м году. И вот июнь 1986 года, ещё звучны, не стерлись слова «перестройка», «ускорение» (надо же такие подобрать), но уже появились частушки веселого содержания: «Мой миленок сделал в койке лишнее движение, думал, выйдет перестройка, вышло ускорение». Позже пойдут и анекдоты: «У нас как в тайге: вершины от ветра шумят, а внизу — тишина...» Но в среде интеллигенции, особенно столичной, — небывалый энтузиазм. Уже на съезде кинематографистов так разгорелись страсти, что без всякой подготовки свергли старое руководство, ожидалось нечто и на нашем съезде.

На прошлом съезде, когда Брежнев был уже в полном маразме, зашептались, зашептались по кулуарам, что, дескать, решено: Федин, почетно возглавлявший Союз писателей, подает в

отставку, председателем станет Марков, первым секретарем — некто помоложе. «Писатель без власти — не писатель», — в простоте душевной изрекла одна из руководящих писательских жен, и фраза эта стала крылатой. А этот «некто» известен был своей ненасытной жадой власти. Власть у нас — все. От нее — и благополучие, и даже талант. Это где-то талант — от бога, а у нас им власть наделяла.

Он только что получил и орден Ленина, и Ленинскую премию за длиннейший, многосерийный во славу Сталина фильм, в нем была представлена вся галерея маршалов, и ныне здравствующие, как на подбор, были и умней, и заслуженней, и куда значительней умерших. Специально для избранных был устроен просмотр, маршалы глядели на себя и одобряли. Епишев, начальник Главпура, удостоенный звания Героя Советского Союза через тридцать три года после окончания войны, так тот на экране даже поучал маршала Жукова, как ему воевать: Жуков в то время был в опале, а Епишев — в силе, от него зависело, быть фильму или не быть. Имея такую, можно сказать, бронетанковую поддержку, с такими заслугами да Маркова не одолеть!..

Но Симонов поехал к Федину, объяснил положение вещей, уговорил не уходить с поста, и, когда Марков, Верченко и заведующий отделом культуры ЦК Шауро прибыли в Переделкино принимать отставку, Федин, имевший прозвище «чучело мертвого орла», а в жизни — прекрасный актер с богатыми голосовыми модуляциями, встретил их на даче такими словами: «О, хитрецы, хитрецы! Знаю, приехали уговаривать меня остаться. Ладно, остаюсь!..» И, как сказано у классика, «и пошли они, солнцем палимы», а точнее — расселись сообразно чину в «Чайки» и «Волги» и отбыли докладывать Суслову. И верховный идеолог Суслов сказал: «Федин — это Федин...» Достойные войти в историю, слова эти означали: не будем менять декорации, они хоть и обветшали, но еще послужат верно.

Но на VIII съезде ожидалась иные перемены, шло закулисное шептание: «Маркова будем валить...» Однако началось все, как всегда: Марков вышел на трибуну, положил перед собой доклад, рассчитанный на час с небольшим; сделать, скажем, получасовой доклад было бы просто неприлично, не соответствовало величии происходящего. И вот он ровным голосом читает скучнейшее это произведение канцелярской мысли, отпечатанное без единой помарки на лучшей финской бумаге. Во время такого успокоительного чтения кому-то и вздремнется, а другого, наобо-

рот, захлестывает вдохновение. Однажды плод такого вдохновения, забытый вместе с газетой, попался мне на глаза, и я прочел на полях: «Ты послушай меня, будь ласка, я вернулся, друзья, из Дамаска...» И дальше, само собой, была и «сказка», много чего было дальше: в порыве чувств писал человек. Неужели эти вирши так и пропали, утрачены навеки?

Но всегда настает момент, которого более всего ждет зал: начинается распределение по рангам, называют имена, книги. И все обращается в слух: «Упомянут? Не упомянут?..»

И упомянутые в докладе, оглашенные, вскоре выходят, смущая несолидным поведением кремлевскую охрану в дверях: правительство сидит в президиуме, а эти бродят. Но внизу — кремлевский буфет, нежнейшие сорта рыб, икра, настоящие, нецеллофанированные сосиски, вкус которых обычными советскими гражданами давно забыт. Помимо сиюминутного удовольствия, эдакого поглаживания по самолюбию, быть упомянутым в докладе означало и нечто более вещественное: переиздание книг, прочие, прочие блага. Упомянут, значит, ты есть — в отличие от тех, кого как бы и нет. И упомянутые ели с аппетитом, принимали поздравления. Ели, хотя и без аппетита, и неупомянутые, презируя упомянутых, всем своим видом давая понять, что им это вовсе и не нужно.

А Марков стоял на трибуне, аккуратно перекладывал прочитанные страницы, скопческое лицо его, на котором почти ничего не росло, блестело гладкой кожей, маленькие зоркие глаза поблескивали, голос поздравителен и тих. Вдруг на какой-то фразе запнулся. Помолчал. Опять ту же фразу прочитывает заново... Молчание... И уже смотрят на него с тревогой, тревога прошла внизу. Снова, как в забыты, читает он с запинаниями все ту же фразу... И разворачивается, разворачивается боком к залу, взгляд отрешенный, меркнувший... Из президиума рванулся к нему Верченко, из зала — врачи. Все произошло как-то быстро, умело. Подхватили, осторожно сводят под руки, свели, ведут к дверям... После краткого замешательства поручили Карпову читать доклад, он извинился, что текст ему не знаком, и читал, как по кочкам ехал.

В перерыве все кинулись допрашивать врачей: «Что? Как?», — забыв, что есть такое понятие: врачебная тайна. Отвечали: инфаркт. Позже — спазм. А еще позднее распространился слух, и говорили уверенно: все это — инсценировка, знал, предвидел, что произойдет на съезде, а лежачего не бьют... Не знаю, не ре-

шусь утверждать. Я сидел с правой стороны, как раз туда и разворачивало его на трибуне, я видел отрешенное его лицо, на миг меня даже страхом объяло: рухнет.

Тогда же, в перерыве, подошел ко мне Залыгин: «Ну как после этого станешь его критиковать?» Оба они сибиряки, были на «ты», за что-то Залыгин держал на него обиду. Собирался ли он в самом деле критиковать Маркова — не знаю. У меня этого и в планах не было. Каждому овощу — свое время. Сталинскому царствованию требовались пышные декорации, личности, они еще были, отстрел шел плановый, не всех истребили враз. И социалистический реализм обосновывал Горький (знал ли он, что это такое?). Его со временем, не сразу, сменит на посту Фадеев, тоже человек незаурядный. Отдавая писателей на погибель, одного за другим, он на адовой этой службе и талант свой погубил, и душу продал дьяволу. А, видно, болела душа, не зря заливал ее вином, так и жил под наркозом.

Александр Трифонович Твардовский рассказывал мне, как был у него разговор с Фадеевым про аресты, какие идут по стране. Я выясню, сказал Фадеев и при следующей встрече разъяснил: арестовано всего... Он назвал цифру с точностью до единицы: девятьсот с чем-то человек. Миллионы уже сидели по лагерям, миллионы расстреляны, уморены голодом — девятьсот с чем-то... «Если ты не веришь — тебе не место в партии». Вот так он сказал. И взгляд у него был в тот момент... Впрочем, я и сам наблюдал у него этот взгляд человека, который все человеческое оставил за чертой, переступил.

Маркову выпало возглавлять Союз писателей в пору, о которой у Булата Окуджавы сказано: «Римская империя времени упадка / Сохраняла видимость строгого порядка: / Главный был на месте, соратники — рядом, / Жизнь была прекрасна, судя по докладам...»

Безликому времени нужен был безликий канцелярист. И из нашего ведомства литературы тоже исходили поздравительные доклады. Все строилось по образу и подобию, повторяя даже в мелочах то, что делалось «наверху». И почему, в самом деле, Маркову не возглавлять Союз писателей, если во главе страны — Брежнев? Да ведь и он не худший, если на его окружение поглядеть, оно так и подбиралось, чтобы главный, даже в маразме, оставался на полголовы выше других.

Мало кто помнит, что до Брежнева президентом числился Подгорный, про которого говорили, что он в своем президент-

ском достоинстве принял итальянского посла за испанского и имел с ним дружественную беседу... В день, когда без всяких объяснений его отправили на пенсию (как сметают с подоконника засохших мух), я остановил на улице Горького «левую» машину. Был это черный ЗИМ, возможно, ранее возил он кого-то из министров, большая машина, сиденье двухспальное, шофер солидный. Слово за слово, и он говорит: жаль Подгорного. А чем вы его можете вспомнить, что он вам хорошего сделал? Ну, наверное, все же обидно ему теперь... С этим не поспоришь.

В своем окружении, которое Марков сам же подобрал, был он заметной фигурой. Взять хоть того же Сартакова, тоже призванного на должность в Москву из Сибири.

Вот, кстати, интересный феномен: в 41-м году спасти Москву, на помощь московскому ополчению, на помощь остаткам кадровой армии прибыли сибирские дивизии, и много под Москвой полегло сибиряков. Но наши руководящие сибиряки, в послевоенное время хлынувшие в Москву, почему-то все, как один, не были на фронте. Зато к 40-летию Победы, когда награждали орденами Отечественной войны, первым, вместе с Героями Советского Союза, получал боевой орден и Георгий Мокеевич, — прямо в Союз писателей, в кабинет к нему прибыли высокие армейские чины, и там происходило торжественное вручение.

Так вот — Сартаков. Он когда-то пробовал петь, но повредил голосовые связки, и нам уже досталось слышать просто-таки женский сильный голосок, из-за этого однажды совершил я непростительную ошибку: позвонил ему, а секретарши на месте не было (не помню, как ее звали, допустим, Мария Павловна), и трубку телефона, чего ожидать было невозможно, снял он сам. «Мария Павловна?» — «Это — Сартаков!..» Мне бы затихнуть, положить трубку, а я извинился и продолжал разговор. Какое после этого должно быть ко мне отношение, если я спутал его с женщиной, с секретаршей?.. А еще была у него склонность, как у всех не шибко образованных людей, иностранное словцо подпустить в разговоре. Вызвав к себе консультанта иностранной комиссии, на которую нажаловались арабские коммунисты и ее из-за этого уволяли, он так разъяснил причину: «Вы — персона не грата... Понимаете?»

После неудавшейся певческой карьеры стал Сартаков бухгалтером, писал годовые отчеты, а там и романы пристрастился писать. Его и определил Марков контролировать финансы и ведать

изданиями, то есть самое главное держать в руках: кого не издавать, чью книгу издать, а кому и собрание сочинений поднести к юбилею. Уж тут-то Сартаков себя не обижал. И вот в издательстве «Художественная литература», в «Роман-газете» печатается очередной его роман под названием «Козья морда». «Роман-газета» в то время выходила с фотографией автора на обложке. И представил себе зрительно директор издательства Косолапов, как это будет выглядеть: резко сужающееся к подбородку лицо Сартакова, а под фотографией — «Козья морда»...

Летели мы с Косолаповым в Болгарию, и он, смеясь, рассказал, как звонил автору: мол, прочел ваш роман, прочел, огромная в нем философская глубина, хорошо бы, чтоб и в названии это как-то отразилось... И вместо «Козьей морды» назван был роман «Философский камень», так и подписано было под фотографией.

Нет, повторяю, Марков был не худший, дела при нем в свете исходивших сверху указаний велись исправно, а сам он определенно возвышался над своим окружением. Бывало, подъезжает к старинному «Дому Ростовых»... Если это действительно дом Ростовых, описанный в романе «Война и мир», как тут не вспомнить возвращение Николеньки с войны:

«Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уже видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время...

Петя повис на его ногах.

— А меня-то! — кричал он.

Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя».

Черная «Волга» Георгия Мокеевича Маркова осторожно въезжала в ворота, огибала скверик, где на каменном пьедестале за-

думался Лев Толстой, и останавливалась у главных дверей. Открывалась дверца, нога в вычищенном до блеска ботинке ступала на асфальт, зимой — на разметенный снег. И, не испачкав подошв, в шубе с бобровым (или из выдры?) воротником, добротной такой шубе, какую шьют один раз и на всю жизнь, не успевший раскраснеться на морозе, прямо из теплой машины в тепло, Георгий Мокеевич поднимался по двум маршам мраморной лестницы, и мраморная нагая дева в нише, по мере того как он пушистой меховой шапкой достигал ее подошв, коленей, выше, выше, прикрывала мраморной рукой свое очарование.

Отразясь на последней ступеньке в полный рост в старинном зеркале, он сосступал с мрамора на паркет навстречу самому себе, выходявшему из зеркала, а уже разносилось дуновением: «Прибыл! Идет!» И все живое почтительно уступало дорогу, и во всех комнатах и отгороженных клетушках, над всеми канцелярскими столами охватывал служащих трудовой энтузиазм.

Он же, в шубе и шапке, мерным шагом шел мимо белых старинных закрытых дверей той самой залы, где теперь не ломберные столики, а буквой «Т» сплошной огромный стол для заседаний под зеленым сукном, где и воздух, и сукно, и стены впитали запах окурков, входил в приемную, в свой кабинет, увешанный дареными коврами, раздевался, причесывался, садился за стол, и согласно рангу и чину начинали входить к нему с папками для доклада. Департамент оживал.

Не могу опять не отвлечься. Однажды в Дубултах, в июльский жаркий день, когда и солнце и море слепили настолько, что без защитных очков невозможно было смотреть, появился на пляже Георгий Мокеевич. Он только что прибыл и шел по песку в своих черных, вычищенных до блеска кожаных ботинках, в темном костюме, в галстук, а в море плескались, а на белом песке, как на лежбище, грелись загорелые тела, они выглядели неприлично обнаженными, когда он проходил мимо.

Возможно, совпало так, но в тот день всех писателей и их чад и домочадцев кормили в обед икрой.

И другое совпадение: к вечеру, когда огромное на закате солнце уже коснулось моря и море на всем пространстве засияло, по берегу, тоже в ботинках, в костюме и в галстук, прошел, гуляя, премьер, Алексей Николаевич Косыгин, прибывший на отдых в свою резиденцию. Не было замечено торпедных катеров на рейде, но со стороны суши его сопровождала охрана: спереди, сбоку и в арьергарде. У каждого охранника в руке — ма-

ленький чемоданчик. Прошел он по пляжу в сопровождении охраны и на следующий день, но был уже без галстука, лицо его, обычно сумрачное, нездоровое, лицо человека, который вслед за жизнелюбивым Брежневым считает и считает, подсчитывает, во что в рублях обходится бодрое царствование, было на этот раз слегка освежено загаром. Но Георгий Мокеевич и на другой день в жару прогуливался по пляжу в темном костюме, в галстуке, и среди множества следов босых ног на мокром песке четко печатался след его ботинок. Обнаженным, купающимся видеть его не довелось.

И вот врачи под руки сводят его с трибуны и дальше, дальше, и дворцовые двери закрылись... И заволновался съезд. О чем? Да все о том же. В министерстве и волнения все — министерские: кого назначат, что кому от этого перепадет? Хотя, казалось бы, единственная власть, которой может и должен обладать писатель, — власть духовная, власть над душами и умами людей. И достигается она не должностью, не внешними отличиями, а единственно силой таланта, силой нравственного примера. Но в залах, в коридорах, во дворцовых палатах, в Георгиевском зале, где золотом по мрамору — имена героев, кому благодарно отечество, шло великое шептание. Не просто так прогуливались по наборному паркету властители дум, составлялись партии, зрели планы... А может, просто воздух дворцовый таков? Какие только планы и заговоры не зрели здесь, каким еще суждено быть!

И позади президиума, там, куда не всех допускают, для чего и поставлены у дверей вежливые люди в штатском, тоже шло невидимое борение. Каюсь, в том, что первым секретарем Союза стал в конце концов Карпов, есть и моя доля вины. Не решающим был мой голос, далеко не решающим, знаю и других, кто его предлагал, а еще больше — не знаю. Была незримая рука, которая двигала его, и, кажется, не одна рука, в этом я в дальнейшем мог убедиться.

И ничему не учит опыт жизни. Когда нет имени, авторитетного для всех, когда рвутся к власти самые ярые, решают до наивности просто: надо, чтобы кто-то занял место, хоть шляпу на кресло положить.

Мог ли я тогда думать, что пройдет не так уж много времени и Карпов потянет и журнал «Знамя», и меня в суд, и будет происходить нечто позорное? Но это — отдельный рассказ.

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ

Курить я начал в госпитале, в Красном Лимане, в 43-м году: покуришь — и есть не так хочется. Лежали в нашей офицерской палате в основном тяжелораненные, в общей сложности я в тот раз полгода провалялся по госпиталям. А кормили так: жив будешь, но больше ничего не захочется. Однако молодость брала свое. И вот когда я уже был ходячим и только левую руку, как ребенка грудного, носил на перевязи перед собой, настигла меня любовь. Она — врач, старше меня лет на восемь, красивая, казалось мне, никого красивее ее нет. Любила ли она меня или жалела — не знаю.

И вдруг на короткий срок с фронта прибыл ее муж, летчик. Вхожу к ней в кабинет на перевязку и по лицу ее понял, кто это. Помню, жутко покраснел. Жив ли он остался на войне? Жива ли она сейчас? И где? В своей Эстонии? Какие светлые были у нее глаза, какими они бывали ласковыми. А ведь может случиться, что, встретаясь теперь, мы друг друга уже не узнаем.

В институтскую пору я по бедности курил махорку. И хотя в дальнейшем и «Золотое руно» курил из трубки, привезенной с фронта, и самые дорогие сигареты, для меня с дымком махорочным весь фронт связан.

Но родился сын, жили мы за шкафом, впятером в одной комнате, и надоело мне выходить на лестницу, выкуривать сигарету наспех, а потом все равно дышишь на сына табачным перегаром. Марк Твен утверждал, ничего нет легче, как бросить курить: он, мол, бросал раз тридцать. То же и со мной происходило. А бросил совершенно неожиданно, и вот как это получилось, могу поделиться опытом.

В тот день я купил в запас двадцать пачек сигарет «Лайка», были такие сигареты с милой мордой собаки, которая проложила дорогу в космос всем нашим прославленным космонавтам, на ней испытывали, что им придется испытать. Так вот, набрал я сигарет, взял на почте газеты, письма за целую неде-

лю и поехал за город, на дачу, к семье. Было лето, в Москве — бензиновая гарь, зной, и оказаться после городской суеты, холостяцкой жизни всухомятку вдруг за семейным столом, когда и по левую и по правую руку от тебя сидят дети — что еще душе надо? А потом в кабинете открыл я окно в сад, закурил и в таком блаженном послеобеденном состоянии разворачиваю «Литературную газету»: поглядим сквозь табачный дымок, что пишут. А с газетного листа в глаза мне — моя фамилия. Большая статья Грибачева на самой первой полосе, ею, в сущности, газета открывается. И пишет он, что водораздел в русской литературе «отделяет Пушкина от Бенедиктова, Некрасова от Надсона, «Судьбу человека» М. Шолохова от «общечеловеческой» «Пяди земли» Г. Бакланова».

Заканчивалась кратковременная хрущевская оттепель, сменяли ее крутые заморозки, уже Хрущев стучал кулаком по столу, созвав к себе интеллигенцию, и такой вот Грибачев, известный со сталинских времен погромными делами, вновь становился надеждой и опорой, и его статья рассматривалась уже как прямое указание свыше. Что за этим следует, я знал по собственному опыту. Молодой критик Барабаш, переживший войну и оккупацию на Украине в нежном возрасте, именно разгромнейшей статьей об этой моей повести сделал первый заметный шаг в карьерные выси. Он писал, что и воевали мы не так и совсем не в том думали солдаты на фронте: ему это лучше было знать. Карьера в Харькове или в Киеве была тогда еще не карьера, заветное — в Москве. Его статью напечатала правительственная газета «Известия», выдержки из нее украшали суперобложку французского издания «Пяди земли»: хорошая получилась реклама. А Барабаш перебрался в Москву, рос быстро: зам. редактора «Литературной газеты», зам. зав. отделом ЦК (как оно звучно пролаивалось: замзав!), уже и черную машину «Волга» подавали под него...

Есть у меня странная привычка: иногда я мысленно переодеваю людей, так легче представить человека в других обстоятельствах. Глянув как-то на Барабаша, на светлые его, негустые волосы, лоб белый, особенной белизны, глаза голубоватые, холодные, я мысленно примерил на него эсэсовскую фуражку и поразился... Конечно, быть бы ему со временем заведующим отделом: смекалист, не глуп, ум схватчивый, не созидательный, такой и требуется, чтобы не дело делать, а расти, но ранний инсульт подкосил.

А еще был у меня сосед, Иван Тимофеевич Козлов, в прошлом — армейский политработник, ставший литературным критиком. Он трижды, в трех статьях, громил эту мою повесть, статьи его я не читал, но, встретив у лифта, сказал: «Вы бы хоть бутылку поставили, все же трижды получили гонорар». Был он мужик неплохой, но богобоязненный и службу знал. И дернуло же меня сказать ему в его кабинете (а он к тому времени подвинулся высоко, стал главным редактором издательства «Советский писатель» и полтора года упорно не пропускал «Пядь земли» в печать), дернуло же меня сказать ему: «Вы все-таки на фронте были, должны знать...» И рассказал я ему, как 11 октября 43-го года (как раз в этот день меня ранило) под Запорожьем пошли в контратаку немецкие танки и рядом со мной в траншее убило пехотинца. Он только спрыгнул туда с термосом на спине, завтрак принес пехоте, и — разрыв снаряда. Лежит он убитый, ничком, крышка термоса открылась, и на спину ему, на землю ползет густой пшениный кулеш, белые куски сала. А я вторые сутки не ел, и — ложка за голенищем. Если б не люди кругом, если б стыд не останавливал, я бы хоть пару ложек того кулеша ухватил под обстрелом. «То — война, — сказал Иван Тимофеевич, — и совсем другое дело — литература».

В следующей его статье все это появилось как пример натурализма в повести «Пядь земли». Он же, кстати, первым поставил на повести клеймо «окопная правда».

Однако время прошло, все вроде бы улеглось, с чего это Грибачеву заново подымать волну? Случайностей тут не бывает. А главное, на «Мосфильме» как раз на следующий день должны утверждать план запуска фильмов в производство, среди них — режиссерский сценарий по этой моей повести. Неужели специально подгадано? И подумалось: будь что будет, а вот я возьму за это да и брошу сегодня курить, хоть какая-то мне польза. И бросил. Несколько лет спустя рассказал я об этом Алексею Суркову, был какой-то прием, стоим мы с ним рядом у шведского стола, набираем себе в тарелки, и я рассказал, как бросил курить. «Хоть этим Грибачев послужил литературе!» — не упустил Сурков случая, у них с Грибачевым давние были счеты.

И вот — «завтра», сидим в кабинете директора «Мосфильма» Сурина, утверждают один сценарий, другой. Подходит очередь «Пяди земли». Ждал я этого момента, но не один я ждал.

Сразу же встает парторг Шавкуненко, заходит за директорский стол, как за трибуну:

— Товарищи!

Ах, не знаем мы своего будущего. И полугодом не пройдет, как дочь его, дочь парторга главной киностудии страны, останется в Италии, совершит позорнейший по тем временам антипатриотический поступок, несовместимый с гордым званием советского человека. А вскоре Шавкуненко будет тяжело умирать от рака, рак горла уже съедает его, когда он, перенапрягая гортань, произносил свою страстную речь. А произносил он ее, как могло показаться, в мою защиту, киностудия, мол, должна защищать своих авторов. Вот выпустили фильм по повести Казакевича, а критика разнесла его. Так давайте не торопиться запускать фильм в производство, пусть автор еще и еще поработает, если уж раздалась критика.

Какая критика? — вскинулся Сурин, придремавший было под привычный поток слов. Кто критикует? Где? Да вот же! И из пачки неп прочитанных газет на столе достает вчерашнюю «Литературку». Вот, пожалуйста, Николай Матвеевич Грибачев. Грибачев? Грибачев!

И, развернув, Шавкуненко показывает всем первую полосу газеты, да еще вслух, с выражением, с поглядом, какое впечатление производит, читает избранные места. И кладет газету перед Суриным, как кладут обвинительное заключение, пристукнув по нему костяшками пальцев. Вот тут действительно настала тишина. Сурин читает, а Шавкуненко жестикулирует, что-то говорит, но будто с выключенным звуком. И странное спокойствие на меня снизошло, худшее случилось, я уже не волнуюсь. Только вот курить хочется до смерти. Конечно, не судьба мира решалась, всего-то судьба одного фильма, но когда тебе сапоги тесны, какой толк, что мир обширен?

Долго читал Сурин. А может, и не читал: глядел в статью, соображал. Потом вздохнул, взял ручку, зачем-то поглядел на кончик ее, на шарик в пасте, и расписался: подписал фильм в производство. Могу свидетельствовать: не один я был изумлен. Почему он решился, служивый человек, когда не только парторг, но и «свободные художники» молчанием своим в его кабинете подсказывали ему другое, привычное решение, — не могу сказать. Знаю только одно: я ему благодарен.

О Сурине говорили разное, и, надо полагать, был он разным в разные времена, иначе не занимать ему этот пост. Труд-

ный пост, опасный пост, если учесть, сколько знаменитостей снималось на «Мосфильме», сколько из них обласкано было и любимо вождями еще от сталинских времен. И депутаты они, и лауреаты не по одному разу, а кто-то имеет доступ к высочайшему уху, кто-то в старческую постель. Сурин же и не депутат, и не лауреат, стань поперек — и головы не сносить, если профессией твоей сделалась руководящая должность.

Как раз в ту пору создавалась на «Мосфильме» гигантская экранизация романа «Война и мир». Рассказывают, консультант картины профессор Гудзий сказал после просмотра: «Я думал, Бондарчук не понял романа. Теперь я убедился: он его и не читал». И еще говорили, что на съемках этого фильма было сожжено дворянских усадеб больше, чем погибло при нашествии Наполеона. Вся студия работала на него, все трепетало, а если что и доставалось другим съемочным группам, так из остатков, из обносков. И вот приехала высокая министерская комиссия освятить своим посещением государственную важность того, что создается, и в кабинете Сурина задан был вопрос: «Ну что, помогает вам студия?» Благодарственный ответ предполагался заранее. «Нет, ничем не помогает», — сказал Бондарчук. И взгляд его, рассказывают, был ясен, и голос жертвен и тих, как в лучшей его роли в фильме «Тарас Шевченко», за которую Сталин из заслуженного сразу произвел его в народного артиста СССР, сделав неприкасаемым.

Такая служба была у Сурина, ошибаться ему было нельзя, а вот почему-то решился.

Фильм с его благословения снимали молодые в ту пору режиссеры Андрей Смирнов и Борис Яшин. А актеры собрались хорошие, достаточно одного Урбанского вспомнить. Такого могучего человека природа создает, наверное, для того, чтобы самой полюбоваться: вот ведь на что я способна, не оскудела, могу! Но сцена, когда он в последнюю атаку подымает свой батальон, прижатый к берегу, никак что-то не удавалась. А все это с нами было на плацдарме, когда немцы пытались сбросить нас в Днестр. Но в фильме сцена не получалась. Позже Урбанский рассказал мне, что в лагерях его отец, когда замерзали в бараке, поднял обессиленных, уже покоровившихся людей, заставил в лютой мороз валить лес и тем спас их. «Вот это и нужно было играть!» — сказал я. Возможно, что-то в рассказе об отце не совсем точно, но переспросить уже не у кого: Урбанский погиб.

И вот интересное совпадение: на первый мой фильм, вернее — фильм по моему сценарию, называть его не буду, фильм плохой, приглашена была на главную женскую роль красавица Дзидра Ритенбергс, на мужскую — Урбанский. Он был занят, не смог, но от судьбы, видимо, не уйдешь: встретились они не в фильме, а в жизни и поженились. Редкостная была пара.

А погиб он, по рассказам, так: на съемках у него украли деньги. И вот, чтобы заработать, привезти жене, он начал сниматься без дублера, проделывал то, что должен совершать каскадер. Машина перевернулась, он сломал шейные позвонки.

Режиссеры сами войны не видели, и консультантом был приглашен генерал-лейтенант в отставке, в прошлом — командующий артиллерией армии. Человек скромный, преклонного возраста, он смущен был всей этой вольницей, особенно же — присутствием молодых актрис. А молодежь веселилась, при нем в автобусе по дороге на съемку рассказывали «генеральские» анекдоты, как, например, пообедав, генерал вдруг вылил себе на голову кисель. «Товарищ генерал, это же кисель!» — «Да? А я думал — кефир...» Он словно не слышал за шумом мотора, только лысая голова краснела. А тут еще актрисы разузнали, что наедине с собой любит он пропустить перед обедом стопочку армянского коньяка: для аппетита. И, подкараулив момент, учинили набег, с весельем, с шумом выпотрошили его чемодан, где хранилась-таки пара-тройка бутылок: как можно красивым женщинам отказать?

И вот пришел первый отснятый материал, в просмотровом зале потушен свет, замелькало, замелькало, и я увидел на экране... А увидел я траншеи, обшитые первосортнейшим тесом, землянки, как вековые курганы, способные выдержать прямое попадание бомбы. У нас на плацдарме, если и были землянки в три наката над головой, так все три наката, как говорилось, кукурузные. Надо было срочно ехать на съемки.

Войну я закончил лейтенантом, лейтенант — это тот, кому меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют. А тут — генерал, командующий артиллерией армии... «Иван Васильевич, — говорю ему в некотором смущении, — разве такая была война? И где это на передовой траншеи обшивали тесом?..» А он, будто Иваном Тимофеевичем Козловым проинструктированный, объясняет: «Так то — война, а это — кино, люди

смотреть будут, нельзя! Я хотел как лучше». И из глаз его поблекших, уже слезою подернутых, такая преданность долгу светится, что, как на солнышко, больно глядеть. Весь этот материал пришлось переснимать.

А режиссерам, недавним выпускникам ВГИКа, забавно казалось, что у них в подчинении генерал-лейтенант. На фронте артиллерией целой армии командовал, а здесь — «Иван Васильевич, надевайте китель!» В Кишиневе, в гостинице, собрались мы обедать, а ресторан в обеденную пору закрыт на обед, и швейцар в галунах сидит за стеклянными дверьми для порядка. Иван Васильевич, впитавший в плоть и кровь привычку подчиняться старшим по должности, надевает кремовый чесучовый китель, на нем яркие орденские колодки от сердца до пояса, и во всем параде идет первым, за ним — остальные. И швейцар распахивает двери, и в пустом ресторане начинают обслуживать нас одних.

Снимали фильм на местах бывших боев, и я узнавал и не узнавал наш плацдарм: столько лет прошло, молодой лес поднялся. Но самое поразительное, каким узким казался мне теперь Днестр. А тогда, под огнем, многих жизней не хватило, чтобы его переплыть.

Когда фильм вышел на экраны, я получил от Виктора Некрасова письмо:

«4.1.65.

Дорогой Гриша!

Вчера посмотрел «Пядь земли» и сразу же захотелось написать тебе, что это очень, очень славный фильм, многое во мне всколыхнувший. И ребята, и выцветшие гимнастерки, и вся эта бессюжетность, недеklarативность, правдивость — все это очень хорошо. «Живые и мертвые» я, например, проспал (правда, для этого были и другие основания кроме качества фильма), но второй раз не пошел... Кстати, я в этих местах тоже воевал и тоже на пяточке — у Ташлыка, поэтому я должен быть особенно придиричив, а вот и не к чему придраться. Очень рад! А кто эти ребята — режиссеры? Мотовилов? Молодец! Пацан, а ведь здорово сделал лейтенанта тех лет... Даже (не дай бог!!!) немного взгрустнулось, что прошли те «пламенные» годы. Впрочем, просто моложе и веселее все мы тогда были.

Вот так-то, Гриша. Передай всем привет и мои поздравления. Заодно и тебе. Заодно и с Новым Годом!

Сейчас еду с мамой в Дубулты — говорят там сейчас тихо и можно поработать.

Обнимаю. Твой В. Некрасов.

А где Володя Тендряк? Я уже забыл, как он выглядит! Он, кажется, твой сосед по Пахре. Зайди к нему, передай привет и выпей 100 гр., хотя ты, кажется, этого не любишь...»

Запятые Вика, случилось, и забывал расставлять, а насчет ста грамм, был бы он жив сейчас, я бы сказал: обижаешь. И вот интересно, и не мной первым это замечено: Симонова, который был моложе его по годам, мы ощущали человеком совершенно другого поколения, другой иерархии, а Виктор Некрасов словно бы ровесник был наш и не только по войне. А ведь ни одна книга не повлияла так на всю нашу литературу о войне и на каждого из нас, как его повесть «В окопах Сталинграда», исповедь мужественная и честная.

Дорого мне это его письмо. Он фронтовик, я понимаю, что могло ему понравиться в фильме. Правда войны там была, для проверки я попросил режиссеров вмонтировать хронику в сцены боев, ее было не отличить. Но вот искусства в фильме, к сожалению, не было.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Западные интеллектуалы, к ним у нас относят и американцев, живущие в обстановке относительно комфортной, а бытовые условия способствуют и душевному уюту, привыкли до последней возможности «не допускать мысли». Уже и Гитлер пришел к власти, а все «не допускали мысли», и Сталина, рябого изверга, повидав вблизи, Фейхтвайгер все же написал бог знает что, книгу его — «Москва 1937 года» читать мерзко. Тому, разумеется, была причина, не о ней сейчас речь, но факт остается фактом. С нас спрос не меньший, но другой: это спрос с тех, кто либо сам побывал в пыточной камере, либо ожидал своей очереди в нее, а уж как ожидание калечит душу, на что способно толкнуть человека, известно хорошо. Молодые же просто были отравлены слепой верой.

Но вот, чтобы дальнейшее понять, попытаемся представить себе нечто вовсе уж невероятное: состоялась беседа Томаса Манна с Гитлером. И говорит ему Томас Манн: «Я удручен Вашими многочисленными антисемитскими высказываниями и действиями... Мы восхищались Вашими ораторскими способностями. Мы ценим Ваш глубокий вклад в ликвидацию безработицы. Но написанное Вами в книге «Майн кампф» и Ваши публичные высказывания могут быть использованы для интеллектуального обоснования идеологии ненависти, ведут к массовым убийствам. Вам следует пересмотреть свои взгляды...»

Томаса Манна нет. Испробовав яд на собаке, сдох, как собака, и Гитлер, успевший прежде погубить миллионы и миллионы, об одном только сожалел перед смертью, что с ним вместе не погибнет немецкий народ, который оказался не достоин своего фюрера. Где-то хранится у нас, если еще хранится, его челюсть, по которой и опознан был труп обгорелый.

А теперь от Томаса Манна, от великого, спустимся с той нравственной высоты в дни наши. Вот — письмо. Не Гитлеру, разумеется, но тоже антисемиту, правда, куда меньшего масштаба, возможности у него не те: открытое письмо И. Р. Шафаревичу

чу. Под ним — четыреста пятьдесят подписей американских математиков, среди которых три бывших и нынешних президента Американского математического общества, 24 члена этого общества, 14 членов Национальной академии наук США. Они пишут:

«Мы удручены многочисленными антисемитскими высказываниями в Вашей книге «Русофобия» и в Ваших публичных заявлениях по поводу текущей политической ситуации.

Мы восхищались Вашей борьбой за права личности в тяжелый период недавней русской истории. Мы ценим Ваш глубокий и фундаментальный вклад в математику. Разум, которому открыта красота науки, который способен ее развивать, должен быть так же способен видеть пустоту и безосновательность теории заговора, сторонником которой Вы являетесь.

Поддержка Вами давно скомпрометировавших себя суждений о роли евреев в мировой истории, и в особенности в русской истории, способна только повредить Вашим взаимоотношениям с математиками-евреями и неевреями, а также улучшившимся в последнее время связям Востока и Запада. Написанное Вами может быть использовано для интеллектуального обоснования идеологии ненависти, приведшей в прошлом и способной привести в будущем к массовым убийствам.

Мы призываем Вас пересмотреть свои взгляды и публично отречься от Вашей антисемитской позиции».

И еще четыреста пятьдесят подписей...

Все очень интеллигентно, цивилизованные люди, цивилизованный разговор. Да для него улучшившиеся связи Востока с Западом — нож острый, как это не понять? Россия под колпаком, санитарным кордоном отделенная от мира, — вот его идеал. Есть бактерии аэробные, есть анаэробные, одни без воздуха жить не могут, другие в безвоздушной среде и живут, и чувствуют себя прекрасно.

Интересно, как же он «пересмотрит свои взгляды», «публично отречется от антисемитской позиции», когда это — его промысел, который он за божий промысел выдает? В той самой книге, в «Русофобии» (я убежден, только русофоб и мог ее написать), он же заявляет, что, не опубликуй он ее, не влей этот яд в сознание людей, не смог бы он спокойно и в могилу слечь. Какой извращенный ум! «Мы восхищались... Мы ценим глубокий...» Ах, интеллектуалы, интеллектуалы! Правильно сказано: гром не грянет, мужик не перекрестится. Так ведь грянул уже. Или в самом деле история ничему не учит?

Однажды я наблюдал этого человека по телевизору. В тот раз он говорил о Ельцине и Горбачеве, о том, что они принесли России бед несравнимо больше, чем татарское нашествие. У нас теперь для этого смелости не надо, дозволено говорить все, и кто прежде жаловался на вынужденную нищету, на тяжкий гнет цензуры, они-то первыми теперь и клянут тех, кто дал им возможность говорить. Но не то важно, что он говорил, это и старухи яростные на улицах любому корреспонденту в микрофон кричат, хоть бы и иностранному корреспонденту, от которого прежде шарахнулись бы в ужасе, гораздо важнее было, *как* он говорил, лицо его в этот момент. Это было лицо человека, неизлечимо больного ненавистью, она сжигала его, исходила с экрана. Бледный, искаженный, пиджак перекошен, сполз с одного плеча, ненависть была такова, что даже взгляд временами казался безумным.

В Израиле шел суд над одним из самых жестоких палачей Треблинки, Демьянюком. Четыре с лишним десятилетия разыскивали его, ловили, привезли, судят. Какая долгая жизнь подарена ему, уничтожившему столько жизней. Я как-то присутствовал при разговоре об этом процессе, возник даже небольшой спор. Было это в Беэр-Шева, в милой семье киевлянина, переехавшего в Израиль, собралось у него несколько семей.

У Демьянюка в Треблинке был не то чтобы подручный, а мальчик, выполнявший, что ему прикажут, еврей по фамилии Эпштейн. И вот разгружают очередную душегубку, в которой газом отравлены люди, и под голыми телами, где все же сохранился воздух, осталась жива двенадцатилетняя девочка, без сознания, но жива. Тоже голая, полумертвая, она ожила на свежем воздухе. И Демьянюк приказывает мальчику: «Снимай штаны!» И тот вынужден снять, он боится, в страхе живет. Но сделать с ожившей девочкой то, что от него требуют, не может от ужаса. Поняв, что не удастся, что тот физически не способен, Демьянюк взял дрель и вот этой дрелью... Тут женщины закричали: «Хватит! Это невозможно слушать».

Эпштейн жив, он свидетельствовал на суде, приехал с женой, с детьми. Он сказал, что не хочет никакой мести, его месть в том, что вот живут его дети, а Демьянюка судят. Ну, а та девочка? А пепел сожженных в печах Треблинки?

В Иерусалиме, в Яд Вашеме, каждую минуту голос произносит детское имя, день за днем, год за годом. Из шести миллионов евреев, уничтоженных фашистами, полтора миллиона —

дети. И, может быть, самое страшное — детский зал. В сплошной темноте горят пять свечей, отраженных множеством невидимых зеркал, и ты словно в центре Вселенной, в центре мироздания, где витают души; над тобой, под тобой, повсюду — бесчисленные звезды — огоньки во тьме космоса; душа человека — свеча Господа. И голос, отсчитывая минуты, произносит и произносит детские имена.

Но в конце концов, что такое демьянюки, вместе взятые? Исполнители. Их руками творилось зло, и одни творили его с садистским наслаждением, другие — от страха за свою жизнь. Но чтобы все это оказалось возможно, началом всего было слово. Словом надо было отравить сознание людей, пробудить ярость, сказать: дозволено. И прежде чем атомная бомба взорвалась, было сказано слово. Без него не сбросили бы ее на людей.

Убеждения неподсудны, за них нельзя карать. Но слово сказанное, написанное — это деяние, дело. В истории человечества в начале дел, великих и страшных дел, всегда было слово, оно предшествовало. Так кто же главный убийца, кто палач: тот, кто бросил слово в толпу, как огонь в стог сена, или тот, кто исполнял приговор? «...Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя — о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть». Да, да, это из поэмы «Великий инквизитор», которую Иван Карамзov читает своему брату Алеше. И это — руководство к действию всех тех, кто обольщал и обольщает совесть человека в кровавый наш двадцатый век. «Разум, которому открыта красота науки... должен быть также способен видеть...» Видит, знает, ведает, что творит, можете не сомневаться.

Для Шафаревича евреи — источник мирового зла, так он их пытается представить. Но, может быть, он любит молдаван? Или американцев? Он любит русских. Но не тех, что живут на свете, радуются, маются, а тех, какими они обязаны быть по его заветам и повелениям. Он любит Россию. Но Россию Пуришкевичей, Шафаревичей, где — лжепророки «и ты, послушный им народ». Оттого-то он не прощает Лермонтову эти строки.

Я еще высуну вам язык после смерти, пообещал в свое время В. Розанов. И дочь, войдя к нему, мертвому, с ужасом увидела высунутый мертвый язык. В дальнейшем она покончила с собой. «Русофобия», написанная с ненавистью в сердце, — не такой же ли высунутый мертвый язык?

У КАЖДОГО СВОИ ЗАБОТЫ

Народы разные и разная вера и обычаи, а опыт жизни, пронесенный через века и религии, схожий, как это ни покажется странным. «И я мастер, и ты мастер, кто же наш сор выметет?» Это армянская пословица. А вот — арабская: «Я эмир и ты эмир. Кто же погонит ослов?» И в Абхазии, и в Армении говорят: «Чужой покойник спящим кажется». Или вот адыгейская пословица: «На чьей арбе сидишь, песни того и пой». Это — перевод, и слово к слову тут плохо прилажено. А вот русская: «По которой речке плыть, той и славушку творить».

Сегодня самим себе в оправдание винят время: «Время было такое...» Мол, что я? Я — как Илья... Время понуждало, ему и списывать грехи. А у китайцев, если не тысячи, так уж сотни лет этой пословице: «Змея говорит: “Это не я извиваюсь — дорога извивается”».

Как-то рассказывал мне большой наш литначальник, сидел он за просторным столом, по правую его руку — телефон правительственной связи и еще телефоны, по левую его руку — несгораемый сейф: «Какие тут у меня заявления писателей лежат! В депутаты Верховного Совета просятся... А сколько заявлений на Звезду Героя Соцтруда!..» Я предложил: «Давайте напечатаем». — «Нет, с этим уйду».

Да ведь и на фронте, даже там это было. Были такие, что если не выпляшут, так выпросят. Вот в Венгрии хотя бы, под Секешфехерваром. Брали мы его, и оставляли, и снова брали, много народу полегло там. Ночью, помню, вернулся я с передового наблюдательного пункта, из пехоты, оттуда огонь корректировал, сменять меня должен был командир второй батареи Коропенко. Только я завалился спать, командир дивизиона вызывает. Невыспавшийся, злой иду к нему, спрыгнул в окоп, хотел уже плащ-палатку в землянку откинуть, да голоса меня остановили, один из них был голос Коропенки: на судьбу жаловался. Выпало ему несчастье быть в оккупации, и теперь,

мол, нельзя ему умирать без ордена, пусть самый маленький, но орден, чтобы смыть позорное пятно, не ради себя, ради жены и детей.

До войны Коропенко закончил Одесское военное училище, росточка был маленького, а маленьким людям большие сны снятся. Но в первых же боях попал он в окружение, а там, сняв с себя военную форму, переодевшись в гражданское, вернулся домой. Освобождая Одессу (наш полк в этом участвовал), мы и его освободили. Военная карьера испорчена бесповоротно, единственное, что требовалось ему теперь, — орден.

Вошел я. Смолкли. Гулин, командир дивизиона, придвинул к себе карту города, при свете снарядной гильзы, в расплющенной горловине которой коптил плоский фитиль, разглядывает ее. А там, в городе, грохочет все. «Значит, так, — Гулин нахмурил подбритые брови. — Бери разведчика, бери телефониста, пойдешь туда. Там тебе все известно. Нужен сейчас там такой человек, который уже находился... Я на тебя надеюсь...»

Не услышь я только что их разговора, я бы возгордился по молодости лет: как же, на меня надеются! А Коропенко сидит в землянке, ножки свесил, лицо обиженное на жизнь, словно бы опять проявлено к нему недоверие, от почетного дела отстранили. И что самое поразительное — действительно обижен. Так мне противно, так гадко стало, что ничего я не сказал, повернулся и вышел. Но тоже, если подумать трезво: я — из гордости, из презрения, а разведчик, телефонист, которым идти со мной, они за что? Туда живым добраться — и то везение. Но их судьбу я в тот момент не брал в расчет, вернулся и приказал: «Собирайтесь!»

Коропенко получил орден Красной Звезды, пришел с войны орденосцем, не инвалид, даже не ранен ни разу. Но и в дальнейшем, в мирной жизни, тоже у него что-то не ладилось, может, хотел больше того, что мог, такие люди всегда несчастны.

Войну повидал я достаточно, но штабы высокие, где рукою белой прочерчивают стрелы на карте, стрелы нашей судьбы, повидать не пришлось. Бывало, раздается по телефонам, когда уже стрелы нацелены: «Огурчиков тебе подбросят... Шестой тебе спичек передаст!..» Огурчики — это снаряды, спички — мы. Вот такая конспирация, куда уж немцу догадаться!.. И не раз после войны жалел я, что эту жизнь не видел, не знаю: не

для понимания даже, чего уж не понять, для бытописания, без которого невозможна проза.

Покойный ныне Черноуцан под Сталинградом был близок к Жукову, в ту пору еще не маршалу, что-то он делал на штабной радиостанции. И после войны, по цековской своей службе, встречался с ним. В одной из статей в «Литературной газете» он писал, что Жуков читал мою повесть «Пядь земли», сказал: «Эти ребята знают, с какого конца пушку заряжать». Да, науку, «с какого конца пушку заряжать», я прошел в полной мере, а вот Жукова повидать не довелось. Мог, хотел, да постеснялся. А теперь жалею. И никакие мемуары этого не заменят.

Было утро, я сидел, работал. Надо бы, конечно, в такое время выключать телефон, но мог позвонить внук, названный Юрой в память о моем брате, ныне уже — старший мой внук, он едва ли не с полутора лет научился набирать номер телефона.

Но позвонил не внук, раздался звонок из Союза писателей: «Сейчас с вами будет говорить Юрий Николаевич Верченко». Оказалось, завтра, в такой-то час — совещание в ЦК, мне надо быть. Что-то я слышал, будто Гришин собирается побеседовать, как говорят в таких случаях, в узком кругу. Мне любопытен был этот человек. Невыразительное его лицо выражало эпоху, и было интересно наблюдать, как ведут себя люди в его присутствии, театр, и какой театр!

Еще памятна была позорная сцена по телевидению, когда к умирающему, задыхающемуся Черненко в больничную палату, декорированную так, будто дело не в больнице происходит, пришли вручать удостоверение депутата Верховного Совета РСФСР. Он уже был депутатом Союза, но по ритуалу, введенному еще в сталинские времена, полагалось ему быть депутатом еще таких-то и таких-то советов, чтобы за него, как семь городов за Гомера в древности, чуть ли не сражались города и веси, оспаривая право наречь если не земляком, то хотя бы своим избранником. И его подняли с одра, надели брюки на тощие ноги, надели пиджак с тремя Золотыми Звездами Героя (последней Звездой он уже сам себя награждал), с депутатскими значками и лауреатской медалью — все это скоро разложат на алых траурных подушечках, а пока что оно висело, блестело на нем, — и зажужжали телевизионные камеры, засверкали блицы...

Вот передо мной фотография той поры: четверг, 28 февраля 1985 года, газета «Известия». Седой, с косыми скулами Черненко держится рукою слабой за спинку кресла, ноги сами уже не держат его, а перед ним густоволосый партийный чиновник не говорит, прямо-таки поет поздравление. И Прокофьев, этот еще взберется по лестнице на самый верх московской партийной иерархии, а тут — относительно молод, востроносенький, губы поджал, в руках с подобострастием держит букет цветов, и почему-то в том букете каллы белые, какими обычно невесту сопровождают. А из глубины снимка, как бы оставаясь в тени, Гришин наблюдает с благодной улыбкой: его постановка, его дрессура.

Надо полагать, был во всем этом сокрыт высший государственный смысл: народу предъявили генсека, жив, прочна наша держава. И я слышал на следующий день в очереди, как люди впервые с сочувствием говорили о Черненко: «Надо же так над больным человеком надсмеяться!..»

А ведь легли бы карты по-иному, ну, например, не умри внезапно Устинов, тогдашний министр обороны, и у Гришина были шансы стать после Черненко во главе партии, над народом и страной. Были определенные шансы, хоть сам он впоследствии даже мысль такую опровергал. Но и в страшных снах ему не снилось, что через каких-то семь лет, лишенный даже персональной машины, ведомый под руку, придет он в районный отдел социального обеспечения, он, недавний хозяин Москвы, которому все на стол подавалось, и принесет, как рядовой пенсионер, справки, чтобы ему пересчитали и увеличили пенсию.

Бывал я в собесе, знаю, что это за учреждение. Инспекторша лет тридцати с небольшим, возможно, оттого и злая, что без кольца на руке, и это при ее-то плоти, когда джинсы на мощных бедрах едва сошлись, неведомо, как молния затянулась, не достаивая меня и взглядом, вновь отправляла за справками, и я собирал их три раза: сначала — за два последних года, потом — за пять предыдущих, а потом — за два года десятилетней давности с такого-то по такой-то месяц, да еще, еще разные справки. Но меня от волнений, от тех гневных речей, которые люди потом сами с собой наедине дома произносят — они-то и сжигают сердце, — меня от этого любопытство хранило, мне интересны люди, получившие хоть малую власть над людьми, чем меньше человек сам по себе, тем власть для

него сладостней. Я просто наблюдал ее. Вот она шла в кабинет, а за ней, как утята за тенью, целой очередью старики с вопросами. Не слышит, закрыла за собой дверь, отсекала. Вот вышла, опять к ней устремились было. Щелкнула замком, прошла, не отвечая. Учреждение это открывается в девять утра, а они, восьми еще не было, уже выстроились на улице в очередь под дверьми, каждый хочет раньше других попасть. Вот опять она идет, несет целлофановый мешочек с продуктами в холодильник. В четверть десятого приняла первого.

А в коридорах — волнение, толкотня, сидят, ожидаючи, стоят у стен, кому присесть негде, на больных ногах стоят старики, тычутся бестолково не в те двери, и в самом деле бестолковы они и некрасивы в старости их лица, старость не красит, а ведь я их молодыми помню, ну, не их, других таких же: «Гляжу на них, и вижу те года, где шли они во всей красе и силе, когда была Россия молода и судьбами ее они вершили...» Дожившие до пенсии по старости, привыкли они стоять в очередях, ими столько помыкали в благодарность за то, что родину спасли...

Но каково человеку, для которого, когда он в театр ехал, на площади Москвы все движение перекрывалось, каково ему прийти сюда, толкаться!.. Да ведь в лицо узнают, каждому любопытно... Какую обиду, какую боль надо было в сердце своем запереть, смирить себя, решиться... «Гришин скончался 25 мая в возрасте 77 лет в Краснопресненском райсобесе, куда пришел переоформлять пенсию. На приеме у инспектора ему стало плохо, он потерял сознание и перестал дышать. «Скорая помощь» прибыла через 13 минут, но все, чем могла помочь, — это констатировать смерть от острой сердечной недостаточности. Гражданскую панихиду провели в ритуальном зале морга бывшей Центральной клинической больницы 4-го Главного управления при Минздраве СССР в Кунцеве, на ней выступили дети Гришина».

Будущего своего людям знать не дано, и вновь и вновь я убеждаюсь: хорошо, что не дано.

А было ему тогда ровно семьдесят, когда позвонили мне утром, что надо, мол, ехать на совещание, и я так понял, что это он созывает. И хотя считалось подобное приглашение престижным, да и посмотреть хотелось, я прикинул мысленно: до автобуса идти — три километра, автобусом до Москвы — час, да по Москве, да возвращаться — вот день и пропал. А как раз

работалось, жаль мне стало день терять. Я отказался: не могу, да и не на чем. Однако вскоре опять позвонили: за вами пришлют машину.

В нашем иерархическом обществе, где все регламентировано и каждому отмерено ровно столько, сколько полагается, ничего так просто не бывает. Мне бы догадаться: происходит нечто чрезвычайное. Но потому ли, что писал, мысль другим была занята, я как-то всю эту механику не сопоставил.

И даже на другой день, прибыв, пройдя проверку внизу, а потом еще и на пятом этаже, где два офицера КГБ вновь удостоверились, что я — это я и фамилия есть в списке, все еще я не понимал, где нахожусь, меня на этот этаж заветный, где судьбы решаются, никогда прежде не приглашали.

И вот — приемная. Уже несколько руководящих писателей здесь, и странное, общее для всех сдержанное сияние на лицах, предощущение чего-то. Чего? Разделенные в обычное время множеством незримых перегородок, они держатся здесь, «распри позабыв». Пройдет время, и тончайший знаток аппаратной жизни разъяснит мне эту мудрость: «В присутствии *самого* все равны. Но — до дверей. А вышел за двери, и опять каждый знай свое место». И уже в себе начинаю замечать здесь нечто подмывающее, словно бы в своих глазах расту: допущен, причислен... А я давно для себя решил: умей сохранять дистанцию. Иначе попадешь в стаю, а там закон один: лай не лай, а хвостом виляй. И тот, кого признаешь над собой хозяином, тот тебя холопом и сочтет.

Вдруг мощной когортой вошли писатели-депутаты, как с боя, с заседания Верховного Совета, из Кремля, все в блеске лауреатских медалей и Золотых Звезд. Они еще дышали воздухом кремлевских залов, кремлевских коридоров, они внесли его с собой, и сразу будто светлей стало, сияния и блеска прибавилось, когда все они вот так вошли. Мог ли кто думать тогда, что этот Верховный Совет, куда назначали, — последний, а дальше... О том, что дальше, еще поговорим.

И вот когда вспоминаю и вижу, как они вошли, видится мне и другое, не мною испытанное: «Входя сквозь лагерные ворота, ээки, как воины с похода, — звонки, кованы, размашисты — пасторонись!» Несопоставимо? Несовместимо? Но так оно и совмещалось десятилетиями: одни — в царские врата, другие — в лагерные ворота. И немало было тех, кто из кремлевских палат — да на нары, и в холодных, голодных лагерных

снах бывшее снилось в дымке золотой. На том и держались, чем выше горы, тем страшней бездны.

Наконец нас всех позвали в зал, и мы проходили, сопровождаемые прямо-таки родственными взглядами хорошо вышколенных мужчин, стоявших у дверей, чем-то незримо одинаковых, сидевших за столами при входе женщин в белых блузках. А я по первому своему жизненному опыту, по армии, по фронту усвоил прочно: когда ординарец встречает тебя глазами дяди родного, входи смело, от начальства беды не ждать.

Зал этот я видел прежде на фотографиях: и стол поперечный для президиума, и длинный стол торцом к нему, и столики у стен, до половины обшитых темным деревом, а сами стены выше дерева — белые. Открылась дверь боковая, не очень даже приметная на первый взгляд, из нее ход прямо в президиум. И вошли... Нет, не Гришин, его и подъезд, и этаж другой, и созывать к нему должен был не Верченко, а московский оргсекретарь, но все это, по незнанию иерархии, я позже сообразил. Вошел Горбачев, за ним — Лигачев и Яковлев.

Горбачева вот так вблизи я видел впервые. Могу сказать: он был моложе. Нет, не на семь минувших лет, намного моложе он был тогда — и духом, и лицом. И весь дышал уверенностью, энергией и силой.

О чем он говорил на протяжении примерно так получаса? В дальнейшем я не раз это слышал и по телевизору, и при встречах, и многое из того — теми же словами, хотя время менялось, требовало уже других слов и дел, но тогда, впервые услышанное, поражало откровенностью. Ведь не на московской кухне, где за рюмкой водки и не такое говорят, а здесь, в святая святых власти, генеральный секретарь ЦК говорит, какой отдельный коммунизм построили для себя высшие и как народ живет, говорит убежденно, страстно. И не старческая слеза застилает взгляд, которая всей стране светила целых восемнадцать лет, а живой ум в глазах. И губы, произносящие слова, — свежие, твердые, еще не начавшие вянуть. Да и выговор его южный, близкий к воронежскому, приятен был мне на слух: «хфакт», «жисть»... Хотя и думалось не раз в дальнейшем: неужто он отвыкнуть не может, так уж непроизносимо для него слово «жизнь»? Или и это — политика, вот так ненароком, незаметно подчеркивается народно-комбайнерское происхождение? Но это позднейшие наблюдения, а тогда он понравился мне, поверилось в него, мне давно хотелось поверить.

Он говорил и отпивал изредка из стакана что-то молочно-кофейное на цвет, как бы и не смачивая губ. Многих, я знаю, интересовало впоследствии, что же это ему приносят, говорили, тонизирующее что-то, даже вопросы такие в печати я встречал. Но одна мелочь меня смутила: отопьет едва на треть, и входит официант — грудь белая, пиджак черный, под пиджаком мышцы груди, спины, рук ощутимы на расстоянии, — входит, жестом фокусника сдергивает крахмальную салфетку, ставит новый стакан, а этот уносит под салфеткой. Но ставит ему одному, ни Яковлеву, ни Лигачеву не ставят ничего. И на наших на всех столах — блокноты с золотым грифом ЦК КПСС, замечательно отточенные карандаши.

В какой-то из своих вещей Солженицын возмущался задним числом, что и на фронте, где, казалось бы, перед смертью все равны, даже там было разделение: офицерам, в отличие от солдат, полагался дополнительный паек. Прочел я и поразился: неужели есть в чем каяться? Был я солдатом (в начале войны говорили не «солдат», а «боец»), видел не раз, как для командира батареи повар из общего котла в отдельный котелок снимает «пробу»: сверху — пожирней, из глубины — погуще. Был офицером, командиром взвода, полагался мне дополнительный паек: банка рыбных консервов или сало, пачка печенья, полпачки легкого табаку... Но получать шел кто-нибудь из разведчиков и делилось поровну на всех, кто в этот момент находился со мной на передовом наблюдательном пункте в пехоте. Неужели ж в одном окопе сидим, а табачок врозь?

Вот этот персональный стакан из-под крахмальной салфетки отвлекал внимание, озадачивал меня. Думалось: ну, уж в следующий раз, наверное, поставят всем троем. Нет.

В остальном же, повторяю, Горбачев понравился мне, говорил увлеченно, видно было, как мысль рождается. А еще не забылся анекдот про Леонида Ильича, как звонят в дверь, он надевает очки, достает записку из кармана, прочитывает: «Кто там?..» Да если бы анекдот!.. На встрече с французским президентом по бумажке читал свои ответы и громко спрашивал переводчика: а вот это, дальше, тоже читать?..

Закончил Горбачев вопросом: «С кем вы, мастера культуры?» Первым встал, а он первым и сидел, Георгий Мокеевич Марков, при жизни удостоенный памятника на родине и, как балерина Уланова, — двух Золотых Звезд Героя. Еще не так давно Брежнев всенародно целовал его в Кремле в обмен на Ле-

нинскую литературную премию, которую Георгий Мокеевич самолично вручал ему, и в газетах и на многих фотостендах красовалось это торжественное целование. А еще помнят редакторы издательств, как приезжал он из Сибири — не Брежнев, разумеется, Марков, — приезжал с бидончиком для масла, когда редактировали первый его роман. В этом нет позора, некогда Сибирь вывозила масло за границу, что сделаешь, если дожили: из Сибири ездили за маслом в Москву. Просто хочу сказать, помнят его тихого, скромного, с бидончиком.

Или вот приезд Твардовского в Сибирь. Застолье. И заметил Александр Трифонович, что свою рюмку Марков не выпивает, а незаметно выливает под пальму, в кадку позади себя. (Он вообще не пил и никогда не летал самолетами, жизнь свою доверял только поезду и автомобилю, хотя статистика свидетельствует, что железнодорожные катастрофы и автотранспорт уносят куда больше человеческих жизней.) Но Твардовский, находясь уже в подпитии, заметил и оскорбился: с ним пить не желают!.. И был человек там, который все это мне рассказал, тоже участвовал в застолье, он будто бы и предрек: мы еще доживем до того времени, когда Марков станет во главе Союза писателей. Тогда ли было явлено пророчество или, как многие умные мысли, родилось задним числом, не поручусь.

Георгий Мокеевич Марков был идеальным руководителем брежневского царствования, время позвало его, и он пришел, и к нему «на ковер» являлись востребованные и Твардовский, и Солженицын. Осторожный, осмотрительный исполнитель высшей воли и сам — высшая воля на вверенном ему посту, он умело осуществлял главный принцип: не колыхай, доплывем. Куда доплывем — не обсуждалось, престарелое руководство полагало уверенно: на его век хватит, страна большая; еще и Ломоносов оставил заверение: богатства наши будут прирастать Сибирью.

Марков встал, говорил, как положено здесь, тихим голосом, интонация, успокаивающая, благостная, заверяла: он понимает, знает, одобряет заранее и не сомневается, что все останется по-прежнему. А уже ссутулилась его спина от возраста ли, от привычки ли держать себя принагнуто в присутствии высших руководителей, это не зазорно, в том — особое достоинство служилого человека: ты считаешь, тебя почитают... А видно было со стороны, видно, чего, возможно, он и сам не сознавал: минуло его время.

И Чаковский поднялся следом, опытный царедворец, он еще при Сталине прошел школу жизни. Как-то он сказал: «Знаете почему Аджубей сгорел?» Я думал, тут все ясно: свергли тестя, пострадал и зять. «Не-ет! Он сгорел потому, что недооценил силу аппарата, привык все наверху решать. А я, когда иду на самый верх, я потом во все кабинеты спущусь, я и к инструктору зайду поговорить, он знает, откуда я иду, оценит, что я к нему зашел...» Тут я возьми и скажи: «Ну, ваша близость к Брежневу известна». — «Никакой близости особой у меня нет, слухи распускают!» — «А что вы так напугались?» — «Изучайте историю...» Тем удивительней, что на этой встрече он сразу захотел показать всем, что уже бывал здесь, успел заручиться поддержкой; может, потому, что опытен и умен, и знал, что умен, поскользнулся с первых же слов: «Прошлый раз, когда мы с вами, Михаил Сергеевич, беседовали здесь...» Позже обнаружится тактика Горбачева — ничью сторону не принимать явно, ни правых, ни левых, ни средних, оставлять себе простор для маневра. Но тогда это «мы с вами...» прозвучало, скажем так, неуместно, многие это заметили.

Мне ничего не было нужно, я делал главное дело своей жизни, пост какой-нибудь занимать или играть роль, какую мне поручат, нет, к этому я не стремился. Но поверилось: вот человек, который действительно хочет изменить постыдную нашу жизнь. Я поднял руку, мне дали слово.

— Не знаю, Михаил Сергеевич, представляете ли вы, какую тяжесть на себя взваливаете. Плохо ли, хорошо, но люди привыкли так жить, знают, как быть в этой жизни, и для себя, для детей, для внуков продумали жизнь наперед. И вдруг все заново? На это надо решиться, поверить надо.

Ни имени моего, ни в лицо меня он не знал, но слушал, я видел, слушает. В высоком собрании не станешь говорить о мелочах, а как раз незадолго до этой встречи ездил я с плотниками на склад за досками, там разгрузили несколько платформ леса. По всему двору на штабелях отобранного леса, на досках сидели разомлевшие от жары бабы, накрывшись платками, стерегли: из-под них не вытащат. Мужья тем временем где-то добывали транспорт. Отобрали и мы. Два продавца в вельветовых джинсах, здоровые, как лоси, проходили не замечая: обмеряют только на машинах. Но грузить на машины самим или нанять кого-то нельзя: три алкаша халтурят при складе, у одного из них левая рука сухая, висит плетью. И машины есть, трей-

леры стоят за забором. Они — государственные, но шоферам позволено халтурить здесь, разумеется, не задаром. И вот как вся цепь выстраивалась: грузчики две трети отдают продавцам, соответственно отстегивает и шофер, потому продавцы в будний день в вельветовых джинсах. Отъехали мы километров десять, нагоняет милицейская машина, она заранее стерегла. И милиции отстегнули по таксе. Так это же — прообраз всего нашего государства, где каждая шестеренка смазана, потому только вращаются они, вся жизнь — по двойной бухгалтерии, кто откажется добровольно? Вот об этом я сказал. И еще — о законах.

В тот момент как раз вышли два закона: о развитии инициативы — один и о борьбе с нетрудовыми доходами — другой. Как два поезда, пустили их навстречу друг другу. И было совершенно ясно, какой закон сразу примут к действию: тот, что призывал к борьбе, здесь все накатано, механизм отлажен, сколько живем, столько боремся. И милиция, и прокуратура, и добровольные помощники — все сразу пришло в действие. В Москве милиционеры отбирали у старух пучки зелени, выращенные на грядках, нетрудовые их доходы. Только и слышалось: «Сыночки, сыночки!..» Но сыночки суровы, они при исполнении, ногой опрокидывают ящик с товаром. А в Саратове партийная власть посадит пэтэушников на машины, железные прутья — в руки, и отправит громить помидорные теплицы пенсионеров, ветеранов войны. Все это легко было предвидеть, зная нашу жизнь. И я сказал на той встрече:

— Закон не должен рождать преступления, а получится вот что: на эту весну солдатские вдовы останутся с невспаханными огородами. Раньше тракторист за бутылку вспашет, а теперь бутылка — нетрудовой доход.

Горбачев перебил:

— Вот я им это на политбюро говорил.

— Но вы помните, Михаил Сергеевич, — сказал я, — меня на политбюро не было.

Они сидели так: Горбачев — посредине, Яковлев — по левую руку, Лигачев — по правую. Очень наглядная расстановка сил. И я попросил, обращаясь ко всем троим:

— Нельзя допускать, чтобы от самых лучших намерений старые женщины остались с невспаханными огородами, я просто прошу, может, можно как-то через райкомы, что ли, подействовать...

Смешно, конечно: через райкомы. Когда совершаются космические перемены, до старух ли? Да они и привыкли, старые люди, — всю жизнь не до них.

Несколько дней спустя сидели мы с Расулом Гамзатовым в Доме литераторов за столиком, и он, уже рюмку подняв, сказал, как бы для себя что-то решая:

— Ты разговаривал с *ним*, как равный с равным.

У меня не было таких намерений, и не об этом я думал. Но Расул полжизни провел в президиумах, ему видней. И хотя занимал он массу официальных и почетных постов, не растерял ни таланта, ни юмора. Когда родилась у него вторая дочь, снова — дочь, а был Расул в это время на сессии Верховного Совета в Москве, и ему позвонили поздравить, он закричал: «Куда смотрел обком!..»

Пройдет семь лет, и Михаил Сергеевич Горбачев, уже не генсек, не президент, а экс-президент, вернется из Соединенных Штатов Америки, где он читал лекции, где экс-президент Рейган принимал его на своем ранчо. Его обидит невнимание нашей прессы: «Я четырнадцать тысяч километров исколесил по Америке, десятки самых разных встреч... И всюду — внимание, тишина. Две недели вся американская пресса, все телекомпании освещали визит. Не может же быть так: их интересуется одно, а нас это вообще не интересуется».

А в нашей прессе в майский день, как раз когда он вернется на родину, будет напечатано в «Известиях» письмо из Донецка:

«16 января в 6 часов 30 минут умерла мама. Обегал 18 телефонных автоматов — все раскурочены. Лишь в медицинском институте от дежурной дозвонился до «скорой»: «Стариков в морг не берем. Обращайтесь в поликлинику».

Из регистратуры направили к терапевту. «Это не мое дело», — был ответ. Пошел ко второму, от него — по той же причине — к третьему, третий послал к руководству. Заместитель заведующей поликлиникой № 2 горбольницы № 3 Донецка отправила меня во ВТЭК, оттуда — опять к заведующей поликлиникой, которая поручила врачу Париге выдать справку о смерти матери.

Со справкой в руках пошел в городское похоронное бюро — заказать гроб, но это, оказывается, дефицит, хотя и стоит 1300 рублей. Потом отправился за свидетельством о смерти. В загсе минут через 20 после того, как я отдал справку, выяс-

нилось, что врач неправильно списала из паспорта номер дома и поэтому документ мне выдать нельзя.

Расстояние от поликлиники до загса километра три, расположены они друг от друга так, что можно добраться только пешком, а мне 63 года. Пришел в поликлинику, там уже другая смена, врач Парига прием окончила. Никто и слушать не хочет. Побежал к заведующей: «Ничего не знаю, ищите врача, которая вам выдала справку». Со скандалом выписали справку без ошибок. За пятнадцать минут до закрытия загса получил свидетельство о смерти матери.

На следующий день пошел в Сбербанк поменять 800 рублей на купоны — надо было готовиться к поминкам, да и вырыть могилу стоит 1450 рублей в купонах. Не поменяли, несмотря на свидетельство о смерти. Гроб сколотил ночью сам: доски подобрал рядом с домом, а ночью наломал из забора (когда к нам приезжал Горбачев, на проспекте Ильича сделали хороший забор, чтобы спрятать мусорники).

Утром соседи помогли обить гроб материей, помогли и похоронить. Хорошо еще, что место на кладбище в Макеевке было — рядом с отцом. А соседский парень похоронил мать в огороде».

У каждого, как видим, свои заботы.

ПУТЬ КРЕМНИСТЫЙ

В сущности, я жил замечательной жизнью — только потеряв и оценишь. С утра садился за стол и до обеда писал. День — лучше, день — хуже, бывала и такая полоса, когда казалось, ничего уже больше не получится, и жизнь теряла смысл. Вот в такую пору откроешь прошлую свою какую-нибудь книгу, хоть ту же «Пядь земли» — да неужели я это когда-то смог? Но если каждый день работать, не дожидаться вдохновения, вновь наступит просвет. Вот тогда, перед обедом, сам себя поздравишь стопочкой: заслужил. И бережешь в себе это счастливое состояние, никогда не перечитывал на ночь написанное: вдруг то, чему радовался, окажется стыдно читать. И еще одно правило установилось, просто из опыта пришло: до дна себя не вычерпывать, не дописывать сцену, чтобы с утра интересно было, тянуло к столу.

И вдруг мне предложили (а лучше сказать — предложено было) поменять жизнь: стать редактором журнала.

Случилось это после VIII съезда писателей, он проходил парадно, все политбюро во главе с Горбачевым сидело в президиуме, мог ли кто думать в ту пору, что это — последний съезд? В величайшем по военной мощи государстве, огражденном ракетами, флотами воздушными, подводными, надводными, в величественном этом здании каждый камешек был камнем краеугольным, тронь, шевельни, и все здание посыплется. Знали об этом отцы перестройки, ведали? Или неведение давало решимость? Помню, один из них, человек умный, много повидавший, спросил меня вдруг: «Вы, писатели, кожей чувствуете. Ну как, получится у нас?» Именно этими словами, вот так было спрошено, и сам вопрос меня удивил. Я ответил: «Если есть экономический план, получится, нет — растрясет телегу», то есть сказал то, что само собой разумелось.

Было это зимой 85—86 года за городом, на одной из тихих дач, где составлялись доклады, проекты, готовили решения, и в комнатах-кельях писали, писали и днем, и за полночь, а потом

из частных сводилось нечто общее. Черная «Волга» (номер ее сообщен был мне заранее), вся такая чистая, обдугая, словно только что с конвейера, привезла меня к сплошным железным воротам, ворота расступились, и въехали мы в совершенно иной мир, где и зима мягче, и снег чище: снег, сосны, воздух легкий, таким только дышать и дышать. И оглушающая тишина. А в самом здании, хорошо натопленном, со сверкающим паркетом, с белоснежными горничными, — холодноватый казенный уют. Дважды довелось мне там бывать.

И представилось как-то: вот приезжает САМ в огромной машине, охраняемый, предваряемый, и сразу все обретает смысл. Каждое слово, и недомолвка, и умолчание, и жест отмечается, все ловят на лету: и в каком порядке сели за стол, с кем чаще говорил за ужином, кто не был приглашен — вся эта сложная, сложнейшая система знаков, в новом облики унаследованная от минувших столетий. Нет, не одни лишь судьбы страны решались здесь, судьбы народов и стран в конечном счете подвластны времени, но всякий раз на незримых весах взвешивалась, а то и колебалась судьба каждого. А своя рубашка, что ни говори, ближе к телу. И вот окруженному особым воздухом, читая все это в подвластных глазах и в лицах, как не вознестись, как голове не закружиться? Некий правитель сказал: я не поддаюсь лести. Значит, вам плохо льстили.

Немногим позже я спросил у одного из близко стоявших к Горбачеву людей, мы с ним пили чай у меня дома, он любил крепко заваренный чай, спросил его, подсчитано ли, во что обойдется государству шумно начатая в ту пору борьба с алкоголизмом. Нет, сказал он. Я не поверил: не может быть! Не мы первые вводим сухой закон, есть мировой опыт, запретное пьют больше, и растет преступность, богатеет мафия, одним словом, это именно тот случай, когда закон рождает преступление. Но он, хорошо знавший, как у нас принимают решения, весь этот механизм, спокойно покачал головой: нет, никто не считал.

И все-таки я не поверил. Нанести такой силы удар по собственным финансам изнутри, да еще в момент, когда на мировых рынках катастрофически упала цена нефти... Кремлевские старцы, давно уже махнувшие рукой на будущее — после нас хоть потоп! — только нефтедолларами и поддерживали уровень жизни, распродавали нефть, газ — достояние наших детей, внуков и правнуков, как промотавшиеся помещики, а везли из-за океана пароходами хлеб, тряпки, создавали видимость благопо-

лучия. И все равно денег не хватало. А когда нечем было платить зарплату, гнали в регион эшелоны водки, она тут же распалась, — вот вам зарплата.

Все мы, конечно, умны задним числом, но это — не мысли за дверь, не сегодня мне это пришло, ребенку было ясно, что пить не перестанут по мановению, только деньги мимо государства к самогонщикам потекут. И будут самогонщиков вылавливать, будут покалеченные судьбы... Но человек этот, умудренный долгой аппаратной службой, с усмешкой поглядел на меня: говорю вам, никто не считал.

Мне почему-то всегда хочется верить в лучшее, а жизнь многому должна бы научить. Начавшиеся в стране перемены я принял с величайшей надеждой, не мог поверить, что делается это на ощупь: вот, мол, раскрутим маховик, а там пойдет, само пойдет... И вскоре на одном из почетных заседаний, куда приглашены были главные редакторы газет и журналов, Горбачев приводил уже первые вдохновляющие результаты антиалкогольной кампании: на восемьдесят с лишним тысяч меньше стало инфарктов, сердечных заболеваний... Я знаю, говорил он, в очередях за водкой меня ругают, пишут на стеклах: «Миша, ты не прав!» — я все знаю, мне докладывают. Природный артистизм, желание нравиться воспринимались как искренность, и верилось, хотелось верить, мы ведь не избалованы, а еще и вечное наше российское: может, в самом деле так надо?

Интересные это были сидения. Тыходишь, многократно проверенный, ошупанный пристальными взглядами, поднимаешься на заветный пятый этаж, в святая святых, куда немногие допущены, и это тоже пьянит, чего уж скрывать, сам воздух здесь такой пьянящий. Как же им-то не пьянеть, небожителям, когда приближенные с придыханием говорят, с обожанием смотрят. А размеры кабинетов, а безграничность власти... Ох, какой это крепкий напиток, как тут голову трезвой сохранить?

У самых дверей в небольшой зал, где происходили эти совещания, — Медведев, начальник личной охраны и Брежнева, и Черненко, а теперь и Горбачева, тот самый, что потом в Форосе предаст; скромно стоит у окошка, всех знает в лицо. Ну и, разумеется, несколько охранников в штатском рассажены будут в зале. Тут же непроницаемый Болдин в огромных очках сидит за поперечным столом, присутствует как скромный приближенный, не более того; кто тогда подумать мог, что этот серый человек уже сосредоточивает, сосредоточит в своих руках безмерную

власть, будет отцеживать, что нужно знать Горбачеву, а что ему знать не следует, сокровит это в своих сейфах. И пока генсек блистает в заграницах под ликующие крики: «Горби! Горби!..», он, Болдин, неприметный, держащийся всегда в тени, уже заворачивает, завернет его, как в кокон, в нити заговора, а потом, решившись и страшась, явится вместе с несколькими заговорщиками принимать у Горбачева отречение от власти, диктовать условия... Но это все будет не скоро, пока что это непредставимо.

Пока что мы входим, чувствуя себя облеченными особым доверием, рассаживаемся попарно, как ученики за партами, а все политбюро — лицом к нам. По пять, по шесть часов длятся совещания, и все это время молча сидят они позади главного стола, за которым — Горбачев, Лигачев, Яковлев, еще кто-нибудь, но эти все, кроме него одного, молчат.

Маршал Язов, он обычно во втором ряду помещался, угреется там в шерстяном кителе, спину ему распарит, и задремывает, и задремлет, благо глазки в морщинах скрытые, небольшие, только тогда и заметишь, когда уже голову на грудь уронил.

Но однофамилец начальника охраны, Вадим Андреевич Медведев, бдит. Странное у него лицо, будто однажды оно уже мняло кожу, а эта, как послеожоговая, но белая-белая, не загорает и летом. И на белом невыразительном лице — темные очки слепца.

Каков человек на самом деле, что он собой представляет, узнается не тогда, когда он посажен на высокий трон и начинают творить о нем легенды, и все зависимые склоняются и льстят, и он уже сам себя таким видит и жаждет лести, а она неуголима, отныне лесть — единственная правда, которую он способен воспринять. Сажал же Иван Грозный на царский трон вместо себя Саин Булата Бекбулатовича, предварительно сведя его с мусульманского удельного княжества и женив на овдовевшей дочери князя Мстиславского. А сам, отрекшийся в его пользу от престола, Иванец Московский, как повелел именовать себя, слал челобитные вчерашнему басурманину, которого окрестил, дав ему имя Симеон. Правда, там за шутовством дела шли серьезные, начинался новый раздел государства на земщину и опричнину, очередной «перебор людишек», и, как пишет историк, «покатились по дворам боярские головы». Так ведь не день, не месяц просидел на троне татарский хан, а около года.

Когда сегодня поражаются нелепости обвинений 37-го года, как, мол, верить было возможно, что этот, безвинный — анг-

лийский шпион, а этот — японский и польский одновременно, думаешь: хоть глазом загляните в историю, все это было, ничего нового не придумано. Архиепископа Новгородского Леонида, которого Грозный царь, по одной версии, будто бы зашил в медвежью шкуру, «медведно ошив, собаками затравил», а по другой версии — уморил в погребке, посадив на хлеб да на воду, его ведь, Леонида, судили как еретика и государственного преступника: с двумя королями, шведским и польским, поддерживал изменнические связи. Все это было, забыто и минуло.

А вот вижу недавно: не в машине огромной, в которой в бытность членом политбюро возили его, а пешком идет к метро Вадим Андреевич Медведев, обычный советский служащий и даже не столоначальник. Так ведь таким и был, хоть высоко сидел.

Мысль моя проста: не тогда познается истинное величие, когда на человека все прожектора нацелены, а когда он, как Андрей Дмитриевич Сахаров, лишен всего, кроме того единственного, что и богу не подвластно: своей сущности. Но Сахарова в этом президиуме «не сидело».

А сидел там еще Никонов, если помните такого. Ведал он сельским хозяйством, поилец наш главный и кормилец. И в шеках, оттопыривших мочки ушей, и в плечах, а особенно — в поясе он поперек себя шире. И глядишь другой раз по телевизору, как он, от полноты широко расставляя ноги, хозяйски перекачиваясь, ходит по американским полям (у нас каждый вновь назначенный, прежде чем дело делать, за границу мчится), — нет, это мы весь мир хлебом кормим, не может быть, чтобы при таком дородстве мы закупали хлеб, побирались.

Украшение президиума — пышная, начесанная и в цвет хны выкрашенная парикмахершами прическа Бирюковой, яркий рот. Чем прославился этот представитель женского пола, какие деяния совершил — сие тайна великая есть. Но полжизни провела в президиумах, президиум — ее постоянное местообитание, она там привычно размещается. И все вместе они — мощная декорация.

А Горбачев свеж, глаза живые, если выступающий интересен ему, он прервет не раз, говорит сам. Когда это бывало, чтобы высшая власть советовалась с интеллигенцией? Еще Николай I определил надолго вперед: мне нужны не умные, а послушные. А тут вроде бы не только указания дают, но выслушивают.

Однажды я сказал, что запретами да запретами мы из пьянства не выберемся, не водка, так пиво хотя бы нужно, его вся Европа пьет, Япония... И вреда большого нет, и для государства

доходно. А рядом с трибуной, с которой я это говорил, фактически над его головой говорил, сидел Лигачев, отец борьбы с алкоголизмом, по его приказу купленные за валюту пивоваренные заводы переоборудовали под производство безалкогольных напитков, да так переоборудовали с нашим старанием, что не вышло из ветлы ни оглобли, ни метлы. Ну, да не свои деньги угрохали.

Однако я забежал далеко вперед. А тогда, попив крепко заваренного чайку, вышли мы во двор, и я спросил этого, весьма близкого к Горбачеву человека: неужели не найдется кто-либо сказать Михаилу Сергеевичу, чтобы он не брал жену в поездки по стране? За границу — другое дело, там по протоколу положено, но на Север, к нефтяникам, где бабы — в телогрейках, а она — в парижском пальто «от кутюр»... И хорошо бы стояла незаметно, а то ведь в камеру обязательно норовит и в микрофон что-нибудь скажет назидательное, свободно пребывает его.

Дома я не стал спрашивать: это был человек, воспитанный в недрах системы, осторожность впитал в плоть и кровь, а телефон, прослушивается он или не прослушивается, мы его при разговоре всегда чувствуем третьим лишним. Мы стояли под навесом кинотеатра, но не с парадной стороны, где поток людей, а со двора, отделенные капелью, мелкий дождик моросил, ждали вызванную им машину, и вот тут я спросил его. Он усмехнулся наивности вопроса: «Этого ему никто не решится сказать. Никогда!» И правда, если сам не видит, сказать не решатся: своя голова дороже. А люди выключали телевизор, когда столь же подробно, как его встречи, показывали, что посетила она с сопровождавшими ее лицами, кого и как поучала.

Муж и государственный муж — не одно и то же. Никому нет дела до невидимых миру слез. Но что простительно в семье, не прощается на вершине государственного гранита. Да еще после деспотии Сталина, который, подобно Гитлеру, как бы и не знал иной жизни, кроме служения народу, такой лепили образ. А тут парижские наряды, сменяющиеся не по одному разу на день, и это видит беднеющая страна.

Плохо мы изучаем историю, а не грех бы заглядывать в нее хотя бы одним глазом. Ныне, когда собрались канонизировать последнего царя, предстают царь с царицей, как голубок с голубицей. А ее ведь многие в России ненавидели, считали немецкой шпионкой, виновницей поражений и бед. И все за то, что при слабовольном царе посягала править империей.

Однако вернемся к рассказу, к тому, с чего начато. Было лето 86-го года, закончился VIII съезд писателей, и Сергею Залыгину предложили стать редактором «Нового мира», мне — редактором «Знамени».

Не стану скрывать, хотелось мне этого, но — в свое время, думалось даже: вот уж я тогда... Потому и хотелось, что мне это не угрожало. Ничего бы я в ту пору не сделал, а кончил бы ранним инфарктом или инсультом, пример тому — подвижническая судьба Твардовского. В истории отечественной словесности «Новый мир» Твардовского остался, но сам он ушел из жизни раньше срока, такой ценой это далось. А ведь официальное его положение, оно у нас прежде всего в расчет принимается, было прочным: и депутат Верховного Совета, и кандидат или даже член ЦК, и чуть ли не всеми наградами награжден, словом, отмечен властью, приближен и любим. Но быть любимым властью означает быть подвластным. Перед тобой раскрываются многие двери, тебе даже разрешают открывать их ногой, но связывают руки, таков закон.

Твардовский был не рядовой приближенный, от которого, отбери его пост, и ничего не осталось. Он своим именем был огражден, его «Геркин» давно уже стал народным достоянием, это и правители уразумели. Но проявил непокорность, и на очередных выборах в Верховный Совет народ узнал, что отныне его избранник не Твардовский, а Чаковский.

Для Солженицына, который ненавидел этот строй, точнее сказать, не столько строй жестокий, сколько его идеологию (скиньте с себя эту кровавую рубаху, писал он в «Письме вождям»), для него подобные звания и должности вроде бы не должны были иметь значения, у него их не было, а чего нет, невозможно отобрать. Хотя, случись такое чудо, избрали бы его вдруг в Верховный Совет, не уверен я, что он в ту пору непременно бы отказался, он искал тогда трибуну, почему эту не использовать?

Но то, от чего сегодня многие отрекаются с легкостью и выгодой, для Твардовского было убеждением. На пути к нему он через многое в жизни переступил. И теперь собственную плоть отрывал от себя. Я видел, как оскорблен, мало сказать — оскорблен, унижен был, когда по выделенной квоте вместо него «избрали» в Верховный Совет Чаковского.

Помню шестидесятилетие Александра Трифоновича. Ранее, когда ему полвека исполнилось, он отказался от пышного празд-

нования в Колонном зале: дайте мне лучше квартиру, сказал он. И вот — шестьдесят. Уже известно было, что ему пожалуют или, как официально именовалось, «присвоят» звание Героя Социалистического Труда. Быть может, странно теперь покажется, но ему хотелось этой звездочки. А ведь имя его само по себе было выше наград, он наградил народ своей поэзией.

Но перед самым юбилеем сажают в сумасшедший дом Жореса Медведева, он написал книгу о Лысенко. Многие хотели бы совершать смелые, честные поступки, но каждый раз обстоятельства мешают: у одного вопрос квартиры решается, у другого дочка в институт поступает... Твардовский сказал: «Если не я, то кто же? Если не теперь, то когда?» И вместе с Тендряковым поехал в сумасшедший дом к Жоресу Медведеву, начал борьбу за его освобождение.

Разумеется, такой предрезостный поступок власть не могла оставить без последствий. Мы с женой были приглашены на грустное его шестидесятилетие, справлялось оно за городом, на даче. Он, Мария Илларионовна радушно встречали гостей. У большого, во всю террасу, стола хлопотала, еще и еще поднося из кухни, Оля, младшая, особенно, как мне казалось, любимая, даже с какой-то болью любимая дочь. Однажды, в тяжком запое (по времени это совпало с очередным запрещением уже сданного в набор номера «Нового мира») пригрезилось Александру Трифоновичу, что Оля умерла. И, плача, он рассказывал об этом, и невозможно было его переубедить, пробиться в помраченное сознание, страшно представить, что он тогда пережил.

Гости съезжались, уже было известно, что награда снижена до минимума: орден Трудового Красного Знамени. Ниже — только многоцветный, как мордовский сарафан, новоизобретенный орден Дружбы народов, еще ниже, в самом уже низу — «Знак Почета», прозванный «Веселые ребята». Орден не хватало, горстями для ублаговторения швыряли их из кремлевского окна в народ, измысливали новые: беря себе, надо было давать другим. Это про императора Павла сказал Карамзин: «Он отнял у казни стыд, а у награды честь». О чести говорить уже не приходилось, но унизить наградой могли.

Александр Трифонович, виду не подавая, шутил с гостями, но еще не переступил он в себе ту грань, за которой человек свободен. И за стол не сажались, ждали Шауро, слух прошел, что выехал, едет, ему поручено поздравлять...

Шауро, прозванный великим немым, еще не так давно был

завучем в школе, всего лишь. Звездный час его настал, когда в республику с визитом прибыл Подгорный. Шауро, к тому времени уже занимавший какую-то должность в ЦК Белоруссии, сопровождал его в поездке, понравился и вскоре был вызван в Москву, посажен на отдел ЦК: оттуда, с вершины, руководил культурой. Обходительный, голос тихий, манеры мягкие, глаза лживые, но глядит с такой искренностью, прямо из души — в душу. «Народу вера нужна, — внушал он мне однажды у себя в кабинете, когда я в очередной раз пришел к нему ходатайствовать за Быкова, которого травили в республике, а я по дурости предположил, что, будучи сам из Белоруссии, заступится Шауро за земляка, поможет. Но он всякий раз пропускал мимо ушей то, что говорю я, словно вовсе ничего не говорилось, и продолжал с той фразы, которой кончил. — Вера нужна народу. Вот веру литература и должна дать, в этом главная ее задача». По вере ли это была тоска или по страху, который долго держал народ в повиновении, не знаю. Но вот ленинградский партийный царь и бог Романов выражался ясней: «Надо, чтобы люди любили, не рассуждая».

А я смотрю, бывало, в лицо Шауро и вижу деревянную лопату: раньше из липы резали прямоугольные деревянные лопаты — снег убирать, — чуть вогнутые с лицевой стороны. Желтое продолговатое лицо Шауро было точно как эта лопата. Но с глазами. И вот его-то ждали к столу, не садились некоторое время.

Маршала Жукова, с которого опала не была снята, прибыл поздравить с днем рождения, верней сказать, высочайше посетил министр обороны маршал Гречко, получивший маршальское звание из рук Брежнева после войны. Доложили: «Маршал Гречко!» — «Генерал Гречко! — не выйдя, отчеканил Жуков. — Маршала такого я не знаю!» Скинувший уже было на руки адъютанту шинель, Гречко надел ее в рукава и отбыл.

Больно мне было в тот день за Твардовского, когда мы, в свою очередь виду не подавая, прогуливались по участку, занимали себя разговорами. Трудно отрывал он от себя привычное прошлое. Но отрывал. А только тот и заслуживает уважения, кто себе в ущерб поступает по долгу и совести.

Когда летом 86-го года предложили мне стать редактором журнала, я и этот юбилей вспомнил печальный: а не наденут ли на меня седло, не затянут ли подпруги так, что и не вздохнешь? Первая, главная несвобода человека — дети. Много ли найдется таких, кто бы детьми пожертвовал, чтобы мысль свою доказать?

Но кто и на это пойдет, страшный человек. А другая несвобода — дело, тут ты опять же не себе принадлежишь. Меня отговаривали дома: ради чего весь уклад жизни менять?

В пьесе «Пристегните ремни!» была реплика, которая всякий раз почему-то шла под смех и аплодисменты зала: «Самые опасные те люди, кому ничего не нужно. Каждому человеку должно быть что-то нужно: кто квартиру просит, кому должность нужна... Это хорошо, это по-нашему, пускай. И после смерти человеку все равно что-то нужно: где похоронят? какая пенсия семье? А вот те, кому ничего не надо, они-то и есть самые опасные, от них чего угодно жди!»

Рассказывали, в Ленинградский обком партии приглядели с завода толкового инженера: дряхлеющему телу требовалось вливание свежей крови. Поработал немного, предложили ему квартиру. «Спасибо, у меня есть». Предложили со временем дачу. «Спасибо, у меня хоть плохонькая, но своя, сам строил». И пришлось от него избавиться, рядом с ним другие неуютно начинали себя чувствовать.

Вот и мне, серьезно говоря, ничего не было нужно, жил я не дарованным, а заработанным. Но на журнал «Знамя» мощно рвались четверо. Одного подпирал Московский комитет партии, членом бюро которого он состоял. Другого двигало Главное политическое управление армии, немалая сила, надо сказать. Третий претендент сам сидел в цековском кресле: зав. сектором. Четвертый же, по обыкновению своему, должность бы взял, возглавил почетно, а работать за себя посадил бы кого-нибудь.

Есть у Достоевского мысль про ошибки ума и ошибки сердца. «Недоумения ума, — писал он, — исчезают скорее и бесследнее, но ошибки сердца — это уже дух зараженный, это такая степень слепоты, для которой факты ничего не значат, она и факты перерабатывает на свой лад».

Этих четверых я хорошо знал: и дела их, и лица. Вглядывайтесь в лица. Слова могут лгать, по лицам читается многое. И вот им, про кого и сказано «дух зараженный», отдать журнал? Виктор Астафьев, узнав, что я стал редактором, писал мне в дальнейшем: «На это можно решиться только ради литературы».

Началась моя редакторская жизнь звонком инструктора ЦК: «К нам тут обратился автор... Вы прочитайте ее роман доброжелательным свежим глазом. Роман на важную тему...» Автор этот — пожилая покрашенная графomanка в мужской шляпе — уже успела побывать у меня, совала на стол свое изделие весом в

пять-шесть килограммов. При двух прежних редакторах ей отказали, истратив на рецензии полтысячи. У меня лишних денег нет, сказал я инструктору. «Ну, вы найдете!» Тон барственный, сверху — вниз, сказано так, что обсуждению не подлежит. Вот она, первая проба сил.

— Где это я найду? Я свою первую зарплату отдал на Чернобыль. Давайте из вашей зарплаты две с половиной сотни, пошлем на рецензию, не жаль.

Инструктора этого я немного знал: пожилой, седой, приличного вида. До войны окончил ИФЛИ, славившийся в то время Институт истории, философии, литературы. Ему, по его сединам, не расти уже, не продвигаться вверх, его путь — с горочки, к пенсии, но — служит ревностно, пенсии тоже бывают разные. Я сказал: «У меня была намечена встреча с вами. Теперь я вынужден ее отложить». — «Нет, нам надо встретиться!» — всполошился он. В обязанности его входило «курировать» наш журнал, разузнавать, докладывать. И он приехал. Я поручил второму заместителю принять его и разговаривать. И все бы хорошо, да мысленно я не один день с ним разговаривал: это же как надо пасть, старый человек... Не скоро научился я не пропускать все через сердце. Да и научился ли?

А тут и второй звонок подоспел: бывший, как он представился, заведующий отделом черной металлургии ЦК, персональный пенсионер такой-то. Очень приятно. Как раз шла редколлегия, говорил я при открытых дверях. Он начал с напором: известно ли мне, что роман Александра Бека, который мы хотим печатать, запрещен? Известно. А известно ли, что именно он и Шауро, два заведующих отделами, запретили роман? И это известно.

Мой приятель, служивший во время войны в разведотделе штаба армии, сказал: «Вам надо было сразу же спросить номер его пенсионной книжки». — «Зачем?» — «Тон сбить. Мол, обождите, обождите, я номер запишу...» Но я в разведотделе не служил, а тон был именно такой, каким этот бывший привык разговаривать с подчиненными: «Подготовленную к печати рукопись я требую прислать мне для ознакомления!» Ничего уже требовать он не имел права, но права не дают, права берут, он знал, сколько повсюду в креслах сидит его бывших коллег и единоверцев, им стоит кнопку нажать...

Набравшись терпения, я объяснял, что есть авторское право, что никому без согласия автора редакция не имеет права давать

рукопись. Кстати, знает ли он, что роман уже издан в Италии? «Как издан? Кто передал?» Он буквально вскричал. И действительно, они с Шауро запретили, а в Италии ослушались, издали книгу. Я не смог отказать себе в удовольствии: «Это вас с Шауро надо спросить — кто? Вы читали, размножали, давали на прочтение... Вас и надо спросить — кто?»

Александр Альфредович Бек, рослый, крупный мужчина, когда умирал от рака, весил сорок два килограмма. Уже перед самой смертью доставили из Италии изданную там его книгу, умирая, он подержал ее в руках. Василий Гроссман и этой горькой радости был лишен: отсюда, из «Знамени», его роман «Жизнь и судьба» передали в ЦК, в КГБ, и серый кардинал Суслев, полагавший, что история тоже ему подвластна, предрек: и через двести лет книга эта не будет издана. И вот я разговариваю с одним из прежних душителей, он уже на пенсии, доживает свой век, но страсть к убийству не остыла в нем, звонит в журнал, требует...

Однако всех последствий я, конечно, предвидеть не мог, обвал писем обрушился на нас. И звонки телефонные, руководящие.

Впрочем, об этом обо всем будет подробно рассказано дальше.

Еще это дело не завершилось, как — новая напасть, вовсе для меня неожиданная. В Москве был сентябрь, за окнами редакции на Тверском бульваре — жесткая, пыльная листва на деревьях, уже чувствовалось, скоро ей опадать. А на Черном море как раз начинался бархатный сезон. И вот, прилетевший оттуда, овеянный морскими ветрами, позолоченный пляжным загаром, входит ко мне в кабинет человек приятной внешности, и во взгляде, и в голосе, и в пожатии смуглой руки — особая, прямо-таки притягивающая мягкость. На нем по московской погоде легкое заграничное пальто цвета курочки-рябы, мягчайшее, неяркое, но оттеняющее кашне, ничего броского, все дорогое, а я уже знаю, кто это, телефонный разговор с ним был у меня: зять Андрея Андреевича Громыко. Он достает визитную карточку, шикарная визитная карточка и ранг — дай бог памяти — то ли посланника, то ли уже посла, иными словами, как говорят в их среде, упакован на всю жизнь. Небрежно, как ничего не стоящую тряпку, сбрасывает пальто на спинку кресла, но падает оно, как козырная карта, картинкой вверх: на шелковой под-

кладке фирменная этикетка — золото, пурпур, гербы с коронами — Париж? Лондон? Брюссель?

Он явился ко мне за ответом, позавчера прилетел оттуда, с моря Черного, а завтра возвращается на пляж и должен привезти ответ Андрею Андреевичу Громыко. В журнале, еще до моего прихода, запущен был и печатался роман Юлиана Семенова. И была там глава: наш разведчик, сидя в кабаке одной из стран Латинской Америки, читает в газете речь Громыко на Генеральной Ассамблее ООН. И вся эта скучнейшая, напечатанная во всех газетах, длиннейшая речь, смысл которой сводился к единственному слову: «Нет!», целиком вставлена в роман. Автора устыдили, он вроде бы устыдился, забрал главу, но летом, оказавшись на пляже рядом с Громыко, будучи допущен поплавать рядом с ним, пожаловался, что вот он, мол, написал об Андрее Андреевиче, а из журнала изымают. Громыко выразил неудовольствие, и в Москву прибыл зять.

Мне тоже, если признаться, приходилось купаться с Громыко в Черном море: он — в Крыму, я — на Кавказе, но, может быть, та волна, что его ласкала, достигала и меня. Однако видеть Громыко вблизи, не таким, каким предстал он перед членами Генеральной Ассамблеи ООН, а выходящим из пены морской в одних плавках на старческом теле — избави бог, я никогда не стремился быть прикосновенным к государственным тайнам.

И вот мы сидим с его зятем, и решается вопрос — будет ли возвращена в роман речь Андрея Андреевича? Конечно, будет, вчера еще мы это решили между собой: и одна, и две, и три таких речи ухудшить роман не могли; я не читал и читать не буду, но те, кто читал и редактировал, заверили меня. А главное, зачем журналу на самых первых порах обретать такого, мягко скажем, недоброжелателя? Громыко — член политбюро, Председатель Президиума Верховного Совета, на дворе только еще 86-й год, телефонное право в самом расцвете, ему бровью стоит повести, и надолго испортят нам жизнь, словом, игра не стоит свеч. Но мне интересно другое: неужели стыд не дым? Или там, на хладных вершинах, такого понятия вообще не существует? А ведь достигнуто в жизни все, достиг и того, что в радужных снах не снилось: «...с ключом и сыну ключ сумел доставить... пережил детей, внучат...», зять уже в ранге посла или посланника, но, оказывается, еще и вот это потребовалось, не упускают ничего. Я знал, редактору другого журнала, где было только упоминание о Громыко (кстати, в произведении того же автора), Андрей Ан-

дреевич по простому городскому телефону лично звонил и выражал благодарность.

— Главу мы напечатаем, — говорю я. — Но надо, чтобы Андрей Андреевич лично завизировал. Такое Лицо!.. Тут каждое слово имеет особый смысл...

Зять мягко перебивает меня: в их семье я, оказывается, — любимый писатель, Андрей Андреевич очень любит мою повесть... И он без запинки, совершенно правильно произносит название.

Быть любимым в такой семье — да ведь это какие радужные открываются перспективы! Захоти я завтра, допустим, полететь на Мадагаскар, и посол будет меня встречать там. Нет, что ни говори, а интересное занятие — жить на белом свете.

Но без визы — совершенно невозможно. Вдруг — неточность, запятая какая-нибудь исказит смысл... Помните: казнить нельзя помиловать...

Знаю я, знаю заранее: визировать он не будет, не станет оставлять следы. Все должно делаться устно. Да и не нужно мне никакой визы, дурака валяю, интересно в глаза поглядеть. И вдруг находится решение: да ведь можно сличить с газетным текстом! Вот как непросто простые мысли приходят в голову.

Мы прощаемся, я обласкан почти родственным взглядом маслянистых глаз. Мягкое пожатие загорелой на южном солнце руки. Я слышал, дипломаты проходят сложнейшую науку этикета. Но вот мужчина пожимает руку. По руке его, по тому, как он жмет, многое про него узнается. Интересно, это им объясняют?

НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

Какие цензоры бывали в России! Не все подряд, но вспомним: цензором был Иван Александрович Гончаров. А Никитенко! Его дневники — это пища уму. Вот он писал: «Мнение или идея, старающаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, мне так же противна, как власть, которая хочет подклонить под свое иго всех людей с их действиями и правами». Он, государственный чиновник, писал: «...у чиновников есть начальства, а нет отечества». Или: «Чиновник считает канцелярию или департамент своим отечеством». А еще вот это он, цензор, пишет: «В продолжении моей жизни я видел много запретительных мер против печати, но ни одна не достигла своей цели, то есть не останавливала потока мыслей, а только извращала его и заставляла уходить вглубь, чтобы затем вырваться из-под земли уже бурливым ключом в каком-нибудь темном углу. Но да не смущается сердце ваше: верьте в живучесть и производительную силу мысли, а если бы не так, то деспоты и невежды всякого рода давно бы погасили ее».

Ну, а вот это не сегодня ли писалось: «Массы могут быть проводниками свободы, но не могут быть хранителями ее. Да и проводниками они бывают наподобие судоходных каналов, которые несут грузы от места к месту, но не знают, какие это грузы и из чего они состоят. Потому-то на массы, или на демократию, могут с равной для себя выгодой опираться самый суровый деспотизм и самый крайний либерализм».

Но одновременно и это сказано им: «В политической будущности России я не отчаиваюсь, потому что народ есть все-таки сила, но я отчаиваюсь в том, чтобы в России установилась когда-нибудь хорошая администрация... чрезвычайная редкость найти в истории государя, который бы добровольно захотел подчинить свою волю законам».

И все это понимая и записывая, он тем не менее был цензором. Почему? Да потому, наверное... Впрочем, еще раз

процитирую его самого: «...нетрудно мужествовать со ста двадцатью тысячами дохода и когда знаешь, что в нынешнее царствование тебя за то ни в крепость не посадят, ни в Сибирь не сошлют».

Так будем хотя бы заочно снисходительны к нашим вовсе нищим цензорам, в страхе воспитанным, в страхе пребывавшим всю жизнь. Много я от них натерпелся, каждую мою книгу пытались они искалечить и калечили, но для того они и выставлены были против нас, заградотряд мирного времени. А впрочем, кто заставлял их влезать в эту подлую шкуру, где дня без лжи не прожить, где ложь становится твоей сущностью?

Вот так однажды должна была идти в театре имени Вахтангова моя пьеса, уже принятая художественным советом, уже журнал «Театр» печатал ее в пятом, майском, номере. И вдруг, как после я узнал, вызывают редактора министерства культуры (а там тоже она одобрена) в цензуру и говорят ему: «Что тут, мы до конца понять не можем, но чувствуем: тут что-то есть». И с тем дают ему пьесу под мышку, и он уходит.

А в Москве — апрель, тает, солнце жаркое, и вот, разморенный солнцем, ничего не предвидящий, вхожу я в редакцию журнала «Театр», зачем-то мне верстка пьесы понадобилась. Обычно автора, чья вещь печатается, встречают как родного, а тут вижу — шарахаются от меня. Что такое? Никто ничего не говорит, каждый стремится исчезнуть. И уж редакторша моя — «На меня не ссылайтесь, я не имею права!» — сказала потаенно: цензура запретила, пьеса вынута из номера, срочно заменили другой...

И вот предстоит мне уже в ином качестве встретиться с цензурой: в двенадцатом номере «Знамени» все за тот же 86-й год запретили очерк Елены Ржевской о маршале Жукове.

Ржевская была на фронте переводчицей в штабе армии, которая брала Берлин. И в ночь, когда закончилась война и гремели салюты, и пили и плакали от радости, Лена держала под мышкой парфюмерную коробку, в которой была челюсть Гитлера, по этой челюсти, по ее строению, по всем ее пломбам и мостам личный врач засвидетельствовал, кому она принадлежит, чей обгорелый труп найден.

Долгое время это сохранялось в тайне. Уже и труп Гитлера привезли в Москву, есть у меня фотография: над ним, лежащим на столе, — люди в белых халатах. А может, это и не он, кто их разберет со всеми их тайнами. Для меня и Гитлер, и труп его —

падаль, но преврати его в сувениры, выставь на аукцион по костям, так ведь безумные деньги будут платить: шутка сказать, кость такого злодея у меня хранится, гостям показать, дать потрогать... И хоть Сталин знал все документально, до конца ему мерещилось, что Гитлер жив, где-то скрывается.

Но умер Сталин, прошли годы, Елена Ржевская смогла опубликовать книгу, в которой рассказано, как и где их разведгруппа нашла обгорелый труп, что показал врач на допросах. Маршал Жуков книгу прочел, и для него это, по меньшей мере, был удар по самолюбию. Он, командующий фронтом, которому все подчинено, ничего не знал, втайне от него по приказу Сталина совсем другое ведомство ведет розыск, и он узнает обо всем из книги, годы спустя после войны. Он позвонил Ржевской, пригласил к себе; был он тогда в опале, не у дел. Об этом дне у маршала Жукова с большим тактом, глубоко и сердечно написала Ржевская, сохранив и дистанцию, и достоинство. И этот очерк запрещен. И в редакции ждут, что я решу. Это проба сил, очередная проба сил.

Ох, не хотелось мне ехать в цензуру, как не хотелось! Я и всегда-то обходил ее, как грязное место. Многие именитые писатели, трибуны и громовержцы, заводили с цензорами негласные шашни, старались ублажить сами или через опытных жен, меня от этого бог хранил. А вот теперь придется. А если и дальше так день за днем и одно за другим будет на тебя валиться, за чем мне? И что это за жизнь?

Чтобы писать, нужно, чтобы душа была спокойна. Под Новый год стоял я в очереди за подарком, за духами жене, очередь была долгая, но ничуть мне это не мешало, потому что мысленно я писал в это время письмо к матери, письмо мальчика, воина, героя моей книги. Я ничего не знал, что будет с ним дальше, обычно все-таки знаешь наперед, а тут я не знал его судьбы, как сам он ее не знает. Утром — бой, предошущение боя, а жив ли он останется — откуда знать ему? Но и не это главное. А главное, что любим не он, вот самое главное и больное. Только что видел он человека, которого любит Рита, он видел его своими и видел ее глазами, и понял ясно: ему нет места в ее сердце. Была ли это влюбленность, любовь? Когда из всей жизни тебе остались не дни даже, а часы, чувства обостряются, и неизвестно, что сильнее: любовь или потребность быть любимым. И он вернулся к себе в землянку, шел один под южным звездным небом, и мысленно слагалось письмо к матери перед боем, конечно, он не

отправит письмо, но кому еще, как не матери, осталось сказать: «Родная моя!»

Наверное, в магазине было душно, женщины расстегивали шубы, скидывали на плечи платки, а у меня мурашки шли по щекам, когда он, то есть я, в этот момент я был им, так его чувствовал, мысленно говорил то, что написать ему было не суждено.

Что мы знаем о тех письмах ненаписанных, о мыслях невысказанных? Вместе с мальчиками ушли они в бой, и нет их, растаяли, как пар на восходе солнца. И, отстояв очередь, я шел домой счастливый, спешил все это еще раз пережить и записать. Да, это было счастье.

А вот сейчас надо было ехать в цензуру. Я сидел, думал, собирался, наконец снял трубку телефона, позвонил начальнику Главлита (так называлась наша цензура), и в этот момент, когда звонил, я сознавал себя имеющим право; нельзя начинать дело, если не уверен, это чувствуется, передается. Я сказал, что нам надо познакомиться. Как можно было ожидать, начальник Главлита уезжал в командировку, завтра он как раз уезжает в Чехословакию. Руководство у нас все время уезжает и, чем выше ранг, тем — дальше, преимущественно в страны со свободно конвертируемой валютой.

— Я могу приехать сегодня. Назначьте час.

По всем аппаратным правилам игры ему проще всего было переложить на заместителя, он понимал, зачем я еду: начальник добр, он ничего не запрещает, но зам свиреп, обычный расклад карт. Просчитал ли он что-то в уме, но, поколебавшись, назначил время.

И вот впервые я подъезжаю к этому зданию в Китайском проезде, где на последнем этаже — система пропусков и все такое прочее. В кабинете начальника Главлита Болдырева уже сидят двое: его заместитель и цензорша. Но не та, что приставлена к нашему журналу, та мала для такого разговора, а рангом выше. И весь исчерканный красными и синими карандашами очерк Ржевской на столе. Подготовились. И сценарий, надо полагать, расписан, роли распределены. А мне, за недостатком опыта, придется, как плотники говорят, «по месту» решать, как обстоятельства сложатся.

Но подали чай (хороший знак!), подали печенье в вазочке. У нас все — по рангу: кого — к пустому столу, кому подать чай и с чем.

Однако разминка закончена, действие началось. Не помню уже фамилий тех двоих, кого спустили на меня. Вот так же, когда Любимов ставил нашу с ним пьесу «Пристегните ремни!», спущена была на нас свора испытанных бойцов.

Да, повторяю, надо быть снисходительным к нашим цензорам, воспитанным в страхе, служба у них тяжелая. Но это — на отдалении, когда не соприкасаешься, не видишь их лиц. Как они меня рвали с двух боков, как зажигались друг от друга! Еще она не кончила, он нетерпением горит. И какой гнев благородный, как искренни оба.

— Вы посмотрите, как она Сталина подает!

Не забудем — 86-й год, о гласности, по сути дела, и речи нет. После Хрущева, который приказал вынести Сталина из мавзолея и сжечь, восемнадцать лет брежневского царствования, и Сталину уже установлен памятник у кремлевской стены. Помыслить тогда было невозможно, что мальчишка-пэтэушник специально приедет в Москву, перелезет через ограду и стальным прутом отобьет каменному Сталину нос и не будет за это судим. Впрочем, нос уже восстановлен.

— Вы — фронтовик! С именем Сталина мы шли в атаку!

Это они-то шли? Он шел? Но я киваю глубокомысленно, я как бы соглашаюсь с правомерностью подобных чувств. Мне важно понять, на испуг берут или у них такой пункт в инструкции восстановлен. А может, он и не исчезал? Тогда они стеною каменной ограждены. Я отхлебываю чай, и вспоминается мне вдруг фраза чеховской госпожи Мерчуткиной: «Нынче кофий пила без всякого удовольствия...» Без удовольствия, без удовольствия... Но на душе все же легче: слишком уж гневливы, сильному достаточно тихо сказать.

— А Жуков как у нее представлен! Человек, имя которого войдет в историю, приглашает ее приехать к нему, а у нее, видите ли, путевка в санаторий, она не торопится. Да кто она в сравненье с ним!

И ведь — искренни, вот что самое интересное — искренни! Имя опального маршала Жукова они вымарывали отовсюду, упоминания о нем не допускали, и они же теперь готовы за него жизнь положить. Это даже не ложь, это высшее нечто. Когда самим себе отвыкают говорить правду, нет страшней такой лжи. И для таких людей нет ничего святого.

Я понял, вот он момент, когда надо встать и воспылать гневом праведным: а вам какое дело, поехала она в санаторий или

не поехала? Это что, тоже входит в обязанности цензуры? Да выйти, да дверью хлопнуть. Пусть посидят да поглядят друг на друга, знают, что перебрали.

Но вот я хлопну дверью, а они вдруг не испугаются. Перезвонятся с кем следует, и пока что не будут подписывать номер в печать, им торопиться некуда. Завтра сядет он в самолет Москва — Прага, и засвистят турбины...

За каждым из них, за всей этой организацией такой многолетний опыт безнаказанности! Еще никого у нас не наказали за то, что книгу удушил, а вместе с нею и автора утопил, как младенца в ванночке. Но вот если не то слово пропустил, недовольство «наверху» вызвал, конец карьере. Нет, мне надо, чтобы подписали номер в печать, мне штамп нужен, я не имею права не сдержаться.

С тех пор как я стал редактором журнала и притерпелся к этой мысли, я чувствую, будто несу корзину с яйцами, не переколотить бы их. На встрече нашего журнала с читателями в Библиотеке имени Ленина я даже заслужил упрек от микрофона из зала: в журнале вы смелей, чем отвечаете на вопросы. Милая, похорошевшая от волнения женщина требовала, чтобы общество выявило и покарало тех, кто так или иначе способствовал всем нашим бедам, всех покарать. А я сказал, что нельзя этого делать, иначе на каждой лестничной площадке люди окажутся врагами друг другу. И все силы общества уйдут на эту борьбу, и ничего мы не сделаем. Нельзя, чтобы волна смывала волну, иначе конца этому не будет. Она упрекнула меня в робости. Не очень это приятно, однако переживем, есть ради чего. Я не себя шел показать, мне журнал дорог.

И на другой встрече, в Доме актера, на Пушкинской площади, где зал был полон и в фойе, куда открыли двери, стоял, дышал народ, только что на люстрах не висели, я перед выходом на сцену попросил товарищей моих — и Николая Шмелева, и Юрия Карякина, — слово с них взял не упоминать всеу имя Лигачева. Только что произошел скандал в «Московских новостях», где мы, несколько человек, подписали некролог — умер в Париже Виктор Некрасов. И Лигачев едва не орал на редактора: как, мол, посмели вообще печатать некролог! В седую его голову и мысль такая не поступала, что, лишись он завтра своей должности, и кто он? Старец никому не нужный, мало ли уже сменилось таких временщиков, некогда всесильных. Лигачев? Кто такой Лигачев? А книга Виктора Некрасова

«В окопах Сталинграда» уже осталась в литературе, в истории нашей культуры.

Товарищам моим не терпелось под смех зала цитировать Лигачева, ведь что ни слово — золото. Но решалось, дадут или не дадут новое помещение для журнала, у нас уже оба этажа залило, потолок внизу подперт щитами и бревнами, даже неошкуреными, в редакцию войти невозможно. Они выступают эффектно, зал поаплодирует, а Лигачев завтра снимет трубку телефона, и остались мы сидеть посреди потопа.

Ради журнала не раз приходилось мне делать то, чего никогда для себя делать бы не стал: где — просителем представиться и не стыдиться этого, а где и на ногу наступить, хотя вот это мне более всего противно.

Но сейчас требовалось терпение, возможно, они и ждут, чтобы я взорвался, наговорил лишнего и тем самым развязал им руки, возможно, весь сценарий с таким расчетом разработан. Я сидел, слушал, наблюдал. И новый начальник Главлита Болдырев, с которым в дальнейшем установились у меня приемлемые отношения, тоже наблюдал. За могучим, просторным столом — сколько судеб через этот стол прошло! — он сидел в высоком кресле, как бог Саваоф на пушистом облаке, а его «воинство земное» рвало меня с двух боков только что не до живого мяса.

Еще не так давно, перед XXV или XXVI съездом партии, — все они теперь слились в нечто, равно безликое, а тогда каждый из них подавался как всемирно-историческое событие, — цензура срочно заменяла на афишах названия классических спектаклей: вместо «Много шума из ничего» — «Любовью за любовь», «Перед заходом солнца» переименовали во что-то жизнеутверждающее... Родилась ли эта гениальная идея на Старой площади или отсюда была подана услужливо, но осуществляли ее здесь, в этих прокуренных кабинетах, где сам воздух отравлен. Он впитался в поры стен, в души людей, да разве выветришь его?

А у меня в самых ближних планах было — напечатать поэму Твардовского «По праву памяти», которую ему, редактору «Нового мира», не дали напечатать при жизни. Она уже отправлена в набор. В этом разговоре и ее судьба в какой-то степени решалась, как начнешь, так и пойдет дальше.

Я поставил чашку на блюдец, поблагодарил.

— Ваши гражданские чувства, вашу озабоченность я понимаю вполне. Я тоже, можете поверить, озабочен. И я рад, что у нас

возникло такое взаимопонимание. Но как редактор я должен стоять на почве закона...

Разговор длился более полутора часов, я успел продумать, что буду говорить, и почему-то мне особенно вот эта фраза, эта поза понравилась: как редактор я должен стоять на почве закона. Портрет маслом можно с такого редактора писать, был бы тут свод законов, я бы для пушшего эффекта еще и руку на него положил.

Я попросил показать мне параграфы инструкции или что там у них есть, дающие право снять в рукописи то-то, то-то, то-то. Есть — соглашусь, нет — под мою ответственность. Прямо здесь, на верстке напишу: «Под мою ответственность».

Они имели право снять всего лишь один абзац, в котором был упомянут еще не рассекреченный документ. Всего лишь.

Было поздно, когда я подъехал к редакции. Свет наверху, в кабинете, горел. Ждали.

И вот подымаюсь по лестнице, вхожу. На лицах — «Ну?» Успокаиваю: подписано в печать. Потери — один абзац. И — общее ликование, автор, Лена Ржевская (мы с ней когда-то вместе учились в институте), только что не целует меня, а может, и целовала. Выдержанная, не склонная к восторгам, она говорит мне какие-то восторженные слова.

Некоторое время мы сидим, не расходимся, час поздний, но это, как нам кажется, победный час, и нам хорошо вместе. Курить я бросил давно, а впервые закурил в пять лет: сухие листья сирени. И в кабинете у меня не курят. Однако сейчас говорю: «Курите!» Конечно, надо бы ради такого дела бутылочку открыть, да нету, нет. Жаль.

Но вот цензуры не стало, и — странное дело — вместе с ней ушли из литературы известные имена, просто исчез целый ряд известнейших имен. Это те, за кем персонально была закреплена дозволенная смелость.

Жизнь складывается непредугаданно. Был момент, когда на даче Александр Трифонович Твардовский пришел ко мне и предложил стать его первым заместителем в журнале «Новый мир». Не смогу сейчас воспроизвести дословно весь разговор, но одна фраза его запомнилась: «Дементьев говорит: иди, збви Бакланова».

Александр Григорьевич Дементьев только что с этой должности был снят, он и ответственный секретарь журнала Закс, не самые, надо сказать, смелые сподвижники Твардовского. Но дело было не в них: Твардовского подталкивали оскорбиться — что ж он не волен в своем журнале? — вспылить, оскорбиться и уйти. А ему жаль было журнал, только в нем литература и дышала, жаль потраченных лет и сил. И вот он предложил мне занять место Дементьева.

Отказаться было невозможно, отказаться в ту пору значило предать Твардовского. Согласиться — погубить себя: пришлось бы бросить писать. Видел я не раз, как после очередного цензурного запрета черным возвращался Твардовский из редакции. А я после контузии на фронте и так-то не очень уравновешен. Война кончилась, а у меня еще лет десять случались такие головные боли, что полголовы отнималось и я ложился пластом. Я попросил время подумать, но про себя решил: надо соглашаться. Однако больше Александр Трифонович о своем предложении не напоминал. И вдруг узнаю: заместителем стал Лакшин. У меня от сердца отлегло.

И вот прошли годы, я стал редактором «Знамени» и первым делом звоню Лакшину. После разгона «Нового мира» он был трудоустроен в журнале «Иностранная литература» на тихой должности, изредка вел интересные передачи по телевидению. Помимо глубоких знаний он был артистичен, неплохо пел под гитару, но опала с него не была снята, он оставался

невыездным, ни в одну заграничную поездку его не выпускали. Я предложил ему пост первого заместителя.

— Ну, это обвальное предложение, — сказал Владимир Яковлевич. — Дайте неделю подумать.

Я не сомневался, что он согласится, не уговаривал. Я только сказал:

— Можете поверить, мы станем первым журналом. А выходить вперед удобнее со второй линии, как в волейболе.

Почему-то мне в тот момент волейбол пришел на ум. Но хоть в дальнейшем он и объяснит свое согласие так: «Если тебе дают ружье, отчего не пострелять?» — ему было о чем подумать. «Новый мир», в котором он был заместителем Твардовского, уже вошел в историю литературы, и это ни изменить, ни отменить. А за журналом «Знамя» шла худая слава. Член редколлегии «Знамени», весьма почтенная дама, начисто лишенная чувства юмора, который, впрочем, по ее обязанностям был ей просто ни к чему, говорила гордо: «Мы никогда не отклонялись от линии партии. Вадим шел на этажи и узнавал линию партии на неделю...» И кто забудет, что отсюда, из «Знамени», передали в ЦК и в КГБ роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»? Умирая, Гроссман говорил: «Меня задушили в подворотне».

Пока Владимир Яковлевич думал, дела в редакции шли своим чередом: мне торжественно доставили роман постоянного автора «Знамени» Чаковского, который в иерархии Союза писателей занимал одно из первых кресел. Роман был объявлен заранее, на всякий случай автор справился, ждет ли новый редактор его роман. И Катинов, многолетний первый зам, доложил мне об этом в благостных тонах, и роман был привезен, и сразу — мне на стол. А вслед за этим Чаковский уведомил меня по телефону, что рукопись романа он уже давал прочесть Андрею Андреевичу Громько и Андрей Андреевич высоко отозвался о романе. Иными словами, артподготовка началась.

Что полагалось сделать редактору и что делалось здесь в таких случаях? Не приступая к чтению, а только взвесив этот кирпич на руке, согласовать с именитым автором, с какого номера начать печатать его роман. Затем вызвать редакционных работников, чтобы они, не углубляясь, что-то подчистили, застругали несообразности, и — с богом, или, как теперь говорят, — вперед!

Когда смещены все нравственные понятия, стыд становится

уделом дураков. И что уж говорить о самоуважении... Представим себе: Чехов, передавая рукопись издателю, предупредомяет, что ее прочел министр двора такой-то и дал высокую оценку. Эка хватило: Чехов! Тоже нашли с кем сравнить. Я не сравниваю, я только о том, что нравственные нормы в обществе — не для одних избранных. Впрочем, чего уж так высоко забираться, все обычно и привычно: делались дела.

Я отправил рукопись в отдел, тем самым устанавливая тот нормальный и естественный порядок, при котором решает не занимаемая должность, не знакомства, а талант. Чаковский занервничал: сам факт, что его роман читают как обычную рукопись, а не директивно спускают сверху, ведь, помимо всего, есть уже и высокое мнение Андрея Андреевича, — все это было воспринято как личное оскорбление. И доживавший в редакции последние дни Катинев в осторожных выражениях, голосом тихим и сожалеющим, как разговаривают с больным, постарался объяснить мне возможные последствия, чем все это грозит журналу: ведь Чаковский помимо всего прочего — редактор «Литературной газеты»...

Наконец роман прочли все, последним читал я. Сочинение было беспомощным, оно никак не украсило бы журнал. Но другие его сочинения печатались же здесь раньше!.. Автор прислал машину, и другой журнал в пожарном порядке печатал этот роман.

Почему я пригласил Владимира Яковлевича Лакшина? Он был одаренный человек, литературу, как, впрочем, и театр, любил и понимал. Но главное, он прошел в «Новом мире» у Твардовского прекрасную школу, и я надеялся добрую половину редакционных забот переложить на него. Я даже решил для себя так: первые полгода целиком отдам журналу, налажу дело и в дальнейшем буду приезжать не каждый день, опять начну писать... Было и такое соображение: хотя дважды в одну реку не войти, напомнить о «Новом мире» следовало. Так что соображения мои были весьма просты. А вот отношения наши были не столь просты. Когда в «Новом мире» решалось, печатать или не печатать мой роман «Июль 41 года», а книга эта была мне особенно дорога, Владимир Яковлевич высказался против. Ну, против так против, это бы еще ничего. Отказывать мне взяли на себя труд Дементьев с Заксом, приятных воспоминаний этот разговор у меня не оставил. Забрав рукопись, выхожу от них, никого в редакции видеть не хочется,

но, оказывается, венгерский издатель разыскивал меня, специально пришел, узнав, что я здесь, и сидит у Лакшина, ждет. Он и раньше издавал мои книги, заранее интересовался «Июлем», в дальнейшем издал его в самой почетной серии. Знать бы, что он не дождался, но мне сказали — ждет. Приоткрываю дверь маленького кабинета, Владимир Яковлевич встает из-за стола. Именно привстает, как делают, когда посетителю надо дать понять сразу, чтобы он не задерживался. Он знал, какой разговор со мной только что состоялся, да и роман у меня под мышкой, и его лицо, официально-вежливое, холодный блеск очков, строгий взгляд, определивший дистанцию, — все это заранее исключало возможные жалобы и просьбы, которых у меня, естественно, и быть не могло. Впечатление осталось сильное, выражения лиц запоминаются.

Но то — дело прошлое, а теперь речь шла о журнале, и какое это все могло иметь значение? Он был нужен мне, я почему-то не сомневался, что он согласится, а внести его в журнал я готов был даже на руках. Прошла неделя, он дал согласие. Оставался суший пустяк: получить согласие начальства. Вот как в том анекдоте, когда муж уговаривает свою жену выйти замуж за принца Люксембургского (не знаю, есть ли такой принц?). Уговорил. «Ну, слава богу! Теперь осталось принца уговорить...»

Опытный человек, прежде чем делать предложение, заручился бы согласием «наверху», где в те времена все решалось, утверждалось, где раскладывался пасьянс. Но мне важно было, чтобы Лакшин согласился, и, как выяснится, действовал я правильно. И месяца не прошло, Залыгин предложил ему стать членом редколлегии «Нового мира», дать туда свое имя. Возможно, Владимир Яковлевич и согласился бы, но теперь он сказал: «А мне уже предложено стать первым заместителем главного в журнале “Знамя”».

И начались мои хождения. У Александра Николаевича Яковлева, а он тогда был членом политбюро, как принято выражаться, я сразу «нашел понимание». Но был еще Лигачев, он вел секретариаты ЦК, а там, за немногим исключением, все те же старцы. И стал я ходить на приемы, на скучнейшие торжественные заседания, присылают приглашение — иду. Там, в задней комнате, перед выходом на сцену в президиум, есть возможность переговорить в неофициальной обстановке с кем-нибудь из должностных лиц. Удалось переговорить —

обожду, пока пройдут в президиум, как бы пропуская всех вперед, да и уйду незаметно домой: сидеть там, красоваться — для меня это всегда было тяжкой повинностью. Не вышло переговорить — остаюсь до перерыва: за чаем с бутербродами опять может возникнуть возможность. И вот так, месяц за месяцем, никто не возражает, но и никто не говорит определенно «да».

В Союзе писателей из «Дома Ростовых» был прорыт подземный ход в Дом литераторов, чтобы руководству не надо было идти двором, зимой надевать шубу, шапку, а прямо под домом пройти в ресторан или — в президиум. Но когда подземный ход оборудовали и выложили кафелем, разделение по рангам продвинулось дальше, и обедать было уже приятней в своем кругу. Да и то сказать, у нас не редкость, увидев начальство, устремляться к нему: он рюмку налил, ко рту несет, вот тут ему самое время про квартиру напомнить. И даже в дни похорон, в траурной очереди — сам я видел это не раз — норовят стать в затылок, например директору издательства, и, пока надевают на рукава траурные повязки, успевают с печальным лицом шепнуть: «У вас там моя книга в плане...» И — мерным шагом, вслед за разводящим двинулись ко гробу в почетный караул.

Так вот ход прорыли и оборудовали, но еще под главным кабинетом, где Горький когда-то сиживал, где стены увешаны дареными коврами от всех республик, устроили под ним в полуподвале отдельный кабинет с маленькой кухней: для, как выражаются в таких случаях, «узкого круга лиц». Туда я тоже стал приезжать иной раз, чтобы за обедом, среди разговора, решить какое-нибудь дело для журнала.

И вот один такой обед. Как раз накануне получил я наконец твердое заверение: Лакшин будет утвержден. И Воронов, заведующий отделом культуры ЦК, вполне официально подтвердил это. Но посреди обеда председатель нашего Литфонда Горбачев, тем только и заметный, что тоже — Горбачев, спрашивает:

— Это правда, что к тебе все-таки идет Лакшин?

В армии, в мирное время, дослужился Горбачев до полковника, поговаривали, что армейскую службу совмещал не без пользы для себя с деятельностью по другому ведомству. Когда мы напечатали роман Бека «Новое назначение», он вот так же за обедом спросил меня: «Это что, такая теперь линия журнала?» — «Такая, — успокоил я. — Именно такая».

И вот Лакшиным заинтересовался: правда ли, мол?

— Правда, — говорю.

Он держит в пальцах двух рук вареную куриную ножку, обкусывает ее, поворачивая. Подышал широкими ноздрями, в них глубоко видно. От этих широких ноздрей да от бровей кустистых, концами вверх загибающихся, и выражение лица у него свирепое:

— Ну-ну...

А Карпов, который в то время фактически возглавлял Союз писателей, благодушно слушает, сидит без пиджака, в подтяжках, в галстучке. Молчит.

Через пять лет, когда разразится августовский путч и над этим подвалом в главном кабинете соберется секретариат во главе с Михалковым, вот этот Горбачев яростней всех будет напирать, чтобы вынесли резолюцию в поддержку ГКЧП.

А тогда он обкусал ножку до голой кости, оглядел внимательно, не осталось ли на ней мяса, сгрыз хрящ, вытер пальцы бумажной салфеткой и еще раз с тихой угрозой:

— Ну-ну...

Вот это «ну-ну» меня разозлило:

— Ты Литфондом заведешь? Вот и заведуй. И не волнуйся зря.

Но еще и день не кончился, а начали твориться вещи странные. Не знаю до сих пор, что тут и как и с чем связано, и связано ли, но вечером того же дня позвонил мне на дачу Александр Николаевич Яковлев:

— Лакшин сейчас где работает?

— В «Иностранной литературе».

— Вот пусть пока там и работает.

Молчал я долго, такой разговор меня огорошил.

— Нет, Александр Николаевич, — сказал я. — Нет. Нам надо встретиться.

— Пусть пока остается там...

Жена моя узнала, о чем речь, обрадовалась:

— Вот и уходи. Самый удобный момент отказаться.

Она хотела, чтобы я писал, а не служил. Но для меня это была уже не служба, а дело жизни. Но вот писать не оставалось времени: работа урывками — это не работа. Журнал отбирал и время, и мысли. И дел все прибавлялось.

Была поздняя осень, вечер за городом холодный, пар изо рта. Луна, хоть и на ущербе, светила ярко, я ходил по дорож-

ке сада, чтобы унять нервы, и жаль уже мне было моих трудов, и журнал жаль, его подхватят.

А уже начинало выстраиваться понемногу то главное, что я хотел сделать. А хотел я вернуть людям часть культуры, которая была у них отнята, хотел, чтобы журнал стал центром притяжения всего талантливого: и в прозе, и в поэзии, и в публицистике, и в критике. И уже потянулись к журналу, уже несли сокровенное. Анатолий Приставкин принес повесть «Ночевала тучка золотая». Уже лежала в редакции «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, за которую он расплатился жизнью. О ней ходили легенды: это повесть о том, как Сталин отправил на операцию Фрунзе, своего возможного соперника, хотя операция ему не требовалась. И Фрунзе не стало. И хотя имена в повести были другие, все поняли всё. И Пильняк закончил свое земное существование.

Но более всего мне хотелось напечатать «Собачье сердце» Булгакова. Я объявил другую его вещь, «Роковые яйца», это был пробный шар. И на первом же секретариате Союза писателей Чаковский кричал: «О чем мы здесь разговариваем? Гады уже ползут на Москву!..»

Из концертной студии Останкино, где был мой вечер, я обратился к молодым: журнал ждет вас. Я даже так сказал: «Я каждый день надеюсь: вот откроется дверь и войдет Лев Толстой нашего времени». И действительно, это произошло несколько лет спустя — к моему заместителю вошел молодой писатель: «Ваш редактор говорил, что он ждет, откроется дверь и войдет Лев Толстой. Я пришел». Это был не Лев Толстой, да-алеко не Лев Толстой. Это похоже на анекдот, но так было.

Однако прежде всего мы пригласили на чай лучших публицистов, экономистов. Люди хотели знать, что происходит в стране, что ждет нас. Что там ни говори, но традиция «толстых» журналов в России — это еще и традиция просвещения. Я сел в сторонке, попросив Юрия Дмитриевича Черниченко вести наше застолье. Ныне уже нет Василия Селюнина, редкостного ума и честности был человек. Вот он и сказал, что в этой пятилетке ничего в экономике не изменится. Поверить в это было невозможно: такие надежды, планы, призывы. Но он спокойно и просто, как говорится, с цифрами в руках доказал, что резервы все распределены, перенастроить так быстро экономику не удастся. Мы никого ни о чем не просили, мы

собрались поговорить. Но в итоге журнал получил несколько первоклассных статей, а публицистов тогда читали и слушали, как пророков.

Точно так же пригласили мы на чай прозаиков из поколения сорокалетних, как критика окрестила их. Это были очень разные люди и по-разному проявили себя в дальнейшем. Но мы всем им хотели сказать: в этом журнале вас ждут. И действительно, Владимир Маканин, которого я пригласил в редколлекцию, передал журналу свою повесть «Отставший», другие авторы дали рассказы.

Все только начиналось. И бросить, уйти? Но помнил же я, как было в «Новом мире». Твардовский не ушел, пожалел журнал. Тогда обложили его со всех сторон.

Позволить командовать собой с первых шагов — дальше будет хуже. И я решил: уйду. И как только решил, легко стало душе, таким свободным человеком почувствовал себя! Жил, всех этих забот не зная, и дальше буду так жить.

И таким легким показался мне осенний воздух, так хорошо, так глубоко дышалось, и до чего же чуден был мир под луной, я ходил и радовался. Я словно заново открывал все, и правда — заново, журнал мне весь божий свет застил.

В половине восьмого утра я сидел за столом, но не писалось. Звонok телефона. Вновь — Александр Николаевич:

— Работаете?

— Нет. Думаю.

Он иногда переходил на «ты», но мне «ты» не дается так просто. И он, как не впервые, сошел на нейтральное:

— И о чем мысли?

— О нашем вчерашнем разговоре.

— Хорошо. Считайте вопрос решенным. Пусть он переходит к вам.

Что произошло за это время, я не знаю, не узнавал и узнавать не хочу. Но что-то произошло. Жизнь и служба там, в облачной выси, заставляет многое делать против своей воли. Но Александра Николаевича я знал как человека слова. Однако и мне вернуться было непросто, я уже освободился.

— Нет, Александр Николаевич. Нам надо прежде поговорить.

— Добро!

И назначил час.

А не успел я приехать в журнал, звонит Севрук, в то вре-

мя — заместитель заведующего отделом ЦК. Он, оказывается, уже звонил несколько раз, и первый его вопрос: «Лакшин еще не у вас? Пусть остается там, где работает!»

Со мной говорила власть, я слышал голос власти. И отвечать следовало на языке внятном:

— Так разговаривать, Владимир Николаевич, мы не будем. Этот вопрос я подыму выше.

Стало ясно: сработала Система. Не бывает столько случайных совпадений, не может быть. Вчера — застольный разговор с человеком, который, как утверждали, прикосновенен ко всемогущему ведомству, многообещающее «Ну-ну...», и вот — звонки, звонки... От него, от мелкой сошки, до тех, кто звонит мне, как до небес, но вот же звонят. Срочно. И какие разные силы пришли в движение. Дело уже, как видно, не в конкретном человеке, в данном случае — не в Лакшине, сам принцип Системы не должен быть поколеблен.

Твардовского невозможно уже чего-то лишить, вызвать «на ковер». Теперь выгодней возвеличивать поэта. Великие покойники нам нужны, поэма «Василий Теркин» — наша классика. А «Новый мир» Твардовского не прощен.

Самый пронцательный ум может ошибиться, инстинкт не ошибается. Инстинкт самосохранения древнее ума. Он заложен в основу Системы. И он подсказывает: ни один камешек не следует шевелить — все здание рухнет.

В назначенный час я был у Яковлева. Вся эта сложная церемония пропусков, берущие под козырек офицеры, коридоры, приемные, величие кабинетов, постоянный трепет и соблазн — архитекторы новой, земной религии знали, что строили, брали из прошлого незыблемое. Мог ли я думать на войне, что по обе стороны фронта религия, в сущности, строилась по схожим образцам. А мы, мальчишки, свято верующие, убивали друг друга. Убивали, не жалея собственной жизни.

Александр Николаевич Яковлев в свободной, домашнего вида куртке с голубой замшей на груди и вязаными рукавами, но под ней — в белой рубашке и галстукe, так что в случае срочного вызова сразу можно переоблачиться в пиджак, он там, в комнате отдыха, на плечиках, дверь туда неотличима от деревянной панели стен, шел мне навстречу. Пожимая руку, улыбнулся. А я возьми и скажи, как бы между прочим:

— Мне Севрук звонил. Требовал, чтобы все оставалось по-прежнему.

— А при чем тут Севрук?

Он заходил по кабинету, прихрамывая на раненую ногу. На фронте он был командиром взвода морской пехоты, а что это такое, представляет себе каждый, кто воевал.

Егора Кузьмича Лигачева спросили, что он делал во время войны в Сибири, в глубоком тылу? И он, человек призывного в ту пору возраста, сохранивший и в старости отменное здоровье, отвечал с достоинством: «Строил социализм...»

— При чем тут Севрук? Севрук здесь ни при чем!..

Я мог только догадываться, какие линии и как сошлись на самом острие: Севрук — это лигачевская линия. Но думалось мне не об этом. Сидя в кресле, поворачивая голову вслед за Александром Николаевичем, ходившим по кабинету, я думал: бог ты мой, такое простое дело не решается месяц за месяцем и вот в стену уперлось. Как же главное-то будет двигаться? Будет ли?

Я остался редактором, я, как видно, из той породы лошадей, которые, впрягшись, везут. Лакшин был утвержден первым заместителем, опала с него была снята. А вскоре он отправился в свою первую заграничную поездку, что означало на языке всемогущих бумаг: стал выездным.

МУЧЕНИКИ ДОГМАТА

Мой предшественник на посту главного редактора «Знамени» Юрий Петрович Воронов сказал, передавая мне журнал: «Портфель пуст». Портфель журнала действительно был пуст, а «Новый мир» объявил, что у них в портфеле то ли две, то ли три тысячи рукописей. Это все равно как в телефонном справочнике Союза писателей значилось девять с лишним тысяч членов Союза, а писателей можно было пересчитать по пальцам. Но все-таки им, видимо, было что пересчитать.

Не вина Воронова, что последнее время ему практически некогда было заниматься журналом. На него свалились сразу две должности: главного редактора и председателя иностранной комиссии Союза писателей. Приемы иностранных делегаций, поездки за границу, банкеты... Жизнь закружила его. И вдруг — новая должность: заведующий отделом культуры ЦК.

По пословице, за одного битого у нас двух небитых дают. Но это — по пословице, а в жизни от битья, возможно, ума прибавит, но и — осторожности: на что прежде решился бы с задором, теперь в затылке почешет. Воронов, будучи редактором «Комсомольской правды», решился: напечатал правду о знаменитом в ту пору капитане китобойной флотилии «Слава» Солянике, о каторжных условиях труда матросов, от этой каторги, случалось, умирали в море. А на судне, в бассейне, плескалась любовница Соляника, возимая им с собою для утех. Говорилось в статье и об операциях с валютой. Но Соляник был дружен с секретарем ЦК Подгорным, из плаваний привозил ему подарки. Воронова в назидание другим редакторам сняли с должности, отправили корреспондентом «Правды» в ГДР и выдерживали там долго. Однажды мы встретились с Юрием Петровичем в Берлине, пили пиво, разговаривали, и создалось у меня впечатление, что даже в своей газете его печатают неохотно. Но не стало Подгорного... Впрочем, сегодня многие спросят: а кто это, Подгорный? Да в том-то и штука: НИКТО. Ни дел достойных не свер-

шил, ни памяти светлой по себе не оставил, подобно многим и многим, с кем он делил власть. Но вот по иерархической лестнице сумел взобраться выше некуда, судьбы людские держал в горсти. Не стало его, и через какое-то время Воронова вернули.

Передавал он мне дела в своем цековском кабинете и успел только сказать: «Портфель журнала пуст. Есть, правда, роман Бека, наметили печатать, но с ним опять все не так просто...» И раздался звонок главного телефона, и заспешил Юрий Петрович, срочно проверил в папке для доклада нужные бумаги. Вышли мы вместе, но мыслью он уже был там, где ему предстояло докладывать, и я приотстал, посмотрел вслед, как он идет-спешит по ковровой дорожке, моложавый, но с сильной седистой. Он уже перенес микроинсульт.

Роман Александра Альфредовича Бека «Новое назначение» я читал лет двадцать назад в рукописи, когда он еще лежал в «Новом мире». Прочел теперь во второй раз. Нет, ничего он за эти годы не утратил. Но не потеряли пыла и те, кто все это время бдительно стерег его. Впервые запрет был наложен Косыгиным, к нему обратилась с просьбой жена Тевосяна: был такой небесталанный хозяйственный деятель, зам. пред. Совмина Тевосян. Как же мог Косыгин отказать ей? Не стало Косыгина — она обратилась к Брежневу, и тот в 1972 году продлил запрет.

Нам только кажется, что мы изобрели что-то новое, что наша жизнь строится на иных принципах, чем сто, тысячу лет назад. Есть основы, которые не меняются, как бы ни назывался строй. И я опять вернусь к любимому мною Толстому, на этот раз к «Анне Карениной»: «Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьевича.

Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья — были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного были все ему приятели и не могли обойти своего...»

Половина Москвы и Ленинграда не были родней Тевосяну и не знали его «в рубашечке», он родился в Нагорном Карабахе, и тем не менее он был свой среди своих. То, что раньше складывалось столетиями, после революции создалось в считанные годы, новые властители жизни, сильные мира сего, номенклатура, хотя периодически они уничтожали друг друга, тем не менее

были спаяны, как никогда, и дать в обиду одного значило подорвать устои.

Недавно мне удалось найти ту переписку, связанную с романом А. Бека; кое-что из нее я приведу. Вот доставленная мне фельдъегерем под расписку копия письма сына Тевосяна М. Горбачеву, на это я должен был отвечать.

**«ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ТОВАРИЩУ ГОРБАЧЕВУ МИХАИЛУ СЕРГЕЕВИЧУ
от Тевосяна Владимира Ивановича**

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Обращаюсь к Вам с большой просьбой.

В 10 и 11 номерах журнала «Знамя» предполагается публикация романа А. Бека «Новое назначение».

В этом романе клеветнически изображается мой отец Тевосян Иван Федорович, моя мать Хвалебнова Ольга Александровна и я, их сын.

В свое время моя мать обращалась в ЦК КПСС по поводу этого романа. Роман не был издан. Поэтому я обращаюсь к Вам с огромной просьбой — оставить в силе решение и не издавать роман А. Бека, остановить его издание и дать возможность старейшим металлургам и мне ознакомиться с новой редакцией романа.

С уважением

В. И. Тевосян».

Не для сравнения, а все же представим себе, так будет наглядней: речь идет, допустим, о романе Толстого «Война и мир». И вот — донос царю: «Остановить его издание и дать возможность старейшим генералам ознакомиться...» Прочли бы мы «Войну и мир»?

Я знал Александра Альфредовича Бека, вот уже много лет минуло, а вижу его как живого. Бывало, идет он своей странной, как мне казалось, плоскостопой походкой, взгляд — будто на охоту вышел. Из многих лиц вдруг выхватит нужное ему: «Ну, что слышно? Как? Какие новости?» Это был проницательнейший писатель, мудрый, отважный человек, со своей особой манерой изучения жизни и людей. «Я исподволь распутывал узлы и узелочки, — писал он в дневнике, — находил сведущих людей, выспрашивал, сказанное одним проверял у других, собирал, накапливал подробности, действовал по испытанной своей методике, для которой все не придумаю определения. Следовательно, какая? Исследовательская?»

Он проник в тайное тайных Системы, показал механизм ее действия. При внешней протокольности письма характер главного героя, сформированного этой Системой, исследован с необычайной глубиной и пристальностью, Бек создал даже не образ, а тип. Могла ли Система допустить такое вторжение, если главные ее стражи — Тайна и Страх?

Онисимов, герой романа, был одним из ее столпов, он одновременно и жертва и творец. Он прошел все чистки 30-х годов и уцелел. Как? Помните у Твардовского: «Предай отца, родного брата и друга верного предай...» Но и этот способ спасал далеко не всех. Его спас.

Есть в романе сцена, решившая участь Онисимова. Его пригласил к себе домой Серго Орджоникидзе, которому Онисимов многим был обязан в жизни. Но в доме они оказались не одни, Онисимов слышит разговор Сталина и Орджоникидзе, он стал случайным свидетелем.

«Разговор шел на грузинском языке, Онисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда лишь через большой кабинет. Александр Леонтьевич встал, шагнул через порог.

Серго продолжал говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой просинью румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждал и упрекал Сталина. А тот в неизменном костюме солдата стоял, сложив на животе руки.

Онисимов хотел молча пройти, но Сталин остановил его:

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать...

— Что же, бывает... Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее проговорил:

— Так с кем вы все-таки согласны? С ним? — Сталин выдержал паузу. — Или со мной?

Наступил миг, тот самый миг, который потом лег на весы. Взглянуть на Серго еще раз Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрой

мысли, принудила его... И он, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вами, Иосиф Виссарионович».

Это было за полторы недели до самоубийства Орджоникидзе.

И еще одна сцена. Онисимов — уже начальник танкового главка, все его заместители арестованы. Его вызывают к Сталину, он не сомневается: настала его очередь. В кабинете у Сталина — Берия. Много лет назад, в Баку, при перерегистрации членов партии от Онисимова зависело, выдать или не выдать Берии партбилет. Он не выдал: «Подозрительный тип. Чувствую, авантюрист».

«Теперь грузин-бакинец ведал огромной машиной арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лагерей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Онисимова.

Что же, все ясно. Будет последний допрос...»

Но его не арестовали. Сталин, вершитель судеб, неожиданно назначает его наркомом танкостроения. И Онисимов, потрясенный, пишет ему записку: «Товарищ Сталин. мой брат Иван Назаров арестован как...» «На мгновение перо Александра Леонтьевича приостановилось. Не хотелось собственной рукой клеймить Ваню, своего младшего брата от второго замужества матери... Но Александр Леонтьевич тут же подавил сомнения. Перо снова заскользило: «...арестован как враг народа. Считаю нужным сообщить об этом Вам».

И на этой же записке Сталин начертал то, что всю дальнейшую жизнь служило Онисимову охранной грамотой: «Тов. Онисимов. Числил Вас и числю среди своих друзей. Верил Вам и верю. А о Назарове не вспоминайте. Бог с ним. И. Сталин».

Они погибли в заключении, брат Онисимова и его жена. Потом их реабилитируют. И до конца дней Онисимов не может простить себе, что, отрекшись, даже фотографии брата уничтожил, «...даже детскую — на той карточке Ване, уставившемуся в объектив, было не более десяти».

Так в романе.

А вот что писал один из «старейших металлургов» академик В. Емельянов, ярый противник романа, которому член редколлегии «Знамени» Юрий Жуков, не имевший права этого делать, но борьба есть борьба, послал рукопись на уничтожение. «Знамя» по духу своему был журнал охранительный, здесь однажды уже отвергли роман, я читал стенограмму обсуждения. Но вот и времена вроде бы другие настают, а борцы старые, испытанные. И Катинов, мой первый заместитель, подает мне как предосте-

режение отзыв Емельянова. О своем мнении скромно умалчивает, он все еще надеется остаться в должности, да я его мнение знаю, читал.

Емельянов работал в свое время вместе с Тевосяном в наркомате оборонной промышленности, наркомом был один из братьев Кагановича, Михаил Моисеевич. В частности, и о нем Емельянов пишет:

«Только М. Каганович открыл заседание раздался телефонный звонок, стоявшего перед ним на столе кремлевского телефона. Каганович поднял трубку и тотчас встал. Мы сразу же поняли, а первые же слова Кагановича подтвердили наши догадки. Каганович произнес: «Передаю трубку Тевосяну, товарищ Сталин! — и обращаясь к сидевшему рядом с ним Тевосяну тихо произнес: — «Товарищ Сталин!» Тевосян взял трубку и через минуту произнес: — Сейчас же выезжаю к Вам товарищ Сталин!»

Сохраняя стиль, орфографию, знаки препинания академика, я вынужден пропустить ряд мелких подробностей, их много, и перейти к главному.

Тевосян вернулся. «Тевосян вытирал мокрую голову полотенцем, а на бледно-зеленом лице я увидел все ту же улыбку. «Что — голова болит?» — спросил я. «Да очень — мне помогает холодная вода — вот смочил волосы». Положив на стул полотенце — он полез в карман пиджака и вынул из него какую-то записку, произнес протягивая ее мне: «— прочитай!»

На записке рукой Тевосяна было написано:

Товарищ Сталин!

Моя сестра замужем за Мирзояном. Мирзоян как Вы знаете арестован. Моя сестра также — о чем хочу поставить Вас в известность.

А далее рукой Сталина написано:

«Товарищ Тевосян, я Вам верил и верю. Бог с ним, с Мирзояном, забудьте о нем, а о Вашей сестре подумаем.

Сталин».

...Вот эту историю с запиской я и рассказал А. Беку, когда он был у меня. Но он в своей книге все искажил.

Даже по этим отрывкам можно понять, что роман А. Бека — не документальное свидетельство, а художественный документ времени. Несомненно, Тевосян послужил прототипом Онисимова. Он ли один? Два брата Кагановича — и этот, Михаил Моисеевич, и другой, нарком авиационной промышленности, — оба они были арестованы и расстреляны, а Лазарь Каганович

продолжал верно служить Сталину. И серебрилась на мавзолее рядом со Сталиным борода Калинина, жена которого сидела в лагерях. И жена Молотова была сослана.

В делах преступных крепче крови родственной связывает кровь, совместно пролитая.

«Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, — писал Лермонтов, — точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

Можно понять родственников Тевосяна, понять их чувства. Но не методы. Тевосян-младший не ограничился письмом М. Горбачеву, второе письмо на 14 страницах он отправил в ЦК.

«Дорогие товарищи!

К Вам обращается сын И. Ф. Тевосяна в связи с тем, что в 10 и 11 номерах журнала «Знамя» будет издаваться клеветнический роман о моем отце «Новое назначение».

В нашей семье роман А. Бека «Новое назначение» называют доносом... Насколько мне известно, такой же «метод» применяет и А. Солженицын в своих сочинениях. Тем же методом пользуется и буржуазная пропаганда, когда она обращается к Стране Советов... Откуда же возникает желание издать клеветническую книжку А. Бека... А. Бек написал книгу в период Хрущева, запретили ее издание в период Брежнева, значит, сейчас ее можно издать... А может быть, за издание книги люди, смертельно ненавидящие Сталина?»

Письмо, как уже сказано, длинное, перо «местию дышит»: «величайшая подлость А. Бека», «работа уголовника» — всей брани не перечить. И на это письмо мне тоже полагалось отвечать. Но мы предложили автору напечатать его труд в журнале. Полностью. Пусть люди прочтут. Это была идея одного из моих заместителей, В. П. Гербачевского. Тевосян не решился. Привычной, удобней действовать негласно. И телефонные звонки пошли гуще: и бывших, и тех, кто еще прочно сидел в креслах. И письма, письма: в секретариат Союза писателей, в комитет по печати, в цензуру. Обкладывали со всех сторон.

«Мы, коммунисты, проработавшие в металлургии десятки лет, обращаемся с просьбой не допустить опубликования клеветнического романа А. Бека под названием «Онисимов» о металлургах...»

Эх, господа!.. Верней — товарищи!.. Сколько вы сил и души потратили на литературу, а рельсы мы сейчас... Ну, ладно бы —

электронику, а то — рельсы(!) покупаем в Японии. На Октябрьской железной дороге будут менять полотно и на протяжении сорока километров, как сообщалось, уложат японские рельсы, повезут их через всю Сибирь. Своей руды в Японии нет, наверное, нашу будут плавить, а мы у них рельсы покупать: японские, оказывается, и надежней, и бесшумней, и служат в два с половиной, в три раза дольше, чем наши...

«Этот роман развенчивает идейность, преданность партии, делу индустриализации, концентрированным усилиям в работе... Это произведение будет влиять на нашу молодежь, будет давать богатую пищу буржуазным пропагандистам за рубежом. Все это противоречит решениям XXIII съезда партии и рекомендациям партии XV съезду комсомола...»

И громкие подписи под всем этим. Читаешь, бывало, очередное такое письмо, где каждое слово — расстрельная статья Уголовного кодекса, да и вспомнится само собой: «Наверно, вы не дрогнете, / Сметая человека. / Что ж, мученики догмата, / Вы тоже — жертвы века».

А на дворе только еще 1986 год, и даже Горбачев в беседе с корреспондентом «Юманите» вынужден говорить, что у нас не было сталинизма.

Но память наша короткая, отрывочная, торопливая; те, кому сегодня по двадцать лет, были тогда еще в нежном возрасте, откуда им знать, как представить себе, чего стоило в ту пору напечатать роман А. Бека.

«Почему-то грустно, — записывал он в своем дневнике, — когда вещь, с которой много-много дней, складывающихся в годы, ты оставался с утра наедине, наращивал, вытачивал главу за главой, вещь, которая была твоей, только твоей, — тем более эта, задуманная как твоя Главная книга или, во всяком случае, первое звено такой книги, — вдруг от тебя уходит, идет в плавание, будет сама жить, сама себя отстаивать».

Александр Альфредович не знал, да, наверное, и представить себе не мог, что книге его суждено двадцать лет оставаться под запретом. Но 10-й номер «Знамени» мы открыли романом Бека. Я написал к нему предисловие, и это был первый номер журнала, который я подписал как главный редактор.

ПО-РОДСТВЕННОМУ

Мы сели в машину, на заднее сиденье, Залыгин и я. Минуло примерно два месяца с тех пор, как нас обоих назначили редакторами журналов: Залыгина — редактором «Нового мира», меня — редактором «Знамени». В те годы назначали. Он сразу же поехал отдыхать в Дубулты, на побережье Балтийского моря, и хотя берегся солнца, с непокрытой головой не ходил, но выглядел сейчас загорелым и свежим.

На повороте машину качнуло, его прижало к моему боку, он что-то сказал, но левое мое, контуженное ухо не расслышало. Я повернулся к нему другим ухом: «Что?»

— Гриша, — сказал он дружески, — отдай мне поэму Твардовского.

Поэму Твардовского «По праву памяти» мы уже запустили в набор, но даже не это было решающим. При жизни Александр Трифонович читал мне ее у себя на даче, читал и курил сигарету за сигаретой: поэма, уже набранная, была запрещена цензурой. Однажды я упоминал об этом, но все быстро забывается, а в мир входящим нелишне знать, что и как до них было. Мы тоже вступали в жизнь с наивным убеждением, что все прежние века и тысячелетия хотя и были, конечно, но мелькнули, как дни, весь свой путь человечество пробежало, стремясь к главному событию, которое настало, когда в мир явились мы, вот теперь и пошел новый отсчет времени, свершений и дел. Однако проживешь жизнь, и все обретает свои масштабы.

Александр Трифонович читал, волнуясь, в груди его, старого курильщика, хрипело, наверное, он тогда уже был болен, но не знал об этом, на хвори он не обращал внимания. Поэму свою в верстке он разослал членам редколлегии «Нового мира», своим, так сказать, единомышленникам, а в редколлегии были и депутаты Верховного Совета, был даже Член Президиума Верховного Совета (тут каждое это слово полагалось

писать с заглавной буквы!). Ни один не откликнулся. А Чингиз Айтматов, вылупившийся в свое время из «Нового мира», как птенец из гнезда, немалыми стараниями Твардовского удостоенный Ленинской премии, приехав в Москву, зашел в редакцию, как обычно. «Вы получили верстку моей поэмы?» — спросил Твардовский. Айтматов прекрасно владел лицом: «Нет, не получал».

— Но не сказал: дайте!

Дважды Твардовский повторил: «Но не сказал: дайте!» И пухлым кулаком ударял по столу. Я обещал ему, если от меня это будет зависеть, я сделаю все, чтобы поэма была напечатана. Ее издали в Италии, но у себя на родине Твардовский так и не дождался, не увидел ее при жизни. Как же я мог отдать? Я был связан словом. На третий день после того, как я стал редактором, я пришел к вдове Твардовского, к Марии Илларионовне, и она передала мне поэму.

— Гриша, та, прежняя верстка у нас в сейфе лежит, — породственному уговаривал меня Залыгин. — Сам понимаешь, печатать ее должны мы. «Новый мир» — журнал Твардовского.

Ох, как при жизни травили Твардовского за журнал! И как мало было у него защитников. Да если б только власть травила. Власть наша строила державу на века, но даже в дне завтрашнем не была уверена. Ее напугали события в Венгрии, в Чехословакии, она увидела, как незыблемое рушится в одночасье. И, оградив себя атомными ракетами, имея танков больше, чем все остальные государства, вместе взятые, держа многомиллионную армию под ружьем, пронизав все общество политическим сыском, она при внешней величии боялась своего народа, а уж интеллигенции, «прослойки» этой зловредной, — тем более. Заветной мечтой было: чтобы любили, не рассуждая. И не Твардовский, гордость нации, а вот такой Кочетов был ей понятней, ближе по духу. Ему принадлежит фраза после венгерских событий: «Они повесят нас на фонарях».

Мы жили в одном доме, но в разных подъездах. Соседи рассказывали, как он выходил к лифту: первым появлялся взрослый сын, жена, они осматривали лестничную площадку, тогда уже, сквозь этот строй, быстро проходил он, спускался, садился в машину. У него было желтое, нездоровое лицо со втянутыми висками, плоско прилегли к черепу волосы, темный воспаленный взгляд: лицо человека, съедаемого страхом и ненавистью. Между прочим, став редактором «Литературной

газеты», он прислал мне телеграмму, предлагая сотрудничать. Я не ответил. Вскоре они переехали из нашего дома куда-то в престижное место, и мадам Кочетова оставила по себе память фразой: «Уезжаем из этого засратого, неохраняемого дома».

Вот он особенно изощрялся в травле Твардовского. Всему, конечно, придавался высокий идеологический смысл, но не последней была обыкновенная ненависть бездари к таланту. И — страх перемен. Целая когорта ублаженных властью литературных чиновников подписала тогда донос на Твардовского, печатался донос в софроновском «Огоньке»: протрубили начало гоньбы. Никто из них в литературе не остался. Но вполне возможно, в примечаниях к Твардовскому останутся их имена: имена тех, кто сократил ему годы жизни.

А как нужна была ему тогда дружеская поддержка! За роман, напечатанный в «Новом мире», Сергей Павлович Залыгин стал лауреатом Государственной премии. «Но вы им сказали при вручении, где ваша Alma Mater?» — спросил Твардовский. На моей памяти он повторял это не раз: и у себя дома, и у нас в беседке, где любил сживать. А когда выпьет — с особой болью: «Но вы, говорю, сказали им про вашу Alma Mater?» И, не за себя устыдясь, другим голосом: «Молчит. Улыбается...»

Нет, не мог я отдать поэму Твардовского. Не имел права. Да и журнал «Знамя» был мне теперь не чужой. С первых шагов я хотел дать понять: дух «Нового мира» не убит. Невозможно и не нужно возрождать тот «Новый мир», журнал Твардовского принадлежал истории. Но то, что при жизни не дали напечатать ему, должен был напечатать я.

Кто бы представил себе в ту пору, что изгнанный с родины, объявленный чуть ли не агентом ЦРУ Георгий Владимов за роман «Генерал и его армия» будет удостоен премии Букера, и вручать ее будут в Москве, в Доме архитектора, в торжественной обстановке, и газеты наперебой будут брать у него интервью, печатать его портреты? А ведь предыдущий его роман «Три минуты молчания» срочно изымали из книжных магазинов, из библиотек. Я заказал его в Лавке писателей, приехал дня через два забрать. «Что вы! Изъят...» И повесть Владимова «Верный Руслан» была запрещена. Должна была закончиться одна эпоха и начаться другая, чтобы невозможное стало возможным. Но и при смене эпох ничего само собой не делается. Запрещенную в «Новом мире» повесть Владимова «Верный Рус-

лан» напечатали мы, в «Знамени». И напечатали тогда, когда это казалось еще абсолютно невозможным. Вполне понятно, что свой роман «Генерал и его армия» Георгий Владимов обещал нам, мы его объявили, и вот тут произошло примерно то же, что и с поэмой Твардовского. Приехав в Париж, Сергей Павлович Залыгин пришел к Максимову домой и попросил: позвоните Владимову в Германию, попросите, чтобы он свой роман отдал в «Новый мир».

— Я сказал ему: вот телефон, пожалуйста, звоните сами.

И Максимов произвольно указал на один из знаменских телефонов в тогдашнем моем кабинете, где и происходил этот разговор.

— И позвонил?

— От меня звонил. Но Владимов ему отказал.

Владимов работал медленно, что-то сокращал, переделывал, дописывал, а у нас были определенные обязательства перед читателями, их следовало выполнять: роман объявлен. Я позвонил Владимову.

— А мне уже Сергей Павлович звонил, — не без удовольствия похвастал он.

Не то чтобы сердце у меня екнуло, но чем черт не шутит. Все же «Новый мир» осенен именем Твардовского, и хоть не тот он теперь, но все та же на нем привычная глазу синяя обложка... Я знал, что Владимов — человек чести, однако мне небезразлично было, что он ответил.

— А я сказал Сергею Павловичу: но я другому отдана и буду век ему верна.

Можно ли осуждать редактора, если он предлагает автору более выгодные условия, попросту говоря, переманивает, заботясь о своем журнале? И в нерыночные времена это бывало. Так-то оно так, но еще существует порядочность, не случайно Максимов, он мне не сват был и не брат, отказался соучаствовать: вот — телефон, звоните сами...

Вообще же, наверное, надо уметь взглянуть на происходящее с некоторого отдаления, из будущего, тогда и нервы не третишь зря. К сожалению, я это не всегда умел. Вдруг зашептались, зашептались: «Новый мир» все же печатает поэму «По праву памяти». Мария Илларионовна дала им первые варианты поэмы, а они вместе с первыми вариантами и саму поэму запустили в набор... И уже кто-то слышал, как в ЦДЛ за столиком обсуждали: «Новый мир» выйдет в свет раньше второ-

го номера «Знамени»... Словом, что-то назревало в околосредовой среде, жизнь становилась содержательней.

Выйти раньше нас они никак не могли. Став редактором, я сразу же договорился с директором издательства изменить график: весь тираж «Знамени» должен был поступать подписчикам в первые пять дней месяца. Я и сам подписался на журнал, чтобы знать, какого числа опустят его в мой почтовый ящик. Договор был жесткий: опоздай мы хоть на день сдать номер в набор, платим штраф. И мы строго выдерживали сроки, еще ни один журнал не вышел, а свежий номер «Знамени» уже у подписчиков. Так что волноваться вроде было не из-за чего, а все же думалось: как же так?..

Но еще не раз об это «как же так?» суждено было спотыкаться так, что изумлялся порой. А потом и изумляться перестал. Вот договорились мы с Сергеем Павловичем Залыгиным: он печатает главную книгу А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», печатает роман «В круге первом», печатает все, что журнал сможет вместить, а в «Знамени» будет напечатан роман «Раковый корпус». Одно дело, когда читаешь запрещенную книгу в рукописи, и совсем другое дело, когда заново перечитываешь ее в ряду других книг. Испытание временем выдерживает только подлинное искусство: все боится времени, но время боится пирамид. Есть и в литературе свои пирамиды, пережившие века и тысячелетия. «Раковый корпус» не из их числа, но у меня были свои причины, почему я хотел напечатать этот роман и, как мне казалось, имел основания надеяться.

Уже Хрущев, еще не свергнутый, стал заметно сдавать позиции, следствием чего, между прочим, явилось и то, что Ленинскую премию за повесть «Один день Ивана Денисовича» Солженицыну не дали, а он ждал ее, во всяком случае, не отказался, как это сделал Шнитке. Мыслимое ли дело, по советским понятиям, чтобы комитет, во всем подвластный, привыкший согласовывать каждый свой шаг, вдруг осмелился сказать «Нет!» Да кому? Генсеку, высшей власти. Ведь это Хрущев лично разрешил печатать повесть. И после этого комитет голосует против. И Хрущев стерпел, он, стучавший ботинком в ООН, не осмелился на этот раз у себя дома стукнуть кулаком по столу. Следом запрещен был «Раковый корпус». Вот тогда секция прозы Московского отделения СП решила встать на его защиту. Устроили обсуждение. На том обсуждении выступал и я, говорил, что это — позор, что запрет должен быть

снят и т.д. Хотел еще что-то сказать, но волновался, забыл, и Солженицын, сидевший в президиуме, говорит: «Вы вспомните, вспомните». Не вспомнил. А вскоре магнитофонную запись обсуждения издали книгой. Не у нас, разумеется, в Америке. Я об этом не знал, а ехал как раз в США.

И вот встреча с профессорами, преподавателями — славистами университета Беркли. Обычно тему занятий согласовывали заранее, а тут подходим уже к аудитории (двери открывались прямо во двор, жарко), и профессор, если не ошибаюсь, Пашин, говорит: «Да, кстати, забыл предупредить: у нас сегодня вольная беседа по Солженицыну». Ах ты родной ты мой, забыл! Вот ведь эмигрант, да еще первого поколения, а методы те же: у нас Воронков, оргсекретарь, забыл предупредить меня, что магнитофонная запись обсуждения издана за границей книгой, она у него по долгу службы имелась под рукой, здесь этот забыл...

Первый вопрос, который задали мне, походил скорее на допрос: что говорил я на том обсуждении «Ракового корпуса» в секции прозы? Память у меня, слава богу, не отшибло, говорю и вижу: сверяются. А ведь некоторые из них принесли с собой мои книги, подходили потом, просили автограф. Но не суди и не судимым будешь, часто я это повторяю себе. Мир пронизан недоверием. Оно не исчезает и в тот миг, когда главы государств обнимутся, расцелуются и заявят о вечной дружбе. С кем только мы не дружили, против кого мы только не дружили! А потом все это менялось местами.

В другой мой приезд в Америку, все еще в пору брежневского царствования, наш эмигрант военной поры хотел подарить мне «Окаянные дни» Бунина, запрещенные и не издававшиеся у нас. У него дома на книжной полке стоял мой роман «Июль 41 года». Он сразу же прочел мне из него то место, где рассказывалось, как перед войной нашу авиацию согнали на приграничные аэродромы, она стояла там скученная, не защищенная от бомбового удара, пока войска НКВД переоборудовали главные аэродромы, все сразу. «Я был в тех войсках! — восторгался он, словно тут он лично поименован. — Все точно. Тогда же я и перебежал». Не питая особой симпатии к любым перебежчикам, я не взял у него книгу. Но не взял еще и потому, что никак не исключал такого варианта: он даст, он же и сообщит.

Попытался я купить «Окаянные дни» в магазине Камкина.

В самый первый свой приезд я был у них дома, с симпатией писал о них, и Елена Андреевна не захотела подвести меня. Она будто не расслышала, а когда возник удобный момент, зажмурила один глаз, а к другому приставила руку трубочкой, как в глазок дверной глянула на меня: дала понять, что и в ее магазине может быть тот, кто наблюдает.

А за день до возвращения домой, после того занятия со славистами в Беркли, сообщили, что в Рязани Солженицын исключен из Союза писателей. Ночью, над океаном, летчики позвали меня к себе, воздушное пиратство тогда было еще редкостью. Мы летели над Атлантикой, на высоте десяти километров. Под нами — тьма, над нами, вокруг — тьма кромешная, будто мы повисли в космосе, и только гудят моторы. И — красноватый отсвет приборов на лицах летчиков. Командир корабля сидел в кресле, я видел его профиль, и вот так, не поворачивая головы, он вдруг спросил меня о Солженицыне. Книг его они не читали, но шум, поднятый газетами, голоса в эфире — все это дошло до них, они хотели знать, что — правда. Я рассказывал им о книге «Один день Ивана Денисовича», одна из первых рецензий на нее была моя, рассказывал об авторе, что знал, и долгий этот разговор над океаном во тьме, при марсианском свете приборов, мне памятен.

А дома все было так, как должно было быть. Председатель иностранной комиссии, встретив меня во дворе Союза писателей, прошел не поздоровавшись, посмотрел на меня как на покойника: здесь уже все было известно, что и о ком я говорил в Беркли. В тот же день Владимир Максимов, Василий Аксенов (оба тогда еще жили в Москве), Борис Можаяев, я, возможно, еще кто-то, да я запомнил, пошли к Воронкову, через которого текли все указания сверху: пошли требовать срочно созвать пленум правления Союза писателей и на нем все решать заново. Когда сойдется сто с лишним человек, надавить на них трудней, чем на шесть или семь рязанских писателей, всей жизнью своей, каждым дыханием и шагом в быту подвластных обкому.

Воронков сидел за большим столом. Белый телефон с гербом Советского Союза на диске, так называемая вертушка: это все государство, вся власть подпирала его своим могуществом. И в продолжение разговора смотрел на нас с некоторым даже томлением духа: ну что докучают зря? Не возражал, не спорил: ждал. Мы уйдем, он снимет трубку, доложит, кто был, по-

именно, получит указания, как жить, какие принимать меры, что говорить.

В прошлом — комсомольский работник, а комсомол, как уже говорилось, готовил кадры не только для партии, но и для КГБ, незримые погоны явно ощущались под его отлично сшитым пиджаком, временами казалось, они приподымаются. Было ему тогда что-то в районе пятидесяти, полнокровен, в самой мужской силе, не случайно столь всевластна его секретарша, неохотно пропускавшая нас к нему в кабинет, за высокие, массивные дубовые двери с начищенными бронзовыми ручками.

Никто не знает своей судьбы. Не так много лет прошло, и увидел я Воронкова, иссохшего, желтого, пригнутого страхом и болезнью. Из последних сил пришел он платить партийные взносы. Было это не в перестроечные времена, когда одни слетали с качелей, других круто возносило, а еще в достославное брежневское безвременье, когда казалось, крепка наша держава, и рак, разъедавший ее изнутри, не проступил столь явно, как из-под желтой кожи Воронкова обозначился череп. Он оглядывался пугливо, стыдясь самого себя, боялся в глазах людей прочесть свой приговор, а рука, подававшая партбилет, недавно еще мясистая его рука, дрожала. Вижу его таким, и уж какие тут могут быть старые счеты, обиды? Он был частью божества, имя которого — аппарат, служил преданно, верно; части изнашиваются, их заменяют, божество бессмертно.

Однако мы далеко отошли от того, с чего начат рассказ. Но в жизни редко бывает что-либо само по себе, люди и события связаны зримыми или незримыми нитями. И все же почему непременно надо было договариваться с Сергеем Павловичем Залыгиным, практически испрашивать у него разрешения, чтобы напечатать в «Знамени» роман Солженицына? А все просто: Залыгин пригласил к себе в редакцию на оплачиваемую должность Вадима Борисова, который оставался здесь доверенным лицом Солженицына. Сначала его пригласил, в дальнейшем и сам съездил к Солженицыну в Вермонт, где, надо полагать, покаялся за то письмо в «Правде», которое подписал, и получил отпущение грехов. И стал Сергей Павлович главным распорядителем. Он действительно немало сделал, чтобы возможно стало напечатать книги Солженицына, ускорил неизбежное. Но не будем забывать, что в делах людских значит ВРЕМЯ. В одно время выходят на улицы требовать казней, в другое —

со страстью и верой борются за справедливость, и нередко это одни и те же люди, только времена разные. Словом, есть «время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить... Время разбрасывать камни, и время собирать камни...»

Уже возвращен был из горьковской ссылки академик Андрей Дмитриевич Сахаров, он сразу же потребовал освободить всех узников совести, всех поименно, представил список. Газеты, а в их числе даже «Правда», рассказывали о сталинских лагерях, о пытках, о расстрелах. Из небытия возвращались имена, которые не так давно опасно было произносить.

Уже напечатаны были в «Знамени» «Собачье сердце» М. Булгакова, «Новое назначение» А. Бека, «Верный Руслан» Г. Владимова, «Черные камни» А. Жигулина (рассказ об этом впереди). Удивляться ли, что самая значительная книга А. Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ», — когда была наконец издана, не произвела в обществе того действия, как в свое время маленькая по размеру его повесть «Один день Ивана Денисовича»; та буквально взорвала сознание людей.

Кстати, об этой повести. В Финляндии, в издательстве «Тамми», где не раз выходили мои книги, издатель Ярль Хеллеман рассказывал, как они выпустили «Один день Ивана Денисовича» тиражом всего три тысячи экземпляров. Разговор этот переводила консультант иностранной комиссии Валентина Морозова, поскольку языка я не знаю. Так вот из этого фактически пробного тиража продали всего тысячу, а две тысячи остались лежать на складе. Тут господин Хеллеман тонко улыбнулся: «Но вы помогли нам». Когда в газетах началась травля Солженицына, издательство мгновенно допечатало книгу двадцатитысячным тиражом, и весь тираж был раскуплен.

Я считаю «Один день Ивана Денисовича» лучшей художественной вещью Солженицына, быть может, даже одной из лучших повестей XX века. И тем не менее и ее судьба, и судьба автора могли сложиться по-иному. Это у нас в стране только начинали узнавать в то время бездонную правду о сталинских лагерях. Хотя мало оставалось семей, кого не коснулись бы аресты, ссылки, депортации, но страх, печать молчания давили на всех, как надгробная плита. А на Западе было издано множество книг о гитлеровских, о сталинских лагерях, написанных в том числе и теми, кому удалось бежать. Кто знает, не стала бы и эта повесть в общий ряд? Но она пришла отсю-

да, голос из ада, да еще вслед ей раздался лай официальной критики, как лай сторожевых псов, спущенных вдогон. И мир принял гонимого, мир взял его под свою защиту. Но чтоб это случилось, надо было прежде решиться напечатать повесть у нас. И это сделал Александр Трифонович Твардовский. Он, как известно, убедил помощника Хрущева, и тот, служивый человек (а ведь тоже понимал, что мог и головы не сносить!), сам читал повесть Хрущеву вслух. И тому понравилось. Понравилось, какой хороший работник Иван Денисович: вот и в неволе, в лагерях, а как умело да с азартом возводит каменную стену. Только ли это понравилось или она легла в масть к его докладу на XX съезде? Никита Хрущев был с виду простоват, но далеко не прост. И он, как известно, заставил членов политбюро читать повесть, и они читали добровольно-принудительно, как в свое время добровольно-принудительно сгоняли в колхоз. Ну, не комедия ли, если представить их лица, которые Эрнст Неизвестный назвал кусками стирального мыла. И главный идеолог, серый кардинал, живой мертвец Суслов (он-то уж с первых строк все понял и унюхал хрящеватым носом своим), даже он ослушаться не посмел. Вот оно, сталинское воспитание, сталинская наука, которая теперь против него же и обернулась.

Нет, это все же чудо, что так все сошлось. Нечасто усилия людей так совпадают с велением времени. Но, может быть, странно мое предположение? А что, собственно, странного? Не получил же Пастернак за свою великую поэзию Нобелевской премии, пока не разразилась история с романом «Доктор Живаго», далеко не лучшим романом века, так поаккуратней выразимся. Издать бы его нормальным тиражом, это чтение для избранных, и никакие основы не сотряслись бы. Но по соображениям, далеким от литературы, роман был запрещен. А, между прочим, Чехов этой премии не был удостоен.

И вот сидим мы как-то с Сергеем Павловичем Залыгиным за сценой в Доме литераторов, должен начаться вечер, на котором обоим нам надо присутствовать. А по общей атмосфере уже ясно: не сегодня-завтра печатать Солженицына разрешат. И я напомнил: «Значит, «Раковый корпус» печатает «Знамя»?» — «Да, да. Я сам заинтересован, чтобы печаталось как можно шире...» Но подошло время, звоню ему домой: ну что, наш уговор остался в силе? «Нет, нет, нет!» Да резко так, вот что поразило.

Честно говоря, сомнения у меня всегда были. Предположить, что он все еще держит на меня обиду за поэму Твардовского, которую я не мог ему отдать? Так он ее напечатал. И в общем-то получилось даже лучше: вышла поэма двойным тиражом. Случалось после этого, заезжал Сергей Павлович к нам в редакцию: чайку попить, поговорить об общих делах. А дела «Знамени» складывались весьма неплохо. Посмотришь в вагоне метро — читают. В восьми номерах журнала печатали мы «Воспоминания» А. Д. Сахарова, а после, собрав их вместе, издали два отдельных номера. Задолго до того, когда они выйдут книгой.

«Вашей редакцией рассматривается повесть моего отца Андрея Платоновича Платонова «Котлован»... я официально ставлю Вас в известность о том, что право на ее публикацию я оставляю за Вашим журналом», — писала мне Мария Андреевна, дочь Платонова. Шутка сказать — «Котлован» Платонова! Но в это время я добивался возможности напечатать «Собачье сердце» Булгакова, почти уже добился. Конечно, если думать только о своем журнале, надо было заключить договор, тянуть, сколько возможно, под разными предложениями, но не выпускать такую книгу из рук. Но я рассматривал литературу как дело общее, не можем сейчас напечатать мы, пусть сделает другой журнал. Платонов и так долго ждал, умер, не подержав в руках своей книги. И с моего согласия «Котлован» ушел в «Новый мир».

И вдруг такое резкое «Нет!». Вместить все, что написано Солженицыным, «Новый мир» не мог, для этого журнал надо было превратить в собрание сочинений, что для журнала гибельно. И можно было предвидеть, что вскоре начнут выходить книги, опережая журнальные публикации, так оно и произошло. И «Новый мир» начал по кускам раздавать «Красное колесо», предложили и нам одну из глав, вернее, как это называлось — «узлов», но зачем же нам спица от колеса?

А «Раковый корпус» напечатать хотелось, пусть даже по соображениям личным. И я написал Александру Исаевичу Солженицыну. Разумеется, ни строкой, ни намеком не упоминая, что когда-то защищал эту его книгу, я писал о том, что русскую литературу мы не мыслим без его книг и журнал «Знамя» хотел бы и просит разрешения напечатать его роман «Раковый корпус». Одно письмо отправил почтой, другое — через верного человека, чтобы опустили там, в Америке. Удивительно быстро получил ответ:

«18.4.89

Главному редактору жур. «Знамя»

Г. Я. Бакланову

Многоуважаемый Григорий Яковлевич!

Ваше письмо от 31 марта получил сегодня.

И «Раковый корпус» и «В круге первом» уже отданы мною «Новому миру».

А вообще из моих книг первым на родине должен появиться «Архипелаг ГУЛАГ».

Всего доброго.

А. Солженицын».

И подумалось: э-эх!.. А как хорошо сказано в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Брюхо-злодей, старого добра не помнит...»

ЕГО ДУША, И БОЛЬ, И СОВЕСТЬ

Десятый и одиннадцатый номера журнала «Знамя» 1986 года, в которых мы печатали роман Александра Бека, по сути дела, и стали началом того журнала, который хотелось создать. Ныне уже не найти большинства писем и телеграмм, гневных, радостных, обрушившихся на нас. Многие читатели не знали, что автора нет на свете, и на адрес журнала писали ему. Вот телеграмма из Ленинграда, одна из немногих сохранившихся:

«Москва Тверской бульвар 25 редакция журнала Знамя
Александрю Беку =

В последнем своем романе Вы переплюнули самого Солженицына Благодарю = Ефимов =>

Двенадцатый номер журнала, последний в году, чаще всего — бросовый. Помещают туда все, что накопилось, откладывалось на потом, поскольку славы не принесет, но есть обязательства перед авторами, и, вздохнув, печатают. Тем более что читатель никуда уже не денется, подписка закончена. Иногда этот номер отдают молодым.

Мы решили не снижать уровня, хотя портфель наш в то время был еще пустоват. И получился один из лучших номеров. В нем были рассказы Фазиля Искандера, еще не обремененного почестями, в такую пору пишется молодо, свежо. Был последний, если не ошибаюсь, рассказ Юрия Трифонова «Недолгое пребывание в камере пыток», стихи Давида Самойлова, очерк Елены Ржевской о маршале Жукове «В тот день, поздней осенью». Я уже писал, как трудно проходил через цензуру этот очерк. Но он вызвал еще и возмущенные письма отставных военных. Причина, оказалось, вот в чем: прочтя книгу Ржевской, в которой она рассказывала, как искали и нашли обгорелый труп Гитлера, маршал захотел встретиться с ней и поручил позвонить ей, назначить день и час. Но у Ржевской была путевка в Переделкино, куда она ехала работать. Прочтя все это в очерке, отставные военные возмутились: да кто она такая вообще? Как сме-

ет? Ей от маршала звонят... Особенно досаждал нам один полковник. Он прислал огромное письмо с немыслимым количеством грамматических ошибок и восклицательных знаков, звонил неоднократно, грозил. По бессвязности того, что он писал, можно было предположить, это человек преклонных лет, про таких говорят: полковник — это тот, кто сидит и ждет, пока его догонит лейтенант. Но явился к нам далеко не старый человек спортивного вида, в кожаной куртке на меху с множеством застёжек, «молний» и пряжек, в ондатровой шапке на голове: пришел забирать письмо. А пришел потому, что я попросил передать ему: если бы я сам в прошлом не был офицером, не уважал армию, я бы непременно опубликовал его безграмотное письмо. И он прибыл мгновенно. Вначале с напором требовал вернуть письмо, потом просил, сунув шапку под мышку, но видно было, этот не отступится, будет кляузничать. И на хорошем, понятном ему канцелярском языке было разъяснено, что письмо — это документ, получено, пронумеровано и возвращено быть не может. Письмо осталось у нас, божий страх — у него в душе.

Не обиделся только маршал. Ржевская пишет: через полтора месяца он сам ей позвонил. «Елена Моисеевна? Это Жуков говорит». И вновь назначил ветречу.

Разумеется, подписка будущего года не могла нас не беспокоить. У «Знамени» был свой читатель. Здесь печатались и на будущий год были объявлены романы Чаковского, Георгия Маркова. В пяти номерах 1986 года печатался роман Юлиана Семенова «Экспансия-2», а на 87-й год обещали продолжение: «Экспансию-3». Читатель Юлиана Семенова был огромен. Особенно — после фильма «Семнадцать мгновений весны». Когда этот фильм шел по телевидению, улицы пустели, его смотрели и уборщицы и министры. А в нашем поселке у двора Семенова, у калитки и у ворот, съехалось однажды не то восемь, не то десять черных «Чаек», все — одного ведомства: в своем кругу отмечали успех. По этому поводу кем-то было сказано: «Слетались голодные чайки...» Ни разу этот фильм я не смотрел целиком, но и того, что видел, хватило вполне. Думаю, ни один фильм так не ободрил наших чернорубашечников, дав им образец и «информацию к размышлению», а многих завлек в их ряды. Вся эта романтика фашизма, особой, кастовой избранности: форма, выправка, портупей, ремни, «Мой фюрер!», щелканье каблуками, стальные взгляды, стальные мышцы — какие ребята, как смотрятся!

И дело делают умело! И власть над жизнями людей каждому из них дана: ты — раб, но ты и господин, ты — божий суд! Чем ничтожней человек, тем больше эта власть возвышает его в собственных глазах, кто перед таким соблазном устоит? А в главного гестаповского палача, которого играл актер Броневой, в него просто влюбиться можно.

И — серая скотинка, наша пехота. Пока герой-разведчик «мыслит» под тиканье метронома, пускают для заполнения пауз хронику Отечественной войны: бежит по смертному полю наша пехота, бегут в атаку среди разрывов, серые, как поле, по которому они бегут. И падают, падают. А ведь это не актеры, которые, смыв грим, пойдут чай пить, это отец, дед, муж чей-то убит. И, может быть, сын, сам того не подозревая, видел только что, как убили его отца, миг этот, но как различишь, они сняты в спину, оператор-то позади, и все они одинаковые, а тут такой сюжет раскручивается, думать некогда, скорей бы уж кончилась эта пауза и пошел фильм. И за душу брала прекрасная музыка Микаэла Таривердиева, жаль, что она тут звучала. Редкое по аморальности зрелище. Но пустели же улицы, когда шел этот фильм. Можно понять, почему он устраивал наше высшее руководство, из которого песок сыпался: любые средства хороши, любые образцы, лишь бы «любили, не рассуждая».

И вот представьте: в первом своем интервью о планах журнала на будущий год я не назвал ни одно из перечисленных выше имен. А назвал я Твардовского, Приставкина, Замятина, Пильняка, Льва Гумилева... Люди опытные предрекли мне: потеряете тираж. И вот — второй, февральский, номер 1987 года, поэма Александра Трифоновича Твардовского «По праву памяти». И — обвал писем.

«Я знаю, люблю бесконечно эту поэму уже 6 лет. Собственноручно переписала ее в тетрадь с такого же переписанного от руки текста. Читала ее всем своим друзьям и многие куски из нее знаю наизусть. И тем не менее, когда прочла, что она выйдет во 2-м номере Вашего журнала, пошла и оформила подписку на Ваш журнал. А первый номер купила в киоске.

С искренним уважением *Подкацина.*
Курская обл., Курчатов».

Нет, тираж журнала не упал, он даже вырос. Не намного по тем временам, на 40 тысяч, но и в дальнейшем от месяца к ме-

сяцу продолжал расти. И почта была такая, что нам пришлось взять второго учетчика писем. Социологические исследования еще были не в моде, и отношение к ним было как к тому бухгалтеру, которого нанимали на работу: «Сколько будет дважды два?» — «А сколько вам надо?» Мнение критики? Писал же Твардовский о другой своей книге, о «Василии Теркине»: «Что ей критик, умник тот, / Что читает без улыбки, / Ищет, нет ли где ошибки, — / Горе, если не найдет...»

И подумалось — не интересней ли представить обществу, что думают читатели? В какой-то степени это — картина самого общества. Пусть — неполная (в одно время особенно активны одни люди, в другое время — другие, все так), ну что ж, будем считать, что это мгновенный снимок. Он тоже имеет смысл: и сейчас, и на будущее. И, подсчитав всю почту, мы дали в точном процентном соотношении письма тех, кто «за», и тех, кто «против». При этом соблюдена была полная объективность, не подбирали специально, чтобы одни выглядели карикатурно, другие выигрывали на их фоне. И никакой, разумеется, редактур. Сокращать многостраничные письма приходилось, но сокращали повторы или самое несущественное, сохраняя суть и дух письма. Соблюдая этот принцип, приведу отрывки тех писем.

«В моей семье нет репрессированных и надзирателей, я обыкновенный карась-идеалист. В связи с «коллективным прозрением» появились шансы, извините, надежды высказаться до конца тем, кто вынужденно молчал... Хотим изменить экономику, бороться за обновление общества, но пока наша совесть не будет чиста — ни в какой сфере не будет успеха. У медиков есть такое понятие — *дремлющая инфекция*. До тех пор, пока существует ее очаг, здоровье организма постоянно под угрозой. Не может быть двусмысленной оценки тому или иному периоду нашей истории, как, впрочем, и личности.

г. Петропавловск-Камчатский

Кочетков Е. С.».

«Особенно ощутил, читая «По праву памяти», что Александр Трифонович Твардовский являл собой редчайший нравственный пример гражданина и патриота Родины. Понятно, в те годы поэма не могла увидеть свет, и в этом трагедия величайшего советского поэта, его последних лет жизни...

г. Львов

Б. С. Смага».

«Редакция журнала благодарит Марию Илларионовну и комиссию по литературному наследию поэта за предоставленное право первой публикации. Это хорошо, но крайне мало. Пусть Мария Илларионовна и вышеуказанная комиссия примут благодарность широкой массы читателей журнала...

Алма-Атинская обл., г. Толгар

*Евстай Дюсекаев,
участник Великой
Отечественной войны».*

«Я никогда не писала писем в редакцию, но, прочитав в вашем журнале поэму А. Твардовского «По праву памяти», хочется выразить огромную благодарность. Признаюсь, я читала и плакала... Мой отец не был ни кулаком, ни попом. Он был простой рабочий, только активист и горой стоял за советскую власть... 3 марта 1938 года его вызвали в РОНКВД, и домой он больше не вернулся... Сейчас трудно представить, как могли мы выжить. Сбережений никаких не было, т.к. отец один работал, а семья — 8 чел. Мама вынуждена пойти работать в ту же сплавную контору за 3 км от дома. В 1939 году бабушка умерла, вскоре умер один из близнецов. Но, как говорится, беда не приходит одна. В том же году у нас заболела и пала корова. А какой сельхозналог надо было платить! В первую очередь рассчитывались с государством. Приходилось покупать мясо, молоко и яйца и сдавать. Ниоткуда никакой помощи и сочувствия, а наоборот. Маме моей сейчас 81 год, и я преклоняюсь перед ней за ее мужество и стойкость... Прошу извинить за мое такое подробное письмо, но захотелось высказать кому-то свою душевную боль.

С уважением Кытманова М. А.

Волгоградская обл.».

«...Я никогда не был репрессирован. В том страшном 1937 году 17 марта я только родился. Никогда не был репрессирован ни мой отец, ни кто-либо из моих близких родственников. Но я всей душой ненавижу эти культы и культики, потому что именно они породили самое темное в истории социализма — массовые репрессии. Иногда даже задаешься вопросом: «А был бы 1941-й год, если бы не было 1937-го?..

г. Абакан

Ю. Бурмистрович».

«Мы, студенты, рабочие, служащие, глубоко возмущены публикацией в ж. «Знамя» № 2, 1987 г. поэмы Твардовского «По праву памяти» (1966—1969).

Автор, покойный уже полтора десятилетия, перся показать — во всех ошибках и просчетах виноват Сталин. Это лживый хрущевско-солженицынский взгляд на личность и на деятельность И. В. Сталина. Здесь, в этой гнусной, тенденциозной поэме, явное стремление Твардовского наделить Сталина темными сторонами...

Сказано правдивое партийное слово о трудном времени — Ивана Фотиевича Стаднюка («Война», «Москва — 41-й», будет «Москва — 41—42»), И. Свистунова, И. Акулова и других писателей... Народу — нашему тем более — нужно строгое, суровое руководство. Ибо наш народ имеет чудное свойство превратиться в козло-пьяных скотов, грязных свиней, готовых пить, воровать, гадить, где возможно...

Мы знаем, что дети Сталина, Молотова, Ворошилова никогда не были хапугами, пьяницами и предателями, как детки да зятки очередных «верных ленинцев». Бувайте здоровы.

От киевлян-читателей.

(Без подписей и обратного адреса.)

«...Я вот смотрю на своих дочек и с тревогой думаю, в каком обществе им жить? Правдивом, смелом, демократичном или нет? И могут ли они вырасти достойными гражданами своей родины, если не будут знать и понимать своей истории? Я хочу, чтобы они знали все — и великие победы, и трагические ошибки. Я не хочу, чтобы они выросли такими, как те 15—16-летние подростки, которые, не досмотрев фильма «Покаяние», уходили из зала равнодушными, или как те, которые досидели до конца фильма и потом комментировали его так: «Самые интересные кадры — это где она голая ходит...» Мне страшно за них, но я их не обвиняю, я обвиняю нас с вами, и прежде всего — вас! Именно вы несете ответственность за воспитание подрастающего поколения, поскольку имеете возможность влиять на ум и чувства миллионов... Впервые за много лет журнальная публикация взволновала...

Ленинград

Сенников Николай Михайлович.

«С большим негодованием мы встретили публикацию в журнале «Знамя» поэмы «По праву памяти» А. Твардовского...

После войны я стал кремлевским курсантом, затем служба в прославленной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Здесь я впервые в парадном расчете вступил на Красную площадь и впер-

вые увидел И. В. Сталина. Особую заботу и радость доставляла служба по охране правительства и по обеспечению праздников на Красной площади. Нам пришлось пережить и много тревожных дней при похоронах видных деятелей партии и правительства, особенно при похоронах И. В. Сталина.

...Изо дня в день, из года в год я слышал от вас, наши писатели, слова благодарности Сталину, постоянно звучали слова песен «Два сокола ясных вели разговоры» или «Золотыми буквами мы пишем всенародный Сталинский закон». Каждое утро мы начинали с прослушивания нашего гимна, в котором были слова: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». В строю мы пели популярные песни, в которых были такие слова: «Сталин и Мао слушают нас», «Артиллеристы, Сталин дал приказ», «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет», «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага».

...Мы за это время выросли настолько, что не доверяем вам и сами разберемся во всем.

г. Москва

Демин Иван Петрович».

«...Нам бы только уяснить, что стоит мучительной памяти о 37-х годах раствориться во времени, они в любую эпоху могут вернуться, медленно обволакивая нас парализующим ужасом. Я — Колесник Владимир Иванович. Мне 39 лет. Рабочий. Беспартийный. Женат, растут три сына. Да, в моем роду, насколько я знаю, пострадавших в годы культа нет, так что мое личное пристрастие исключается.

г. Херсон».

«Спасибо, уважаемые редакторы, за поэму Александра Трифоновича Твардовского «По праву памяти». Жаль, что нет его в живых! Это народный, уважаемый, любимый и после смерти поэт!..

г. Курган

Носкова Н. К.».

«Я и раньше любил Твардовского за хорошие, правдивые стихи, как «Василий Теркин» и «За далью — даль», но впервые опубликованная поэма «По праву памяти» поразила меня своей смелостью, настоящим патриотизмом... От правды никуда не скроешься, с каким бы лицом она ни была. Звучат пророческие

строки: «Но за всеобщего отца мы оказались все в ответе...» Все правильно.

г. Ярославль

Смирнов М.».

По отрывкам писем, которые приведены здесь, тем более по огромному множеству пришедших в редакцию, видно, где образовалась трещина, как прошел раскол общества. Но, может быть, раньше его не было? «Народ безмолвствует», и народ пригнетенно молчит, когда «обволакивает нас парализующим ужасом», — это не одно и то же. Полное единодушие, любил говорить Сталин, бывает только на кладбище. И добивался полного единодушия...

Обществу открылась картина зла, пока только самый краешек ее. Удивляться ли, что люди пишут главным образом не о пронзившей их силе и красоте поэзии, а о пронзительной силе правды?

У Достоевского есть рассуждение о том, что если бы после лиссабонского землетрясения, при котором столько погибло и столько разрушено, потрясенные жители вдруг бы прочли наутро на первой полосе газеты что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья...
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря! —

они в разоренном городе, возможно, казнили бы на площади своего знаменитого поэта, «...потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —

В дымных тучках пурпур розы

или

Отблеск янтаря,

но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни».

То, что творилось у нас не год, не десятилетия, с чем поколения рождались на свет и уходили из жизни, а «колыхания» все длились, и вдруг все забыть, как не было?.. «Прошу извинить за мое такое подробное письмо, но захотелось высказать кому-то свою душевную боль...»

Сколько у меня таких писем-исповедей, писем, в которых человеку нужно «высказать свою душевную боль». Да ведь литература наша и сама была исповедью, исповедью общества в самые мрачные времена. Не дай бог утратить эту, в такой мере присутствующую ей способность пробуждать ответный отклик в душах и сердцах людей.

Да, искусство должно быть и оставаться искусством: о человеке и для человека. Но выпало нам жить в эпоху войн и революций, когда умопомрачение охватывало целые народы и жизнь человеческая переставала что-либо значить. И это все забыть?

Но и года не пройдет, как настойчивей, все уверенней начнет утверждаться мысль: «Ну, слава богу, наконец-то искусство освободилось и занялось самим собою!» Освободилось от чего? От всего, что было и есть его душа, и боль, и совесть? Это все равно как если бы человека убеждали, что он свободен, поскольку освободился от обязанностей перед близкими, от тех обязанностей, которые и сделали его человеком.

Кто только и с чем только не шел в редакцию. Чаще, разумеется, — с рукописями. Однажды пришел, не скажу — литератор, но член Союза писателей. Так совпало, что года за два до этого, осенью мы одновременно оказались в Гаграх. Поблескивая смоченными слюной золотыми зубами, он подолгу рассказывал о том, каким крупным начальником был он на золотых приисках, не уточняя, кто добывал там золото. Из всех его рассказов запомнилось только, что конь под ним весил столько же, сколько весит язык кита. Вот он, не конь, разумеется, а этот автор, посетил нас. Явился он во всем параде: фуражка с высокой тульей, эдакая небольшая посадочная площадка для вертолетов, китель с золотыми галунами и шитьем, все это блестело и сияло. На старушку гардеробщицу, на Александру Яковлевну, она же и уборщица, она же у нас и чаем заведовала, произвел он сильное впечатление: адмирал. Таких «адмиралов», то есть завершивших свою служебную карьеру чиновников статских и военных, в Союзе писателей было немало. Само собой разумеющимся казалось им на покое стать писателем. И становились: бывшие дипломаты, генералы, армейские и неармейские, замминистры... Другой, возможно, поразмыслив, выбрал бы Союз композиторов: за каждую, даже в самом захудалом ресторане исполненную песенку капали деньги на текущий счет, да вот беда: нотной грамоте не обучены. И Союз композиторов был спасен. А в наш Союз этих нужных людей, в просторечии — «нужников», сохранивших немалые связи, принимали просто и как-то негласно, вроде бы с черного хода: не было до сего дня такого писателя, а вот он есть... И сидит передо мной. Разговор, конечно, не о рукописи, к ней он подойдет как к делу решенному, а пока вот что: «Та блондинка высокая, фигуристая, я замечал, вы в Гаграх тоже на нее глаз положили, — подмигнул, — вам, вижу, боль-

ше повезло...» И тут Александра Яковлевна, ослепленная блеском его золотого шитья, с почтением вносит чай на подносе...

Зато поэта Федора Сухова допустили ко мне не сразу. Выхожу к машинистке, сидит на стуле старец с посохом, ждет. Плащ на нем серый, заношенный, то ли плащ, то ли халат, небрит, но не так, как теперь модно, а просто двухдневная щетина с сединой отросла, сидит, бормочет стихи. Обнялись мы с ним, расцеловались.

В институтскую пору, в Переделкино, жили мы в общежитии в одной комнате, бывало не раз, едим из одной кастрюли, как на фронте из одного котелка, и когда покорно и благоговейно нес он ко рту ложку каши, всякий раз перед ней изумленно вздымал брови. А порядок мы там завели такой: не скандалить, не спорить. В комнате жило то ли четверо, то ли пятеро, но каждый волен был поступать так, как считал нужным. Например, захотел я спать, могу отвернуться носом к стене, а могу пойти и выключить общий свет. Но другому как раз читать хочется. Он идет и включает свет. Если не лень, я опять выключаю. Он опять включает: кому раньше надоест. Но — молча. Никаких споров.

Война каждого ударила по-своему. Федя, как мне казалось, так и не отошел от войны. А выпало ему воевать под моим родным Воронежем. Однажды он написал мне: «А я все живу...» Я это и по себе знал: война столько унесла молодыми, а нам выпала долгая вторая жизнь. Он жил отшельником, в деревне под Нижним Новгородом, присылал оттуда стихи, мы их печатали. Но однажды прислал записки: он прошел и проехал по местам былых боев. Хотелось мне их напечатать, но что сделаешь, если ни ему, ни журналу они славы никак не прибавили бы. И не скроешься за спину редколлегии: мол, я — за, но они все... Людям близким я должен был отказывать сам, всякий раз брать этот грех на душу.

Вот и с Вячеславом Леонидовичем Кондратьевым так получилось. Когда я пришел в «Знамя», там уже лежал его новый роман, уже был принят. Я прочел его. Портфель редакции был пуст. Но я высоко ценил Кондратьева, его поразительную повесть «Сашка». Не помню уже, сколько лет назад он принес мне ее домой в рукописи, не очень чисто отпечатанную, склеенную. В ней чувствовалось некоторое влияние художественных, ранних вещей Солженицына — «Матрены», «Ивана Денисовича», — но это была его, Кондратьева, война, такого Саш-

ки до него в литературе не было. Прочел я, и на душе праздник. Дал жене прочесть, рассказывал знакомым, какой появился удивительный писатель. Конечно, тут бы и отметить, тут бы те самые наши фронтовые сто грамм, но я знал: ему нельзя. Мы сидели вдвоем на кухне, ели винегрет с холодными котлетами, пили крепко заваренный чай. На склоне лет он сразу и ярко вошел в литературу, писал много — и прозу, и публицистику, замечательные были у него статьи, — шли фильмы по его книгам, ставили спектакли. Мы сблизились за эти годы, а ведь именно в ту пору время разделило многих, друзей сделало врагами. И вот я — редактор, и в редакции журнала лежит его роман, и уже принят, но как после «Сашки» его печатать? Если б чей-то, можно, зажмурясь. Но это Кондратьева роман. А как отказать? Я позвонил ему. Это был тяжелый разговор. Он сказал: «А мы вас так ждали...» Потом он запил и в таком состоянии звонил мне, кончилось тем, что я положил трубку. Года два, наверное, мы не встречались, хотя все это время оставались, так сказать, по одну сторону баррикады, я глубоко уважал его. А последний раз позвонил он мне за день до того, как уйти из жизни. Меня не было дома, он говорил с моей женой, я думаю, он прощался, и то хорошее, что было у него на душе, он не хотел унести с собой, не высказав.

В том, как приняли «адмирала» в блеске галунов и как не решались допустить ко мне Федю Сухова, был дух редакции, дух чиновничества, который впитали эти стены. И даже водитель редакционной машины Александр Дмитриевич Трапезников с первых дней пытался обратить меня в здешнюю веру. Как бы к моей выгоде он рассказывал, что вообще-то раньше он ни по каким редакционным делам не ездил, он возил Главного. Привез с дачи, и стоит машина под балконом на улице, а он тем временем чай пьет. Потом домой отвозит или, если надо, в ЦК...

Был Александр Дмитриевич роста малого, ботинок, которым давил на газ, примерно так тридцать девятого размера, руки маленькие и не очень умелые. Про такие говорят: не в одну пятницу куплены. Но — точен: скажешь время — прибудет минута в минуту. А раньше работал он на самосвале. Бывало, въезжает в ворота гаража самосвал без водителя, все знают, это Александр Дмитриевич едет — в высокой кабине кепку его не видать с земли.

От физической своей малости чувствовал он себя в жизни незащищенным, потому, наверное, пытался хитрить, только хитрость его неумелая насквозь была видна. И по-детски выговаривал не «сейчас», а «сяс» и почему-то «тормозит» вместо «тормозит». Возвращались мы с ним как-то в редакцию, свернули с улицы Чехова, от кинотеатра «Россия», к площади Пушкина, и вижу, у самой бровки тротуара, отталкиваясь утюжками, гремит подшипниками по асфальту инвалид без ног, пристегнутый к деревянной площадке. Мы одновременно глянули друг на друга: он — снизу, я — с высоты сиденья через стекло. Примерно моих лет, только судьба у нас разная: я — в машине, и ноги мои при мне, а его ноги остались на каком-то из полей войны.

— Александр Дмитриевич, давайте подвезем его, — не столько приказал, а скорей уж попросил от внутренней неловкости: люди с троллейбусной остановки будут смотреть, как мы под мышки подымаем его, втягиваем в машину. Да и послать он нас может, таких благодетелей.

Не слышит Александр Дмитриевич, не «тормозит». Я — строже:

— Александр Дмитриевич!

И он, такой осторожный в езде, вдруг — по газам, проскочил в последний момент под замигавшим светофором, и два потока машин, хлынувших через площадь сверху и снизу, разделили нас: инвалид остался по ту сторону, а мы уже подкатывали под балкон редакции. «Да что, Григорий Яковлевич, всех не перевозишь. И чехлы после него надо чистить...»

Между прочим, году в 77-м, задолго до начавшейся у нас перестройки, переводили в тогдашней ГДР мой роман «Друзья», и была там как раз такая сцена: в весенний праздничный день среди гуляющих по улице людей грохочет на подшипниках инвалид без ног, отталкиваясь от тротуара деревянными утюжками. Издатель и переводчик, стесняясь несколько, спросили меня, нельзя ли эту сцену вычеркнуть. Или пересадить инвалида на коляску: у них такое не встретишь. И вот год 87-й, центр Москвы, четыре с лишним десятилетия минуло с тех пор, как кончилась война, и — «после него чехлы надо чистить...»

Кто знает, как сложилась бы дальше судьба Александра Дмитриевича, но года через два он нашел себе место спокойней и легче: в той редакции работать надо было полторы сме-

ны, но через день. И вот как-то зимой выехал он из гаража на черной «Волге», и больше никто его не видел. Искать его было некому, был он одинок, хотя какая-то родня вроде бы имела. Милиция же брать на себя лишнее дело не торопится. Весной, когда стаял снег, обнаружили в лесочке, недалеко от шоссе, его останки. По зубному протезу, который делали ему в поликлинике «Правды», опознали. Кому-то понадобилась его машина, а он был такой слабый и маленький.

С первых дней своего пребывания в редакции я взял за правило: фронтовиков, то есть участников войны, принимать обязательно, и на письма фронтовиков я отвечал собственноручно. Помните песню эту: «Брала русская бригада / Галицийские поля, / И достались мне в награду / Два дубовых костыля. / Ворочусь в село родное, / Поселюсь на стороне, / Ветер воет, ноги ноют, / Будто вновь они при мне...»

Песня эта, если не ошибаюсь, времен Первой мировой войны. Потом — гражданская, а еще бесславный поход Тухачевского на Варшаву, да на Дальнем Востоке заварушка с китайцами, про которую сегодня уже забыто, сражалась там наша ОКДВА — Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия, Блюхер командовал ею. Тоже были и убитые, и раненые, и искалеченные. Кто помнит про них? Да Халхин-Гол. А Финская война. Только в Финляндии (подумать — в Финляндии только!) стоит памятник нашим воинам, а у нас постеснялись поставить, война-то постыдная, всему миру показали тогда, как мы умеем воевать. И где же наши пленные той войны? Финны отпустили их, а мы каким-то северным путем погнали их всех в лагерь, чтобы страна ничего не знала, не ведала, всю вину и весь позор той войны спихнули на них. Да еще так называемый освободительный поход в Западную Украину, в Западную Белоруссию, когда по тайному договору с Гитлером разодрали Польшу на части. И тоже остались калеки, только уж про них вовсе некогда было думать: грянула Отечественная война. Цвет нации остался на полях Отечественной войны. Сколько миллионов? Это вряд ли когда-нибудь узнается. В стране, где счет на миллионы, одна человеческая жизнь ничего не значит. Было — семь миллионов, так Сталин определил, мол, семь миллионов наши потери. Чем дальше от войны, тем смелей становились в подсчетах: при Брежневе уже называли цифру двадцать миллионов. Теперь к тридцати прибли-

зились. Ну, а сами-то победители, те, кто с войны вернулся, им какой почет? Вначале за боевые ордена платили орденские деньги. На фронте тому, кто из противотанкового ружья подбил немецкий танк, давали орден Отечественной войны. Вот за него после войны платили то ли пятнадцать, то ли двадцать рублей в месяц, не упомяну уже. Что они значили? А вот что. Одноклассница и подруга моей сестры в Воронеже, Тоня Мельчикова, погибла на фронте. И брат ее погиб. Так за них, за двоих, за сына и дочь, погибших за родину, получала мать пенсию: тринадцать рублей.

Однако велики ли, малы орденские, вскоре их платить перестали. Деньги деньгами, но если разобраться, если подумать, так это ведь чести лишили: такой вам и почет. Да кто слово мог сказать, кто бы осмелился? Война кончилась, страна вновь примолкла, пригнулась под сталинской пятой, теперь он не скликал, как в гибельный час: «Братья и сестры!..» Теперь за кровь пролитую, за жертвы немыслимые, за подвиг всенародный полагалось славить и славить его одного, ему бить поклоны и возносить хвалу, все, что народ совершил, верноподданно повергнуть к его стопам, как повергли вражеские знамена.

Ну а инвалиды? Самых изувеченных упрятали с глаз долой, так что и родные не знали о них. А те, кто работать мог... Я тоже вернулся с войны инвалидом третьей группы. И вот каждые полгода переосвидетельствование: не пора ли тебя пенсии лишить? У меня нерв перебит в локте, рука искалечена, но все же она есть. А у него полруки отнято. Спросят, бывало, пока очереди дождаемся: ну, как рука? Да отрастает помаленьку... Три раза приходил я на освидетельствование, а потом стыдно стало, больше не смог, невозможно было видеть, как из дверей медкомиссии выходят растерянные, приниженные люди: выпихнули в жизнь, здоров, живи как знаешь, отныне увечья твои увечьями не считаются...

Правда, еще такое отличие оставалось для фронтовиков: каждому выдана была красная книжечка с талонами. По ним раз в год бесплатно полагался билет первого класса на поезд, на паром. И вот однажды, поверивши, пошел я на вокзал. «Чего-о? — сказали мне. — В общую очередь! Какие останутся...» Так и хранится у меня с тех пор та памятная книжечка со всем набором нетронутых талонов. Спустя много лет эту льготу все же восстановили. А под конец брежневской эры для участ-

ников войны сделали даже отдельную кассу на вокзалах. И вот как это выглядело: для обычных пассажиров на каждое направление — своя касса. Для фронтовиков особая, на все направления одна. Те очереди быстро движутся: есть, нет билетов, у кассира все перед глазами; в особой этой кассе, где стоят одни старики, самому молодому участнику войны в ту пору уже за шестьдесят перевалило, в этой кассе каждый раз надо запрашивать да ответа ждать, и очередь не движется, стоит. Стал и я в хвост. Меня предупредили: тут по семь часов ждут. Не поверилось. Семь с половиной часов простоял я в той очереди. За все это время ни один человек не получил билета в мягкий вагон, даже в купейный. Либо — нет вовсе (это после семи с лишним часов стояния!), либо — в общий. Мне с женой дали билеты в общий вагон, на боковые полки: на верхнюю и на нижнюю. Я взял и отправил их в подарок министру путей сообщения: мы, надо полагать, примерно одних лет, писал я ему в «Литературной газете», если вы считаете, что мне или моей жене удобно взлезать на верхнюю боковую полку, то и вашей жене, и вам будет так же удобно. Полезайте и поезжайте бесплатно. Дарю.

С перепуту мне дважды вернули деньги за билеты, пришлось обратно отсылать. Но я хотя бы мог написать в газете, ослабить. А другому оставалось утереться и, отдышавшись от обиды, принять валидол. И сколько тех обид, и больших и малых, накопилось за жизнь, сколько по стране никому не нужных, и людьми, и богом забытых калек, это не счесть, счет им потерян. «Брала русская бригада / Галицийские поля, / И достались мне в награду / Два дубовых костыля...» Так было в России и раньше, так есть, но того, что в сталинскую пору выпало, этого еще не знали. И когда сегодня самые оголтелые несут на палках над собой его усатые портреты и орут, как не вспомнить: «Люди холопского звания / Сущие псы иногда, / Чем тяжелей наказание, / Тем им милей господа...» Впрочем, не исключаю, что в большинстве своем это те, кто на войне был далеко от передовой, там, где не война, а мать родна. Либо в обязанность их входило писать политдонесения. А еще ведь и заградотряды были, в спину своим стрелять, в них тоже служило немало.

Однажды получил я письмо от пожилой женщины: младший брат ее, студент третьего курса института, добровольцем ушел

на фронт, танкист, провоевал всю войну, был ранен, награжден двумя боевыми орденами. Под Берлином в бою, будучи уже старшим лейтенантом, пропал без вести. И вот, сколько ни писала она в совет ветеранов института, откуда он уходил на войну, сколько ни обращалась к ним, не хотят, чтобы его имя было на мемориальной доске: а может, он к немцам перебежал, откуда мы знаем? Написал я им официальное письмо. И на бланке получил официальный ответ: все то же, нам, мол, неизвестно, где, как, при каких обстоятельствах имярек пропал без вести и «где находится в настоящий момент». Вот она, в плоть и в кровь ввевшаяся сталинская наука: каждый каждого должен подозревать, нет таких, чтоб не находились под подозрением. Рано утром, может, даже с постели подняв, позвонил я председателю этого совета ветеранов домой: «Вам не стыдно?» Те же заученные слова в ответ. «Вы кем были на фронте?» — спросил я. «Начальник боепитания». — «Ах ты, вошь тыловая!» — «Я подвергался опасности!» — взвизгнул он. Эта его фраза особенно меня умилила. И уж тут я отвел душу, как бывало на фронте. Положил трубку, а рука дрожит.

К тому времени, когда я приехал в журнал, он уже звонил секретарю редакции Марине Валерьевне: могло это быть, что ваш редактор звонил мне сегодня? Что и как они там решали на своем совете ветеранов (на бланке и «совет», и «председатель» — все с большой буквы), не знаю. Но вскоре я был официально уведомлен: имя старшего лейтенанта занесено на мемориальную доску, однако они все же «вынуждены приписать: пропал без вести».

Был вечер в Останкинской телестудии. Пользуясь случаем, обратился я к телезрителям: у кого сохранились письма с фронта, пришлите, мы напечатаем. Присылали. Но как мало. А ведь это, быть может, последнее, что оставалось от человека, последнее слово его, завет остававшимся жить. Да сам почерк родной, его рукой писано. Это должно храниться, переходить от детей к внукам, к правнукам. Должно. Да мало сохранилось.

Но когда по частям утрачивается то, чему нет цены, может ли народ сохранить полное нравственное осознание своей сущности? А ведь именно литература, по словам Толстого, «литература народа есть полное всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к доб-

ру, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития».

Вот он пишет в романе «Война и мир»: «Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтоб ее не остановили по приказанию графа Ростопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию».

Я читал записки такой барыни, может быть, даже той самой, не поименованной. Они уцелели, их сохранили, издали, хотя ничего вроде бы осмысленного они собой не представляют: дорожные неудобства, разные мелкие беды, меньше всего в них размышлений о войне, о Бонапарте. Но в них воздух того времени, та подлинность, без которой литературы нет, и без них, без всего этого богатства, может быть, что-то и потерял бы великий, не знающий себе равных роман.

А заветной моей мечтой было устроить в Подмосковье хоть небольшой госпиталь для инвалидов войны, для одиноких: последнее их прибежище. Можно было это сделать, наш журнал был в то время прибыльным. Четырнадцать миллионов — немалые деньги по тем временам, для начала вполне годилось. И хотя нам они не принадлежали, оседали в издательстве «Правда», я поговорил с Кручиной, могущественный был человек, управляющий делами ЦК КПСС. Можно найти подходящий дом в Подмосковье, отремонтировать, достроить, если потребуется, объявить подписку на благое дело. Словом, был целый ряд соображений, далеко не беспочвенных. Кручина обещал поддержать, не только не отбирать эти деньги, но и добавить к ним. Добром вспоминаю его, Николая Ефимовича Кручину. Случалось, позвонил ему, не застал. Утром, в половине девятого, отзванивает мне домой: «Вот у меня записка на столе: вы звонили». Просьбами я не обременял его, но иногда для журнала что-то требовалось. И как-то раз у себя в кабинете он сказал мне: «Если б вы себе на штаны просили, не дал бы. А ко мне все с такими просьбами обращаются. Вот только что... Бывший министр. На пенсии. Его обслуживает «Волга». Звонит, просит, чтоб «Чайку» прикрепили: семья, мол, большая...»

Когда завершился путч ГКЧП, Кручина выбросился из окна. Сам ли он на это решился, вряд ли когда-нибудь станет

известно. Он многое знал. Ему ведомо было тайное тайных: деньги партии.

Расскажу в завершение о трех посещениях, одно из них анекдотическое. Сегодня уже редко приходят в литературные журналы искать заступничества, многое изменилось в обществе, в том числе — и роль, и вес журналов. А тогда, что ни день, кто-нибудь идет со своей бедой. Как-то пришли врачи-онкологи, целая делегация. Всесильный в ту пору Блохин решил закрыть их лабораторию. И по бумагам, которые они принесли с собой, по рассказам их, да и по лицам этих людей вижу: помочь бы надо. Но как? И что я могу обещать? Позвонил я редактору «Комсомольской правды», он послал толкового корреспондента разобраться, что на самом деле происходит, и появилась в газете большая статья. Ну, и слава богу. Я уже забывать стал об этом за другими делами, вдруг приходят они же с огромным букетом роз. И до того повергли меня в смущение, что я даже имен их не записал. И вот что удивительно по нынешним временам: никакой «четвертой властью» пресса тогда не была. Но одна статья в газете решила дело.

Врачи пришли в наш журнал, скажем так, не случайно, читали его. А вот почему та женщина из Рыбинска приехала к нам, не знаю, хотя с такими, как у нее, бедами шли особенно часто. Сын — шофер, молодой парень. Левый рейс. Ехали они вдвоем с приятелем. Ночь. На шоссе будто бы с потушенными стоп-сигналами стояла военная машина. Врезались. Двоих солдат — насмерть. Их жалко, и у них матери. Но срок дали — пятнадцать лет. Через десять лет тюремной, лагерной жизни в наших условиях наступают необратимые изменения, кем же он выйдет оттуда через пятнадцать лет?

Это было долгое дело, советовался с адвокатами, писал в прокуратуру. Кончилось тем, что суд пересмотрел свое решение, пять лет парню скинули. И вот приезжает эта женщина снова, ждала у дверей редакции, меня в тот день не было. Через несколько дней приехала вновь. У меня сидел один из членов редколлегии, она хотела переждать его. Но я сказал, чтоб заходила. Вижу — мнется, явно хочет остаться с глазу на глаз. Я уже чувствую, в чем дело: «Говорите, у нас тут секретов нет». Потянулась к своей сумке на полу: «Я вот хотела... Может, кого надо поблагодарить... Чтоб еще раз пересмотрели...» Мать есть мать, она на что угодно решится, чтобы спасти

сына. Заплакала. Достала его письмо. Из лагерей. Она с ним советовалась, и он запретил ей идти с деньгами, писал: «тебе по-человечески сделали». Это она уже в оправдание дала мне прочесть. И подумалось, может, парень не пропал еще.

Но эти три пришли в редакцию, как с базара, расторговавшись. Они уже везде побывали, где только можно. И, видимо, так получилось: шли по улице, скорей всего — в ГУМ, увидели нашу табличку: «Журнал “Знамя”». Решили и сюда зайти, попытать счастья: они приехали в Москву за сынов ходатайствовать. Бойкие, шумные, говорили в три голоса, но громче всех — немолодая, крашенная, во рту стальные зубы, один выпал, как пуля из гнезда. Сыновья их, все трое, сидели за групповое изнасилование, ждали суда. «Она сама их изнасиловала!» — «Всех троих сразу?» — «Ага! На пустыре. У нас там пустырь есть, как идти ночью...»

Я попросил их оставить заявление, меня уже научили, как поступать в таких случаях. И вот думаю: многие писатели забудутся. Но Гоголь... Гоголь в России бессмертен.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...

Когда меня назначили, у редакции и помещения своего не было. Ну, не так чтоб совсем не было, не на улице же мы сидели. Был дом двухэтажный в центре, окнами на Тверской бульвар. На втором этаже — большой кабинет главного редактора. Два кабинета поменьше — двух замов. Проходная комната с балконом — для ответственного секретаря. Дальше — хуже. В приемной, проще сказать — предбаннике, за одним столом — секретарь редакции Марина Сотникова; к концу рабочего дня на ее столе выросли такие стопы больших редакционных конвертов, что ее самое за ними видно не было. Здесь же грохотала на старинной пишущей машинке машинистка, тут же и учетчица писем, и курьер — все друг у друга на голове, а еще и посетитель сидит, ждет, поджав под стул ноги: все об него спотыкаются. И поскольку стул один, остальные посетители и авторы курят на лестничной площадке. Это — второй этаж. А на первом, в отделе прозы, — три стола, за ними зимой сидят в шубах, холод гуляет по ногам. И дверь открывать надо не рывком: напротив дверь туалета под лестницей. Когда распахивались одновременно обе двери, уходили после такой встречи, опустив глаза. Да и зашибить можно было невзначай.

Как-то пришла американская делегация, в кабинет подали кипящий самовар (первые месяцы моей зарплаты как раз хватало на то, чтобы принимать иностранные делегации, они зачастили к нам), побеседовали, попили чаю с чем, как говорится, бог послал, пошел я их провожать, и вот тут набрался стыда. Чай, видимо, свое действие оказывал, выстроились американцы в очередь под лестницей к той самой заветной двери в туалет, а дверь-то фанерная, закрывается на крючок, согнутый из проволоки, за ней и мысль слышна.

Но даже в этом здании с его «удобствами» мы были жильцы временные, принадлежало оно Литературному институту, в любой момент нас могли отсюда попросить. Почему мои предше-

ственники, люди государственные, располагавшие широкими возможностями, ничего не предпринимали, сказать не берусь. Возможно, потому, что кабинет главного редактора был хорош, просторен, вид из огромного окна и с балкона замечательный: липы, Тверской бульвар, Пушкинская площадь рядом. Жалко было отсюда уходить, да делать нечего. Я попросил знакомых архитекторов разузнать, где что есть подходящее, лучше бы всего — небольшой особняк.

В 1987 году мы дали издательству «Правда» многомиллионную прибыль, а доллар тогда, как считалось официально, равнялся то ли 62, то ли 67 копейкам. Да еще мы начали издавать библиотеку «Знамени»: десять книг в год. Тираж доходил до полумиллиона. В основном это была военная проза. И начали библиотеку, разумеется, «Севастопольскими рассказами» Льва Толстого. Следом — «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Это было первое издание его книги с тех пор, как его, солдата Отечественной войны, героя Сталинграда, гордость нашей литературы, изгнали из страны. Да еще и медаль «За оборону Сталинграда» хотели не пропустить на таможне. Но он прикрепил ее к своей книге «В окопах Сталинграда» и так нес перед собой. Не посмели.

Все лучшее, что отобрало время, мы издали в этой библиотеке. Не раз мой заместитель В. П. Гербачевский включал в план и мои книги, но я — главный редактор журнала и в знаменской библиотеке не считал возможным издавать свою вещь. Принцип мой был прост: не журнал для меня, а я для журнала, раз я здесь и должность эту принял. И хотя вся наша немалая по тем временам прибыль уходила в издательство, оттуда — в ЦК КПСС, как в бездонную яму (не одно нынешнее баснословное состояние и не один банк взошли на партийных деньгах, как на дрожжах), я не сомневался: будет помещение, ремонт нам сделают и мебель дадут.

И вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Зимой, в сильный мороз, Владимир Яковлевич Лакшин, уходя, забыл закрыть форточку. Эта ли причина была главной или время пришло, но батарею под окном разорвало, говорили — разморозило. И всю ночь хлестала горячая вода. Залило второй этаж, на первом обвалилась штукатурка. Потолок там срочно подперли деревянными щитами, щиты — неошкуренными бревнами, мокрая кора лохмотьями свисала с

них. И все отделы — и прозы, и поэзии, и критики — переселились в мой кабинет.

А между тем составила уже очередь корреспондентов различных зарубежных изданий, которых я обещал принять. Оперативней всех были японцы: не успеет выйти номер журнала, они уже переводят из него что-либо, чаще — публицистику. Но с улицы дверь открывалась в журнал как в шахту: крепежные стойки, на голову капает, под ногами, под настилом хлюпает. И корреспондента «Асахи» я принимал в ресторане ЦДЛ. Заказывая обед (корреспондентка была миловидна, довольно молодая, хотя японки обычно выглядят моложе своих лет), спросил: какого она хочет вина? Или — водки? Мне перевели дословно: «Можете взять водки». То есть она мне разрешала... Я отнес это за счет перевода. Но когда закончилось интервью и мы пообедали, платить пошла она. Разумеется, сделать этого я ей не дал.

Но вскоре стало известно: берут наши. И у японцев, которые считали нужным платить, поскольку отняли время, и не у японцев. Берут чиновники за то, что допустят взять интервью у шефа. И есть такса, и себя при этом не обижают. Впрочем, «шефы», как бы не ведая, брали и раньше. Например, появляется в газете выступление ответственного чиновника. Себя он, разумеется, утруждать не стал: прислали корреспондента, побеседовали под магнитофон, а то и не беседуют, и, только визируя, узнает высокое лицо, какие, оказывается, были у него дельные мысли. И в зависимости от ранга следовал повышенный гонорар: не корреспонденту, разумеется. Организовывал все помощник, «шеф» рук не пачкал, подробностями не интересовался, деньги сами ложились к деньгам. Но тогда брали у своих, у подъяремных. Да что о чиновниках говорить, знал я известных литераторов, секретарей Союза, за которых писали их выступления в газете, а они гонораром не брезговали. Но теперь у иностранцев наловчились брать, нашли доходный промысел. Корреспондент лондонской газеты рассказывал мне, какова такса в одной так называемой патриотической газете: за интервью, взятое у редактора, — столько-то долларов, у замредактора — столько-то.

Японского посла я принимал все там же, в ресторане ЦДЛ. Ответно пригласил он меня в Хаммеровский центр, в японский ресторан. Он довольно хорошо говорил по-русски, так что беседовали мы вдвоем, но нет сомнения, что все это записывалось.

Я был однажды в Японии. Поразительная страна. Но вот возвращаемся домой, и, пока самолет набирал высоту, все дальше открывалось, как от тесноты страна уже вылезла в море: корабли, корабли, корабли... А потом под нами — и час, и два — пустынная планета: Сибирь. Складки хребтов, ренский на севере лес. Знаменитая сибирская тайга южной, еще южной — Китай, население которого давно перевалило за миллиард. И каждый год прирастает столько же, сколько всего народу живет в Сибири. И — теснящаяся на островах Япония с ее техникой, тончайшей электроникой, страна, которая завалила товарами весь мир и продает не достояние детей своих и внуков, не нефть, не газ, не золото и алмазы, не грабит будущие поколения, лишь бы день прожить, а продает труд, который возобновляется вновь и вновь.

И под гул моторов, повиснув над полупустым простором, так мало заселенным, где сокрыты несметные богатства, думалось о том, что ждет нас. Долго мне виделись эти марсианские пустынные пространства Сибири под крылом самолета, видятся и теперь.

Интерес иностранцев к журналу в какой-то степени помог мне получить новое помещение. Еще в прошлом веке маркиз де Кюстин отмечал: в России очень чувствительны к мнению иностранцев. А тут в центре Москвы в таком убожестве такой журнал... И как раз на Никольской (в то время — улице 25 Октября) освободился целый этаж: выехала «Строительная газета». Конечно, хорошо бы особнячок отдельный, но это — журавль в небе. Отправил я туда чуть ли не всю редакцию: смотрите, решайте. Поехали, поехали: почти каждому выходит по комнате. Да еще зал огромный. Переезжать, переезжать! И начался ремонт. А ремонт у нас всегда приравнивали к малому землетрясению.

Помня ту очередь американцев под лестницей, я поставил неперемное условие: должно быть два женских туалета, два мужских, кафель, зеркала, сушилки для рук — короче, чтоб все сверкало. Но здание старинное, стены метровой толщины, пробивали их что-то больше месяца: на две стройки был один отбойный молоток. То мы у них отберем, то они у нас отбирают. Ну и, само собой, где-то по дороге ему еще работа находится, не без этого же. Вот так, помню, на съемках фильма по моему сценарию плотник сколачивает декорации, два других, задрав головы, стоят внизу, смотрят, Режиссер Кира Муратов-

ва, в ту пору еще не знаменитая, увидела, накинулась на них: «А вы что стоите?» — «Так молоток же один...»

Но долго ли, коротко, а настал тот день, когда ремонт закончился и мы переехали. «Тогда считать мы стали раны...» Что смогли строители утешить, утащили, что сумели недоделать, недоделали. Имея кое-какой опыт, я сказал: прежде всех дел перекрыть крышу и сменить паровое отопление, этим батареям уже сто лет. Следили неуклонно два человека от редакции, в том числе — один из замов. Когда все обшили деревянными панелями, постелили ковролин, выяснилось — батареи не меняли: «А чего их менять, они — годные...» Не одну зиму помучились мы с отоплением: то одна сторона не греет, исправят здесь, другая сторона ледяная. И идут кланяться сантехнику, а он, как полагается, с утра уже принял. И в первые же осенние дожди закапало с потолка, полезли латать крышу: ее так и не перекрыли, характер у моего заместителя оказался мягкий.

Теперь и сюда зачастили иностранные делегации: через две арки, через два двора, весьма грязных, и дальше на третий этаж, пешком вверх по лестнице, ступени которой были стерты еще в прошлом веке. Да хорошо, если сухая погода, а в дождь разливалась под одной из арок такая лужа, какую Гоголь и в Миргороде не видывал. Через нее либо вброд пешком, неся туфли в руке, либо машиной переправляться. И превращался наш водитель на время в паромщика: насажав полную машину, партия за партией перевозил всю редакцию с одного берега на другой, то есть из двора во двор.

Однажды позвонили из ЦК, из отдела культуры: срочно надо принять высокую западногерманскую делегацию: Ганс Й. Фогель, Эгон Бар, еще кто-то, еще. И все это — в 11 утра.

Я знал старинный анекдот про то, как Савва Морозов, прогуляв ночь, поехал под утро освежаться в кабаке, и подана была водка, селедка... А в это самое время некий поручик праздновал там свое производство, хлопали пробки, лилось шампанское... И позволил себе поручик пошутить по поводу водки с селедкой. Савва Морозов позвал кучера, велел налить ведро шампанского, отнести рысаку. Вскоре кучер вернулся, докладывает: «Они не пьют-с...» — «Какой же дурак, — громко, чтоб слышно было, сказал Савва Морозов, — какой дурак станет с утра шампанское пить?»

Понадеялся я, что немцы этого анекдота не знают, и решено было встретить их шампанским, объяснив, что сами мы

обычно не начинаем так день, но ради столь высоких гостей... И пока я вел делегацию вверх по лестнице на третий этаж, рассказывал, какое сильное впечатление произвела на меня речь Фогеля, которую я слышал в Бонне незадолго до его приезда сюда. Врал, конечно, не сомневаясь, что поверит, похвалам верят охотно. Показалась мне его речь цветистой, как оперение самца, не зря же он — Фогель, что в переводе с немецкого — птица. Но эта «птица» соперничала тогда с канцлером Колем: то ли собиралась, то ли уже выставила свою кандидатуру на предстоящих выборах. Все топали вверх, поглядывая, далеко ли еще, а он, восприняв похвалу как должное, шел сияющий.

Могу свидетельствовать: с утра шампанское бьет в голову. Прием прошел весело и шумно, о чем говорилось — не помню, и вряд ли немцы поняли толком, куда и зачем их привозили. Кем-то где-то, как всегда у нас, ставилась «галочка». А в это самое время по планам другого отдела ЦК, отдела агитации, должны были привезти их в «Новый мир», там ждали, звонили, искали. Позвонили в Союз писателей, оттуда на всякий случай позвонили нам...

«ХВАТИТ НАМ СОБАЧАТИНЫ!»

Если бы нужно было назвать, ну, например, пять лучших повестей XX века, я бы сказал, что одна из них — «Собачье сердце» Булгакова. Книгу эту, пророческую, о пришествии вселенского хама, писал Булгаков с отвагой и весельем в сердце и, может быть, не раз сам себе радовался: ай, Мишка, ай, молодец!..

Я прикинул по своей жизни: мне было два года, когда Булгаков написал свою повесть. И вот мне шестьдесят четвертый пошел, и давно нет на свете Булгакова, а повесть его все еще не издана у нас, на его родине, не прочитана теми, для кого он писал, редким удалось это, из рук в руки тайно передавая. И как-то на совещании у Лигачева (ну, не странно ли, когда вспоминаешь эти ушедшие в небытие имена, что одно слово, им сказанное, решало судьбы и людей, и книг? Нет, не странно. Это еще не прошлое наше: одни ушли, но сколько изготовилось сменить их, ждут своего часа), так вот, на совещании у Лигачева, а посмотреть — шли туда будто повышенные в ранге, готовые служить, на каждом — незримый знак отличия: ты приглашен, так вот там, на этом совещании, раздалось гневно: «Хватит нам собачатины!» Это один из секретарей Союза писателей, предугадывая начальственную мысль, не сдержал благородный гнев. И это был выстрел дуплетом: и в «Собачье сердце» Булгакова, и в «Верного Руслана» Георгия Владимова. Обе эти повести я намерен был печатать, хотя о Владимове появилась огромная статья в «Литературной газете», где представили его фактически агентом ЦРУ. Я снесся с ним окольными путями, получил от него письменное подтверждение, что он разрешает печатать его повесть в «Знамени». И вот теперь, на этом совещании, лишний раз убедился: действовать надо осторожно, не торопясь, но и времени не упуская. Один журнал уже попробовал было, довел повесть Булгакова до верстки, и тем дело кончилось. Решимости не хватило? Не знаю. А мы пока что, как бы ничего этого не зная, не ведая, запустили «Собачье сердце» в набор. И начались мои бе-

седы с заведующим отделом агитации ЦК: для цензуры слово этого отдела было решающим.

Не помню, чей юбилей отмечался в ресторане «Прага», были приглашены туда и мы с женой. Выходим из метро, вот уже — «Прага», только дорогу перейти, и вижу: длинная фигура, сторонящаяся людей, бледное лицо под черной шляпой, поля опущены на лоб и на уши, движется по старому Арбату, явно стараясь быть неузнанным. Я показал на него жене: это и был тот самый заведующий отделом агитации, с которым я вел переговоры. И шел он не случайно: на каком-то очередном совещании все тот же Лигачев возмутился громогласно: во что превратили старый Арбат!.. И он шел проверить, лично удостовериться. Но — инкогнито. А кто бы, спрашивается, узнал здесь его, кабинетного сидельца, хоть под шляпой, хоть без шляпы вовсе, кто знал его?

Вот с ним периодически и вел я переговоры, а тем временем повесть набирали в типографии, вычитывали гранки, вот-вот верстка должна быть, а все еще ни «да», ни «нет» не сказано. И думалось другой раз, глядя на него, уже облысевшего на службе: ты ведь моложе меня всего на год, у меня разведчик был 25-го года рождения, Обухов, кубанский казак, хорошо воевал. Что же тебя там не было, когда война шла? А теперь защищаешь народ наш от... Булгакова. Да нет, не народ, себя защищал в кресле.

Но когда сегодня, спустя десять лет, читаешь стенограмму подлитбюро тех времен, как не пожалеть и его тоже? Вроде бы и гласность объявлена, а вот что говорится в своем кругу, когда речь зашла о литературе, о телевидении:

Горбачев: «Зачем нам предоставлять трибуну для всякой падали? А уж если предоставлять ей трибуну, то надо подобрать таких людей, которые могут отвечать на любые вопросы с наших, советских, партийных позиций... Здесь нужна хорошо взвешенная порция, если можно так сказать, советского шовинизма...»

И Громыко, прозванный за границей «Господин Нет», а в здешних кулуарах — Андрушей — за неистребимый свой выговор, — тут как тут: «Я согласен, что, видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом. Но нельзя же, как это теперь делается, превращать их в иконы... Ленин вообще умел работать с интеллигенцией, и нам надо у него учиться. Можно напомнить, как, например, мудро Ленин учил Горького, доказывая ему, что мы не можем быть добренькими. Тут сомневаться нечего».

Ленин умел, Ленин мудро учил. Ленин писал Горькому: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитализма, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно...» И — пароход, на котором он выслав из страны цвет российской интеллигенции. Да это еще хорошо, не потопили тот пароход в открытом море, как Сталин потопил баржу с белыми офицерами в Волге.

Как же после всего этого малой сошке, заведующему отделом, решиться? На его должности требовался и абсолютный слух, и абсолютный нюх. Шаг в сторону — и лишен всех благ. И кто он тогда?

Мы объявили: в шестом, в июньском, номере журнала «Знамя» читайте «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Одним словом, поставили перед фактом. А гласность и запрет, о котором сразу же станет широко известно, вроде бы вещи несовместные. Я написал главному цензору, то есть начальнику Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР, что, в соответствии с объявленным принципом самостоятельности редакторов, принимаю на себя полную ответственность за эту публикацию и прошу не задерживать подписание номера.

И посыпались звонки: в редакцию, ко мне домой. Звонили с «Ленфильма»: вам разрешили? Я отвечал: «Ждем запрета. А пока печатаем». Там, на «Ленфильме», уже готов был сценарий, ждали сигнала, чтобы сразу же запустить фильм. Какой прекрасный фильм получился в дальнейшем! Профессор Преображенский — одна из самых блестящих ролей Евстигнеева. А каков Шариков!

И из московского ТЮЗа звонили нам: разрешено? Там тоже готовили постановку. Вот так, не разрешенная и не запрещенная, повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» была напечатана в июньском номере журнала «Знамя». Впервые. В 1987 году, через шестьдесят два года после того, как она была написана.

Этот номер журнала шел нарасхват. Сколько знакомых, полужанкомых, вовсе не знакомых людей звонили, просили журнал, присылали курьеров. Дочь нашей приятельницы стояла в метро на станции «Маяковская», у нее назначена была встреча, и посторонний человек, увидев у нее в руках этот номер журнала, стал предлагать за него любые деньги.

А тем временем в редакцию шли и такие письма:

«В 1982 году по моему указанию было снято три копии с повести «Собачье сердце» М. Булгакова. За это Мордовский обком

КПСС объявил мне строгий выговор с занесением в учетную карточку с формулировкой «за тиражирование политически вредной литературы» и освободил меня от работы. В январе с. г. (то есть в январе 1987 года!) обратился в парткомиссию с просьбой изменить формулировку, но в ответ от меня потребовали документ о том, что повесть не является политически вредным произведением. Прошу Вас, очень прошу прислать мне краткую характеристику повести...»

А в Чебоксарах, в присутствии понятых Денисовой М. С. и Куклиной Е. А., было произведено уничтожение «идейно ущербных» книг. В том числе — «Собачьего сердца» Булгакова. И, как утверждала прокурор отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах мл. советник юстиции В. Н. Занина, «какого-либо нарушения закона при этом не усмотрено». Этот ответ Заниной на его жалобу прислал нам Ю. В. Галочкин, осужденный по статье 190 прим к 2 годам лишения свободы: за чтение и распространение «идейно порочных» книг. В том числе «Собачьего сердца» Булгакова (формулировка: «автор клеветает на вождей революции...»). Уж не Шарикова ли зачислили в вожди революции?

Пришлось мне обращаться к Генеральному прокурору СССР, поскольку все та же несокрушимая В. Н. Занина констатировала: «Оснований для пересмотра приговора не усмотрено». Но еще год прошел, прежде чем получил я наконец ответ из Чувашии: «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по протесту первого заместителя Генерального прокурора РСФСР приговор суда изменила, исключила из обвинения Галочкина эпизоды, связанные с распространением произведений А. Платонова «Котлован» и М. Булгакова «Собачье сердце», и дело в этой части прекратила за отсутствием в его действиях состава преступления. В остальной части приговор оставлен без изменений».

А что же в той «остальной части»? Помните, еще год назад на политбюро Громыко предупреждал, что «нельзя же, как это теперь делается, превращать их в иконы...», и среди трех имен была названа Цветаева? Так вот «Лебединый стан» Марины Цветаевой и был в той «остальной части приговора», которая оставалась без изменений, то есть книга — под арестом, а с Галочкина судимость не снята. И «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и книги Набокова, и «Воспоминания» Надежды Мандельштам — все это оставалось под арестом, «приговор оставлен в силе».

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Много, а теперь уже много-много лет назад в селе Истобенском председатель колхоза, немолодая женщина, рассказывала мне, как ей довелось видеть Сталина, единственный раз в ее жизни. Закончилась сессия Верховного Совета СССР, и вдруг всех депутатов задержали в Москве еще на день. Зачем — сказано не было, но прошел слух: прибудет Сталин. Он где-то отдыхал, вернулся, и его покажут депутатам. И вот собрались в Кремлевском зале, сидят, ждут. И вышел Сталин. «Мы все встали, хлопаем, а у меня слезы текут из глаз, ничего не вижу». И когда она рассказывала, глаза ее наполнились слезами.

Разумеется, Сталин тоже был депутатом Верховного Совета СССР. И Верховного Совета РСФСР. И всего, чего только возможно. Но смешно сказать или подумать даже, что и он вроде бы тоже должен присутствовать на сессии... Властитель никому ничего не должен, но каждый перед ним в неоплатном долгу. Все, кому это дозволялось, жаждали видеть его своим кандидатом в депутаты. Соответственно — и его соратников, кого из них он еще оставил в живых. Потом соратники коллективно сообщали в прессе — появлялось в газетах всякий раз такое стандартное сообщение, что, мол, они благодарят тех, кто их выдвинул, но решили баллотироваться от таких-то и таких-то округов: кто — в Совет Союза, кто — в Совет Национальностей. Так им было предписано свыше. И рядовые депутаты, «лучшие люди», тоже появлялись не вдруг, все решалось в высших сферах, там сводился общий баланс: столько-то рабочих, верней, рабочей аристократии, столько от колхозников, столько по половому признаку, то есть — женщин, молодежь не забыть, ну и прослойку эту, интеллигенцию. А когда в процентах все сведут, тогда уж — поименно. Случилось так: забыли одного депутата вновь выдвинуть в Верховный Совет РСФСР. Просто забыли, проскочил как-то меж пальцев и меж

строк. Но для него это — крушение мира: всех благ лишат и надежд. А он немалую должность занимал в Союзе писателей, ему по должности положен значок эмалевый на грудь, чтоб от людей отличаться. А теперь он кто? Сольется с общей массой. Даже в некрологе не напишут, как другим покойникам его ранга: был депутатом таких-то и таких-то созывов... Но собралась делегация уже выдвинутых кандидатов, пошли к Лигачеву. И нашлась-таки автономия, которой не успели еще никого дать, отыскивали такую в списках и на карте. Возможно, будущий депутат пожелал бы себе что-нибудь попредставительней, да уж не до того теперь, бери, что дают. И повезли его туда с почетом, в окружении доверенных лиц, и получил тамошний народ своего радетеля и заступника, лучшего друга, знатока их нужд, чаяний и печалей.

Это не анекдот, это было в Союзе писателей. И случай этот не единственный.

И вот первые горбачевские выборы в пору гласности. Гражданского общества в стране еще нет. Партия одна, коммунистическая, сама себя именующая честью и совестью... За семьдесят с лишним лет жесточайшей диктатуры, озаренной солнцем сталинской конституции, забыт и тот малый опыт выборов в Думу, который был перед революцией. И решили так: помимо выборов по округам, от каждого так называемого творческого союза — по десять человек, столько-то от профсоюзов, столько-то от Академии наук, от женских организаций... А сто человек выставляет партия, их так и прозвали в дальнейшем: партийная сотня.

И вот в Доме литераторов, в зале на пятьсот человек, собрался пленум: выдвигать кандидатов в депутаты. Обстановка нервная, перебегают с места на место, сбиваются группами, выкрикивают каждый своего. И все больше, больше накаляются страсти. Когда согласились наконец подвести черту, в списке было уже под восемьдесят человек. Список этот у меня сохранился, диво дивное, когда читаешь его теперь: фамилия, инициалы, а кто таков — и не вспомнишь, нечего вспомнить. Как говорят, человек, широко известный в узких семейных кругах. Но вот поразительно: ни один не отказался. Готовые государственные деятели. Политики. И смотришь, уже на лицах выражение соответствующее: попользовались благами вы, слазьте, наше время пришло...

За несколько дней до пленума покойный ныне Верченко,

оргсекретарь Союза писателей СССР, в обязанности которого входило не только все знать, всем ведать, но и на каждое веяние реагировать, сказал мне:

— Тебя будут выдвигать обязательно.

— Валяйте. Только депутатом я не буду. Ни при какой погоде.

Разумеется, он не поверил:

— А чего особенного? Это если от округов, отчитываться надо перед избирателями. А от Союза писателей будешь просто сидеть там.

Но дома у меня знали, что депутатом быть я не собирался. На это надо жизнь положить и ничем другим не заниматься. Еще на VIII, на последнем, съезде Союза писателей я говорил, что единственная власть, которой может обладать писатель, — это власть духовная, власть над умами и душами людей. Не власть имущий, а властитель дум — вот высшее назначение.

Началось голосование, из огромного списка осталось в итоге одиннадцать человек, среди них — Леонид Леонов. Ему то ли исполнилось уже, то ли вот-вот исполнится 90 лет. Как выяснится в дальнейшем, его уговорили баллотироваться. Мол, выберут его непременно, а назавтра, во втором круге, он снимет свою кандидатуру, и можно будет на его место вставить кого-то. А пока что место занято, шляпа на стуле лежит.

Ранние его вещи — «Вор», «Скутаревский» — я в свое время читал. Ничего из них не помню. Но «Русский лес»... Пытался читать. И не единожды. Одни фамилии героев чего стоят. Отрицательный персонаж, конечно же, — Грацианский. Положительный — Вихров. А лучше бы уж — Правдин. И всего-то содержания, разыгранного в лицах, хватило бы на небольшую брошюрку о лесе. Но язык... Ничего так не выдает литератора, как язык. Натужный, выдуманный, поддельвающийся «под народ», об этом ни друг, ни критик услужливый сказать ему не решатся, он давно уже в том ранге, когда положено хвалить. В письмах Горького есть уничижительные высказывания о Леонове, их можно брать, а можно и не брать в расчет. Но есть и поощряющее. Его, как мандат в пиджачном кармане, как медаль на груди, пронес Леонов через всю жизнь.

На следующий день было решающее голосование. В ту заветную «десятку» я попал по числу поданных за меня голосов. Мне это было важно. Я поблагодарил пленум, выйдя к микрофону, сказал, что рассматриваю это как вотум доверия журна-

лу «Знамя», а кандидатуру свою снял, объяснив, что в планы мои не входит быть депутатом, я хочу писать и вести журнал, раз уж взялся. Этого более чем достаточно. Но почему-то решили голосовать. За что, собственно, голосовать — непонятно. Не хочет человек, не принуждать же силой. Но — голосовать! Залыгин спросил меня, мы сидели рядом с ним в зале, у крайнего левого микрофона: «Ну, как мне голосовать?» Чувствовал он некоторую неловкость: сидим рядом, а руку поднимать надо, чтоб меня отставили. Я облегчил его сомнения.

И тут вдруг в правой стороне зала, у самой сцены, подошел к микрофону Валентин Распутин и тоже снял свою кандидатуру. Что он говорил, не помню, да и не все я расслышал за шумом, возникшим в зале, но эту фразу привожу дословно: «...я тоже хочу, как Григорий Яковлевич». Фраза эта поразила меня.

Не так давно, на XIX партконференции, когда я говорил с трибуны перед пятитысячным залом, большая часть которого были партийные функционеры, и они хлопали, не давая мне говорить, он, Распутин, на балконе для гостей дирижировал хлопаньем и топаньем. И вдруг — «как Григорий Яковлевич...»

Я сказал тогда залу: люди за свою историю не раз боролись за свое порабощение с такой энергией и страстью, с какой позволительно бороться только за свободу. Тот, кто сегодня борется против гласности, — борется за свое порабощение. Неужели мы только вдохнули глоток свободы и все уже поперхнулись? Уже закашлялись? В стенограмме значит: (*Шум в зале*). «Шум» начался много раньше. Дважды подымался Михаил Сергеевич Горбачев, призывая зал к спокойствию. Говорят, в такие моменты от волнения все плывет перед глазами, лиц не различишь. Не знаю. Возможно. Пусть не покажется это сравнение нескромным, но, как в бою, чувства обострились, я видел зал, я четко видел лица. Бледный человек — кто он, не знаю — кричал мне снизу, из первого ряда: «Говорите! Говорите!» Ректор МГУ той поры академик Логунов, седой и красный, с огромной белой бородой, яростно бил в ладони, подняв руки над собой. Сидевший рядом с ним Егор Яковлев (я это позднее узнал) сказал ему: «Вы же культурный человек». Но он не слышал, что он культурный, он еще и ногами топал.

Могу сказать по себе: борьба дает силы. Я не мог сойти с трибуны, не сказав то, что должен был сказать. И в первую

очередь — об афганской аванюре, стоившей стольких жизней. Один из ее виновников, Громыко, в то время — Председатель Президиума Верховного Совета, то есть Президент страны, сидел за моей спиной и выше, к нему, по сути, я обращался, говоря, что виновники должны быть названы поименно. И всем хлопавшим и топавшим я сказал: вы не волнуйтесь, я выстою здесь, выстою.

Это показывали по телевидению, я этого, естественно, не видел и не знал. Но, оказалось, за стенами зала все воспринималось людьми не так, как в самом зале, где сильно разгулялась партократия, ее, выходя на сцену, как рать свою, каждый раз приветствовал Лигачев ободряющим жестом.

Первый звонок в редакцию был из Магадана. И раньше, чем почта стала доставлять письма, пришли в «Знамя» военнослужащие. Афганцы. Они принесли письмо в поддержку. И письмо это поразительно было тем, что тридцать пять человек, подписавших его, указали полностью свои звания, фамилии, имена: офицеры, прапорщики, вольнонаемные женщины. Они рассказывали ту правду, на которую пресса еще не решалась. А ведь военные люди несравнимо более зависимы, чем штатские. И, читая их письмо, этот акт мужества, я убедился: в обществе происходят серьезные изменения, быть может, необратимые.

Ни за одну мою книгу, если не считать повесть «Пядь земли», я не получал столько писем, как за выступление на XIX партконференции. И было даже письмо от тысячи четырехсот восемнадцати человек. Совпадение случайное, но война Отечественная длилась 1418 дней.

А потом телевизионщики показали мне, что происходило на балконе для гостей, как там дирижировал Распутин. И я увидел его лицо. Могу сказать, я не желаю ему когда-либо увидеть свое лицо таким, каким оно было у него в тот момент. А ведь он мне и письма хорошие писал, и книгу свою прислал с трогательной надписью: «...от души, от моей души».

И вот снова, как ни в чем не бывало: «...хочу тоже, как Григорий Яковлевич». Но тут поднялся крик в зале: «Два места освободилось!», «Не два, одно!», «Два места!» Особенно горячилась узбекская делегация: от нее никто в «десятку» не прошел. «Так два или одно?» Но Распутин больше не подошел к микрофону. И на одно освободившееся место действительно выдвинули кого-то из Узбекистана.

Наш редакционный шофер, Игорь, потом не раз говорил мне: а вот редактор такой-то ездит обедать в цековскую столовую... Ничего, Игорь, мы и в редакции чаю поьем, Марина нас не обидит. Хороший он был парень, и дело свое знал, и машину любил, только вспылывал немного. Смотрю однажды, у него кисть правой руки опухшая. В чем дело? Нахмурился: «Да тут один подрезал меня. Хорошо, у меня тормоза отрегулированы». — «Ну и что?» — «Пришлось с ним поговорить...» Очень ему хотелось почему-то, чтоб был у нас в машине телефон, а на крыше — синяя мигалка. А я так его разочаровал.

ЧЕРНЫЕ КАМНИ

Они еще только шли, двое в штатском, только еще подымались по внутренней деревянной лестнице на второй этаж, а ответственный секретарь журнала, с балкона увидевший их машину, доложил: «Прибыли!» И надо было видеть блеск торжества в его глазах.

Одного из них я знал по голосу: вот уже довольно долго мы вели с ним переговоры по поводу автобиографической повести Анатолия Жигулина «Черные камни». Это был генерал КГБ. Второй, в больших притемненных очках, — глаз его в продолжение всего разговора я так и не увидел, но взгляд, напор чувствовал все время — этот был ниже ростом, мощный: плечи, шея, кисти рук как у штангиста. Он обернулся на дверь кабинета, оставшуюся открытой, и, повинувшись его взгляду, она стронулась, пошла, пошла и захлопнулась плотно. Обычно я ее не закрывал: в проходной комнате сидел за столом ответственный секретарь журнала, в прошлом — инструктор райкома партии, не лишенный профессионального любопытства. Чтобы не томить его, я вел служебные разговоры при открытых дверях, и ему без поучений предоставлялась возможность усвоить то, что отныне усвоить ему следовало.

Вскоре на столе у себя обнаружил я подметное письмо в большом конверте: четыре страницы машинописного текста на хорошей бумаге и без подписи. И хотя машинка вроде не имеет почерка, характер писавшего, нервность его прочитывались ясно. Ужасные вещи узнал я из письма о втором моем заместителе. Я читал не спеша, а ответственный секретарь трудился за своим столом, пригнув голову, нам было видно друг друга. Прочтя, я разорвал письмо и бросил в корзину для бумаг. К концу рабочего дня оно странным образом исчезло. Но вскоре появилось другое письмо. Тоже отпечатанное на машинке и тоже без подписи. Я порвал его, не читая, и бросил в корзину. И оно тоже исчезло из корзины.

А вообще, раз уж зашла о нем речь, это был по-своему интересный человек. Работал он много, заполошно, все что-то писал, считал, цифры с цифрами у него не сходились, он яростно считал заново и от постоянной спешки опаздывал принимать лекарства: спохватится, а уже пять — десять лишних минут прошло. И горестно запивает нужную таблетку, теперь она, конечно, так хорошо уже не подействует. И опять со всем рвением ушел в работу, пишет скорым почерком, рвет, снова пишет. От чтения рукописей я вскоре освободил его, сказав, что он и так перегружен сверх меры: в литературе он ничего не понимал. Но он не освободился. И хотя к обсуждениям его не привлекали, читал он все. Он должен был знать, что посылают в набор. А вот от каких болезней он лечился, я так и не понял, хотя он подробно и не раз это объяснял и даже пытался давать мне медицинские советы. Внешне это был крепкий, мускулистый, здоровый мужик, только глаза беспокойные, немного навывкате и водянистые.

Я понимал, конечно, что рано или поздно мы расстанемся, и не только с ним, но не торопил события: перестройка перестройкой, однако что же, сменить народ в стране и завезти откуда-то новый? Так для кого она? А когда дело все же подошло к логическому концу, он в тот вечер, крепко выпивши (склонен он к этому был всегда), позвонил мне домой, предупреждая, что пишет сейчас письмо заведующему отделом агитации ЦК (тому самому, который в надвинутой на уши черной шляпе, сторонясь людей, ходил, нацеленный Лигачевым, проверять, что делается на Арбате), вот ему он пишет обо всех безобразиях в редакции, и обо мне в том числе, и утром лично вручит письмо. Я положил трубку. Утром, протрезвясь, он снова звонил, просил прощения, просил оставить его членом редколлегии, не вычеркивать из списка хотя бы до конца года. Последний раз он приходил в «Знамя», когда мы уже переехали в другое помещение, принес первые выпуски начавшей выходить полуфашистской газеты, от которой очень скоро отскочило это «полу». Он работал теперь там, о чем сообщил не без торжества; любопытно, как судьбы прочерчивают свой путь во времени. Умер он внезапно, в сущности, довольно молодым.

Однако вернемся к тому, с чего начато: они пришли, я пригласил их в кабинет, мы сели за приставной столик. Был подан чай.

Штатский костюм преобразует военного человека. Лейте-

нант — это еще куда ни шло, молодость красит. Но трех-четырёхзвездный генерал, блеск золота погон, лампасы, броня многоцветных колодок на мундире (как правило, теперь это уже послевоенные медали да ордена за выслугу лет), в штатском сразу превращается в обычного старичка, седина уже не украшает благородством, но старит. А то вдруг вылезет наружу такое простое, что и подумаете: да он ли это?

Гостей своих я раньше не видел в форме, но невозможно было не заметить, что костюмы на них будто взяты напрокат.

— Ну вот, — сказал знакомый мне по телефонным разговорам генерал, — можем уже предъявить вам некоторые замечания.

Это «уже» вместило в себя примерно тот срок, за который дитя рождается на свет. Гласность объявленная — гласностью, а цензура — цензурой. И кроме обычной цензуры была тогда еще военная цензура, где, в частности, сохранялось такое ограничение: о *некоторых* непорядках в масштабе роты писать дозволялось, это, по мысли цензоров, могло восприниматься как нечто нетипичное, но замахиваться на происходящее в батальоне — это уже обобщение, это бросает тень на всю армию и потому подлежит изъятию. Был еще ряд ведомственных цензур, но самая грозная, самая непредсказуемая — цензура КГБ.

Думается, для Главлита сладостен был тот миг, когда можно было отпасовать рукопись в ведомственную цензуру: с нас взятки гладки, обращайтесь *туда*. Вот так повесть Анатолия Жигулина попала в цензуру КГБ, ухнула туда, как в темный колодец без дна. Спешить им было не для чего, месяцы прошли, пока я узнал, что «зайца погнали дальше»: из Москвы переправили рукопись в Воронежское КГБ, по месту действия. Там начиналось все то, о чем писал Жигулин в своей автобиографической повести, там его и его товарищей арестовывали, допрашивали с пристрастием, так, что один из них, Иван Подмолодин, от избиений сошел с ума. А проходивший по другому делу сокамерник Анатолия Жигулина укреплял себя молитвой. «Удивительной духовной и нравственной силы был человек. Когда открывалась дверь в камеру и в дверях показывался надзиратель или дежурный офицер, он всегда осенял себя крестным знаменем со словами: “Изыди, сатана проклятый!”» «Его, — пишет Жигулин, — как и меня, часто били. Но он терпел побои мученически — читал во время избиений молитвы, славил Господа. Какая это была чистая, светлая душа! Он успокаивал меня: “Анатолий, не горюй! Ведь за правду сидишь!”»

Но он все-таки был старше, а они, подростки, только еще начинали жить. В 9-м классе мужской средней школы создали они организацию КПМ: Коммунистическую партию молодежи антисталинской направленности, конечная цель которой — «построение коммунистического общества во всем мире». За это и получили по 10 лет каторжных работ.

Диктатура не терпит отклонений, не говоря уже о свободомыслии: путь мысли предначертан. И шагать надо в общем строю. А если ты большой роялист, чем сам король, не сносить тебе головы. И уж, конечно, самый незащищенный тот, у кого не отмерла совесть. «Да, мы были мальчишки 17—18 лет, — пишет Жигулин. — И были страшные годы — 1946-й, 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войной, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода малыши. Просили милостыню — как водится на великой Руси — Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично».

Организатор КПМ Борис Батуев не голодал: он, сын второго секретаря обкома партии, жил в десятикомнатной квартире, в охраняемом особняке на Никитской, куда нищих не пускали. Но с двумя товарищами он совершил лыжный поход в одну из деревень. «Он увидел лежащих на полу от голода, распухших людей, он увидел, как люди жуют прошлогоднюю траву, варят березовую кору... Там березы много, и район назывался Березовским». И они решили бороться, создали организацию, быть может, наивную, если смотреть из дней нынешних, но за это заплачено жизнями.

Теперь повесть Жигулина прошла в Воронеже теми путями, которыми когда-то прошел он сам. Уничтожить ее было уже нельзя, но искалечить можно. И один из двух моих посетителей достал из внутреннего кармана пиджака пачечку бумаги — листы небольшого размера — и начал перечислять так называемые замечания.

— Но вы оставьте это нам, чтобы мы могли...

— Нет. Я вам прочту из собственных рук.

Иными словами, никаких следов их деятельности не должно было оставаться.

Я позвал ответственного секретаря, посадил его за свой стол в кресло, как бы на председательское место, попросил записывать дословно все. По пунктам.

Было в повести несколько неточностей. Иной раз слух пронесшийся закрепляется в памяти как факт, да еще представится зримо, как тут не поверить себе? Но, разумеется, не для разговора об этих частностях они приехали. Главное высказал человек в темных очках, все время молчавший:

— Он ненавидит органы!

Локти и большие кисти рук его лежали на столе.

— А вы бы любили органы, если бы вас, как этих мальчишек, вырвали из дома да на десять лет — в лагеря? И вся жизнь искалечена.

Он не ответил. Но я почувствовал его взгляд.

В окно сверху было видно, как они вышли из-под балкона, сели в черную «Волгу», оба — на заднее сиденье, машина с затемненными стеклами все время ждала их.

Пришли они в этот день не потому, что была закончена проверка: вот проверили и сразу же пришли. Мы их поторопили, устав ждать. Мы сделали то, что я проделал однажды, когда надо было печатать «Собачье сердце» Булгакова: мы объявили повесть Жигулина. Тираж журнала к тому времени удвоился, 500 тысяч экземпляров — это не меньше двух с половиной миллионов читателей. А разразись скандал, так журнал будут рвать из рук. И в январском номере 1988 года мы объявили на обложке (обложку цензура как-то обходила вниманием), что в следующем, февральском номере печатается повесть Жигулина. И в газетном интервью я подтвердил: да, в февральском, хотя в это время ее только еще «изучали» в Воронеже. Это была ложь во спасение. Судьбу романа Василия Гроссмана, слова, им сказанные незадолго до смерти — «Меня задушили в подворотне», — эти слова я помнил. Так вот, чтоб — не в подворотне, а на миру. И запрет тоже — на миру. Пусть станет известно, кто запретил, это я решил твердо. Одним словом, мы сознательно шли на скандал, другого способа напечатать «Черные камни» не прорисовывалось. Объявили повесть на февраль, напечатать удалось только в июльском и августовском номерах.

Можно понять, каково автору было ждать все это время. Но и нам с Лакшиным, по сути дела, единственным его защитникам, он помотал нервы. Ну, да что вспоминать.

Не вина, а судьба этого поколения, что родились они и жили в жестокое, кровавое время. И думалось иной раз о совершенно невероятном: окажись вдруг власть в их руках, и вот они приступили бы к главному пункту своей программы, а пункт этот гла-

сил: «Конечная цель КПМ — построение коммунистического общества во всем мире», какими средствами пришлось бы им достичь своей цели? И не оказалось бы, что те самые средства, против которых они так самоотверженно боролись, столько пострадали, в итоге стали бы их средствами?

Есть в повести сцена побега. Бежать собрались четверо. Один «отковал из прекрасной шведской стали (из обломков шведских шестигранных буров) четыре великолепные пики — обоюдоострые (можно резать, можно колоть), кинжалы с лезвием 22—23 сантиметра». Насколько подробности точны, решать тем, кто прошел лагеря. Сам же план побега был такой: вчетвером напасть на машину, которая в определенный час вывозит рудный концентрат. В машине два солдата с автоматами. «Один хватается за автомат, второй режет солдата пикой».

Я не мог запрещать, превращаться в цензора. Я мог попытаться убедить, объяснить свою позицию.

На фронте мне приходилось убивать: война есть война. Но вот читаю: «режет солдата пикой...» Да, у беглецов другого выхода не было. Один из них, в прошлом — майор, Герой Советского Союза, «воевал всю войну и даже не только до Берлина дошел, но и до Порт-Артура». Но ему припомнили, что в начале войны он попал в плен и, хоть бежал оттуда, все равно в 46-м году получил срок 25 лет «за измену Родине». А Жигулину 19 или 20 лет исполнилось. Столько же и солдату. Для заключенного в солдате этом, возможно, все зло воплотилось. Чтобы получить отпуск домой, тот мог спокойно застрелить зэка, у Жигулина есть стихотворение об этом. Короче говоря, что чувствовал заключенный, который сам, вероятней всего, шел на смерть, понятно. Но тогдашний взгляд заключенного и взгляд писателя, который пишет об этом через сорок лет, не одно и то же. Смог же Георгий Владимов так глубоко понять психологию служебной собаки, Верного Руслана, написать его так, что душа за него болит, а смерть его воспринимаешь как трагедию. В верных русланов обращены были тысячи и тысячи, они тоже — жертвы, как не понять этого? И нужны не слова, нужны два взгляда: взгляд мальчика оттуда, из глубины события, и умудренный взгляд человека, все пережившего, знающего, что сделали со страной, с людьми. Но убедить Жигулина мне не удалось, я разговаривал с ним часами. До боли в затылке, до того, что у меня подымалось давление. Он заменил слова: «второй режет солдата пикой» на «второй действует пикой», но в отдельном издании, которое он

мне в дальнейшем подарил с трогательной надписью, восстановил: «режет солдата пикой». Ох, да не в словах этих суть. И тогда я решился на то, чего вроде бы по всем журнальным канонам делать не следует. У нас лежала лагерная переписка Али Эфрон с Борисом Пастернаком. Две вещи о лагерях в одном номере журнала? Да не в одном, в двух... Но это были не только очень разные вещи, это был взгляд на событие с двух разных сторон.

Аля Эфрон, дочь Марины Цветаевой, навсегда осталась в тени великого имени своей матери. Но если даже судить по одной этой переписке, она была редкостно одаренный человек, и вот уж, говоря словами повести Жигулина, «какая это была чистая, светлая душа!»

В Париже она входила в круг патриотически настроенной просоветской молодежи, на два года раньше матери вернулась в Советский Союз, чтобы здесь ее, любящую, любимую, накануне свадьбы арестовали. Восемь лет лагерей она отбыла полностью, а в 49-м году, когда вновь хватали отбывших свой срок, — пожизненная ссылка в Туруханск Красноярского края. Она писала оттуда Пастернаку: «Воду таскаем на себе из Енисея — далеко в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работающие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии. Но глаза по старой привычке впитывают в себя и доносят до сердца, минуя рассудок, великую красоту ни на кого не похожей Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно, ежеминутно хочу писать и рисовать. Ни времени, ни бумаги, все таскаю в сердце. Оно скоро лопнет».

Ее реабилитировали полностью в 1955 году «за отсутствием состава преступления». Права, доброе имя восстановили. Но кто вернет отнятую жизнь?

Не нам, нет, не нам, кого, как говорится, бог миловал, кто не прошел всех этих кругов ада, судить. И все же, видимо, если можно было уцелеть в тех условиях, где столько осталось погребенных и непогребенных, так только духовно. В каждой строке Алиных писем — бессмертие человеческого духа.

«МЫ ВАМ ПЕРЕКРОЕМ КИСЛОРОД»

Оглядываясь в недавнее прошлое, все больше убеждаюсь: закон о печати приняли по недосмотру, просто депутаты оплошали. Нынешние ни за что бы не пропустили его. Где это видно, чтобы власть сама на себя надевала смирительную рубашку? Но помогли два обстоятельства: некоторый дух вольности, его ощутило общество, и твердое убеждение, что законы у нас пишут для наглядности, исполнять их не обязательно. Приняли и этот.

Что же до мнения народного, то за свою историю немного пословиц о законе сложил наш народ, куда больше — о начальстве, о приказе, о послушании: как жили, так и сложили. Но и в тех немногих — твердое убеждение: где закон, там и грех. А потому — «что мне законы, когда судьи знакомы».

И вообще у нас, как в той районной бане, про которую, возможно, не все знают, тогда надо рассказать, потому что это не выдуманно, все так было. Отремонтировали баню, лавки новые, чистые, и над лавкой каждому — свой персональный душ. Но рукоятки управления, краны все вынесли на одну, главную панель. Вот сквозь пар идет намыленный человек включить над собой душ и стал в недоумении: где его кран, где чей?.. Повернул один, кто-то с криком вскочил, ошпаренный. Повернул другой, кого-то холодной водой окатило.

Журналы наши тоже, хотя и располагались по разным лавкам, но краны все на одну панель, в Союз писателей, были вынесены. Туда подадут команду, они и поворачивают кран. Хорошо, если умелой рукой, но наверх-то рвутся не те, кто умел, а кто смел.

Покойный ныне Михаил Ильич Ромм рассказывал, как встретил он однажды на улице бывшего министра кинематографии Ш. Возможно, должность эта называлась тогда иначе, например председатель комитета или нарком, но суть не в названии. Разные люди в разное время возглавляли наш кинемато-

граф, побывал в этом кресле даже глава Воронежского НКВД Дукельский и тем остался памятен, что, бывало, докладывает ему секретарша, мол, режиссер такой-то пришел на прием. «Введите!..» Так вот, встретились они как раз у «Мосфильма», и Ш. пожаловался с тоскою: «Не то мне обидно, Михаил Ильич, что меня сняли. Я за этот год начал уж было в кинематографе разбираться, и вот тут меня как раз снимают...»

Помню, прочли мы закон о печати, увидели, что отныне можем сами стать учредителями журнала, независимыми, никто над нами не будет поворачивать ручки кранов, а нас то ошпарит, то окатит ледяной водой, одним словом, разрешено жить своим умом, прочли и себе не поверили. Однако пригласили юристов, они растолковали нам: можете. Составили все нужные бумаги, и 1 августа 1989 года, ровно в девять утра, к началу регистрации, был я в комитете по печати. Но не один, с юристом, он за меня знал все наши права. Месяц оставался до конца подписки, и весь этот месяц комитет мог решать, регистрирует нас или не регистрирует, то есть, в сущности, быть нам или не быть.

Начало не предвещало добра: сорок с лишним минут отсылали нас из комнаты в комнату, а комнат было много, еще больше столов, и все эти милые барышни и дамы министерские с яркими ноготками, тенями на веках и помадой на губах, успевшие подкраситься или занятые этим, все они почему-то были очень недовольны нами: «Вот начнут теперь ходить все подряд!..»

Наконец попали мы к девице, у которой на столе лежала большая книга для регистрации. «Оставьте ваше заявление», — сказано было нам холодно, и «заявление» прозвучало как «прошение». Но не зря юрист сопровождал меня, он потребовал тут же записать нас в эту амбарную книгу, дать номер, под которым мы значимся в ней от сего числа. Как после мы убедились, дело тут было не в обычной неразберихе. Система подала сигнал — «Горим!», и сомкнулись начальство и рядовые служащие, каждый бежал, кто с ведром, кто с багром, отражать надвигавшийся на них закон.

Проделав всю канцелярскую процедуру, поднялся я наверх, к первому заместителю председателя комитета (кресло председателя в ту пору пустовало, вакантно было, ждало), к Дмитрию Федоровичу Мамлееву, знакомы мы с ним были не один год. Секретарша, одетая как манекенщица на последнем показе мод, пошла доложить, овеяв меня французскими духами, по их

запаху, как по следу, я и шел в кабинет, в распахнутые наружную и внутреннюю двери. Мамлеев встречал по-братски, шумно. Темный стол письменный, такой же, темного дерева, стол для заседаний, высокие потолки, переливчатым пурпурным шелком обтянутые стены — богатый достался ему в наследство кабинет.

— Вы бы сразу ко мне! — узнав, что я тут чуть ли не битый час хожу, повозмушался он.

У меня тоже, если честно сказать, был такой позыв, сразу — к начальству, и чтоб оттуда, сверху, пошло вниз, но юрист Левон Левонович Григорян, годившийся мне в сыновья, мудро предостерег: сначала соблюсти все необходимые формальности. Я это оценю со временем.

— Ко мне надо было, а я бы уж вызвал сюда...

И он вызвал другого зама, рангом ниже, но юриста по образованию, Горковлюка. Первое впечатление — точное впечатление. Горковлюк вошел с доброжелательностью во взгляде, поздоровались, и через его руку, через рукопожатие я почувствовал: тут жди беды. Сели. Обычный, ни к чему не обязывающий разговор, расположение Мамлеева отражалось на его лице, и первое впечатление постепенно стиралось. И тут Горковлюк предложил мне:

— А почему бы вам самому не стать учредителем журнала? Вы, в своем лице, — учредитель. Вы имеете на это право.

То есть чтобы я был не только редактором, но и как бы владельцем журнала. И даже не как бы... И смотрит мне в глаза. А у меня, когда я решался стать редактором, намерение было простое: вот налажу дело, перевалю половину забот на заместителей и буду писать, много ли мне жизни осталось?

— Поверьте, — внушает Горковлюк, — я целиком на вашей стороне, вы мне гораздо ближе, чем Карпов.

Странно. Мы видимся в первый раз. Карпов возглавлял в то время Союз писателей, наше министерство по делам литературы, министерство ближе министерству, с этим ничего не поделаешь. И я не сомневался, еще и до редакции не доеду, а отсюда уже доложат по правительственному телефону в ЦК и в Союз писателей сообщат: мол, не опоздайте подать заявку, журнал вознамерился стать независимым. Так все и произошло. На третий день Союз писателей прислал бумагу, что учредителями будут они, на волю нас не отпустят. И настолько не сомневались, настолько чувствовали себя в своем праве, что даже

не стали утвержденную законом заявку подавать, решили, простой записки хватит. На пятый день родителей заботливых стало у нас уже двое. Раздался звонок из управления делами ЦК, говорил некто Костров. Мы не были знакомы, но говорил он директивно:

— Вашими учредителями будем мы.

— Как же вы можете быть нашими учредителями? — удивился я. — Мы не журнал «Коммунист», не «Блокнот агитатора», а литературно-художественный журнал.

— Вот нам как раз и нужен литературно-художественный журнал.

— Прекрасно. Создайте себе.

— Создадим. Вместо вас.

— И думаете, это легко? Сразу люди захотят подписываться?

— В общем, так: либо ваши учредители — мы, либо издательство «Правда» не будет вас печатать.

Дело серьезное, прикажут — и не будет. А нам тогда деться некуда.

Но каждое действие, как известно, рождает равное по силе и обратно направленное противодействие, жизнь этому учит.

— Хорошо, — говорю. — Тогда мы подсчитаем, сколько за все эти десятилетия дал издательству «Правда» журнал «Знамя», а много дал, и поставим вопрос о разделе имущества. Разводиться так уж разводиться.

Можем ли мы «поставить вопрос», где его «ставить», ничего этого я не знал, слышал только или прочел, что в Сибири то ли издательство, то ли газета начали тяжбу с обкомом, и вот об этом напомнил:

— И хорошо вы будете выглядеть?

На седьмой день — семь дней, как вы помните, потребовалось господу, чтобы сотворить и небо, и землю, и отделить свет от тьмы, и назвать сушу землею, а собрание вод морями, и населить землю, и человека сотворить по образу и подобию своему, вдохнуть в него душу живую и, убедившись, что хорошо весьма, почить от дел своих, вот в этот седьмой день, когда бог почил, Горковлюк завершил свое дело. Той самой рукой, которой дружески пожимал мне руку, написал он, а «Советская Россия» напечатала информацию. В ней рассказывалось, как усердно трудится комитет во исполнение нового закона, но вот журнал «Знамя» они пока что, к сожалению, зарегистрировать не могут: не решено, кто станет нашим учре-

дителем. Сам же скликал желающих, а вот теперь как бы оказался бессилен перед этим внезапно открывшимся обстоятельством.

По прошествии времени могу оценить изящество и тонкость работы Горковлюка. Его информация канцелярской поэзией дышала, возможно, созидавая ее, он истинное вдохновение испытал. И это был точно рассчитанный удар под ребро. Читателей, по сути дела, извещали, что, если учредитель не определится, журнала может и не быть. Как же подписываться на такой журнал? Как верить тому, что мы обещаем напечатать, когда решать, возможно, будем не мы? По сути дела, нас тихо удушали, брали измором в науку другим: уже несколько журналов вслед за нами решили стать независимыми.

А тем временем все больше объявлялось желающих стать нашими учредителями: и Союз писателей, и издательство «Правда», и еще кто-то, и даже — типография издательства. Интересно, знал ли кто-нибудь в типографии, что они — желающие? Или один Костров за них знал?

Сколько беззвучных монологов было произнесено в эти дни... И думалось: здесь, в Москве, где властей много, и то выворачивают закон наизнанку, как же во глубине России добиться своих прав крестьянину, если он, допустим, захотел фермером стать? Вся пирамида египетская над ним: и председатель колхоза, и пьянь, которая вокруг него сплотилась, из его руки чужим трудом кормится, а еще соседи косятся нелюди-мо — лучше меня захотел жить?.. — а райком, а обком... Да это как из темных глубин океана подняться на поверхность, всю толщу воды преодолев над собой.

Однажды я все же не выдержал, позвонил Мамлееву:

— Дмитрий Федорович, мы еще недавно вроде бы уважали друг друга, неужели жизнь ничему не учит? Многие каются теперь за прежние грехи. Так для чего новые набирать? Все это минет, вы уж поверьте мне, минет, а позор останется. Не обижайтесь, рано или поздно я об этом напишу.

Тем временем мощные силы собирались в комитете, в роскошном этом здании. Приезжал и Карпов от главного Союза писателей, приезжало известное черносотенными выступлениями руководство СП РСФСР, приглашали на подмогу прокуратуру, законодателей Верховного Совета, требовали изменить закон о печати, в муках рожденный.

И представил я себе однажды: хорош бы я был, последуй

дружескому совету Горковлюка, заяви, что хочу сам стать учредителем и владельцем журнала. Сколько грязи на меня вылилось бы! И не докажешь, что не нужно мне это, мыслей таких не имел. Но это к слову. А журнал надо было спасать, пока его не растащили по частям.

Я не ходил на эти толковища: чести много. Сидеть там, слушать, включать магнитофон — эту обязанность исполнял второй заместитель Виталий Петрович Гербачевский. Мне надо было сохранять спокойствие, хотя бы внешнее. И по телевидению я заверил читателей, чтобы они не сомневались, подписывались на журнал, в случае чего мы к ним обратимся: тираж журнала достиг в то время миллиона экземпляров, то есть читателей — минимум миллионов пять.

Как-то позвонила мне Ирина Мишина (она вела программу новостей). Вместе с оператором поехали они по доброй воле в Союз писателей расспросить, что же происходит на самом деле. Дать интервью им отказались, но Колов, исполнявший должность оргсекретаря, сказал через дверь: «Мы им перекроем кислород», нам то есть.

Но мы пока еще дышали. И вот руководство Союза пригласило нас на переговоры. Подумали мы, подумали и решили: пусть они едут к нам. Накрыли стол, самовар кипящий на столе. Глянул я в окно с третьего этажа — въезжает во двор черная «Волга», стала, распахнулись дверцы, из передней вылез Карпов, из задней — Колов. Так они и шли к подъезду: Карпов — впереди, Колов с кожаной папочкой в руке за ним поспешает. Если вспомнить всех, кто до него сидел в этом кресле, он самый молодой, но уже заметно раздобрел, общее выражение лица такое, будто горячего шашлычка только что поел, еще мясо в зубах застряло, весь вкус во рту.

Вошли. Мы с Карповым однокашники, когда-то на одном курсе учились в институте. Но люди растут, должность прибавляет веса. Прошелся он хозяйски по кабинету.

— Ну что? Из этого помещения мы вас, конечно, выгоним!..

Хорошее начало разговора. Но пока не выгнали, зовем к столу.

— Как же, интересно, ты выгонишь нас? — спрашиваю его. — Ты нам это помещение давал?

Но Карпов, вижу, не шутит, придя гостем, сел хозяином. На лацкане пиджака — красный эмалевый значок депутата Вер-

ховного Совета СССР, и он уже не кандидат, а полный член ЦК, так что это его «мы» солидно звучит. Еще недавно, на VIII съезде писателей, когда к власти рвались самые ярые, решили посадить кого-нибудь, ничем не выдающегося, как вот кладут шляпу на стул, повторяю это снова. И хотя голос мой не был главным, я как раз Карпова предложил. Ах, не перечитываем мы классику, Гоголя забыли.

Пройдет время, и, отставленный от должности, встретив меня в поликлинике, Карпов скажет голосом болезненным и слабым: «Гриша, не держи на меня сердце. Время было такое...» Я не держу. Но он это время и создавал.

Когда появилось мракобесное письмо Нины Андреевой, то самое, собрались в Союзе кинематографистов руководители нескольких творческих Союзов, чтобы ответить на это письмо. Карпов отдыхал в правительственной Барвихе. Я позвонил ему. «Да нет, обожди... Так это не делается. Должна быть дана команда сверху». Я еще стал объяснять, что тут команды ждать нечего, это дело совести каждого. «Ну, дай подумать...» А думал он там, как потом выяснилось, не один, Лигачев там отдыхал в это время. И снова звоню ему, звонят из Союза кинематографистов. «Дайте подумать...» Словом, время тянул. Выступили все Союзы, только Союз писателей отмолчался. Тогда мы, несколько человек, от себя написали в главную газету тех времен, в «Правду». Но вернулся из командировки Верченко, сразу все понял, и было организовано отдельное письмо Союза писателей, лучше бы оно не появлялось: рядом с именами достойных людей стояли фамилии тех, кому руки не подадут. Но обзванивали поодиночке.

К слову сказать, Верченко — единственный в этой должности, кто не стал членом Союза писателей. Даже его заместитель был уже «принят в писатели», а он как бы полагавшейся взятки не взял, нарушил обычай.

И вдруг как-то утром звонят мне от Лигачева: Егор Кузьмич (вернее — Юрий Кузьмич, так почему-то надо было называть его при личном общении) желает встретиться. У меня такого желания никогда не возникало, но раз хочет, почему не встретиться, любопытно все же. И быстро я свое любопытство удовлетворил, увидев в приемной его секретарей. Незабываемые лица. На них было написано все: и уровень их, и уровень их хозяина. И то, что могло бы ждать нас всех. Вошел я в кабинет, и Лигачев, пожимая приветственно руку, сказал мне вот что:

«Поздравляю вас со сто девятнадцатой годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Я принял поздравление: действительно, в этот исторический день была как раз сто девятнадцатая годовщина...

За свой барвихинский подвиг, за то их совместное с Лигачевым осадное сидение Карпов был из кандидатов переведен в полные члены ЦК: Лигачев отблагодарил.

Имея такую опору за спиной, он и заявлял уверенно: мы вас выгоним. И надо бы напугаться, но всегда мне в такие моменты думается: ничего, бог не выдаст, свинья не съест.

В последние дни августа, буквально за три дня до конца подписной кампании, министерство печати и массовой информации России, само только что созданное, зарегистрировало нас, журнал был спасен. И мы уже было вздохнули легко, но тут новая беда — издательство отказалось от аренды помещения: вы, мол, независимы, сами арендуйте, добивайтесь разрешения у исполкома.

Принесла эту весть завхоз. Дама крупная весьма, она шла по коридору тяжкой поступью и возвещала: «Погибли-и!..» И тут впервые за долгое время стало мне смешно. Покойный ныне писатель Борис Бедный, не по своей воле отбывавший годы в республике Коми, рассказывал мне, будто у народа коми есть выражение: «пукси да вакси» — садись и смейся. Вот когда уж совсем худо, когда некуда податься, садись и смейся. Но мы не думали в тот момент, что нас еще суд ждет.

Пятеро в лавке — Колов с Карповым, Суровцев со Скворцовым да еще Н. Горбачев — от имени семидесяти с лишним секретарей Союза, которых об этом не спрашивали и не извещали, подали иск: соответствующие слова в соответствующей последовательности были напечатаны на бланке, иск приняли, и дело завертелось. И хотя виднейшие писатели заявили письменно, что они не давали права от их имени судиться с журналом, это уже во внимание не было принято: они — просто писатели, те — должностные лица, эти пишут на простой бумаге, те — на бланке. Кто главней?

В очередной раз встретились мы с Карповым в Доме литераторов: бургомистр Берлина давал прием.

— Гриша, — говорит мне мой друг-приятель, — передай мне вон тот бутербродик с икоркой.

— А ты сам возьми.

— Ну, будем цивилизованными людьми.

И лицо у него вроде бы такое симпатичное. И — фронтовик. Что-то оттаяло у меня в душе.

— Володя, — говорю, — забери иск из суда, не позорься, еще не поздно. Все было: и сажали, и со света сживали, и журналы закрывали, — но чтобы Союз писателей судился с литературно-художественным журналом — этого еще не было. Ну, для писателей же — позор. С этим и войдешь в литературу. Забери иск.

А у него на лице вдруг улыбочка появилась, жестокая и ласковая к жертве:

— Не заберу.

Я отошел, выпил рюмку водки, тут Колов возник:

— Григорий Яковлевич, а суд вы проиграете. Смотрите, статьи седьмая, одиннадцатая и тринадцатая говорят, что...

И наливает по рюмке, а хитрость из глаз так и прыщет, он и скрыть не пытается. Ему, конечно, полагалось по должности иметь какой-то кагэбэшный чин, но он так усиленно давал понять, что сотрудничает, что сомнительно становилось: хочет — да, но, возможно, его туда и на порог не пускают?

Рюмку я выпил, не чокаясь с ним.

— Вы от меня аргументы наши хотите услышать? Услышите в суде.

— А мы туда не пойдем. И вам идти не надо. Пусть наши адвокаты решают дело между собой.

— Нет, так не получится. Я пойду. И вы пойдете. Это будет известный процесс.

И вот прилетает Карпов из Египта. Нил, пирамиды, в детстве не снилось все это повидать. Само собой, что лететь туда не было никакой надобности, но валюта в кассе Союза еще не исчерпалась, своя рука — владыка, чего не полететь первым классом, со всеми удобствами. Вернулся. Депутатский зал, жена встречает, шофер за ним, за бывшим чемпионом Узбекистана по боксу, несет чемоданы к машине. А как приятно, вернувшись домой, разобрать подарки, принять душ, выспаться после дороги в своей постели. И завтра — в Кремль, на пленум ЦК. Но назавтра ждала его повестка в суд. И вот в суде впервые мне стало жаль его. В тесном зале стоял он с шапкой в руке, отвечал на вопросы, путался в ответах, а в это время высшие его товарищи заседали в Кремле... Посмел бы прежде

обычный судья тревожить повесткой, в такой день такое лицо вызывать. Да откуда! При одной мысли этой дерзновенной у судьи бы уже телефон раскалился на столе.

Но по-настоящему мне было жаль Карпова после писательского пленума, на который я не пошел, зная, во что это хотят превратить. Уж, кажется, все он сделал: при закрытых дверях вдвоем-втроем учредили они газету «День», в обход закона, нигде ее не регистрируя, выпустили первый номер, раздали на руки делегатам, и после этого шпана литературная криками сгоняла его с трибуны, он сделал дело, уже не нужен им. И, не ожидавший такой неблагодарности, он ушел со слезами на глазах и подал в отставку.

Помню, после войны, я был еще студентом, послали меня в командировку на Кубань с корреспондентским удостоверением. И как раз в тот день приезжает в колхоз высокая комиссия из крайкома партии. Ходят по полям, дают председателю ценные указания, даже мне, городскому человеку, понятно: ну ерунду несут. А он — вдумчиво: «От эт вы правильно указали...» Угостили их хорошо, посадили убогатворенных в машину, пыль схватилась за ними следом по степной дороге, тут я и спрашиваю председателя: «Что же вы теперь будете делать?» — «Как что? Пахать и сеять». Вот и мы хотели немногого: пахать и сеять. И чтоб каждый, кому вздумается, не давал нам ценных указаний. Но для этого, оказалось, надо было через суд пройти.

Декабрь, мороз небольшой, но ветрено, сухая поземка. Через обледенелые трамвайные пути спешим, бывало, в перерыве в забегаловку дощатую, куда сходится вокзальный люд, дрожащий с перепоя, выстаиваем там очередь. Голодные мы, в суде как-то быстро все в тебе перегорает. Зато здесь освободим местечко, сдвинем к краю неубранную грязную посуду, стоим тесно, толкают нас, дым табачный глаза ест, но дружно, весело, это дорогого стоит. Беда сплачивает, если общая: и страну сплачивает, и самый малый коллектив. В беде и познается, кто — кто. Крепости не извне, изнутри берут.

А впрочем, беда ли это? К нам, в наш зал в суде, — по коридору налево. А направо — закрытые стеклянные двери, вооруженная охрана, овчарки жарко дышат, высунув языки, и — смотришь — конвой проводит стриженных парней, руки у всех назад. Вот она, беда. Все познается в сравнении.

Но бывали и смешные моменты. Как-то я возьми да скажи: нет, это не гражданский иск, это процесс политический. Знал, что Колов сразу ухватится за это слово, оно у нас с давних времен — страшное: политический! Так и случилось. Я попросил у судьи разрешения прочесть любопытный абзац из газеты.

— Мало ли чего *теперь* в газетах пишут! — заранее отмахнулся Колов.

— Но это — «Правда». И вот сказано: «Конфликт, возникший между СП СССР и отдельными редакционными коллективами, выходит за рамки юридического спора. Он приобретает политический характер».

— Кто это пишет?

— А пишет... — Я будто в самом деле ищу, кто же это написал. — Пишет... Да вот внизу сказано: Владимир Карпов. Первый секретарь правления Союза писателей СССР.

Общий хохот, даже судьи улыбались.

Мне кажется, истцы наши так и не поверили, что суд — это всерьез. Они сознавали себя частью Системы, которая десятилетиями была не подсудна. И еще нам повезло, что от министерства печати и массовой информации ответчиком был М. А. Федотов. Тихим голосом, ставя точные вопросы, он раздевал истцов догола, и выяснилось, что из огромного перечня обязанностей, которые возлагаются на учредителя, Союз писателей фактически ни одного обязательства не выполнял никогда, а может, и не подозревал, что, кроме прав, у него еще есть и обязанности. И хорошо говорил в суде Ю. Д. Черниченко, он не только прислал заявление, он сам пришел свидетельствовать.

От них выступал сначала один, потом — два, потом — три адвоката. Одному я сказал:

— Неужели Союз писателей никого поумней найти не смог?

Червин, наш адвокат, выговаривал мне за это в коридоре:

— Вы что хотите, чтобы у них действительно был умный адвокат?

Червин — фронтовик. Одна рука у него — своя, живая, вместо другой нечто железное торчит из рукава. И — множество орденских планок на груди. Вот этой железной рукой в самый гололед он лихо водил машину.

Мы отстаивали правое дело, мы действовали по Закону, и

тем не менее судьбе Емышевой на многое нужно было решиться. Это было первое явление Закона о печати на суд, новый Закон и Система вошли в противоречие. И вот прозвучало последний раз:

— Встать! Суд идет!

И мы стоим. Обманет меня предчувствие или не обманет? Несколько раз я замечал, казалось мне, и заседатели, и судья вроде бы больше к нам расположены. А это опасно: та сторона, к которой судья не скрывает расположения, обречена, приговор вынесут не в ее пользу, — все видели, судья добр, но закон суров. Я смотрю не на судью, стою, опустив глаза. И вся наша редакция так стоит, пока читают приговор. И вот: «Обсудив все собранные доказательства в их совокупности, судебная коллегия пришла к выводу о том, что искивые требования удовлетворению не подлежат».

Тишина. Долгая пауза. Смысл прочитанного доходит до нас не сразу, и не по словам «в их совокупности», а по лицу нашего адвоката мы поняли: победа. И мы аплодируем суду.

— Ну прямо как дети! — пытается сохранить серьезность судья Емышева.

Был конец декабря, а начиналось все в августе. И все это время мы выпускали журнал, как бы между делом. И думалось: а ведь и страной вот так же занимаются между делом, весь пар уходит в свисток, борются наверху, кто — кого.

Но нам предстоял еще один суд. Зима сменилась весной, весну сменило лето, и вот уже в июне Верховный суд России признал законное — законным, подтвердил нашу правоту. Сбылось то, о чем в одном из своих стихотворений писал, почти что молил Твардовский: «Не стойте только над душой, над ухом не дышите...»

Был ясный, солнечный день. От здания Верховного суда до нашей редакции — рукой подать. Мы шли по улице гурьбой, наверное, шумно шли. По дороге что-то купили, наспех собралось дружное застолье. И решили на радостях, пусть среди государственных праздников будет и наш собственный: День независимости журнала, 7 июня, нерабочий день.

Десять с лишним месяцев нам «перекрывали кислород», но в конце концов, как полагается в хорошей сказке, добро победило, зло наказано.

Как наказали зло? Как в старой песне с веселым припевом: «Потом его, конечно, разоблачили, и дачу он тогда себе ку-

пил...» Зато, как любил говорить Михаил Сергеевич, все мы сидим в одной лодке. Не беда, что гребцы гребут в разные стороны.

Впрочем, и это все, такое еще недавнее, все это — уже прошлое. Новому дню хватает новых забот, довлеет дневи злоба его. Нас оторвало от берега и влечет, а мы не замечаем этого, как не замечают люди вращения Земли.

Редки моменты, когда ощутишь становится неслышный, подспудный ход истории. Мне было двадцать лет, в рассветном сумраке, когда лица солдат кажутся бледными, испытанными, стоял я в окопе. Ждали начала нашей артподготовки, считанные мгновения оставались до нее. И я вдруг почувствовал, что все сдвинулось, движется, и это уже не зависит ни от кого из нас, и этого не остановить. Никто не знал, кому из нас сколько осталось жить, а чувства в такие минуты обостряются. Явственно ощутил я, как вся эта махина из тысяч и тысяч людей и всего вокруг, как будто еще неподвижного, струнулась, движется уже не чьей-то волей, а сама, начав свой ход, неостановимо движется к последней черте. И полыхнет сейчас во тьме за нашими спинами, толкнется в уши и будет грохотать и сверкать, а потом мы выскочим из окопов и побежим по полю, бодря себя криками...

С того берега, от которого оторвало нас ходом истории, странно видеть, наверное, как люди все сражаются, сражаются друг с другом, не замечая, что всех их вместе, будто на льдине, влечет течением в распахнувшееся впереди открытое море, в никому не ведомое будущее.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Примерно так в мае или в начале июня зашел ко мне Владимир Яковлевич Лакшин. Это был 89-й год, мы — в новом помещении, свежем после ремонта, и день, помню, был солнечный. Он сел спиной к свету, я пересел к нему за приставной столик. Обычно не один раз за день то он ко мне зайдет, то я к нему, а самое приятное, когда удавалось, отбросив дела, посидеть, не спеша попить чайку вдвоем или с интересным автором, поговорить ни о чем. Из этого «ни о чем» самое главное для журнала потом и рождается. Мысль лучше не торопить, она сама вызревает в свой срок, был бы толчок дан. Но в том, как он вошел в этот раз, тяжелей обычного прихрамывая и опираясь на палку, сел, и лицо его было в тени, и некоторое время как бы в задумчивости потирал затылок крупными пальцами, ото лба вглубь, я почувствовал: разговор предстоит серьезный. И я догадывался о чем. В принципе я даже готов был к этому разговору.

Он сказал, что его избрали членом-корреспондентом Академии педагогических наук, там ему поручено сложное дело, связанное с учебными программами, учебниками, и он уже не сможет столько времени отдавать журналу, а потому... Что ж, я вполне понимал его, нас двоих для одного журнала было уже много. Я был бы рад, если бы он и дальше оставался в «Знамени», я ценил его, и разногласий серьезных у нас не было, хотя, возможно, сам бы он повел дело как-то по-другому. Он был из породы лидеров. Не случайно захотел он и даже попытался баллотироваться в депутаты Верховного Совета РСФСР, от чего я и на этот раз отказался, но журнал в меру сил помогал ему. А вообще это был уже готовый редактор журнала, он и стал им в дальнейшем, возглавив журнал «Иностранная литература». И, предвидя возможность такого разговора, я держал на примете человека, которого смог бы пригласить: Сергея Ивановича Чуприна. Он работал в «Литгазете», как-то я позвал

его в журнал заведовать отделом прозы, он отказался. И как раз на этих днях я прочел его беседу с одним из критиков и подумал: рано ли, поздно ли, а быть ему в «Знамени».

Пройдет несколько лет, и при встрече Сергей Павлович Залыгин скажет мне: у тебя смотри вон какие заместители! Чупринин, Наталья Иванова!.. Между прочим, когда нас с ним решили назначить редакторами, первой мыслью моей было позвать из Костромы Игоря Александровича Дедкова. Но в какой-то момент Залыгин закапризничал: мол, он уже стар, тяжело ему будет, нет, не пойдет он редактором... Я представил себе, кто может оказаться на его месте, наверняка окажется и, от сердца отрывая, сказал: «Зови Дедкова». Он поразился: «А ты?» — «Зови». И он пригласил, и был у них разговор, как мне говорили, двухчасовой разговор, и из кабинета в кабинет уже радостно передавали: к нам Дедков идет... Но разговором все и закончилось. Не пригласил. Не решился. О причинах нетрудно догадаться, но главная, скорей всего, была та, что Дедков сам по себе личность.

Расстались мы с Владимиром Яковлевичем дружески. А в тот раз, выходя из кабинета, он сказал, как бы между прочим, что и с сердцем у него последнее время как-то неважно, было вроде бы даже предынфарктное состояние. Но, повторяю, сказано это было так, словно в оправдание своего ухода. И я, больше привыкший переносить болезни на ногах, так и воспринял. А это, как время покажет, и было самым главным, куда важней той лестницы, что повела его вверх.

Журнал наш уже прочно стоял на ногах. Возможно, сравнение такое покажется странным, но в жизни писателя и в жизни литературного журнала есть много общего. Значительное произведение создает писателя. Значительное произведение, напечатанное в журнале, создает имя и поле притяжения журналу. Разумеется, книги пишут (я говорю об искусстве) не по расчету, а потому, что «песня зреет», пришел для нее свой срок и час, и весь мир и людей начинаешь видеть и понимать сквозь нее, сквозь эту твою книгу, важней ее для тебя сейчас ничего нет. И пока не напишешь, не освободишься. В дальнейшем имя само работает на тебя.

Вот и «Знамя» вступило в эту пору. Впрочем, это произошло не в 89-м году, когда тираж поднялся до 980 тысяч, а в дальнейшем и до миллиона, это началось раньше. Мы напечатали ряд вещей, которыми можно гордиться. Ни один журнал

не взял повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», отговорки были разные, не говорилось главное: побоялись. У нас, при социализме, тем более — при развитом социализме, не было, как известно, и не могло быть никаких национальных проблем, примерно так же, как, по телевизионному заявлению одной труженицы, у нас не было и нет никакого секса. Наоборот, в пример всему миру национальные проблемы у нас полностью разрешены, сплошное братство и дружба народов, все поют и пляшут. А повесть Приставкина, в значительной мере автобиографическая, что усугубляло дело, поскольку все это не выдуманно, была о детском доме, который во время войны привезли в Чечню, откуда, хватая и старых и малых, стреляя пытавшихся скрываться, войска НКВД выселили чеченцев в то самое время, когда многие их сыны сражались на фронте. Когда речь о детях — русских ли, чеченских ли детях, — все воспринимается больней, а мир, искаженный взрослыми, — в его естественной, первозданной глубине. Мы сразу взяли эту трагическую вещь, она в дальнейшем стала широко известна, сыграла большую роль и в судьбе автора. Приставкин писал ее о прошлом, о том, что было сорок с лишним лет назад, кто мог подумать тогда, что ей еще суждено стать злободневной?

В страшном сне могло ли присниться, что после трагедии сталинского времени, столько раз официально осужденной с высоких трибун, после безумия афганской войны наши верховные правители «в защиту конституции» решатся бомбить Грозный, на своей земле уничтожить свой народ, начать необъявленную войну, конца которой не видно в обозримом будущем? Решились бы они бомбить, скажем, Ярославль, начать военные действия против Ярославской области? Одним этим многое было сказано и чеченцам, и всему Кавказу.

Я обратился к Президенту страны, это было напечатано на первой полосе «Известий»:

«Россия — великая, сильная страна, она может быть милосердной. Безмерно жаль молодые жизни. Пригласите Дудаева в Москву. Сделайте еще этот шаг. Верю, он будет оценен и понят».

Все еще можно было остановить, решить миром. Но традиция старая, сталинская: человеческая жизнь — ничто.

В Израиле арабские террористы захватили школу. И герой войны, министр обороны Моше Даян решил штурмом освободить детей. Дети были освобождены, но три или четыре ребен-

ка погибли. И народ проклял своего героя, он тут же подал в отставку.

Сколько безногих, безруких, искалеченных детей, и чеченских, и русских, осталось после этой преступной войны! Сколько погибло под бомбами! Общий счет — а у нас счет всегда на тысячи, на десятки тысяч — война унесла свыше ста тысяч человеческих жизней. Собаки растаскивали и грызли трупы убитых наших солдат на улицах Грозного, это показывали по телевидению. Кто-нибудь понес ответственность за все за это? Кто-нибудь подал в отставку?

Но тогда, в 1987 году, мы печатали повесть Приставкина, уверенные, что с прошлым покончено, прошлое не повторится.

В том же номере печаталась повесть Николая Шмелева «Пашков дом». Шмелев в ту пору уже был известный экономист, его статья «Авансы и долги», напечатанная в «Новом мире», наделала много шума. Но повесть он принес нам. Помню, начал я читать и, не отрываясь, прочел до конца. Были у меня две небольшие просьбы к автору, именно просьбы: по части вкуса. Шмелев тогда работал в Институте США и Канады, мне зачем-то нужно было к директору института, к Георгию Арбатову, и вот мы встретились со Шмелевым в коридоре, в лицо я его еще не знал.

— У вас моя повесть лежит. «Пашков дом».

Ах, как мне знакомо это состояние, когда от одного слова душа либо возликует, либо мир рушится. Так вот он какой, Николай Петрович Шмелев, написавший эту повесть, от которой я оторваться не мог: невысок, очки поблескивают, лоб уже распространился туда, где была шевелюра. Да еще вся эта обстановка академического института. Ученый, доктор наук. И при том, что лоб его заметно вспотел, а ведь всего только спросил про повесть, я тем не менее понял, в глазах его увидел за стеклами очков: это человек твердый. И во мне проснулся редактор, сам удивился, откуда что взялось:

— Да-да... Я прочел. У нас есть несколько соображений...

И на зимнее солнце, сквозь мороз ярко светившее в окна, словно бы туча нашла. Ничего, ничего, все хорошие слова я ему еще скажу, а пока пусть поволнуется, пусть ждет худшего, тогда и на мелочь согласится. Но, помню, он отстаивал до последнего буквально каждое слово. И это никак не испортило наших отношений, наоборот, мы сошлись с ним близко и уважительно.

Расчетливо ли было одновременно печатать две такие вещи, если каждая из них могла стать центром номера, вызвать у читателя то драгоценное чувство, когда мало, что ты прочел, надо еще с кем-то поделиться нечаянной радостью: «Вы не читали? Прочтите непременно!..»

А еще в этом номере мы возвратили из небытия стихи Георгия Иванова. Я приведу два коротких стихотворения, не уверен, что и сегодня многим знакома его поэзия:

А что такое вдохновенье,
— Так... Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.
Над кипарисом в сонном парке
Взмахнет крылами Азраил —
И Тютчев пишет без помарки
«Оратор римский говорил...»

* * *

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.
— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней
По снегу русскому домой.

А еще были там стихи Беллы Ахмадулиной, рассказ Булата Окуджавы «Искусство кройки и житья», один из лучших его рассказов; «Из неопубликованного» Ольги Берггольц, сопровождаемое глубокой статьей В. Лакшина «Стихи и судьбы»; а еще и острая публицистика Ю. Черниченко.

Разумеется, не все номера журнала были такими. Скажу не для сравнения, «Новому миру» А. Твардовского сравнения нет и не будет, но даже и у «Нового мира» тех времен далеко не каждый номер был так насыщен. Произошло главное, о чем мечталось: «Знамя» становилось центром притяжения всего талантливое. Начало было положено, повторяю, романом Александра Бека «Новое назначение».

Как-то случился у меня разговор с Ольгой Васильевной Труновой, на мой взгляд, лучшим редактором «Знамени». «А ведь мы так не выдержим, — сказала она, — давать все время прозу первого ряда... Ее столько не бывает». Я знал, она права, то, что она назвала прозой первого ряда, — это все штучные произведения, они редки, но сказал: «Выдержим». Главным было — утвердиться, давать сейчас лучшее, и следующий, четвертый, номер мы составили по тому же принципу: тут было окончание «Тучки», два рассказа Василия Гроссмана, статья Владимира Шубкина «Бюрократия», которую тут же перевели в Японии, статья Игоря Дедкова «Былое и настоящее». И — стихи Евгения Евтушенко «Из старых и новых тетрадей».

Перед Евтушенко я в какой-то степени был в долгу, и старый этот должок рад был возвратить, хотя не уверен, что он помнил. Он наделен прекрасной способностью: забывать то, что может как-то испортить настроение, когда речь, разумеется, не о деле. В свое время в Театре на Таганке недолго шел спектакль, если не ошибаюсь, назывался он «Под кожей Статуи Свободы». В основе — поэзия Евгения Евтушенко, но не только его поэзия. Я был на премьере, сижу по окончании несколько смущенный, надо что-то автору сказать. Но подошел Юрий Петрович Любимов: «Пойдите похвалите Евтушенко». Подымаюсь в кабинет, Евтушенко стоит, выше всех ростом, жму ему руку, говорю какие-то слова. И все бы хорошо, похвалам верят охотно, а он их вообще принимал как должное, да дернуло меня еще сказать: «Ах, как это глубоко у тебя:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

Общая немая сцена. Евтушенко отвернулся, будто не слышал, заговорил с кем-то. Каюсь в своем позоре: не знал тогда, что это — Пастернак. Но какой грандиозный образ!

Мысленно обозревая напечатанное в журнале в 1987 году, — а тут был ряд значительных вещей, известных имен, — я для себя по другому счету выделил никому не известного молодого автора Виталия Москаленко. Он принес нам рассказ «Дикий

пляж». Все в нем, по видимости, обыденно. Действие происходит на пляже в жаркий день. Замужняя женщина с маленьким сыном. Ее любовник, с которым она удаляется в лес. Брат любовника. И — дурачок, над которым все потешаются, его и подговаривают прыгнуть с моста головой вниз в обмелевшую реку, где под водой скрыты камни. И из всего этого несложного повествования ярко и яростно выступает природа фашизма. Москаленко в ту пору было под тридцать, актер, писал пьесы, которые то ли где-то шли, то ли не шли, — не помню. Мы сидели с ним, разговаривали у меня в кабинете. Вот оно, думалось, племя младое, которое сменит нас. Должна прийти новая литература, молодая, она сама расскажет о своем времени.

Так было уже, так входили в литературу наше и последующее поколения. А всего только приоткрылась тогда форточка, чуть пахнуло весной, и как все ожило: в литературе, в живописи, на сцене... За короткий срок наша литература, наше искусство обошли мир. Но недолги были радости. Помню, дописывал я роман «Июль 41 года», чувствуя: вот-вот захлопнутся и форточка, и двери. И захлопнутся надолго. Успел. Дописал. Напечатали. А в дальнейшем — запрет на целых двенадцать лет. Роман выходил за границей: в Италии, во Франции, в Швеции — во многих странах.

Наверное, Владимир Корнилов не помнит, как вместе с Владимиром Войновичем, еще с кем-то они спустились в буфет Дома литераторов, по-своему историческое место, все стены здесь были расписаны дружескими карикатурами, шаржами: и тех, кто сиживал там, и тех, кого уже нет, — вошли, сели к стене, заговорили взволнованно, негромко, голова к голове. Я было хотел пересесть к ним со своим бокалом, но то ли на взгляд кого-то из них наткнулся, то ли почувствовал: не надо, не хотят. Я не знал, что этажом выше, в секретариате, у них только что произошел решительный разговор. И сейчас, сидя за этим столиком, возможно, последний раз, они уже отделились ото всех. Но у нас всегда были самые дружеские отношения. Знал бы я, что происходило, не осталось бы у меня некоторой обиды от того раза. Но, став редактором журнала, я позвонил Корнилову. Он бедствовал многие годы, его совершенно не печатали, как бы исключили из жизни. Я попросил у него стихи, ну, скажем, десять стихотворений. Я помнил давнюю его поэму, такую свежую, молодую, благодарный страст-

ный шепот героини: «Родька, спасибо, Родька, / Ты так всегда меня...» И в прозе, и в поэзии всегда отличишь то, что взято из жизни.

В кабинет ко мне вошел старик: борода, почти вся седая, мерцающие зрачки — признак большой щитовидки, — голос... Вот, говорят, голос не меняется. Нет, это был не его голос.

Наверное, он тщательно отбирал стихи для первой после стольких лет вынужденного молчания публикации. Но, увидев его, я понял: напечатаю все, что бы он ни дал, добьюсь. Одно слово показалось мне не совсем точно найдено, я сказал ему. И вдруг он рукой чуть вздрагивающей махнул все четверостишие крест-накрест. Мы тут же вместе восстановили его.

Стихи были напечатаны, откликнулись многие. Вот — из Армении:

«Ереван 19/2214 з1 25 1210=

Серия Е-52 Москва Тверской бульвар 25 журнал Знамя Бакланову=

Прочла подборку Корнилова Больше чем автора поздравляю Вас нас всех Спасибо=Сильва Капутикян=»

Но, бог ты мой, сколько бездарей приходило ко мне с записками от должностных лиц, предваренные телефонным звонком, уверенные, что после такого ходатайства я непременно сам прочту и все пойдет без задержки. Уж эти-то рукописи я тут же отправлял в отдел. Такой порядок я попытался установить сразу.

Вообще порядок нужен во всяком деле, да вот что из этого иной раз получалось: первая и лучшая вещь Кураева «Капитан Дикштейн» была у нас, но не понравилась в отделе, не поняли ее, и ушла в «Новый мир», а я об этом узнал задним числом. Еще того обидней, что ушел из журнала роман Домбровского «Факультет ненужных вещей». Ну, да что теперь вздыхать. И год, и три года спустя, случилось, подойдет ко мне знакомый писатель: «Что же вы, Григорий Яковлевич, уж так Владимир Яковлевич Лакшин хотел напечатать мою вещь, а вы отказали наотрез...» И это обида, которую не прощают, а я про его вещь, как говорится, — ни сном, ни духом. И уж если бы Владимир Яковлевич хотел напечатать, непременно показал бы мне. Но ведь не поверят, в лучшем случае — сделают вид. Главный редактор журнала — крайний, должность такая, грех на него не свалить. Да это-то лад-

но, обидней всего, когда хорошие вещи уходили из журнала. И случалось — тайком.

Мы печатали в трех номерах воспоминания Е. А. Керсновской. В прошлом — мелкая бессарабская помещица, настолько небогатая, что и пахать самой приходилось, она уже в преклонных годах написала эту книгу. А книга была поразительная: сама судьба автора, память, точнейшие подробности. Тут и предвоенная жизнь, и приход наших войск, освободивших ее от всего, чем жила, что имела; в летнем платьице схватили ее, посадили в битком набитый грузовик. А дальше — Сибирь. Эта женщина совершила невероятное: зимой, в страшный мороз, бежав с лесоповала, она с севера на юг прошла сибирскую тайгу, кормилась бог весть чем. Однажды удалось палкой убить утку. Съела ее сырой. Потом — лагеря. Когда мы печатали эту ее книгу (ее сразу же издали в Германии, еще где-то), Керсновская уже не вставала, жила она далеко от Москвы, мы посылали к ней редактора. Журнал наш не иллюстрированный, а Керсновская еще и рисовала прекрасно: была рукопись, и была пачка иллюстраций. Мы, конечно, отдали бы их в иллюстрированный журнал, предварительно напечатав воспоминания. И вдруг — номер «Знамени» еще в наборе, а в «Огоньке» неделя за неделей выходят иллюстрации Керсновской, и подписи кратко пересказывают содержание. И мы, открывшие эту вещь, гордившиеся ею, печатаем как бы уже известное читателям, вслед за «Огоньком» — из милости. Я до сих пор не знаю да и знать не хочу побудительные мотивы редактора отдела, которая тогда работала у нас и тайно передала иллюстрации в «Огонек». В наивность я не верю, а случайно такие вещи не делаются.

Прошло полгода после рассказа Москаленко, и Алена Холмогорова, тоже в то время — редактор отдела прозы, говорит как о несбыточном: «Какие хорошие рассказы по почте пришли, но мы их, конечно, не напечатает». Я взял их у нее. Это были «Афганские рассказы» Олега Ермакова. Прислал из Смоленска.

Олег Ермаков — солдат афганской войны. Однажды мы устроили в редакции прием солдатам и офицерам-афганцам, в большом зале были накрыты столы, ребята рассказывали, беседу с ними мы после напечатали. Запомнился мне молодой капитан на протезе. Говорил он твердо, мыслил твердо, сомнения не коснулись его. Может, и хорошо, что не коснулись.

Верный воинской присяге, он выполнял свой долг. Но ребят бросили в преступную войну, которая не была нужна ни им, ни их стране, вполне возможно, она и стала началом развала их родины, а многие последствия ее далеко еще не видны. И что, легче жить с этим сознанием? Все это назовут ошибкой. И то, что он, молодой, красивый парень, выбравший в жизни карьеру офицера, гордившийся своим призванием, теперь инвалид без ноги, — ошибка. И то, что матерям никто не вернет их сыновей, погибших неизвестно за что в чужой стране, — ошибка. Какое-то время они будут держаться своего фронтового братства, жить прошлым, заменяя им настоящее, а потом... Тяжелое впечатление осталось у меня после этой встречи.

И вот рассказы Ермакова. Они должны были быть написаны после всей бесчеловечной, бессовестной официальной, оправдывавшей то, что оправдания не имеет. Написать их мог только человек, пришедший с этой войны. В них было осознание всего этого бедствия, разразившегося неведомо зачем. В их краткости чувствовалось влияние Хемингуэя, но это было свое, пережитое. Рассказы мы тут же поставили в номер, сложными путями (телефона у него не было) вызвали Ермакова из Смоленска. Хотелось посмотреть на него, поговорить, устроить ему праздник, хотелось, чтоб он знал: отныне его здесь ждут.

Через три года он принес нам роман «Знак Зверя». Тоже об афганской войне. Это — лучшее, самое глубокое, что о ней написано. А о чем же еще он мог писать, когда все виденное и пережитое — перед глазами, как день сегодняшней. Думаю, не раз он к этому вернется, о чем бы ни писал.

Этот роман в дальнейшем выдвинули на премию Букера, и к тому дню, когда ее должны были вручать, мало кто сомневался, что получит ее Ермаков. Уже телевидение снимало его, расспрашивало: телевидению положено знать и предвидеть. Но в банкетном зале, где за обедом оглашается решение жюри, я не увидел Ермакова. И вот уже раскрывают конверт, за столиком, рядом со мной вдруг оказалась молодая в то время Нарбикова, откуда-то пересела. Она уже не раз предпринимала усилия быть выдвинутой на эту премию. Нервно сжимая пальцы, она была в пол под столом каблуком туфли примерно так 39-го или 40-го размера и заклинала, себя не помня: «Только не Ермакову, только не Ермакову!» Он — молодой, она — относительно молодая, дело в общем-то понятное, но я все же поинтересовался: «А что вы так против Ермакова?» — «Он писать не

умест...» Да, зависть — самое искреннее признание. Премию дали не ему.

На другой день в редакции я спросил Ермакова:

— Вас не было в банкетном зале. Почему вы ушли?

— Мне что-то сказало, что мне не надо туда идти.

Хранило ли его на фронте вот это «Мне что-то сказало»? Не берусь гадать. Но с первого шага, когда он, никому не известный, прислал по почте свои рассказы, вел он себя достойно, как полагается вести себя в литературе, где только бездарям тесно, вел, как должно человеку вести себя в жизни.

Если посмотреть оглавления тех лет, мы действительно напечатали ряд значительных вещей. Жанр? Самый различный. Ну, например: антиутопия «Мы» Евгения Замятина, публицистическая статья Юрия Карякина «Стоит ли наступать на грабли?», вызвавшая огромный резонанс в обществе, и «Воспоминания» академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Уверен: остынет время, и книгу Сахарова еще перечитают не раз.

Большим успехом у читателей пользовалась книга Константи́на Симонова «Глазами человека моего поколения». Он был известен, даже знаменит и у нас, и за границей, но прозу его я читать не мог, это была скорей журналистика. Однако эта книга, я сразу понял, будет иметь читательский успех, а такие вещи журнал должен учитывать. И не видать бы нам ее, если бы не Лазарь Ильич Лазарев: возглавляя комиссию по литературному наследству Симонова, он убедил своих коллег передать ее в «Знамя». Вот ее я прочел, и более всего интересен мне был сам автор.

Помню, шли мы с ним улицей нашего поселка, он вернулся из Средней Азии, куда уезжал после того, как на него прогневался Хрущев. По этому поводу Борис Полевой, с которым мы оказались в одной делегации в Праге, сказал: «Можете мне поверить, я в этом деле лучше разбираюсь, зря он туда поехал. Не надо было ему уезжать. Зря! Только потерял темп». Не берусь судить, кто из них прав. Но вот Симонов вернулся с новой повестью и, рассказывая о ней, сказал поразившую меня вещь: как он шел к самолету и подумал, что несет в руке сейчас сто двадцать тысяч рублей, потому что повесть его будет издана там, там и там, и все вместе это даст сто двадцать тысяч. Это были тогда большие деньги, но не для него, человека весьма состоятельного; тем более поразило меня, что, закончив

вещь, он оценил ее в деньгах, посчитал, сколько она даст, и говорил об этом совершенно естественно. И все же не из редких встреч и разговоров, которые случались, а прочтя книгу «Глазами человека моего поколения», я, как мне кажется, понял Симонова. Можно не уметь написать психологию героя, не владеть этим даром, но о себе ты вольно или невольно рассказываешь и то, что, может быть, не хотел бы рассказать. Конечно, это были не глаза поколения, это увидено глазами человека, приближенного Сталиным, испытывавшего и страх, и сладость быть приближенным. А ему казалось, что он рассказывает о Сталине такое, что при своей жизни напечатать не решался, не мечтал и оставлял в столе как завещание.

Однако мы печатали и то, чему суждена была совсем недолгая жизнь. По ошибке? Нет, сознательно. Это не значит, что мы не ошибались. Ошибались. Не раз. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но в памяти у меня был опыт войны. Перечитайте публицистику тех лет. Очень немногое сохранило свое значение настолько, чтобы сегодня это было интересно прочесть. «...Умри мой стих, / Умри, как рядовой...» И злободневное умирало, но оно помогло победить. Вот и теперь оно должно было помочь победить.

А время было странное: всеобщая эйфория и всеобщая, все возрастающая неуверенность, тревога. Великое дело начиналось, как мы теперь видим, на авось. Сели, сохраняя ранг и чин (тут тоже свои сложности: как бы кто кого не пересел поближе к главному, с древнейших времен это у нас ведется), но все же сели, разобрались, главный взял в руки вожжи шелковые: «Н-но!..» И покатили славно. А как трянуло на первом ухабе, тут-то и оказалось, что и думают врозь, и, что делать, толком не знают. Главным представлялось стронуть приржавевший маховик, раскрутить его, а дальше пойдет, само пойдет... Но у жизни — своя логика, и она сильнее логики людей, убежденных, несомненно, что они прочерчивают пути в истории, движут и направляют.

Да, в жизни отдельных людей и даже миллионов эти люди бывают всевластны, к несчастью, это так. Но много ли дел в нашем XX веке завершилось, как было предначертано? Ни одно! А вот какой-то незапланированный Норберт Винер (тысячи таких уморено в гитлеровских, в сталинских лагерях, вспомним хотя бы нашего Вавилова, а юные гении, которые и слова своего сказать не успели, им вообще несть числа), вот этот са-

мый Норберт Винер, отец кибернетики, хотя создатель ее не он один, «лженауки», как нас учили, они изменили лицо мира, а как оно изменится в дальнейшем, к чему все это приведет — неведомо, и нет таких, кто на грани века уходящего и нового века, который скоро воссияет над горизонтом, могли бы уверенно предсказать будущее. И, при всех блестящих успехах науки, не ждет ли мир новое одичание? А уж невежество, предрассудки, пережившие столько веков, можно не сомневаться, переживут и следующее столетие. Пока что при свете разума они сгустились еще мрачней.

Осознать свой век, самих себя, кто мы, когда, где сбились с пути, что ждет нас всех, что с нами происходит, осознать и в публицистике, и в критике, и в поэзии, а главное — в прозе, вот это с самого начала было одной из главных задач журнала. Но странное дело: вроде бы упала завеса с глаз, раскрывались многие тайны, о происходящем ныне пишут довольно свободно, а вот те вещи, которые были раньше запрещены, их напечатать — каждый раз как на стену каменную натыкаешься. Странно? Ничего странного. Вроде бы и горячо, и злободневно то, что на глазах пеклось, подавалось газетами с пылу, с жару, но мысль не минутную, мысль современную, глубокую, охватывающую и вчера, и сегодня, провидящую завтрашние беды, содержали в себе те книги, что создавались под прессом, отстоялись за эти годы и уже не подвластны веяниям. Понимали ли это наши запретители? Вряд ли. Но нюх, инстинкт, чувство самосохранения вполне заменяли им ясное понимание.

Помню, на приеме в американском посольстве, верней, в «Спасо-хаузе», где и происходили обширные приемы, в шумном круговращении разноязыких людей, стоял одиноко у белой колонны Георгий Владимов, заложа руки за спину и придавив их собой. К нему подходили, разговаривали мимолетно, отходили. Он был еще здесь, в Москве, но уже и не здесь. Как после он сам напишет, перед ним поставлен был выбор: или уехать из страны, или — лагеря, то есть медленная смерть: он только-только перенес инфаркт. Вот таким он долго оставался у меня в памяти. У нас не было с ним никогда особо близких отношений, но он написал одну из лучших книг в нашей литературе: «Верный Руслан». И хоть сказано было грозно: «Хватит нам собачатины!» — я знал, эту книгу я напечатаю.

Классика неприкосновенна, она уже как бы расставлена на полке рукой всевышнего, и не властная воля людей, а время

дополняет этот ряд. Но для меня было несомненно, что книга Владимова, имевшая подзаголовок «История караульной собаки», — в том ряду, который начат бессмертным «Холстомером» Толстого, где «Изумруд» Куприна.

День, когда привезли из типографии сигнальный номер журнала и я взял его в руки, и раскрыл — *Георгий Владимов. Верный Руслан*, — этот день для меня и для нас для всех был праздничным. Мы сделали то, что обязаны были сделать.

Гласности, главному достижению так называемой перестройки, еще и двух лет не исполнилось, когда по ней был нанесен первый удар: ввели лимит на подписку. В сущности, это было не так уж нелогично. Бюджет страны, подорванный сначала антиалкогольной кампанией, потом всеми остальными безграмотными действиями, трещал, полки магазинов пустели, ясной стратегии в экономике пока что не прорисовывалось, и обещания оставались обещаниями.

Мы вступили в войну без полководцев. Жуков, Василевский да еще выпущенные из лагерей на свободу Рокоссовский, Мерецков... Сорок три тысячи офицеров, генералов и адмиралов было арестовано, посажено в лагеря, расстреляно. Армия была обезглавлена, наши полководцы учились воевать и вырастали на войне, за это заплачено солдатскими жизнями, счет которым бог весть.

Вот так, в ходе самой перестройки, учились и вырастали наши экономисты, и это — одна из причин, почему все идет так трудно и бедственно для народа. Тут-то и пригодился старый испытанный опыт: а зачем, собственно говоря, народу все знать? Критика хороша, когда ты критикуешь, но ты и даешь. А дать-то было нечего, жизненный уровень потихоньку снижался, самое время вернуть цензуру. Но — нельзя! Мы столько вещали миру, какие отныне мы есть да какими еще станем... И решили по-тихому: ограничить подписку. Мол, бумаги не хватает, типографии не справляются...

Помните, не стало вдруг в Москве яиц. Про другие города я уж не говорю, но Москва всегда являла собой некую витрину для иностранцев. А тут даже яиц не стало. Что такое произошло? Оказалось — это же придумать надо! — у подмосковных кур открылся понос, и куры самым нахальным образом перестали нестись. Так объяснили по телевизору, так напечатали в газетах. Не знаю точно, у кого в высших сферах открылся понос

от гласности, как у кур от перестройки, но вдруг стали вводить лимит на подписку.

Однако люди уже вдохнули глоток свободы, не прошли зря два года духовного подъема, небывалых надежд. Письма протеста хлынули во многие редакции и инстанции, я их не читал, но я прочел сотни писем, пришедших к нам, в «Знамя». Мы потом напечатали отрывки из них, пусть власть прочтет, что люди думают о ней, как видится этот трусливый шаг. Не благ, не хлеба насущного лишали, отнять хотели духовный хлеб, и вот что он значил для людей в ту пору:

«Народ опять сочли за болванчиков... Неловко, конечно, говорить от имени народа, но если я — не народ, мои друзья — не народ, страждущие возле агентства «Союзпечать» — не народ, мои сослуживцы — не народ, то кто же народ? И кто решает, что ему можно читать, а что нет?

А. Л. Иванов, Ставрополь».

«На нашем предприятии выделен лишь один экземпляр «Знамени» на 800 сотрудников.

Карпова Н. Н., Москва».

«На 7000 человек нашего завода имени Петрова ПО «Волгограднефтемаш» не дали ни одного номера «Знамени»!

Инженеры завода» (19 подписей).

«На 13 кафедр и 2 лаборатории плюс деканат юридического факультета МГУ выделено всего 7 подписок на «Знамя».

К. Новицкая».

«Сам я работаю механизатором в совхозе. В этом году наша семья была единственным подписчиком в нашем почтовом отделении. И вот теперь лимит. Каждый дефицит прежде всего оборачивается на нас, рабочих. У нас только нет лимита на грязь, которую видим, работая на тракторе. Узнав, что в 1989 году «Знамя» будет печатать интересные материалы, нас взяли и отбросили.

Кувшинов В. А., Дмитровский район Московской области».

«Только на нашей маленькой улице Тельмана, где всего пять домиков, журнал выписывают пять человек... Сахар по тало-

нам, маслом не торгуют у нас уже 17 лет, а теперь и гласность будет по талонам?

Клюкас А. Г., деревня Сенгилей Ульяновской обл.».

«Я инвалид 1-й группы, лежу без движения уже несколько лет и нахожусь на длительном лечении в больнице, куда и выписываю «Знамя». Читают его и все больные, находящиеся на лечении, а теперь даже в этой малости мне отказали.

Саяпина М. С., Пензенская обл., ст. Чаадаевка, туберкулезная больница, дача номер один».

«Одна была радость — «Знамя», и ту отняли. Мы живем, ничего не видим, по телевизору показывают только третью московскую программу.. Будем теперь сидеть, как медведи в берлогах. Извините за писанину. Не могу совершенно успокоиться.

Николаева К. И., Белово Кемеровской области».

«На весь Владимир с населением 350 тысяч человек выделено 127 подписок на «Знамя»! На заводе, где работает муж, подписок хватило только на администрацию.

Алеева А. А., Владимир».

«На Запорожский электроламповый завод дали всего два номера «Знамени»!

Семья Задорожных. Запорожье».

«Мы столько говорим и пишем о помощи старикам и об уважении к ним. Так проявите его на деле, подпишите, пожалуйста, на «Знамя». Может быть, это мой последний год, ведь я ровесница века.

Гарбер М. П., Иваново».

«Нам с мужем чуть больше тридцати, мы представители поколения, обделенного правдой, поэтому читаем взахлеб «Знамя» и сохраняем все журналы для подрастающих детей.

Супруги Борец, Ухта».

«Я работаю в школе, филолог... Согласитесь, что жить в селе, преподавать литературу и быть ограниченной в возможнос-

ти познакомиться с публикациями «Знамени» — положение далеко не нормальное.

В. П. Головатенко, поселок Вулканешты, Молдавская ССР.

«Меняю квартальную норму сахара на годовую подписку «Знамени».

Киев, Трэгуб.

«Мне не надо тряпок, не надо журнала «Бурда Моден», я насчет этого спокойна. Но отказаться от «Знамени»... Обидно! Долгие годы сидели, как в конуре, не высовывая голов, мало чем интересуясь, и только-только потянулись к своей истории, экономике, экологии, к судьбе Родины, а тут...

В. Трефилова, Новокузнецк.

«Живу одна с детьми и целый год собираю по крохам на подписку. Я лишена многих жизненных благ, у меня нет связей и средств, но книги и журналы для меня святое. И вот теперь я этого счастья лишилась. Что делать? Бегать по библиотекам я не могу, дети малые, а на дом не выписать. Добывать «блат» ценой унижений — не для меня.

Н. Смирнова, Львов.

«Введение лимитов на журналы сродни наморднику на гласность.

Колодиев А. Ф., Москва.

Всесоюзный центр общественного мнения провел опрос. И вот что говорилось в нем, в частности: «В этом году трудности подписки затронули практически все издания (5 процентов не смогли так или иначе подписаться даже на «Правду»)... Однако максимум недовольства связан не с этими изданиями, а со сравнительно небольшим числом журналов и газет, вышедших на передовые рубежи общественного интереса... Именно эти издания поставлены под удар введением лимитов... На «Огонек» не смогли подписаться 73,1 процента желающих, на «Знамя» — 61,7 процента, на «Новый мир» — 55,2 процента, на «Дружбу народов» — 51 процент».

Не помню, у кого это сказано про занятую женщину: если бы господь бог вошел вдруг к ней, она бы не поразилась, а сказала: «Господи, как хорошо, что ты пришел! Пойди посмот-

ри на кухне, не сбежал ли у меня кофе?...» В те дни мы были подобны ей. И все же сознавали, это — миг счастья: жив народ, если для него так много значит хлеб духовный. И народ не позволил тогда не посчитаться с его мнением.

Было это еще на Тверском бульваре, заезжает среди дня недавний наш сосед, бывший ректор Литературного института Егоров Владимир Константинович, а в то время — работник ЦК. Разговариваем, пьем чай, и вдруг он спрашивает:

— Как вы думаете, если установить такой предел: главный редактор журнала работает десять лет? Не больше.

— Максимум — пять!

Мне и пять-то казалось много. Думалось: вот налажу дело и года через три передам журнал Лакшину.

Никогда бы не поверил в то время, что придется мне семь лет жизни отдать журналу. Выдержали мы и давление цензуры, и чем трудней проходила вещь, тем радостней было, когда печатаем. И гордость появлялась за журнал, неведомая мне прежде.

Выдержали мы два суда — Московский городской и Верховный суд России, — когда решили избавиться от опеки Союза писателей. Но и в это время я все же пытался писать. Бывало, встанешь пораньше, пройдешься по саду, сядешь за стол — хорошо! И вдруг вспомнил: а вот эти документы еще представить бы в суд... И пошли-поехали мысли в другую сторону.

И все же... Все же это были хорошие годы: и работалось с азартом, и было ради чего. А какую литературу печатали! И писем в журнал шло столько, что один учетчик не справлялся. Журнал прибыльный, подписчиков — миллион, еще и библиотечку издаем знаменскую. О чем, казалось бы, беспокоиться? И вдруг цены понеслись вверх. Бумага, типография, доставка почтой — все стало непредсказуемо. И такое хищничество проснулось в людях! Не заработать (заработать надо уметь), а сорвать с ближнего. А нам брать не с кого. Подписчик уплатил за год вперед и знать ничего не хочет. И прав. Сойдемся, бывало, у меня в кабинете — Чупринин, Наталья Иванова, Гербачевский (тогда еще у редактора было три зама) да Евгения Александровна Кацева, надежнейший ответственный секретарь, — и вот примемся считать да «умом раскидывать». Но куда ни кинь, все — клин. Назначить цену за журнал выше — читателей потерять. Самых неимущих. Не подымать

цену — деньги откуда возьмутся? И до каждого в редакции дошла тревога: зарплату нам никто не платит, сами от себя зависим.

Сейчас смешно вспомнить, как решали мы, собравшись: два с полтиной поставить цену за номер или сразу на три рубля отважиться? Отважились. А месяцев через пять выпустить номер журнала стоило уже полторы тысячи, а читатель получал его все за те же три рубля. Трамвайный билет стоил дороже. Но ничего не поделаешь, мы перед подписчиками на год вперед взяли обязательство.

Умилил меня в эту пору телефонный звонок. Дама — если по голосу внешность представить — холеная, в годах, но живости не утратила. Удостоверившись, что говорит именно с главным редактором, мягко попеняла мне, что на обложке такого-то журнала стоит цена ниже нашей, как же, мол, вы? И не без игривости: раз уж взялись за гуж...

Что ты ей объяснишь? Да и зачем объяснять?

— А вы берите, как колбасу в магазине: по своим возможностям.

Обиделась:

— Слишком амбициозно...

Но стали приходиться письма с вложенными в них деньгами. Не так уж много было этих писем, и деньги невеликие, но не дорог подарок, дорога, как говорится, любовь: в трудный час читатели сами захотели помочь журналу.

Почему-то я не сомневался, что с бедой справимся, не знаю, откуда у меня эта уверенность бралась. Вот только ночью проснешься другой раз, подумаешь, и сон как рукой сняло. И пожалеешь, что бросил курить.

Первым помог нам академик Владимир Александрович Тихонов, ныне покойный. На приеме в Чехословацком посольстве, тогда еще — Чехословацком, он сам подошел ко мне:

— А я ваш давний читатель.

Слово за слово и — «А как в журнале дела?» Пили мы оба пиво, пивичко, а под такой разговор надо бы что-нибудь покрепче. Он — экономист, ему и без моих объяснений все понятно.

— А вот сведу я вас, пожалуй, с Боровым. Не знакомы?

Боровой Константин Натанович возглавлял тогда РТСБ: Российскую товарно-сырьевую биржу, самую мощную. Мы встретились у меня на даче. И появилась на уголке журнала, на об-

ложке, маленькая ленточка, в середине — знак РТСБ. Вряд ли биржа так уж нуждалась в нашей рекламе, но мы за эту крошечную ленточку получили большие деньги. Сразу. И на какое-то время нас это спасло.

Однако что-то надо было решать в принципе. Повторяю, была у меня странная уверенность: «Знамени» помогут. Но не побираться же от случая к случаю. Каковы они, законы нарождавшегося рынка, мы понятия не имели, но уже звучало уверенно: ничего, ничего, слабые вымрут, уступят место сильным... Ну примерно как у Иудушки Головлева в сладостных его мечтах: вот если бы у соседа все коровы пали, а мои коровы стали бы давать молока вдвое... Но речь о культуре. Что радости, если выживут один-два журнала? Слезы горькие.

Собрались мы вчетвером в «Дружбе народов». Журнал этот тогда возглавлял Руденко-Десняк. Итак — Ананьев, Залыгин, Руденко-Десняк и я. Пожаловались друг другу в меру сил. Однако был у меня план, который я предложил на пробу: помогать сейчас надо в первую очередь библиотекам. Почему библиотекам? Да потому, что цены растут непредсказуемо, наши читатели — не миллионеры, большинство из них вскоре на журналы подписаться не смогут. И у библиотек денег на подписку не будет. Вот поэтому надо как-то организовать помощь библиотекам. И сразу три проблемы решим: читатели, особенно — нищие наши интеллигенты, смогут хоть в библиотеке прочесть журнал. Соответственно и тиражи журналов не так резко упадут. И писателям будет где печататься. Молодых, неизвестных какой частный издатель решится издать себе в убыток? А толстые литературные журналы всегда открывали новые имена, с их страниц входили в литературу.

Честно говоря, большого энтузиазма мое предложение не вызвало. Прошло время, молчат редакторы. Решили выживать поодиночке? Ну что ж, бог им судья.

И вот однажды ужинаем мы в фонде с Джорджем Соросом. В свое время, когда он создавал свой фонд «Культурная инициатива», нас познакомила переводчица Нина Буис, она переводила мою повесть «Навеки — девятнадцатилетние» для американского издательства. Сорос пригласил меня стать членом правления фонда. Он знал, что я отказался быть депутатом Верховного Совета, если не ошибаюсь, в том, первом, правлении я один только был не депутат. Знал он, что со временем я собираюсь оставить журнал, такой разговор у нас с ним был.

— Вам будет скучно, — сказал он, — вы лучше сделайте так: неделю не появляйтесь в журнале, пишите, за эту неделю соскучитесь, и вам захочется в журнал.

Но то было в хорошую пору, а как мог я оставить журнал сейчас? Это, помимо всего, и судьбы людей, с которыми я работал. И вот, поскольку фонд наш — «Культурная инициатива», я рассказал ему свой план.

— Пока что я плана не вижу, — сказал Джордж Сорос.

Ну что ж, он не видит, значит, надо попробовать доказать. Я попросил знакомую мою, заместителя директора Ленинской библиотеки Морозову, посоветовать мне четырех человек. Фонд заключил с ними трудовое соглашение, дал технику, и в двадцать пять тысяч библиотек России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Прибалтики направили мы список из восьми толстых литературно-художественных журналов. Условия были простые: библиотека может выбрать любые три журнала из списка, подписывается на месяц, а пять месяцев получает бесплатно. Но и те деньги, которые библиотека платит, пойдут не фонду, а на доставку от коллектора до места. Распространять решили через коллекторы: «Роспечать» уже просто грабила подписчиков. Интересно, что ни одна библиотека не подписалась на три журнала. Подписывались, как бы не по-няв, сразу на все восемь.

Двадцать пять тысяч библиотек от Камчатки до Калининграда, адреса каждой... Вспомнить страшновато эти разграфленные листы, да не листы — простыни. Потом работал экономист. Составлялся бизнес-план. И вот этот бизнес-план в следующий приезд Джорджа Сороса в Москву я представил ему.

— Вот теперь вижу.

И ассигновал миллион долларов на эту программу. Ему ни с кем ничего не надо было согласовывать, он давал свои деньги. Еще через год в гостинице «Балчуг», где собрались члены Наблюдательного совета, он попросил меня рассказать, как осуществляется программа. Итог был такой:

— Вот на это мне и трех миллионов не жалко.

И мы поддерживали уже девятнадцать журналов.

Наверное, не мне одному трезвые мысли иногда приходят ночью. Проснешься вдруг, будто не спал, тихо, голова ясная. Так было и в тот раз. Еще днем продумывал я, какие перемены надо произвести в журнале да сколько сил, времени на это уй-

дет... А ночью, проснувшись, сам себе поразился: что я, с ума сошел? Зачем мне это нужно?

И тоже была осень, луна светила сквозь шторы в окне. Только тогда я ходил по саду, и жаль мне было бросать журнал, и все равно решил: уйду. Семь лет минуло с тех пор. Семь лет жизни. Нет, я ни о чем не жалел. Были годы, особенно первые годы перемен в стране, когда журналы становились властителями дум, и «Знамя» среди них был не последним, нет, далеко не последним. Я знал это, я читал это в письмах — ах, какие письма шли, исповеди! — и убеждался: что ж, это — дело жизни. А чем я занят теперь? Отчет коммерческого директора, бухгалтерия, бумага, префектура требует покрасить фасад, типография прислала новые расценки... И ради этого бросить писать? Что, мне другую жизнь дадут?

А печатаем что? Что другие журналы печатают? Событие в литературе — вообще редкость. Приятно, конечно, утешаться, что тебя поймут через столетие, но чаще современники все же оказываются способны оценить событие. Их в последние годы не было. «Знамя» представило на своих страницах несколько талантливых вещей новой литературы, по мере возможности представляло разные стили, жанры, направления. Пусть читатель сам видит, сам оценивает: модернизм, постмодернизм, постпостмодернизм, конструктивизм — что еще не назвал? Но иной раз читаешь — и мысль грешная: ты ведь знаменит был. По слухам. Но вот, пожалуйста, тебя печатают, люди прочли, кто смог одолеть. Почему ты не захотел остаться знаменитым?

Так случилось, что я никогда не служил. Я не служил в армии, хотя в школе нас сильно уговаривали идти в военные училища. Началась Отечественная война, я пошел на фронт рядовым. И это было делом моей жизни, быть может, самым значительным делом, хоть там я был — один из многих миллионов. В 1943 году (не в самом страшном 41-м, когда судьба страны висела на волоске), в 43-м, это был год побед, мы разгромили немцев под Сталинградом, на Курской дуге, так вот, в 43-м году мы потеряли убитыми и ранеными три с лишним миллиона человек, вдвое больше, чем немцы и их союзники. В этом году меня тяжело ранило под Запорожьем. Шесть месяцев в госпитале. Меня штопали, резали, снова зашивали и выпустили из госпиталя не годным в строй. Но я все-таки вернулся в свой полк, в свою батарею, и прошел с ней до конца войны. Между прочим, присяги я не принимал: на фронт пошел

добровольцем, никто присяги с меня не потребовал, а в училище попал уже с фронта. Но это как-то не мешало воевать. И всю мою жизнь после войны я писал книги, хорошо зная, что мои книги за меня никто не напишет. А сейчас я служил. Я не мог оставить журнал, пока он был в тяжелом положении. Но теперь у него неплохое имя, финансово он окреп.

Я написал обращение к читателям: надо было попрощаться. Но печатать его мы решили в декабрьском номере, потому что подписка еще шла. И, выступая по телевизору, я тоже не сказал, что оставляю журнал.

И ушел — вновь заниматься делом моей жизни.

Ну а что же те семь лет, журнал, с которым столько связано, это все как отрезал? Я знал, отныне журнал будет постепенно становиться другим и тем, кто делает его, не надо давать советов. Материально, через фонд Сороса, поддерживать его буду, пока это в моих возможностях. Но и только. Я бы ведь тоже не хотел, чтобы кто-то стоял у меня над душой.

Еще в бытность мою редактором некий автор, ранее известный «в узком кругу ограниченных лиц», а теперь получивший широкую рекламу, принес нам рассказ. Содержание такое: на первом или втором этаже многоэтажного дома юноша, один в комнате, занимается онанизмом. И на шестом или восьмом этаже этого дома юное создание другого пола, уединясь, занимается тем же самым. И завершают они одновременно. Написал это и желал напечатать человек примерно лет шестидесяти, широко прославляемый в ту пору. Боязнь ли прослыть ретроградами в эпоху вседозволенности сподвигла моих коллег обсуждать это, сказать не берусь. Печатать, разумеется, не стали.

Не помню, как в древности назывался этот город и чьи войска осаждали его много веков назад. Но сопротивлялся он мужественно и был взят неприятелем, когда многие воины его были перебиты. Ждали казней, грабежей, насилия. Но неприятель не стал мстить. Он открыл в городе увеселительные заведения, и постепенно город предался веселью и разврату, и вскоре воины перестали быть воинами, они уже не способны были взять в руки оружие. Неприятель не истребил, он растлил жителей, и они уже были не опасны ему.

В Канаде, если не ошибаюсь — в Монреале, я видел примерно то же, но проделанное на мышах; в музее это было выставлено на всеобщее обозрение. В первом отсеке — только что

отловленные мыши, живые, быстрые, привыкшие сами добывать себе пищу. Но еды, питья поставлено было им вволю: ешьте, пейте, совокупляйтесь. И постепенно, отсек за отсеком, можно было видеть вырождение мышей. В последнем ползали уроды. Ни бегать, ни ходить, ни добывать себе пищу они уже не могли, они ползали.

После многих лет официального ханжества, что не мешало власти имущим иметь тайные дома свиданий и проч., и проч., вдруг — воля. словно распахнулись лагерные ворота и хлынули оттуда, сами себе не веря, но опьяненные вседозволенностью: крой, Ванька, плетки нет и бога нет. Прокормить себя до сих пор еще не в состоянии, но по части вседозволенности обогнали всех, в том числе и Америку. Такое вдруг хлынуло с телеэкранов, с обложек книг, с эстрады! Очень просто объяснил мне это один из наших телемагнатов. Нам предстояла беседа в эфире, уже загримированный, он сидел на подоконнике, меня прихорашивала гримерша.

— Вот вы говорите — «пóшло». А что значит «пóшло»? Пошлó! Пошлó-о! Народ требует этого, хочет видеть. Готов платить деньги!

Я ничего не говорил: гримерша как раз действовала пуховой, и я сидел не дыша.

Однако вскоре и так называемые толстые журналы, смысл существования их совсем в другом, гляжу, тоже поспевают не отстать. В том числе — «Знамя», которое и на отдалении было мне дорого. Поговорив предварительно с редколлегией, я написал и напечатал в «Литературной газете» статью. Называлась статья

ПОДТАНЦОВКА

Вечером включаю телевизор наугад. Знакомое лицо режиссера. Говорит об эротике в кино. Мол, она была всегда, но то, что раньше шокировало, теперь выглядит невинно. Сцена из старого фильма. Опять говорит режиссер. Я убрал звук. Видеть лицо, мимику, жесты, не слыша голоса, иногда очень интересно. Глаза режиссера были хороши. В них — мысль и страсть и глубокая озабоченность. Чем же? Я вновь включил звук. Режиссер рассказывал, с какими трудностями снимал он сцену то ли совокупления, то ли изнасилования: на начало рассказа я не попал. Актриса сразу согласилась раздеться. Но актер — вот уж не ожидали! — в последний момент вцепился в свои черные трусы и ни за что не хотел снимать их. Под простыней — да, а так, при всех — нет. Но с ним работали, и в третьем дубле «чуть не произошло самое непоправимое», сказал режиссер с той же глубокой тревогой мыслителя во взгляде.

«Чуть не произошло» надо понимать так: привели двух взрослых людей изобразить случку. Она сразу согласилась сыграть эту роль, а он в последний момент вцепился в свои жалкие трусишки. И тогда общими силами стали принародно лишать его стыда, который дан от природы. Удалось, лишили. И на съемочной площадке чуть не произошло то, что свободно на улицах совершают наши четвероногие братья на радость мальчишкам, которые при этом с палками гоняются за ними. Но, может, так нужно для искусства?

В Америке, в Лос-Анджелесе, видел я в одном из крупнейших банков фотографию льва под стеклом. Когда этот банк был построен и состоялось торжественное открытие, льва (тем он отныне и знаменит!) первым запустили в помещение, как у нас в новый дом или в новую квартиру первой пускают кошку. Впрочем, теперь все больше освящают, окропляют: и закладку камня, и крест, который вознесут, и купленный автомобиль.

Современная наша критика так радостно освящает, окропляет

ет все то, что «чуть не произошло» или произошло, такая во-круг этого идет подтанцовка, что жить радостно. На сцене подтанцовка знает свое место и задачи, план ее — второй. В литературе, работая острыми локтями, она давно уже вырвалась вперед. Касается это не только критики, речь о ней впереди.

Вот простенький рассказ. Собачка. Хозяин собачки. Все мило-хорошо. Однако — весна, собачка подросла, стала отлучаться по ночам, «трахнули» собачку, так значит в тексте. Дальше — больше: «стала приходиться в грязных трусиках». Изящно сказано. Однако хозяин, человек жестокосердный, посадил ее в машину, куда-то завез да и выпустил. Нехорошо. Тем более нехорошо — глубокая эта мысль проходит через весь рассказ, — что сами-то люди себе позволяют *это* при всяком удобном случае, хоть та же жена хозяина, а с собакой вон как поступили. Дотянулась из прошлого столетия добрая рука старушки Чарской, только слова некоторые заскочили из нынешних времен: «трахнули», «говно». Чарская таких слов не употребляла.

Скромностью своей наводит на размышления подзаголовок: «Рассказ конца века». Что бы это могло означать, тем более что конец века — он же и конец тысячелетия? Не иначе, тут зашифровано что-то значительное, ну, например: после двух мировых войн, после ГУЛАГа, освенцимов, атомной бомбы, сброшенной на людей, XX век докатился до последней низости — собачку не пожалел. А может, имелась в виду литература: мол, не старайтесь, до конца века, то бишь — тысячелетия, ничего уже лучше не написать вам. Был же в Доме творчества случай, когда поэт, написав стихотворение, вышел к обеду и объявил народу: сегодня я закрыл тему любви. Впрочем, еще задолго до нас сказано: снеся яйцо, курица кудахчет так, как будто снесла шар земной. Так, может, не искать смысла там, где его нет? Есть подтанцовка и есть литература. Просьба не путать одно с другим.

Повесть Георгия Владимова «Верный Руслан» — тоже о собаке. Но эта история собаки, написанная в лучших традициях русской литературы, вместила трагедию народа. Правда, новейшими изысканиями критика В. Новикова удалось установить, что автор по наивности считал свое произведение реалистическим, оно же, как выяснилось, — модернистское. «Но кто станет отрицать, — пишет В. Новиков, — что «Верный Руслан» — произведение модернистское без какого бы то ни было

обидного оттенка значения?» Да никто. Раз обнаружена недееспособность и недостаточность личного состава модернистов, постмодернистов и прочее, объявляется срочный набор. И В. Новиков действует решительно, как воинский начальник: годен? не годен? в строй! Туда же и «Изумруд» Куприна, и «Холстомер» Толстого, явные модернисты, от них ведет свою родословную «Верный Руслан». Но интересно, как само слово не дает соврать: ратуя за модернизм, вроде бы повышает его в ранге, и тут же проговаривается: «Без какого бы то ни было обидного оттенка значения».

Однако на этом мобилизация не кончается. «...Ждет своего исследования, — продолжает В. Новиков, — тема «Солженицын и модернизм»: во всяком случае, «Архипелаг ГУЛАГ» — это субъективная эпопея, невысказанная в допрустовскую эпоху». Понятно, невысказанная: в допрустовскую эпоху еще и ГУЛАГа не было. Так что интересные новые исследования ждут нас.

Но к достоинствам В. Новикова надо отнести хотя бы то, что даже и не вполне понятное самому себе он все же пишет понятными словами. А то ведь редкая критическая статья обходится у нас без «пейоративных суждений», «парадигмы», «дискурса», «медитирования», «мейнстрима», а уж «римейк», так без него русского языка просто не стало. Или вот такая простенько выраженная мысль: «Всякий дискурс тоталитарен, всякое письмо магично, всякое высказывание фундируется каким-либо абсолютом, и все попытки выпутаться из тоталитарности обречены...» Вы, конечно, все поняли? Я так и думал.

Критика — дело серьезное, ученое. Это Пастернак мог позволить себе писать:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту...

Но он был поэт и романист, какой с него спрос?

«В живописном состоянии»

Живой интерес публики вызывают книги, основанные на собственном опыте, например «Записки дрянной девчонки». Что тут правда, что вранье — не суть важно. Главное, как ска-

зала одна читательница, «все показано в живописном состоянии».

Ну, а у кого нет столь богатого опыта, те пишут книги грез. И в грезах своих оказываются куда смелее профессионалок. Не зря еще в прошлом веке было отмечено: если обнародовать мысли самой благовоспитанной дамы, разразится общественный скандал. Наивный XIX век! Обнародовали. Не разразился. Изделие называлось «Строгая дама». И обслуживала эта дама клиентов у себя на дому, а также выезжала по вызовам. Но клиенты ее — особого рода: извращенцы. В голом виде она их порет и проделывает еще кое-какие манипуляции, о которых говорить не хочется, и вот таким способом они получают полное удовлетворение. Возможно, профессионалки найдут какие-то неточности, смеялись же путаны, когда в одном из первых наших фильмов, посвященных нелегкому их труду, гигантом секса представлен японец: «Мы их зайчиками зовем!» Но вообще технология описана подробно, возможно, все-таки не с чужих слов. Вот закончена процедура, клиент ушел, и она «...схватила простынку за четыре угла, соединила их в шепотку и на вытянутой руке понесла... смысла скользкую горку сильной струей горячей воды». Это по части технологии. Что касается самого текста... Как-то Булат Окуджава неплохо сказал о текстах современных песен: «текст слов». Да и что скажешь о таком вот припеве: «Теперь ты больше не моя, / Жить одному, конечно, проще, / Теперь ты больше не моя, / Тебя запомню я на ощупь...»

Вот и прозаические эти грезы, весь «текст слов» запоминаются скорей «на ощупь». Зачем писалось? Позволено. То есть каждый решает сам, что пристойно, что непристойно, до какой степени можно заголять душу и тело. Это полагается решать именно самому. А раз самому (самой!), чего не прославиться? И мужу приятно. Помните, актриса сразу разделась, а актер вцепился в свои трусы и не соглашался снимать их принародно. Но с ним работали... Работают и с авторами, которые еще не осознали. И тут появляются теоретики и даже создана «теория голизны», которая строго предупреждает: «А разговоры о том, что автор ищет в запретных темах собственной славы и выгоды — это вульгарные разговоры... И нагота проблемы касается всех, как все причастны к голизне...» Но мы еще вернемся к этой теории.

А пока что — газетная заметка. Суть ее такова: женщина,

доведенная до крайности, пришла в отделение милиции и со стыдом рассказала, что сын ее, мерзавец, требует, чтобы она сожительства с ним, иначе грозитя убить. Но кому охота вешать на себя лишнее дело. Ей объяснили, что поскольку факта совершения преступления как такового еще не имеется, то и разбирать пока что нечего.

Это — в жизни. А вот — в очередном литизделии, в так называемом «романе». Герой его, в котором уже усмотрели подражание «Подростку» Достоевского и еще подражание подражаниям, впервые возмужал в постели своей тридцатидвухлетней тетушки: «Научите меня! Я обещаю, мама никогда об этом не узнает...» Научила. Теперь во всеоружии благоприобретенного опыта можно и к матери приступаться. Он сообщает ей, «что уже видел ее всю целиком, включая интимные места, и видел много раз», пора, мол, от созерцания переходить к действиям. Мать отнеслась к этой проблеме деловито, на всякий случай осведомилась у некоей девицы: «Ты спала с моим мальчиком?.. А как он в постели, мой сын, ничего?» И все это обсмаковывается и обсмаковывается почти до последних страниц. И когда уже про Эдипа упомянуто, приступают наконец: «Ма, но ведь это бывает? Мы не первые с тобой?» «Господи!.. Господи!.. Что же мы делаем?! Господи?..»

У всего этого есть фон: война. Воюют где-то на Кавказе. Чего ради оказались там мать и сын, автор, видимо, и сам не знает. Но зато он знает, что война, дескать, все спишет. Еще в ту, в Отечественную, ходила песня: «Поначалу не хотела, / А потом — сполна, / До утра кровать скрипела: / Все равно — война...» Вот эта логика и эксплуатируется. А уж крови, трупов, страхов!.. Но все — выдуманное, меркнет вся эта бу-тафория перед любым свидетельством очевидца чеченской войны.

Но позвольте, это не реалистическое произведение, автор не обязан в конце концов, так сказать... Да какое бы ни было. Бесчеловечно, когда из трагедии народа делают занимательное чтение: опытная рука сочинителя детективов смешивает в должной пропорции кровавый коктейль: столько-то трупов, столько-то ужасов, столько-то «голизны».

Я не называл до сих пор издания, где все это напечатано, не буду называть и впредь. Издания эти не тем славны и не эти вещи, надеюсь, будут определять их в дальнейшем. Не случайно не назвал и фамилии авторов; даже частое упомина-

ние в печати не дает еще имени в литературе. А говорил я главным образом о том, что литературой не является, но все больше и больше в последнее время заслоняет собой литературу: о подтанцовке. А теперь перейдем к теории, освящающей ее.

Эротическое днище

Я не читал последнего романа А. Королева, возможно, он заслуживает похвалы, судить не берусь. Но кто-то в печати непочтительно отозвался о нем, и Королев пригвоздил обидчика гневной статьей. Статья заинтересовала меня: это своеобразный манифест. Отметив как само собой разумеющееся, что мы — «патологически нездоровое общество», что после многих лет запретов любой публичный разговор на темы «низа» вызывает шок, Королев объясняет и суть и причины этого шока: «хомо читающий сталкивается на странице с подлинностью своего собственного бытия».

Теперь о «хомо пишушем»: «И писатель — если речь об ответственном писателе — не может отвертываться от подлинности недозволенного... Человек, отрывающий свое эротическое днище от собственного восприятия, не сможет понять суть и смысл жизни на любом уровне».

Сказано — как в бронзе отлито: «эротическое днище». И вся беда русской классики — Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого — все они Королевым упомянуты и снисходительно пристыжены за то, что не только «отрывали свое эротическое днище», но у них у всех «фаллическое начало отнималось от героя и отдавалось предмету, вещи, настроению», а «сам герой был благороден и отделен от низа». Вот потому-то, видимо, как ни силились они, а не смогли понять ни сути, ни смысла жизни «на любом уровне». Остается, впрочем, не вполне ясно: были ли они «ответственными писателями», если «отвертывались» от «подлинности недозволенного»?

Приведенные ранее примеры, где авторы, то бишь «хомо пишущие», ни от чего «не отвертываются», надо полагать, доказывают, насколько плодотворней новый метод, как он помогает понять «суть и смысл жизни».

Перечисляя ряд запретов, нанесших вред литературе, классической в том числе (тут и христианское отношение к плоти как к бремени души, и так далее, и тому подобное), Королев

переходит к главному: «Все это давление запретов не могло не привести к тому фаллическому взрыву эротики, который произошел и происходит на наших глазах. Но меньше всего в этом процессе можно обвинять следствие — то есть писателя и художника. Рухнул железный занавес между сознанием и подсознанием общества, и его падение коснулось каждого из нас. Секс стал таким же проводником в пространство свободы, как плюрализм, партии и, наконец, деньги. Но только Эрос уводит нас так далеко и глубоко, на самый край бытия... Что же оставалось делать писателю? Оставалось только одно — пуститься в пространство изнанки жизни».

Вот и нашлось наконец дело для писателя: «пуститься в пространство изнанки жизни». Чем не вторая древнейшая профессия, прошу простить, если сравнение грубовато. Платят нынче за это хорошо: что за живой товар, что за книги «на темы низа». А винить в чем-либо писателя или художника никак нельзя, их положение страдательное: они — следствие. И бегало одно такое «последствие» в голом виде, бегал художник Кулик за машинами на улице и облаивал их, рыскал себе славы. И в Стокгольме на выставке современного «революционного авангардизма» предстал он в том же образе: у собачьей будки, сбитой из досок, стоял на четвереньках с цепью на шее и совершенно голый, даже без набедренной повязки, которую по непросвещенности своей все еще носят дикари в жарких странах. И кусался: укусил за ляжку шведского искусствоведа Леннарта Лундквиста. Тут уж полицейский, не ведавший, что перед ними — следствие, которое винить нельзя, надел на Кулика наручники и увел, и шведы аплодировали полицейскому. А мы-то надеялись, мы-то верили: где-где, но уж там — истинные ценители авангарда.

Что же ждет русскую литературу, в том числе — классическую, раз произошел «фаллический взрыв» и прорваны «границы псевдореализма»? А ждет вот что: «Мечтательное неяркое пейзажно-девственное тело русского текста увенчивается патетическим лингамом». Кто не знает, что такое лингам, может прочесть в энциклопедии «Мифы народов мира»: «Лингам (др. инд. «характеристика», «знак пола») в древнеиндийской мифологии... обозначение мужского детородного органа...» Словом, где была русская литература, где была совесть, там вырос и увенчал ее... Нет, на др.-индийском как-то это пристойней звучит: лингам.

Если же вы решитесь сказать, что, «сметая запреты», автор на их месте возводит новые да пожестче, возражение и тут готово: «Да, мне понятна та паническая реакция профанической критики, которая этически реагирует на эстетический беспредел свободного текста». Вот на таком языке и будем реагировать на реакцию: панический, профанический, этический, эстетический...

Покойный Юрий Трифонов любил слово «обрящик». Кто-то из мастеров пообещал принести ему образец линолеума: «Я тебе обрящик покажу...» Не могу не привести еще один «обрящик» из этого манифеста: «Покрывать собственным почерком простор новейшей цельности — занятие, близкое к отчаянию. Насколько приятней было гулять пером в парке Аннибала, где нет сомнений в совершенстве Бога. Но дух и долг писателя — диалог, и потому он всегда открыто стоит перед агрессией невозможных вопросов». Не уверен, что я до конца и полностью понял высокий смысл сказанного, но, в общем, получается так: трудно сегодня А. Королеву, открыто стоящему «перед агрессией невозможных вопросов», писать свой уже объявленный триллер, то бишь «покрывать собственным почерком простор новейшей цельности» (занятие, близкое к отчаянию), и насколько же легче, насколько приятней было не знавшему долга, не ведавшему сомнений (боюсь, не Пушкин ли имеется в виду?) «гулять пером в парке Аннибала».

А между тем...

А между тем без шума и самовозвеличивания, с каким вырвалась на сцену подтанцовка, стремясь все вытоптать копытами, создавалась в эти годы литература. И среди тех, кто создавал ее, есть имена молодых талантливых людей. Не очень удачное время? А когда оно было удачным? И не вспомним ли мы еще добрым словом время, когда рухнули стены рабства, погубившего стольких? Понятно желание людей: если уж самим не выпало, так пусть хоть детям, внукам выпадет жить в более удобные для жизни времена. Но искусство создается и в пору трагедий, и в глухое безвременье. И художник, жалующийся, что не в то десятилетие досталось ему жить, на мой взгляд, явление убогое. В конечном счете не время правит художником, а талант.

Молодым, вернувшись с войны, написал Олег Ермаков свои

«Афганские рассказы» и в редакцию «Знамени» прислал их из Смоленска по почте. Тираж журнала был в ту пору огромен. Мы напечатали, Ермакова прочли, но книгой они так и не вышли. Помню, я дал номер журнала японскому профессору-слависту и вскоре получил от него такой отзыв: если бы жил сейчас Чехов, он бы написал об Афганистане то же и так же, как «Эрмаков». И только недавно в смоленском издательстве вышел сборник — роман Олега Ермакова «Знак Зверя» и рассказы. Это глубокая, настоящая литература: о жизни, о смерти, о смысле жизни, о той трагедии, которая по воле полумертвых старцев постигла нашу страну и Афганистан. И длится, длится, унося и там, и здесь молодые жизни.

То ли память у нашей критики коротка, то ли время такое суетливое, каждый своими делами занят, но не упоминают уже Илью Митрофанова, словно и вовсе его не было. А как свежа, как сочно и живо написана его повесть «Цыганское счастье»! Ее еще будут издавать, прочтут не раз, такие книги не исчезают. Что это — реализм? романтизм? модернизм? По мне, как бы ни называлось, было бы талантливо. И нет застывшего реализма, как нет застывшего языка, если это язык живого народа. И устоявшиеся традиции когда-то были новаторством, но не всякое новаторство по прошествии времен становится традицией.

Иной опыт жизни, иная среда, иная манера письма у С. Гандлевского, но его книга «Трепанация черепа» явление заметное. И не вина автора, что узок круг ее читателей: тиражи журналов стали малы.

Или вот повесть Алексея Варламова «Здравствуй, князь!» Последующие его вещи мне нравятся меньше, но эта повесть, как легкое дыхание, прочел, и хорошо на душе. Отметил бы я и несомненную одаренность Олега Павлова, его роман «Казенная сказка», да В. Курицын не велит. Я уже упоминал, что однажды со сцены телевизионного театра сказал: мечтаю, откроется дверь и войдет в литературу молодой Лев Толстой. Но пока что вошло много курицыных. А этот, уже упомянутый мною В. Курицын, сначала только проглядел «Казенную сказку», а потом уже и с карандашом перечитал: «Олега Павлова я не полюбил. Есть такая проблема. Писательское мастерство в том самом «социально-психологическом» контексте — дело не особенно хитрое. При всеобщей грамотности-то и при здешнем-то читательском опыте». Повезло, крупно повезло Толстому-то с Достоевским-то и Гоголю тож: не полюбил бы их Курицын. Делали они дело, как теперь

выясняется, не особенно хитрое, осрамил бы он их при современном-то читателе, «есть такая проблема».

Впрочем, с литературой классической еще Королев разделался довольно успешно и даже обозначил, что ныне выросло на ее месте. Так называемых «шестидесятников» топтали долго, сладострастно, один автор текста объемом аж в полторы тысячи страниц (не признак ли явной графомании?) даже воскликнул: я вас изживу!

И все это было. Все ныне забытые софроновы, грибачевы, все эти большие и малые литературные палачи именно так и поступали, вытапывали все талантливое: на скошенном лугу и гнилой пенек возвышается. Но тут, как на грех, увенчивают Букеровской премией глубокий реалистический роман Георгия Владимова «Генерал и его армия». И молодой прогрессист, некий модернистский критик печатно называет Владимова «литературный власовец». Точно так же, теми же словами клеймили Солженицына, когда изгоняли из страны. И один из старейших писателей (я о нем уже упоминал), возможно, обиженный, что удостоен премии не он, заявляет по радио, что роман Георгия Владимова — «апология измены и предательства». А ведь по такому обвинению в его времена сажали в лагеря. Ну, не стыдно ли?

Впрочем, стыд — не дым. «Появились издания, готовые платить сумасшедшие гонорары, но печатающие только очень маленькие тексты. Сначала казалось, что можно упихнуть в такой объем рецензию, но вскоре выяснилось, что можно упихнуть и обзор... я пишу в «Матадоре» о книгах, на рецензию мне уже отводят три строчки. Лучше две. Я понял, как от этого можно получать удовольствие, — восторгается Курицын, — начинаешь ощущать себя художником».

Ну, как тут не вспомнить «На святках» Чехова: «— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо». Над ним стоят неграмотные старик со старухой, пришли они на святках в трактир к этому самому Егору, «про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует». Правда, «как следует» — это пятиалтынный, но Егор «ощутил себя художником» и катал, «получая удовольствие» и не укладываясь ни в две, ни в три строки: «Обратите внимание в 5 томе Военных Постановлений. Солдат есть Имя общее, Знаменитое. Солдатом называется Перьвейший Генерал и последний Рядовой... И поэтому Вы можете судить, какой есть враг Иноземный и какой Внутренний. Перьвейший наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Во времена, когда Егор писал старикам это письмо к их дочери, жил уже на свете будущий поэт Тимофеев. Из его литературного наследия, пожалуй, наибольшую известность заслужили «Бублики», под них танцевали фокстрот: «Купите бублички, / Горячи бублички, / Гоните рублики да поскорей...» Однако ценил он себя высоко, и вот с каким посланием обратился к грядущим поколениям:

Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву —
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу!
И пусть на карте вековой
Имен народных корифеев,
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой —
Начертан будет Тимофеев!

Не начертали. Минуло. Минет и нынешнее временное помрачение умов.

Жизнь человеческая коротка. Искусство вечно.

МИР ВХОДЯЩЕМУ

Первые дни марта 98-го года. Остров Маргит. Двумя рукавами Дунай обтекает его. По одну сторону Дуная — Буда, по другую — Пешт. Старая гостиница Grand Hotel Romada. Парк. Несколько старых деревьев, они росли здесь *тогда*, более полувека назад. А весь этот парк вырос после, он моложе меня.

Прыгают белки по деревьям. Тихо. Черные дрозды с желтыми клювами скачут по земле, что-то клюют. Гул неумолчный, гул большого города, где живет теперь каждый четвертый житель Венгрии, на его фоне ошутимей тишина здесь, на острове. Я сижу, подставив лицо весеннему солнцу, закрыв глаза. Вот опять, размеренно дыша, пробегает за спиной у меня группа спортсменов над Дунаем. Обвязавшись по поясу рукавами свитеров, в белых трикотажных безрукавках, в спортивных кепках, — мужчины и женщины, и с ними — рыжая собака. Каждое утро и перед вечером их белые кроссовки мелькают над асфальтовой дорожкой, их белые торсы и кепки — над мутной весенней водой Дуная: сначала — против течения, потом — по течению, когда они возвращаются. И так же, глядя на них, не отставая, бежит рыжая собака с длинными ушами... Мир и покой.

Позавчера в Москве было пятнадцать градусов тепла, слепило солнце, снег сползал с крыш. А когда улетали из Шереметьева на следующее утро, мороз опять сковал землю. Прилетели в весну. Солнце, холодный ветер с Дуная. В атмосфере — война: циклоны, антициклоны... Я тоже был частью циклона более полувека назад. Вслед за отступавшей немецкой армией мы вошли в Венгрию, мы были неразрывны: те, кто отступал, и те, кто наступал. Потом опять они теснили нас к Дунаю. Примерно в то самое время высоко-высоко над нами, в ходе встречи в Кремле, Черчилль и Сталин делили на клочке бумажки, кому что достанется: Болгария, Греция, Югославия, Чехословакия, Венгрия... Столько-то процентов наши, столько-то процентов — вам. Черчилль спросил: порвать бумажку? Сталин расписался на ней: за-

чем? А мы в очередной раз брали венгерский город Секешфехервар, и мертвые еще с прошлой атаки лежали в кукурузе, их заметало снежком. И впервые я позавидовал мертвым: им спокойно. Мог ли я думать в то время, в тех боях, что будет впереди еще век XXI, третье тысячелетие, и я, возможно, увижу его, переступлю ненадолго за ту грань? Есть магия чисел, некая незримая черта: вот начнется новый век... А он уже начался. По парку, ярко и разноцветно одетые, с яркими ранцами за спиной, во главе с учителем и охраняемые эскортом бабушек и матерей, идут школьники младших классов, и парк звенит их голосами и посвистом птиц. Вот он, век грядущий; вот оно, новое тысячелетие. Жаль, что я не понимаю их языка, только несколько слов сохранилось со времен войны. Что они говорят, указывая на белок на ветвях? То же, наверно, что и моя младшая внучка Маргарита, их ровесница, она любит кормить белок. То же, что и мы говорили когда-то в их возрасте. Для моих глаз нет зрелища прекраснее детей. Невозможно поверить, что из детей вырастают и гитлеры, и сталины.

Наш XX век, кровавый век, вставал из окопов Первой мировой войны (а до нее были еще войны), потом — Вторая мировая война и наша Отечественная, а между ними и после них — все войны, войны, так называемые малые войны, которые унесли не меньше жизней. Неужели только войнами и будет памятен наш век? Век великих научных открытий. И великого одичания.

Кто не задавал себе этого вопроса: хотел бы ты жить в другое время? Я бы не хотел. Это мой век. Мне хочется верить, что от многих ослеплений мы все же избавили человечество, заслонив его собой, и оно не повторит безумств нашего времени. Мне хочется верить, что мужество и человечность пребудут с ними, как не покидали они нас в самые тяжкие часы испытаний. Мне хочется верить, что в будущем веке не будет ни победителей, ни побежденных. И, глядя на детей, я мысленно говорю всякий раз:

мир входящему.

СОДЕРЖАНИЕ

7	Начало
13	Школа
15	Бабичев
19	Дача
23	Год 1939-й
27	Техникум
32	Война
42	Северо-Западный фронт
49	Училище
56	Старые фотографии
92	Тверской бульвар
125	В начале слова была жизнь
139	«Пядь земли»
143	Остановить мгновение
178	Вот он уже открывает калитку...
200	Пока мы были молодыми
203	Василий Шукшин
210	Круг человеческого братства
217	Старый старичок
221	Навеки — девятнадцатилетние
241	Лучший способ наживать неприятности
248	«Партия вымает з нас...»
262	Люди и роли
268	Пародия
277	Как бросить курить
285	В начале было слово
289	У каждого свои заботы
302	Путь кремнистый
316	Невидимые миру слезы
324	Лакшин
334	Мученики догмата
342	По-родственному
354	Его душа, и боль, и совесть
363	Дела текущие
374	Не было бы счастья...
380	«Хватит нам собачатины!»
384	Лучшие люди
390	Черные камни
397	«Мы вам перекроем кислород»
410	Подводя итоги
434	Подтанцовка
445	Мир входящему

Григорий Яковлевич Баклавов **Жизнь, подаренная дважды**

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

А.С. Захаренко

МЛАДШИЙ РЕДАКТОР

Е.В. Толкачева

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Т.Н. Костерина

ТЕХНОЛОГ

С.С. Басипова

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА ОБЛОЖКИ И БЛОКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ

С.Б. Мжельский

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

А.В. Волков

П. КОРРЕКТОРЫ

В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Оптовая торговля:

Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36,6»

г. Москва, Рязанский пер., д. 3, этаж 3

Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90

E-mail: club 36 6@aha.ru

Фирменный магазин «36,6 — Книжный двор»

(мелкооптовая и розничная торговля):

Проезд: Рязанский пер., д. 3, этаж 1

(рядом с м. «Комсомольская» и «Красные ворота»)

Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

Склад:

г. Балашиха, Звездный бульвар, д. 11

(от ст. м. «Щелковская», авт. 396, 338А до ост. «Химзавод»)

Тел.: 523-92-63, 523-25-56 Факс: 523-11-10

Книжная лавка «У Сытина»:

113054, Москва, ул. Пятницкая, д. 73

Тел.: (095) 230-89-00 Факс: (095) 959-27-00

Интернет-магазин: <http://www.kvest.com>

Электронная почта: sytin@aha.ru или info@kvest.com

Издательская лицензия

№ 065676

от 13 февраля 1998 года.

Подписано в печать

26.03.99.

Формат 60 × 90/16.

Гарнитура Таймс.

Печать офсетная.

Объем 28 печ. л.

Тираж 5000 экз.

Изд. № 760.

Заказ № 2109.

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

Интернет/Home page —

<http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) —

vagrius@mail.sitek.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в Государственном

ордена Октябрьской Революции,

ордена Трудового Красного Знамени

Московском предприятии

«Первая Образцовая типография»

Государственного комитета Российской

Федерации по печати

113054, Москва, Валуевская, 28.